

Золотые
родники

СТЕПАН ЗЛОБИН

Салават Юлаев



БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





СТЕПАН ЗЛОБИН

Салават Юлаев

Исторический роман

Редакционная коллегия:
Бикчентаев А. Г., Даминов Д. А., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.

Печатается по изданию: Степан Злобин. Салават Юлаев.
Исторический роман. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1978 г.

Предисловие М. Г. Рахимкулова.

З—68 Злобин С. П.

Салават Юлаев. Исторический роман. Башкирское книжное издательство, 1982 г. — 432 стр. с ил.. (Серия: «Золотые родники»).

Исторический роман о национальном герое башкирского народа Салавате Юлаеве.

3 $\frac{70302-519}{M121(03)-82}$ 122—82

4702010200

84Р—7

Степан Павлович Злобин

Салават Юлаев
Исторический роман

Оформление серии Г. Прокшина

Редактор К. Шилина
Художник А. Королевский
Художественный редактор С. Евладов
Технический редактор Г. Зигангирова
Корректоры Т. Горьянова, Н. Смольникова

ИБ № 1724

Сдано в набор 27. 11. 81. Подписано к печати 20. 04. 82. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,84. Учетн.-издат. л. 24,42. Тираж 120 000 экз. Заказ № 347. Цена 1 руб. 60 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.

©Предисловие, иллюстрации. Башкирское книжное издательство, 1982 г.

ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОМАНА «САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

Степан Павлович Злобин (1903—1965) известен в советской литературе как один из мастеров исторической прозы. Его замечательные романы «Салават Юлаев», «Остров Буян» и «Степан Разин», реалистически отразившие важнейшие вехи освободительной борьбы народов нашей страны в XVII—XVIII веках, прочно вошли в сокровищницу отечественной литературы. Большую популярность получили и монументальные исторические полотна «По обрывистому пути» и «Пропавшие без вести», соответственно посвященные революционным событиям начала XX века и периоду Великой Отечественной войны. Но самой любимой книгой многомиллионного читателя, несомненно, стал его «Салават Юлаев», впервые изданный еще в 1929 году.

Благодаря этой книге имя национального героя башкирского народа Салавата Юлаева стало известно и любимо в самых отдаленных уголках нашей Родины. Как свидетельствуют многочисленные читательские отзывы, полученные автором, роман о Салавате вызвал большой интерес не только на родине легендарного батыра, но и в республиках Средней Азии, и на Дальнем Востоке, и в Прибалтике. Этому во многом способствовало романтически восторженное описание юным писателем подвигов бесстрашного «пугачевского бригадира, певца и импровизатора». На страницах книги С. Злобина Салават, действительно, предстал «Первым башкиром, превратившись в символ своей нации»¹. О популярности романа говорил с трибуны Первого Всесоюзного съезда писателей С. Я. Маршак, отметивший, что «надо оценить по достоинству смелость задачи Злобина, который попытался посмотреть на

¹ Мустай Карим. Салават и его стихи. — Дружба народов, 1972, № 11, с. 235.

восстание Пугачева глазами башкира Салавата и для этого собрал новый, еще никем не использованный материал»¹.

Обращение С. Злобина к образу Салавата Юлаева было не случайно: жизнь и творчество писателя тесно связаны с Башкирией. Еще в детстве он некоторое время жил в Уфе, учился в реальном училище. «Начало первой мировой войны застало нас в Уфе... — пишет С. Злобин. — Ясно помню первое свое ощущение: война — это большое горе». Вторично в Башкирию, и теперь уже надолго, он приехал через десять лет, после окончания Высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова. «По окончании института, летом 1924 года, — вспоминает писатель, — я оказался в Уфе, где преподавал литературу и русский язык. А к лету 1925 года новая вспышка туберкулеза (первая была в 1921 году. — М. Р.) вывела меня из строя, пришлось отказаться от преподавания и поступить статистиком в башкирский Госплан. Участвовал в экспедиции по горно-степному и горно-лесному районам Башкирии, много ездил верхом, ночевал на башкирских кочевьях, охотился, изучал башкирский язык, записывал песни, местные предания, пословицы, поговорки». Эти материалы легли в основу содержательных литературно-этнографических путевых заметок С. Злобина «По Башкирии» (1928). Тогда же совместно с А. Кийковым он написал для первого издания Большой Советской Энциклопедии статью «Башкирская АССР». В них писатель обнаружил хорошее знание истории, экономики и культуры края, особенностей быта башкирского народа.

В 1925—1927 годах С. Злобин написал повесть «Дороги». Она была принята в Москве отделением харьковского издательства «Пролетарий». Но повесть не была издана отдельной книгой, так как не удовлетворила требовательного к себе автора, и он «сам настоял рассыпать уже готовую верстку». Кстати, это не единственное произведение С. Злобина, которое он не захотел издавать. Не дошла до читателей и его книга «Потемкин» (1935) — ее также забраковал автор. Аналогичная участь постигла и первую редакцию романа «Степан Разин». В 1941 году он был закончен, принят издательством и даже иллюстрирован. Перед тем как отдать в типографию, автор выпросил в редакции рукопись, чтобы еще раз ее «посмотреть», и... раздумал печатать. «Издательство подало на автора в суд с требованием или отдать роман в производство, или возвратить полученный аванс, — вспоминает С. Злобин. — Даже в суде, смеясь, говорили, что в первый раз видят такое положение, когда издательство считает книгу готовой, а автор требует права на доработку. Хорошо, что к этому времени подоспел гонорар за фильм «Салават Юлаев». Старый друг Салават помог мне с честью выйти из затруднения, и, возвратив аванс, я унес домой неизданную рукопись».

¹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934, с. 36.

Некоторые отрывки повести «Дороги» в виде самостоятельных небольших рассказов были напечатаны в хрестоматии «Башкирский край», изданной в 1927 году в Уфе. Рукопись же повести хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР в Москве. Главный герой повести — башкир Нур-Камиль. Он был кузнецом, певцом-кураистом, испытал на себе тяжесть самодержавного гнета, бунтовал, прошел школу жизни в царских застенках и вернулся в родные края перед Великим Октябрем закаленным профессиональным революционером. Через судьбы главного героя и лиц, с которыми он вступает во взаимоотношения, в повести отражаются важнейшие исторические события, происходившие с конца минувшего столетия до Октябрьской революции. Завершается она изображением некоторых эпизодов гражданской войны на территории Башкирии. Наряду с действительными событиями в ней много вымышленного, идущего от фольклора, отсюда и возвышенно-романтический тон, и мягкий лиризм, и переплетение реального со сказочным, то есть все то, что часто встречалось в нашей краеведческой литературе 20-х годов. Так, в романах «Золотая голытьба» А. В. Кожевникова и «Домик на Сакмаре» Д. А. Лебедева, как и в повести «Дороги» С. Злобина, воссоздается напряженная обстановка предреволюционных лет в Башкирии. Традиционными фольклорными приемами изображается в них патриархальный быт башкир, одурманенных невежественными муллами; яркими романтическими красками рисуются образы свободолюбивых бунтарей; воспеваются «дикая поэзия» бродяжничества и показывается тот мучительный путь, который проходят герои в поисках большой правды. Именно подобная пестрота стиля и не удовлетворила С. Злобина.

Интерес к Башкирии, проявившийся в первых литературных опытах С. Злобина, естественно, привел пытливого юношу к углубленному изучению героической истории этого своеобразного края. «В двадцатых годах, — вспоминает писатель, — всюду велись работы по составлению первых промышленных планов. Должно быть, я проявил какие-то способности, потому что вдруг оказался экономистом башкирского Совнархоза. Я выкраивал время и для работы в исторических архивах Уфы. Нашел интересные материалы по башкирским восстаниям и задумал писать «Салавата»...

Правда, о Салавате он задумал писать не сразу. Сначала им овладела идея создания большого исследовательского труда об истории башкирских восстаний. Он пересмотрел множество исторических архивных материалов и башкирской краеведческой литературы. Материалы были очень интересными, но, уже взявшись за работу, он почувствовал, что больше склонен к художественному творчеству, чем к научной деятельности. Однако, понимая, что художественное произведение нельзя писать сразу обо всех восстаниях, которых в течение двух столетий было множество, он стал выбирать — о каком же из восстаний писать, какое наиболее типично для Башкирии и башкирского народа? Особенно сильно творческое воображение С. Злобина

занимали две колоритные исторические фигуры — Карасакала (это прозвище предводителя башкирского восстания 1740 года Миндигула, означающее «Черная борода») и Салавата Юлаева. Наиболее значительным ему показалось восстание башкир, слившееся с Крестьянской войной, названной «пугачевщиной». «В то время как Карасакал был националистом, поднявшим сепаратно башкирское восстание под знаменем ислама, — мотивирует свой выбор писатель, — Салават был участником и одним из вождей пугачевского движения и вел более упорную и интересную борьбу с правительством».

Крестьянской войне 1773—1775 годов под руководством Емельяна Пугачева, в которой активное участие приняли башкиры, русские советские писатели посвятили довольно много произведений различных жанров. Среди них романы «Емельян Пугачев» В. Шишкова и «Сотник Тимофей Подуров» В. Пистоленко, повести «Горный завод Петра Третьего (Пугачевцы на Урале)» Т. Богданович и «Хлопушин прииск» М. Зуева-Ордынца, пьесы «Пугачев» С. Есенина, «Пугачевщина» К. Тренева, «Салават» М. Карима, поэмы «Дорога в Бикзян» А. Ромма, «Емельян Пугачев» В. Багрова, «Бунт» В. Сорокина, «Поэт и конник» А. Филиппова, сказ «Старых гор подаренье» П. Бажова и многие стихотворения.

«Салават Юлаев» С. Злобина — первый в советской литературе роман, довольно полно и правдиво изобразивший жизнь и боевой путь легендарного героя башкирского народа. В то же время это первое большое произведение писателя, давшее ему литературное имя. В годы работы над ним С. Злобин увлекался поэзией, и ему казалось, что романтический образ юноши Салавата, который был вместе поэтом и вожаком повстанцев, лучше всего передаст поэма. Размером был избран четырехстопный ямб:

Урал, страна суровых гор,
Взрывающих над ковылями.
Я в черноземный твой простор
Вхожу пустынными полями...
Шайтан-Кудеев род богат,
Старик Юлай — отец Кудеев,
Но сын Юлая — Салават
Сильнее льва, мудрее змея...

Так начал он свою поэму, написал около ста строк и пометил: «1924 г. июль — август — самая первая мысль о Салавате». Впереди было еще пять лет работы над первой редакцией произведения...

Однако от поэтической формы писатель вскоре отказался: он понял, что огромное количество исторического материала о Салавате потребует целого тома. Ему же казалось, что не каждый согласится читать историческую поэму величиной с «Одиссею» или «Илиаду», а между тем очень хотелось, чтобы имя Салавата Юлаева стало известно тысячам и тысячам людей. И он окончательно остановился на прозаическом жанре. Но вскоре убедился, что еще слабо знает материал:

он перечитал много архивных бумаг, однако не изучал башкирского языка, быта, одежды, утвари, оружия, не знал местной природы... Тогда он отложил работу над книгой и взялся за изучение языка. Сначала попробовал самоучитель — язык давался плохо, потом стал брать уроки — дело пошло успешней, но лучше всего он узнал язык во время упомянутой экспедиции 1924—1925 годов по горно-лесным районам Башкирии, где в те годы многие местные жители вовсе не говорили по-русски.

В экспедиции он столкнулся с бытом, который мало отличался от быта, современного Салавату, — бывал и жил на кочевках в войлочных «кошах», подобных тем, в которых жил и Салават, пил кумыс из деревянных чаш, из которых, быть может, пил и Салават. Он питался пресными лепешками, слушал чарующие мелодии курая, скакал по горам и степям, натягивал даже тетиву старинного лука и ездил на соколиную охоту; побывал на заводах, выстроенных на башкирских землях, интересовался их историей. Все это дало ему возможность широко ознакомиться с башкирским народом и его бытом, с историей края. «Если бы эта книга была задумана на несколько лет позже, — говорит С. Злобин, — мне не удалось бы так глубоко ознакомиться с материалом: ведь коллективизация сельского хозяйства и индустриализация края изменили быт, изменили и людей, но я успел увидеть этот тысячелетний быт кочевников, при котором жил Салават, — мне «повезло»... Кроме того, в поездках по Башкирии я записал много поверий, пословиц, поговорок, узнал национальные черты характера башкир, записал приметы, вслушался в стиль рассказов...».

После первых поездок он написал пролог к книге «Салават Юлаев», но дальше пролога дело не пошло: ему все еще казалось, что он плохо знает материал, хотя изучал его уже около трех лет. Тогда ему снова пришлось взяться за книги. Он читал старинные книги, журналы, листал пожелтевшие страницы архивных дел, выписывал из них целые абзацы, перечитал «Капитанскую дочку» и «Историю Пугачева» А. Пушкина. В богатом архиве писателя хранится большое количество материалов, относящихся как к истории Башкирии вообще, так и к башкирским восстаниям в частности. Особый интерес представляют многочисленные блокноты и дневники писателя, из которых видно, как он собирал для романа о Салавате фольклорные сюжеты, изучал язык и составлял словарь башкирских слов, восторгался природой, географией Башкирии. В личном архиве писателя хранятся и такие материалы, как очерк «Башкирские смуты от 1740 года до пугачевского периода», шежере — «Корень Кипчакского рода» (с приложением «Родословное дерева Кипчакского рода»), выписки из дореволюционных работ о Салавате, в том числе из очерка писателя-народника Ф. Нефедова «Движение среди башкир перед пугачевским бунтом; Салават, башкирский батыр» (1880) и статьи-исследования известного краеведа Р. Игнатьева «Башкир Салават Юлаев, пугачевский бригадир, певец и импровизатор» (1893).

С. Злобин читал книги по экономической географии Урала и Приуралья, по истории уральской промышленности, изучал старинные карты Урала и пришел к заключению, что всего этого мало, и решил непременно посетить те места, где жил и сражался Салават Юлаев. Писателю помогла новая продолжительная экспедиция 1928 года. На четвертый год собирания материалов он поехал исследовать леса северной Башкирии. Маршруты экспедиции по счастливой случайности совпали с былыми путями Салавата. «Во время этой новой лесоэкономической экспедиции, — вспоминает писатель, — я побывал в деревне, где он родился и рос, в деревне, откуда была родом его жена, в деревнях и селах, где он набирал людей в свой отряд — в войска Пугачева, в тех местах, где он сражался с войсками Екатерины Второй. Здесь я ознакомился с природой мест, окружавших детство Салавата, и лучше мог себе представить его жизнь. Кроме того, в этих же местах люди рассказали мне нигде не записанные до того легенды и предания о Салавате, они пели песни, которые предание приписывает Салавату Юлаеву...».

Не только люди, даже урочища и камни рассказывали писателю о Салавате. Так, объясняя ему дорогу, один башкир сказал: «Проедешь Салаватов двор, повернешь направо». Степан Павлович сразу же схватился за эту фразу. Когда же собеседник объяснил ему, что «Салаватов двор» — это камни, среди которых скрывался Салават в последние дни перед поимкой его екатерининскими войсками, он побывал в этих камнях. Поляны, ручьи, овраги, камни — вся окружающая природа рассказывала пытливому писателю-исследователю о Салавате. Вначале, по неопытности, С. Злобин, по его собственным словам, вложил в книгу очень много этнографического материала, потом же, почувствовав, что от этого книга делается тяжелее, освободился от него. Он считает, что для своего произведения использовал приблизительно только одну пятую часть собранного материала, а это дало ему возможность свободнее писать, легче выбирать яркие характеры и образы. С. Злобин настолько хорошо изучил башкирский язык и фольклор, что сочиненные им поэтические тексты ввели в заблуждение даже башкир. В одном из писем к жене из Башкирии (от 15 июля 1928 года) он с удовлетворением сообщал: «Башкиры не верят, что мои «Песни Салавата», которые я писал по-башкирски, сочинены урусом и смеются над моим «хвастовством», когда я говорю, что это мои песни. Это меня радует».

В сборе материала С. Злобин не пренебрегал никакой мелочью. В связи с этим весьма интересна история возникновения эпилога романа. Автор был в затруднении, как писать заключение книги, ибо не имел исторических данных о том, что делал Салават Юлаев на вечной каторге в Рогервике, куда он был сослан. Писатель не знал, чем тогда жила каторга, хотя настойчиво искал эти сведения. И вот однажды в пакете, склеенном из какого-то старого журнала, он прочел историческую справку о том, что в то время каторжники Балтийского порта

строили Рогервикский мол, куда на галерах возили камень из Дерпта... Журнальная страничка, превращенная базарным торговцем в пакет, послужила материалом для эпилога «Салавата Юлаева». В последних редакциях, правда, эпилог этот был снят, и роман ныне завершается клеймением Салавата, а жизнь его на каторге уже не показана (о ней до недавнего времени ничего не было известно, и писатель-реалист, очевидно, не захотел ее выдумывать).

Замысел первого романа С. Злобина связан, следовательно, с жизнью автора в Башкирии и его интересом к истории этого края. Он стремился показать социальную сущность Крестьянской войны XVIII века, классовый характер «пугачевщины». Многолетнее общение с башкирским населением, широкое изучение прошлого Башкирии и народного быта позволили ему уловить дух изображаемой эпохи, почувствовать и передать национальный колорит. Поэтому книга убедительно воссоздает накаленную атмосферу грозной эпохи и читается как увлекательная художественная летопись о батыре Салавате.

Писатель рисует своего героя многогранно, он показывает формирование его характера и идейно-нравственную эволюцию. Первая же сцена с участием Салавата (поединок с орлами) предвосхищает в нем будущего батыра: смелость, выносливость, находчивость, помощь товарищу, попавшему в беду. В последующих эпизодах и сценах раскрываются новые нравственные качества героя: правдивость, честность, прямота, великодушие, желание делать людям добро. Причем Салават не стремится стать над товарищами, они сами выдвигают его из своей среды. В первой редакции романа образ главного героя был написан в подчеркнута романтических тонах, реальное изображение нередко подменялось условностью. Не случайно позднее сам автор определил жанр своего произведения как «историко-романтическую повесть об одном герое». Характерная особенность писательской манеры Степана Злобина — начинать изображение судьбы героя с юных лет. «Почему вы всегда начинаете ваши книги с юности ваших героев? — не раз слышал я вопрос от своих читателей, — пишет он в статье «О молодежи». — Потому, — отвечаю я, — что молодость — это пора, в которой формируется так называемая «душа» героя, когда силы его кипят, когда в нем нет желаний покоя и каждое сердечное возбуждение, как и каждый помысел его, зовет к действию, к борьбе за свою правду, к ломке всего отжившего, старого, к которому в молодости еще не образовалась привычка, перерастающая в инерцию»¹.

Любовно воспел С. Злобин легендарные подвиги башкирского богатыря, который, презрев национально-сословные предрассудки, плечом к плечу с русскими повстанцами геройски сражался за интересы угнетенных народных масс. В примечании к первому изданию «Салавата

¹ См. Рукописные материалы С. П. Злобина, хранящиеся в семейном архиве писателя. См. также: И. Козлов, Исторические романы Степана Злобина. (Вступительная статья.) — Степан Злобин. Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М., Художественная литература, 1980, с. 13.

Юлаева» автор писал: «Частично книга основана на исторических документах, отчасти — на краеведческой исторической литературе и в значительной части — на легендарном материале, собранном на родине Салавата... Автор не настаивает, что Салават был именно таков, как изображен в повести, однако глубоко убежден, что социальная историческая обстановка того времени могла создать отношения и характеры, сходные с представленными в книге; иными словами — автор надеется, что за прошедшим столетием сумел разглядеть лицо бунтарей — предшественников организованного революционного движения».

Собирая материалы для «Салавата Юлаева», С. Злобин не мог жить только историей позапрошлого столетия, а был участником социалистической стройки, работником советской промышленности и, естественно, интересы сегодняшнего дня были ему близки и дороги. В свободное от служебных дел время он уезжал в башкирские деревни, где слушал песни, предания, записывал пословицы и поговорки, а в занятые часы и дни общался с советскими служащими — с инженерами, лесоводами, статистиками, специалистами сплава, лесорубами, подрядчиками, землекопами. Запоминал их выражения, мысли, внешний облик; записывал отдельные интересные эпизоды, слова. Эти люди, разумеется, не нашли воплощения в книге о Салавате, но их образы складывались в другую систему. Так у него одновременно скапливался материал для повести «Здесь дан старт», в которой рассказывается о социалистическом строительстве и перевоспитании людей. Здесь много внимания уделено лесам, их устройству и экономике, но писатель боялся перегрузить книгу научно-популярными сведениями. Работа же в лесной промышленности дала ему богатые сведения о лесах, и, чтобы рассказать об этом в занятой форме, он выбрал иной жанр — научно-популярный очерк. Так родилась другая книга — «Пробужденные дебри». Материалы к ней в основном также были собраны во время экспедиций по лесам Башкирской республики.

Незадолго до Великой Отечественной войны С. Злобин значительно переработал свое произведение о Салавате Юлаеве, объем его увеличился примерно в полтора раза, повесть переросла в исторический роман. Возвращение к любимому образу было связано с начавшейся в 1939 году экранизацией фильма «Салават Юлаев» (режиссер — Я. А. Протазанов). Не ограничиваясь созданием киносценария, писатель принимал активное участие и в съемочных работах. Это позволило ему познакомиться с ведущими деятелями башкирского искусства, исполнителями главных ролей в фильме — Арсланом Мубаряковым, Гималетдином Мингажеевым, Амином Зубаировым, Римом Сыртлановым и другими. Консультантами у С. Злобина были видные башкирские ученые, писатели, среди них историк Абубакир Усманов, писатель Баязит Бикбай. Последний вспоминал: «Пристально глядевший на меня голубыми глазами сквозь очки в массивной оправе этот человек показался мне очень строгим. Но это было только первое впечатление. Когда я его узнал поближе, начал вместе работать, внутренняя кра-

сота души Степана Павловича раскрылась мне во всей полноте. А внешний вид, строгость взгляда говорили о постоянной сосредоточенности, серьезности писателя. Он ко всем, а особенно к себе, был очень требовательным. Принципиальность, прямота в спорах и суждениях являлись основной чертой его характера. В ту пору шла подготовка к съемке кинофильма по его роману «Салават». Я тогда был одним из его консультантов. При каждой встрече я находил Степана Павловича за работой, не знающим покоя. Эту замечательную черту характера наш друг сохранил на всю жизнь».

К этому времени С. Злобин был известным профессиональным писателем, автором нескольких книг, и он по-иному взглянул на свое первое произведение. «Подоспевшая к этой поре работа над сценарием для фильма «Салават Юлаев», — пишет С. Злобин в «Автобиографии», — вынудила меня возвратиться к теме моей юности. Я снова поехал в Башкирию, чтобы встряхнуть старое вино и заставить его бродить. И тема «Салавата» вдруг «забродила». Я понял, до какой степени был наивен тот двадцатипятилетний автор детской повести о Салавате, как не сумел он справиться с раскрытием исторического процесса и до чего же необходимо все это сделать заново, совершенно иначе переосмысливая события Крестьянской войны XVIII века. Эту работу я делал параллельно с фильмом, появившимся на экране в 1941 году».

Как справедливо отмечает критика, переработка произведения преследовала цель глубокого, с марксистско-ленинских позиций раскрытия исторического процесса, шла по пути, говоря словами самого автора, превращения «историко-романтической повести об одном герое» в «исторический роман». По-новому были расставлены некоторые идейные акценты, сложнее стала композиция, появились новые эпизоды, сюжетные линии, новые действующие лица. Автор стремился раскрыть, как и почему башкирский народ примкнул к восстанию русского крестьянства. Мысль об интернационализме имела место и в первой редакции произведения, но была выражена слабо. Проблему интернационализма народных масс писатель раскрывает преимущественно через образ Салавата, его идейное и нравственное мужание. Важную роль в этом сыграла встреча батыра с Хлопушей, человеком героической судьбы. Двухлетнее совместное скитание сближает их; видя участливое отношение к себе, вынужденному скрываться от властей в чужом краю, справедливость, непокорность судьбе, веру в человеческое счастье и другие нравственные качества Хлопуши, Салават уже не верит, что все урусы — враги башкир, как это слышал с детства. Весьма существенно также и то, что видит Салават во время своих скитаний, чему учится у жизни. «Автор романа проводит социальное размежевание в духе ленинского положения о двух нациях в каждой нации»¹.

¹ И. Козлов. Исторические романы Степана Злобина. (Вступительная статья.) — Степан Злобин. Собр. соч. в четырех томах, т. 1, М., Художественная литература, 1980, с. 12.

С большой требовательностью и взыскательностью относясь к своему труду, автор не только ввел в произведение ряд новых эпизодов, сюжетных линий и действующих лиц, способствующих более глубокому раскрытию центрального героя, но много поработал и над языком романа. Вторая редакция отличается от первой насыщенностью действия. С увеличением объема исторического материала раздвинулись и рамки произведения.

Во второй вариант своего романа писатель, по словам критика Г. Ленобла, привнес «прежде всего совершенно отсутствовавшее в издании 1929 года изображение противоречий между казаками — с одной стороны, крестьянами, а также угнетенными нерусскими народностями — с другой стороны». С большой художественной силой рисует автор драматическое столкновение Пугачева с казачьими главарями, закончившееся расправой над Лысовым; раскрывает классовую, социальную обусловленность поступков своих героев. Интересна в этом отношении и фигура Бухайра — представителя самых реакционных кругов башкирской феодальной знати. «Бухайр олицетворяет в романе черную, неодолимую ненависть башкирских феодалов к России и русскому народу. Но это лишь одна сторона медали: обратная ее сторона — презрение и ненависть ярого националиста Бухайра к своему родному народу». В столкновении с Бухайром Салават «ясно осознает, что в его народе есть не только различие мыслей, но и различие интересов и желаний. Война между богатыми и бедными, что идет у русских, неминуемо должна вспыхнуть и среди башкир. С этого времени пути «хана» Бухайра и борца за народ Салавата непримиримо расходятся»¹.

Наряду с переработкой романа С. Злобин создал на его основе исторический рассказ для детей «Салават», который до войны дважды был издан массовым тиражом в Москве и Ленинграде; в 1977 и 1981 годах также массовым тиражом рассказ был издан в Уфе. В ту же пору он работал над пьесой «Пугачев»: в архиве писателя хранится рукопись двух картин первого действия пьесы. Другое название этого неоконченного произведения — «Емельян Пугачев, народная драма в пяти актах».

Несколько послевоенных лет жизни и творчества С. Злобина снова связаны с Башкирией: писатель работал в Башкирском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории имени Мажита Гафури (ныне Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР). Тесно общаясь с деятелями башкирской литературы и культуры, он активно участвовал в работе Союза писателей Башкирии, выступал с обсуждениями рукописей книг, рецензировал их. В личном фонде С. П. Злобина, хранящемся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, находятся,

¹ Г. Ленобль. Степан Злобин и его роман «Салават Юлаев». (Предисловие.) — Степан Злобин. Салават Юлаев. Исторический роман. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1973, с. 10—12.

в частности, рецензии на рукописи пьес М. Карима «Свадьба продолжается», Б. Бикбая «Давняя песня», К. Даяна «Эскадрон», Г. Гумера «Светлая река», А. Бикчентаева и Р. Хайруллина «Ускорившие расцвет» и другие. Такая творческая дружба, несомненно, способствовала росту художественного мастерства молодых писателей. С. Злобин близко общался также с башкирскими учеными, переводил на русский язык сюжеты башкирского фольклора. Писателя больше привлекали героические жанры, в какой-то мере связанные с личностью и деяниями Салавата Юлаева; несколько лет он работал над драмой «Салават Юлаев». В 1947 году рукопись ее обсуждалась в Уфе, по замечаниям и пожеланиям автор работал над ней и после отъезда из Уфы в первой половине 1948 года, но пьеса осталась неоконченной.

Завершив начатые еще до войны романы «Остров Буян» (1947), посвященный восстанию городских «низов» Пскова в 1650 году, и «Степан Разин» (1951), удостоенный Государственной премии СССР, С. Злобин вновь обратился к своему любимому герою — Салавату Юлаеву: вторично кардинально перерабатывал роман. Новые исследования советских историков о Салавате и других сподвижниках Пугачева позволили писателю уточнить, дополнить и расширить многие части произведения, и в 1953 году появилась третья, принципиально новая редакция романа «Салават Юлаев». Если в первой редакции основное внимание автора было сосредоточено на главном герое, то в последней образ Салавата Юлаева слит с эпохой, широко и многогранно обрисована его полководческая деятельность, существенным изменениям подвергся также образ Юлая; вновь отшлифован язык романа. «В издании 1953 года,— говорит С. Злобин,— эта книга опять-таки снова переработана в связи с накоплением вновь открытой документации, что повлекло за собою и некоторые сюжетные изменения в романе».

В третьей редакции «Салавата Юлаева» исторически верно воспроизведены типические черты и особенности стихийного народного движения крепостной эпохи, раскрыта могучая сила народных масс. Большое профессиональное мастерство позволило писателю умело сочетать историческую правду с тонким, художественным вымыслом. При этом автор широко использовал башкирский фольклор, что способствовало не только воссозданию местного колорита, но и глубокому раскрытию психологии героев. Однако, как отмечала критика, «некоторые главы книги стали кое-где довольно громоздкими» из-за подробных описаний боев, включенных в новую редакцию романа (Г. Ленобль).

В издании 1962 года С. Злобин вновь продолжил работу над текстом романа: некоторые сцены сократил, другие переписал заново, внес ряд фактических уточнений, подверг стилистической правке. Как видим, с образом Салавата писатель не расставался на протяжении почти сорока лет, и его герой рос духовно и идейно вместе с ростом художественного таланта самого автора. Зрелость Салавата сказалась, в частности, во вдохновенном воззвании к башкирам и русским: «У нас

в сердцах нет злобы против русских. У нас один государь и одни враги. И тот наш враг, кто между нами сеет раздоры, кто русских поднимает на башкир, а башкир на русских. С одним царем во главе, под одним знаменем нам вместе идти против общих злодеев: русских и башкирских воров, кто друг на друга народы хочет поднять, хватайте их и расправу над ними чините!..».

«В основе языковых особенностей произведения о Салавате лежат реалистические принципы подхода писателя к истории,— утверждает Е. И. Кудряшова.— В «Салавате Юлаеве» Злобин принципиально по-новому решает проблему языка исторического романа: писатель отказывается рабски следовать языку канцелярских документов, положив в основу произведения язык народных песен и преданий о Салавате. Отсюда — большая красочность и эмоциональность речи автора и героев»¹.

Итак, сравнение и сопоставление различных редакций романа показывает, как кропотливо и настойчиво работал С. Злобин над своим первенцем, от редакции к редакции углубляя его реализм, усиливая идейное звучание и воспитательную силу. Вместе с тем каждая из редакций по-своему интересна, оригинальна и значительна. Если первая редакция примечательна своим романтическим пафосом, поэтичностью, авторской непосредственностью и непринужденностью, обилием фольклорного материала, то последующим редакциям присуща реалистическая направленность, строго научный подход к решению поставленной в романе проблемы — народ и история. В последних редакциях писатель выступает как зрелый художник и историк, в свете марксистско-ленинских идей художественно воссоздавая историческое прошлое. В центре романа «Салават Юлаев» изображен народ — творец истории, поднявшийся на борьбу против угнетателей. Образы вождей народного восстания Емельяна Пугачева, Салавата Юлаева и других правдивы и выразительны. Выступая продолжателем традиций А. Пушкина, Д. Мамина-Сибиряка, Ф. Нефедова, Р. Игнатьева, еще в прошлом веке воспевших подвиги «пугачевского бригадира, певца и импровизатора», С. Злобин во всей полноте раскрывает духовный мир своего героя, его богатую поэтическую натуру и выдающийся полководческий талант.

Баязит Бикбай вспоминал: «Салават Юлаев» возвестил о приходе в русскую советскую литературу талантливого, смелого писателя, и нам молодым башкирским писателям, показал хороший пример того, как создавать большие полотна из жизни исторического прошлого своего народа. Видный поэт и драматург, активный общественный деятель того времени Даут Юлтый, как мне кажется, многому научился у Степана Злобина при создании своей драмы о Салавате. Сам я,

¹ Е. Кудряшова. Степан Злобин как автор исторических романов. Критико-биографический очерк. Белгород, 1961, с. 19.

позднее, в 1938—1939 годах, когда начал работу на эту тему, не раз обращался к опыту С. Злобина».

Степан Павлович Злобин был духовно богатым, мужественным и скромным человеком. Велико было его личное обаяние. Помнится, во время продолжительной беседы с ним в 1960 году, с какой страстной увлеченностью рассказывал он мне о своем новом романе — «Пропавшие без вести». В ту пору это произведение всецело владело им, а его письменный и круглый столы, а также часть дивана были буквально завалены рукописными и машинописными страницами рождающейся книги. Теперь-то я хорошо понимаю, почему мне трудно было тогда направить нашу беседу в желательное для меня русло (естественно, меня, составителя пятитомной антологии «Башкирия в русской литературе», больше занимали «башкирские» страницы жизни и творчества писателя); ясно осознаю также то, какую добрую услугу оказала та встреча со Степаном Павловичем в усилении моего интереса к его яркой личности и самобытному таланту. Недавно на вечере памяти С. Злобина, где собрались его родные и близкие, вдова писателя Виктория Васильевна сказала: «Степан Павлович любил повторять, что он счастливый человек, что если бы не вспышка туберкулеза и не поездки по районам Башкирии, он не написал бы «Салавата Юлаева»; если бы не война и три года фашистского плена — не было бы и «Пропавших без вести»; не будь нескольких недель ожидания в плену виселицы, — вероятно, не сумел бы написать последних дней Степана Разина...» Эта горькая шутка писателя как бы подтверждает слова Баязита Бикбая: «Степан Павлович не любил жаловаться ни на жизнь, ни на свои недуги».

«Пропавшие без вести», — говорил С. Злобин, — это более трех лет моей собственной жизни, прошедшей на фронте и в фашистском плену в лагерях смерти, где погибли сотни тысяч советских людей, главным образом молодежи. В своей книге я хотел рассказать правду об этих людях, о том, как случилось, что они не вернулись домой, что было с ними, когда они очутились по ту сторону железного, огненного и свинцового занавеса войны, который сделал их безвестными. В сердцах этих измученных и угасавших людей, превращенных в живые скелеты, не умирала уверенность в том, что родина победит, что фашисты будут разбиты... Тысячи пленников соединялись в подпольные группы, чтобы сохранить единство советских людей, волю к жизни и самую жизнь! Неугасимой памяти погибших, чести и мужеству тех, кто выстоял, посвящаю я свою книгу «Пропавшие без вести». Этот объемистый роман в двух томах был издан в 1962 году.

Творческис, деловые и дружеские связи С. Злобина с Башкирией продолжались в течение всей жизни, поэтому-то писатель любил наш край как свою родину. И отнюдь не случайно, что основные события в последнем романе С. Злобина «По обрывистому пути», посвященном становлению коммунистической партии России, происходят в уральском промышленном городке, прототипом которого послужила Уфа, хорошо

знакомая автору с детских лет. Роман «По обрывистому пути» — первая книга оставшейся незавершенной дилогии «Утро века» — был издан уже после смерти автора — в 1967 году. Размышляя о судьбах народов России и мира, волнуясь извечными проблемами свободы и счастья, писатель колоритно рисует те обрывистые пути, по которым идут его уфимские герои — люди мужественные и смелые, самоотверженно борющиеся за утро Нового века, озаренного лучами ленинских идей.

...Прошло более полувека с выхода в свет первого издания романа «Салават Юлаев». Он сразу же стал популярным, неоднократно переиздавался, был переведен на многие языки народов СССР и ряд иностранных. На башкирский язык его перевел народный поэт Башкирии Рашит Нигмати. Не одно поколение молодежи восхищалось мужеством и благородством башкирского батыра и его соратников, немало юношей и девушек испытало на себе благотворное влияние героев С. Злобина. С чувством глубокой благодарности замечательному русскому писателю, первым в советской литературе воспевшему национального героя моего народа, хочется закончить эти заметки.

М у р а т Р а х и м к у л о в

В широкой зеленой долине, которая лежала между двух горных хребтов Урала, закат отгорел, и последние отблески его угасали над гребнями гор, когда Юлай, старшина Шайтан-Кудейского юрта Сибирской дороги, окруженный сыновьями и сродниками, приготовился к рассказу о своей юности. Он откашлялся и разгладил седоватую бороду, поглядел на стоявший перед ним широкий деревянный тухтак, наполненный до краев кумысом, но не протянул к нему руки; поднял глаза и молчаливо обвел из-под лохматых бровей взором синеющие вдали каменные груды Урала, скользнул взглядом по начавшим уже расплываться в сумерках лицам родных и подчиненных и глубоко вздохнул...

Все ждали. Старики братья, опустив бороды к самым коленям, тесным кругом сидя на подушках, сыновья и племянники, юноши с искрящимися глазами, в необычной для молодежи тишине, потому что все знали, что рассказ будет о битвах, о войне, в которой Юлай сам принимал участие; бедняцкая молодежь, оборванные пастухи, дальние родичи и слуги, допущенные к кошу старшины, замерли в привычной почтительности к нему, самому богатому человеку и главе рода.

Старшина еще раз откашлялся, вздохнул и повел рассказ:

«С той поры прошло тридцать кочевков. Ровно три десятка раз люди оставляли зимовье и выезжали в степи. Я был тогда вот таким юношей, — указал старшина на своего среднего сына, сидевшего тут же. — Во мне кипела и пенилась кровь, она струилась так быстро, как воды Иньяр-елги.

Тогда была большая война. Башкиры не захотели слу-

шать русских и выбрали себе хана Кара-Сакала, но не хан был самым главным в этой войне.

Я знал хорошо человека, задумавшего ее. Это был старшина Аланджангул. Он был грамотей и хорошо знал коран. Это было в гостях у моего отца на празднике сабантуй; так же, как сейчас, гости сидели на кошмах и подушках, и совсем свечерело. Все слушали рассказы батыров о сражениях с гяурами и кайсаками. Занятней всех говорил дальний гость Салтан-Гирей, которого в первый раз привел в кош отца моего старый знакомец Аланджангул. В тот день Салтан-Гирей натянул богатырский лук Ш'гали-Ш'кмана.

Когда гость кончил говорить, все молчали, и все выпили по глотку кумыса, потому что от его рассказа у всех пересохло в горле, как после настоящей битвы.

Тогда его друг, Аланджангул, сказал рассказчику:

— Салтан-Гирей! Ты храбрый. Ты не раз бился с неверными. Они отняли у тебя нос, левое ухо и мизинец правой руки, но они не смогли отнять храбрости. Красота нужна луне и женщине, солнцу и мужчине нужны жар и сила. Салтан-Гирей! Кровь твоя горяча, как огонь солнца, ты натянул лук Ш'гали-Ш'кмана. Будь нашим ханом. Мы оденем тебя в шелковые одежды!..

И все засмеялись, потому что были пьяны и веселы и утомились долгим молчанием во время рассказа Салтан-Гирея.

Я не мог смеяться. Я был еще молод, чтобы смеяться при старших. Я подавал теплую воду для омовения рук гостям, а мой младший брат носил за мной расшитое полотенце. Нам было тоже, как всем, смешно подумать, что у нас будет безносый хан, но мы удержались; когда же я пошел за водой, брат мой убежал за кош, и мы хохотали вдоволь, катаясь по росистой траве.

Прошла зима. Опять наступило время кочевья, и вот от коша к кошу табунами помчались вести, что явился в степях Кара-Сакал-батыр, могучий воин и мудрый человек, который обещал освободить башкир от власти гяуров.

Говорили, что сам он родом с Кубани, где властвует его брат Гирей-хан, и что этот хан обещал привести башкирам на помощь свои войска. И народ захотел воли, по жилам башкир полилось вместо крови расплавленное железо, хотя недавно еще горько окончена была война и у многих сочились незажившие раны.

Ай-бай! Страшно было тогда!
Брат брату не мог верить.



Русский начальник Сайман¹ запугал башкир пытками и мучениями, и из страха они выдавали друг друга!

Хуже было: верные русской царице тарханы писали доносы на своих недругов русскому начальнику: вот, мол, такой-то батыр против русской царицы бунтовать хочет, хочет силой отнять башкирские земли.

Тогда приезжали солдаты и увозили человека в город — в тюрьму.

Тарханы, у которых во время прежней войны бунтовщики отняли много добра, теперь требовали его назад, и русский начальник велел отдавать им. Простые башкиры совсем пропадали.

В это время русским начальником в Уфе был хитрый человек Кирилов. Он сказал: «Который башкурт станет про бунт доносить, того тарханом сделаю». И вот все недобрые люди стали писать доносы, и правильные и неправильные, только чтобы получить тарханскую грамоту, чтобы не платить ясак царице и своих же братьев башкир безнаказанно грабить.

Еще начальник послал солдат собирать для царицы лошадей за прежнее восстание, и тех лошадей называли «штрафные лошади».

Так разоряли башкир. И вот слово такое пошло:

— Кара-Сакал-батыр не велит штрафных лошадей отдавать гяурам и не велит уступать русским землю.

— У Кара-Сакал-батыра кунак, старшина Сеит, всех, кто скрывается от начальства, в свой юрт принимает.

— Кунак Кара-Сакал-батыр, старшина Алдар, генеральскую грамоту, где сказано — за восстание деньги большие собрать, на пол бросил и деньги начальникам давать не велит.

К осени возвратились с кочевья. Тогда стали чаще приезжать к отцу богатые, знатные гости. Нас, молодых, высылали из дому и сами тайно совещались, а мы, как волки, почуяли, что будет кровь, и, не говоря старикам, стали точить кинжалы, стали готовить стрелы...

В первый раз зимой нам пришлось показать удаль. Вечером отец призвал меня к себе и сказал:

— Ишимбет, каратабынский старшина, написал донос на Алдара начальству. Сын его повез бумагу в город; его надо догнать сегодняшней ночью и бумагу отнять.

Я не дослушал отца, и когда он кончал слова, я уже сидел на лошади. С двумя товарищами помчался я через горы, с утеса на утес. Из-под конских копыт вырывались

¹ Генерал-майор М. Я. Соймонов.

камни, и мы уже не слышали, как они достигали дна ущелий. Встречные ветки секли нам лица, через юркие речки, не застывавшие и зимой от быстроты течения, мы не проезжали, а перелетали. Луна гналась за нами, вспотевшая и высунувшая язык, а ветер отставал позади, как хромая кляча. К концу ночи луна показала нам всадника. Мы не кричали ему остановиться, но спустили вдогонку три стрелы. Он упал с седла, его лошадь умчалась дальше. В шапке убитого изменника мы нашли донос, и, прежде чем наступило полное утро, все трое уже спали, каждый в своем доме.

После этого приезжавшие к отцу гости уже не выгоняли меня из избы, когда заводили беседы с отцом.

Я узнал, что Кара-Сакал-батыр, пришедший с Кубани, наречен стариками башкирским ханом.

Однажды отец разбудил меня ночью и сказал:

— У меня гости: русский поручик и солдаты. Я зарезал для них барана. Пока они будут жрать, скачи к Сюгундек-Балтаю, у него гостит хан. Скажи ему, что урус-офицер и сорок солдат ищут его.

Я помчался и летел быстрее, чем в первый раз. На этот раз ветер дул мне в лицо, и лошадь подо мною задышалась, как и я сам. В степи, на границе нашего юрта, я увидел табун и остановил коня. Он тотчас упал мертвым. Я изловил молодого жеребца в табуне. Почувяв чужого, он чуть не убил меня. Ко мне подбежал старик с топором, думая, что я вор, и я только сказал ему:

— Надо спешить. Урусы ищут хана.

Старик бросил топор и сам оседлал для меня присмиревшего под его рукой жеребца. Я помчался дальше. За одним поворотом дороги под копыта жеребца подвернулся непроворный волк. Он взвизгнул, как щенок, и остался лежать со сломанным хребтом, однако у моего жеребца он успел вырвать клочок мяса из брюха.

С первыми лучами солнца я был у дома Сюгундек-Балтая. В доме еще спали. Я разбудил хозяина. Он позвал меня в дом, растолкал хана, и я увидел человека без носа, с отсеченным ухом и срезанным мизинцем. Это был хан Башкирии Кара-Сакал. Я сразу узнал в нем Салтан-Гирея, которого приводил в кош отца моего Аланджянгул. Хан тоже узнал меня и сказал:

— Большой рахмат передай отцу. А пока останься и подкрепишься бишбармаком.

Увидев моего коня, хан покачал головой, а когда узнал, откуда рана у него на брюхе, засмеялся.

— Ты ловкий жягет, Юлай, — сказал он. — Я много скакал, но ни разу не раздавил волка!

Мы уже поели, когда в дом прибежал пастух с криком, что по дороге едут солдаты.

Безносый батыр засмеялся, выходя в конюшню.

— Отдай им наши объедки, — сказал он, — пусть пожирают, и скажи, что хан оставил им угощение.

Мы вышли во двор и уехали через задние ворота дома.

Всюду рыскали солдаты, искали хана. Но аллах помог ему. Много раз солдаты доедали еще не остывший ханский бишбармак. Много раз нюхали теплый помет его жеребца.

С первой снеговой водой с гор прилетел ветер, развернувший зеленое знамя восстания.

С громом первой весенней грозы шарахнулись табуны от выстрелов.

С первыми каплями дождя пролилась первая кровь урусов, с первым горячим проблеском солнца горячей засияла сталь оружия.

В дом моего отца приехал Зиянчур-батыр. Он призвал жягетов следовать за собой, туда, где царица хотела строить новый каменный город на реке Орь. Травы еще не было, местами еще лежал снег, и зеленое знамя, вздетое на конец копья, стало первым вестником зеленой поры в степях.

Мы мчались подряд три дня — из степей в горы, из гор в степи. На четвертый день у нас болели ляжки и чесались зады, но слезать с седел было не время. В долине возле Урал-тау, в большом ущелье, мы застали жаркое лето. Здесь уже не было снега. Из ущелья от множества людей поднимался пар, смешанный с дымом костров. Со всех сторон сюда съезжались удальцы.

Возле белого утеса, в конце ущелья, стоял ханский кош. У коша были привязаны кони. Спешенные всадники толпились тут же. Небольшие отряды воинов куда-то в возбуждении уезжали, толпы конников приезжали из разных юртов, с разных дорог.

Ущелье стало сердцем Башкурдистана.

К вечеру того дня, как мы приехали в долину, когда еще не пришла пора совершать намаз, но уже склонялся день, хан вышел к народу. Широкое лицо его было украшено черной бородой, нос обрезан наискось и левое ухо срезано прочь, но он был велик и страшен. Одет он был поверх шубы в белый сермяжный санша, в лисью шапку с зеленым верхом; на ногах его были белые сапоги. Он сказал:

— Башкиры! Вы не собаки. Гяуры держат вас как собак. Они отнимают у вас земли и вырубают ваши леса. Вы хотели бы сойтись, обсудить все свои дела, но не смеете собираться вместе, потому что начальники боятся бунта. Среди вас нельзя жить кузнецу, потому что царица боится, что кузнец сделает стрелы; вам не велят торговать с соседями: ни с татарами, ни с чувашами, потому что гяуры страшатся мятежной заразы. Вам запрещено родниться с другими народами, потому что собаки царицы боятся, не стали бы другие народы с нами вместе воевать за свою свободу. Царица велела строить на вашей земле крепость. Здесь вас много сотен жягетов. Слушайте! Ваши старейшины нарекли меня ханом, — хотите ли вы идти со мной против гяуров? Царица воюет сейчас с турецким султаном и не сможет послать против нас много войска.

Народ закричал страшно. Кони взвизгнули от испуга. Горы откликнулись воинам и животным. Хан рукой остановил крики.

— Здесь вас сотни, — сказал хан. — У моего отца на Кубани тысячи воинов и десятки тысяч. Я — брат зюнгорского хана, у него тысячи воинов. Кара-калпаки мне союзники; у них тысячи воинов. Кайсацкий Джанбек-батыр — мой кунак, у него тысячи воинов. В Ногайской орде, по реке Атынтурка, под горой Чугакас, стоят восемьдесят тысяч воинов. Они ждут, когда откроются летние дороги, и придут нам на помощь. На небе аллах — тоже с нами! Разрушим новую крепость и разобьем солдат!

Снова все закричали. Хан помолчал, погладил бороду и сказал:

— У кого есть ружья, подымите их кверху!

Воины подняли ружья. Было тихо. Хан считал правой рукой, и видно было, что у него не хватает мизинца.

Поднявшие ружья были горды и довольны собой. Хан сосчитал и сказал вслух:

— Сто пятьдесят ружей.

Он задумался.

У остальных были луки и стрелы, копья, секиры, палицы, топоры, косы, вилы, кинжалы, и у всех была еще смелость.

.

Мы ожидали подкрепления с Кубани. Восемьдесят тысяч воинов, идущих к нам в помощь, стали для нас надеждой, они стали нашей храбростью и, еще не успев прибыть, удесятерили наши силы. Русская царица испугалась нашего мятежа. Она сказала своим начальникам:

— Кто будет мало жесток с башкирами или кого они победят, будет наказан.

И царские солдаты, врываясь в наши селения, если кого заставали, того по приказу начальников убивали, а деревни сжигали.

Мы платили им, как велел пророк: изловив солдата, мы с него сдирали кожу, мы его истязали и мучили. Мы жгли их живьем, вешали за шею, секли головы, ломали кости живым и отрезали уши и носы.

Заводы, построенные на наших землях, мы сжигали. Рабочие люди с заводов бежали от нас прочь, едва только мы подходили близко, но наши стрелы и пули их настигали в лесах и ущельях.

Мелкие крепости пали перед нами, солдаты были истреблены.

Гонцы из разных мест вскоре примчались к нам с вестью, что нас окружает большое войско царицы.

Тогда в степи, где мы находились, раскинулся ханский кош. Салтан-Гирей с начальниками ушел под войлочную кровлю.

Воины ожидали решения старших и говорили, что вот хан пошлет гонцов на Кубань, чтобы скорее пришло войско; иные же осторожно шептали, что хан — изменник и никто не придет к нам на помощь.

Это говорили многие, но я не слышал. Когда я впервые услышал, то взял ружье и застрелил говорившего. Это был сын брата моей матери. Он упал с разбитой головой. Я сказал:

— Изменник! Змея! — и я плюнул в лицо убитого.

Бывший со мною мой кунак посоветовал:

— Пойдем, Юлай! Ты убил брата, и отец его убьет тебя. Пока не поздно, проси защиты у хана.

Мы яришли к ханскому кошу, я и мой кунак, и мы дождались конца совета. Тогда хан, выйдя, спросил нас, что надо, и кунак рассказал о моем проступке.

Хан усмехнулся в черную бороду и взглянул на меня.

— Напрасно ты берешься за мои дела: я сам должен был убить его. Делать нечего. Судьба отняла у тебя брата, — вместо него отныне братом твоим буду я. Ты оставайся всегда при мне.

Так я стал братом хана Салтан-Гирея, названного Кара-Сакалом.

На ханском совете было решено собрать всех башкир вместе, чтобы гяурскую силу встретить не меньшей силой. Аланджангул и Зиянчур оставили войско и поехали собирать воинов. Слухи о приближении гяуров каждый день

возобновлялись. Сначала гяуры шли на Сакмарск и Губерлинские горы, а потом внезапно повернули влево и, дойдя до Тамьянского юрта, остановились при Тархангуле.

Невдалеке расположились и мы, ожидая прибытия помощи.

Однажды ночью хан разбудил меня.

— Юлай, — сказал он, — что мне делать? Ты молод, однако не глуп — советуй. Ты мне брат. Гяуры утром пойдут на нас, а подкрепления не будет: Аланджянгул и Зиянчур попались в руки русских начальников.

— Хан, — сказал я, — что значат два человека?! Разве не идут к нам восемьдесят тысяч воинов с Кубани? Разве не придут на помощь нам Джанбек-батыр и каракалпаки?!

Тогда хан с горечью засмеялся.

— Сядь, — сказал он мне, указывая на шелковую подушку. — Сядь и слушай меня.

— Ты брат мой, Юлай, — сказал хан, — и ты мой свидетель. Ты еще год назад смеялся, как сам я, над тем, что я буду ханом. — Кара-Сакал увидел мой испуг и улыбнулся. — Я не сержусь. Я сам смеялся тогда, и вы с братом смеялись за кошем твоего отца. Как же — безносый хан! Аланджянгул грозил мне и заставил назваться ханом. Он говорил, что турецкий султан обещал дать денег на войну против гяуров. Это не я стал ханом, а он. Моя молодость темная, и никто не знает меня. Аланджянгула знали все. «Как простой башкирин станет ханом? — сказал он мне. — Другие тоже захотят!» А меня никто не знал. Я не знатен. Я был в Турции и на Кубани. Я воевал с кайсаками, и они продали меня в Бухару, где я был рабом. Когда я вернулся, моя речь стала не похожа на нашу родную речь: я говорил как чужеземец. Аланджянгул приютил меня и взял к себе в пастухи. Я жил с его овцами в бедности. Хозяин дал мне калым, чтобы я мог жениться. За этот калым я сделался его вечным покорным рабом. Его должник, я не смел послушаться хозяина. Аланджянгул заставил меня назваться ханским сыном, и я назвался. Я отдавал приказы народу. А сам Аланджянгул повелевал мной. Он угрожал мне смертью, и, если бы Зиянчур и его кунаки не следили за мной, я бы убил его год назад, потому что я не хотел быть ханом. Теперь для меня уже нет пути назад. Аланджянгул попал к гяурам, и я остался ханом башкир. Так хотят башкирские баи. Им все равно, кто поведет за них наш народ. Им нужна свобода, чтобы торговать с хивинскими и бухарскими купцами. Новая крепость преградит пути для дешевых товаров. Когда у ца-

рицы была война с турками, мы восстали. Теперь война кончена. Русские начальники говорят, что все войны, сражавшиеся с турками, идут против нас. Они грозят истребить всех башкир.

Я видал недавно, как карга клевала издыхающую крысу. Крыса вздрагивала, а карга спокойно наслаждалась, выклеывая ей глаз. Карга — это царица, а крыса — башкиры. Уруссы выключают наши глаза и нашу печень! Я был раньше рабом бухарского купца, и я был после рабом своего советника Аланджангула. Я не был никогда повелителем и не умел быть им, хотя умею быть воином и сумею умереть под знаменем ислама.

Аланджангул пропал, и я не рад этому, хотя хотел его смерти год назад. Теперь Азраил простер меч свой над нашим народом...

Когда хан замолчал, в ушах моих заскулила укорами кровь убитого брата, и дрожащим голосом я спросил Кара-Сакала:

— Скажи, Салтан-Гирей, а наши союзники на Кубани?

— Это «воины моего отца», — ответил хан, — их так же, как отца моего, выдумал Аланджангул.

— А кайсаки? — продолжал допытываться я.

— Кайсаки отказали в союзе безродному башкирину, они кочуют до самой Кубани и знают всех ханов. Они засмеялись и не поверили выдумкам о моем отце.

— А кара-калпаки? Ты же сказал, что их тысячи... Кара-калпаки!! — Мой голос дрожал, когда я допытывался: кровь убитого брата стучала у меня в висках, и я хотел убить хана.

Кара-Сакал засмеялся.

— Малай, — сказал он, — разве можно из одной черной бороды сделать тысячу черных шлемов? ¹ Кто пойдет в союзники к бедному пастуху Миндигулу из Юмартынского юрта по Ногайской дороге?!

Там, на речке Сулучуку, у него есть мать. У нее нет воинов. Там у него были братья. Оба убиты. Там есть у него жена. Но что даст она войску? А дети бедного Миндигула, «ханские» дети, они слишком молоды еще, чтобы отдать свою кровь на войне.

Пастух Миндигул был рабом.

Он убил хозяина-купца и бежал через пустыню; он видел много восходов и закатов, прежде чем пришел домой,

¹ Игра слов: кара-сакал — черная борода, кара-калпаки — черные шлемы.

и он видел много людей. Он пришел домой, чтобы пасти баранов.

Гяуры отняли у него нос. Кайсаки отняли ухо. Хивинский господин отнял у него палец, а родные братья башкиры отняли честь. Они сделали его обманщиком своего народа!

— Вот, знаешь ты все, брат «хана». Скажи, младший брат, что делать повелителю башкир? — заключил Кара-Сакал.

Я молчал. Сердце мое возмутилось. Что мог сказать я? Я сжимал рукоять ножа.

— Тебя казнят, Миндигул! — это я сказал тихо. И еще тише я сказал: — Многие говорят, что ты обманщик и что тебя надо выдать гяурам. За голову Аланджангула обещали пятьсот рублей. За твою дадут больше. Беги, изменник народа! — сказал я и ждал. Если бы он согласился, мой нож пронзил бы его сердце.

Кара-Сакал задумался и долго молчал. Но вот встал он и стал выше ростом на целую голову.

— Малай! — сказал он гневно. — Кто должен бежать? Я — воин, а не баба! Я — хан! Кто предаст меня? Уже воины отца моего подходят к Уралу. Их восемьдесят тысяч! Только две дороги башкир еще не пристали ко мне, и они будут наши! Русский начальник лжет, что война с турками кончена, и двуглавый урод с гяурского знамени своими крыльями не заслонит полумесяца на зеленом знамени пророка! Я поведу свой народ к победе и славе!..

Еще за несколько мгновений до того я готов был убить раба Миндигула, теперь я отдал бы за великого хана три жизни, если бы аллах даровал их мне. Нож выпал из моей руки. Передо мной стоял не раб бухарского купца — это был великан-батыр.

— Карагуш, — сказал я. — Хан башкир!..

И я опустил глаза в землю.

Кара-Сакал усмехнулся.

— Я — карагуш, а ты — мой младший брат. Подыми свой нож.

Он взял лук. Долго выбирал стрелу в колчане. Наконец выбрал лучшую, вышел из коша, натянул тетиву до отказа и спустил первую вестницу Азраила в лагерь гяуров. А я крикнул:

— К оружию! К оружию!

Мы сражались. Это был первый бой с русскими, и они отошли под нашим ударом.

В эту ночь к нам прикочевали с женами и детьми еще три юрта башкир — Табынский, Кубеляцкий и Катай-

ский — и еще приехали вестники от двух юртов — Киргизского и Дуванского — и сказали, что вот освободятся ущелья от воды и они придут к нам.

Сила наша росла...

Но русские тоже не дремали. Хотя они и лгали про мир с турками, но у царицы было множество воинов. Она прислала на нас казаков с Яика и с Днепра — реки, которая течет далеко к закату, и она прислала много солдат и пушек, и вот еще не успели очиститься дороги от воды в горных лощинах, еще не везде растаял снег, а победа изменила нам.

Велик аллах в гневе и в милости!

Русский командир Языков напал на нас с казаками и солдатами, другой командир, Арсеньев, пришел на помощь ему, а нас оставил аллах.

Нам оставалось отойти назад и ждать, пока придут две приставшие к нам дороги. Чтобы отойти, надо было двигаться по пути на Свибинский юрт через крепость Чабайкул, но собаки русской царицы, изменники-тарханы, заняли эту дорогу.

Хан советовался со мной. Мы решили скрыться в лесу при истоке Усень-елги, где много гор и камней. Но гяуры не дали нам дожидаться, пока реки войдут в берега и воды успокоятся; они окружили нас крепко, как кольца аждаги. И вот от нас уехала целая толпа трусов и изменников к тарханским собакам, и они звали с собой остальных и кричали Кара-Сакалу, что он — обманщик и самозванец.

Их было около ста человек. Когда они уехали, хан, опустив голову, долго сидел в коше, потом позвал меня.

— Нельзя, чтобы русские узнали, что у нас нет согласия, — сказал он. — Ни один из изменников не должен дойти до «верных», ни один из них не должен остаться в живых... Делай, как знаешь!

Я понял хана. Я собрал пятьсот человек; из них было двести с ружьями. Мы сели на коней и еще до заката, обогнав изменников по самым трудным дорогам, хотя погубили в пути лошадей, заняли ущелье, где лежал их путь. Мы поступили с ними, как раньше с войсками старшины Булара; разница была в том, что из них мы ни одного не оставили живым, мы убили также бывших с ними семнадцать женщин и много детей. Мы добились всех раненых, и никто не узнал от изменников, что среди нас есть несогласие.

Когда я сказал обо всем хану, он вздохнул.

— Мы поступили неверно, Юлай! — ответил он. — Разве можно завтра убить тысячу человек, если они захотят

нас оставить? Ворона клюет живую крысу, а блохи, которые жили в ее шерсти, боятся и убегают!

На нас напали в первую же ночь после этого русские начальники Арсеньев и Языков. Мы бежали так поспешно, что оставили наши коши и едва успели уйти за Кызыл-елгу.

Татарин Торбей шел с тысячью казаков против нас из Верхнеозерной крепости. Гяурский князь Урусов, большой начальник, шел с полдня от Сакмарска.

Хан был прав. Прошло три дня после первой измены, и снова от нас бежали многие, но, боясь, что их постигнет та же судьба, бежали ночами, тайно, чтобы никто не знал, и предавались гяурам.

И вот пришел день: гяуры соединили силы.

Аждага, сестра шайтана, крепко сжала кольцо. Хан говорил с воинами. Он сказал:

— Аллах поможет нам победить. Будьте смелы. Если же видно будет, что не устоять, то бегите за Яик; там ждет мое войско — восемьдесят тысяч воинов.

Тогда один башкирин громко засмеялся и многие закричали:

— Обманщик!

— Надо тебя выдать русским!

— Мы будем сражаться только потому, что все равно теперь нас казнят!

— Изменник!.. Убьем его!..

В этот же миг из леса раздалась выстрелы: гяуры опередили нас и напали первыми.

Они были страшны громом ружей. Многие наши кони были только что взяты из табунов, и они пугались стрельбы. Нужно было сойтись врукопашную, и тогда еще неизвестно, кто победил бы. Хан бросился первым навстречу выстрелам и прокричал, как призыв, имя аллаха.

Мы ринулись за ним сквозь деревья. Кони наши спотыкались о корни и раздирали груди ветвями кустарника. В безумии отваги мы не заметили хитрости гяуров, мы не поняли их обмана: никто не отступал перед нами, никто не шел нам навстречу; мы сами отдали себя во власть врага! Солдаты были на деревьях. И, думая, что мы идем навстречу врагу, мы оказались под дождем пуль, хлынувших на наши головы с вершин леса. Для того чтобы стрелять вверх, мы должны были подымать головы и получать заряды в лицо или в горло, не прикрытое булат-саутом.

Аллах отступился от нас. Хитрый командир батыр Павлуцкий поймал нас в сети.

Гяуры спрыгнули с деревьев и оказались внезапно со всех сторон вокруг нас. Их конница подходила из речной долины с двух сторон. Перед нами лежал путь в горы или в степь.

Убегать всегда хочется под гору, и мы под выстрелами бросились вплавь через Яик в степи.

Несколько дней в беспорядке, смятенные, мы уходили от воинов Павлуцкого. Солдаты и казаки преследовали нас до реки Тобол, не давая нам передышки. Усталые воины наши становились слабы сердцем, как женщины, и, покидая войско, сдавались в плен гяурам или разбегались по степи, чтобы отдаться кайсакам.

Имя аллаха славно! Сам пророк бежал от своих врагов, и год бегства его из Мекки свят. От него же ведется исчисление лет правоверными.

Мы бежали.

Начальник гяуров послал кайсакам грамоту, чтобы нас поймали, и обещал им за то подарки и милости.

И вот, когда уже солдаты из-за усталости лошадей не могли гнаться за нами, когда мы считали себя в безопасности и спокойствии и стали на ночлег на реке у подножия Улькиям-Бен-тау, ночью напали на нас, сонных, кайсаки Букенбай-батыра и, связав нас, взяли, а многих убили.

Салтан-Гирей, отбиваясь, вонзил в грудь одного кайсака свой кинжал, а кайсак ударил его ножом в плечо и ранил. Я тоже был ранен. Мы ожидали, что нас выдадут русским и те нас казнят, но Кара-Сакала выкрали ночью его кунаки, а нас, оставшихся, кайсаки продали в рабство хивинским купцам, которые пришли с караваном.

Я год жил в плену у хивинского купца. Я был рабом. Рабство тяжело башкирину, но нельзя рассказать все муки сразу. Я не стану говорить об этом сегодня.

Через год я с караваном шелков пришел в Ногайскую орду, бежал от своего хозяина и стал пробираться на Урал.

Я шел через джунгарскую землю. В это время джунгары воевали с кайсаками, и меня поймали кайсаки, говоря, что я соглядатай. Я сказал, что не джунгарец, но башкирин и бежал из Хивы, однако они не поверили и потащили меня на пытки.

Меня вели на веревке, привязанного за шею к седлу, когда встретился богато одетый всадник.

Кайсак, который вел меня, сказал:

— Вот брат джунгарского хана. Скоро он прогонит его и будет царствовать, а та собака, теперешний хан джунгарцев, которому ты служишь, будет казнен, как и ты.

Я взглянул на будущего хана джунгар и узнал его: у него не было носа и одного уха, и у него была большая черная борода:

Я крикнул ему:

— Кара-Сакал! Брат! Я — Юлай! Вели отпустить меня!

Он вздрогнул и оглянулся, сдержал своего коня и сказал обратясь не ко мне, а к воинам, которые тащили меня:

— Я не знаю этого человека. Рыжий кобель его брат! Дайте рабу плетей за такую дерзость!

А когда кайсак ударил меня плетью и рассек мою спину до крови, хан усмехнулся:

— Хочешь братом быть знатному человеку, ты, придорожная грязь!

— Салтан-Гирей, ты не узнал меня? Я — Юлай! — проstonал я с мольбою.

— Мое имя Чогбас — хан Пресветлый, поганый раб, — ответил он мне. — Бейте раба плетями за то, что он не знает моего имени, — сказал он воинам.

И они били меня плетями и заставляли бежать за конем, пока я не упал, потеряв слух и зрение. Ночью меня подобрал нищий старик, затащил в свой камышовый шалаш и привел в чувство. Он вывел меня в степь и указал мне тропу через степи к родному Уралу...

Больше я не видел неверного, лживого хана и не слышал о нем...

Когда я пришел домой, мой отец готовился к смерти. Он заявил меня бежавшим из плена от кайсаков. Русский начальник долго выпрашивал меня и отпустил.

Велик аллах!

Когда у царицы была война с прусским ханом, она позвала башкир на войну. Я поехал и смело дрался, я получил медаль за войну и стал сам начальником. Потом я вернулся домой и с тех пор живу спокойно.

Прошли года, и вот я стал старшиною юрта.

Вот я был батыр, а теперь я слуга царицы. И нет больше батыров, смирился народ.

Лук Ш'гали-Ш'кмана лежит на дне сундука, и кто из вас натянет его?! Кто избавит народ от беды и неволи!?»

Юлай замолчал. Молчали и окружавшие, словно тяжелым камнем придавленные рассказом о жестокой корыстной лжи хана.

Старший сын Юлая, Ракай, вынул курай из рукава, прослюнявил камыш у клапанов и, приложив его в угол рта, загудел медлительную, как мед, и дикую, как степной табун, бессловесную песню.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Светало. Из горной теснины, где рвалась и клочкотала между камнями речка, подымался клочьями бородатый туман, цеплялся за скалы, тянулся по кривым лапам сосен и ползал огромной змеей по долине правого берега.

Лошадей не было видно. Если бы не знать, что по берегу ходит табун, то их можно было принять за сказочных чудищ, обросших туманом, как шерстью.

В высокой росистой траве нырнула собака. Почувяв знакомый запах, жеребец, вожак табуна, фыркнул и спокойно сощипнул из-под ног пучок росистой сочной травы. За собакой появился из тумана человек. Но запах его вожаку табуна был тоже знаком, как запах собаки, и жеребец, не тревожась больше, махнул хвостом и густо, бодро заржал. Молодые жеребчики в табуне вторили ему весело и крикливо. Вожак табуна потянулся мордой к пришедшему человеку, ожидая привычной подачи.

— Ай ты хитрый какой — догадался! — засмеялся человек, протянув жеребцу половину лепешки, которую тот осторожно взял из рук одними губами.

Другой половиной лепешки человек подманил молодого гнедка, и как только тот доверчиво потянулся к приманке, как тотчас тугая петля волосяного аркана обвила его шею. Жеребчик рванулся, попробовал вскинуться на дыбы, но, затащив еще крепче петлю, растерянно остановился, и не успел он опомниться, как тотчас был ловко взнуздан, и всадник, уже вскочив ему на спину, свистнул... Жеребчик попробовал снова вскочить на дыбы, но, осаженный крепкой привычной рукой, опустил передние копыта, сделал несколько капризных скачков и, дрожащий, разгневанный, присмирел...

— Пошел! — крикнул всадник.



И, подчинясь узде и спокойному, уверенному голосу, жеребец ровно и глухо забарабанил нековаными копытами, мчась в сторону гор, мимо кочевья, которое раскинулось по туманной долине возле подножия скалистой горы, возвышавшейся над рекой. Оставив кочевье позади и поднимаясь крутой тропинкой в гору, всадник чуть придержал коня и прислушался. Впереди топотала другая лошадь, скрытая за извилистыми поворотами горной тропы.

— Кинзя-а! — крикнул всадник.

— Эге, Салават! — отозвался его товарищ, ехавший впереди по тропинке.

Над ухом жеребчика повелительно свистнула плеть, он рванулся, замелькали навстречу кусты, посыпались камни из-под копыт под кручу, и вот уже всадник нагнал второго. Обоим товарищам было лет по четырнадцать. Они были почти одинаково одеты, в сермяжные чекмени, обшитые красной тесьмой, в лисьи шапки и белые с сермяжными голенищами сапоги. За плечами у того и другого было по луку и по полному колчану стрел, но ехавший впереди Кинзя был не по-юношески толст и приземист, а Салават строен и не по возрасту высок и широкоплеч.

— Ты засоня и суслик, а, видно, сон потерял сегодня — так рано вскочил! — сказал Салават. — Совсем не ложился, что ли?

— Хамит еще раньше вскочил. Я давно уже слышал, как он впереди поет.

— Слишком рано приехать тоже ведь не годится, — возразил Салават. — Старики орлы увидят опасность да вовсе не вылетят из гнезда.

— Хами-ит! — закричали товарищи.

Третий друг откликнулся сверху пронзительным свистом. И вот вдогонку за ним поскакали они по извилистой горной тропе.

Туман остался теперь далеко внизу, скрыв от глаз всадников родное кочевье. Солнце еще не взошло, но утро уже светилось в траве и на листьях деревьев ожиданием праздничного мгновения, когда на вершины гор брызнет первый сверкающий луч. Радость грядущего дня, его безмятежное ликование отражались и в юных взорах друзей. «Какая веселая и хорошая жизнь!»

Скачки на незаседланных лошадях, купание в стремительных горных речках, охота за барсуками, травля соколом тетеревиных выводков и перепелок по степям и погоня на лошади за лисицей только с одной плеткой в руках — все это были их общие забавы. По обычаю, каждый из этих мальчиков в трехлетнем возрасте посажен был своим

отцом на седло, а в семь лет умел уже сам вскарабкаться на лошадиную спину, без помощи взрослых.

Сегодня задумали мальчики еще неизведанную охотничью потеху, которая в обычае была только у взрослых жягетов: они отправились охотиться на орлов. Ребята сами выследили в расселине между скал гнездо хищников, которые несколько раз в последние дни уносили из стада только что родившихся барашков, таскали кур и гусей. За убитого ястреба или коршуна удалецу охотнику с каждого коша давали в подарок яйца. За убитого орла полагалось давать гусей и барашков. Ребята не раз видели в прошлые годы, как взрослые юноши, собравшись гурьбой, отправлялись, бывало, на опасную охоту по скалам, а возвратясь, возили по всем кочевкам добычу и получали за то в награду барашков, которых тут же кололи, чтобы отпраздновать удачу, сварив бишбармак на целый аул.

Брат Салавата Сулейман дня два назад намекнул, что он с товарищами собирается через несколько дней накормить бишбармаком все кочевье. Салават тотчас решил со своими друзьями опередить старших в этой опасной, но удалой охоте.

Всем трем друзьям до смерти хотелось, кроме того, добыть живыми орлят, чтобы смолоду приручить их и сделать охотничьей птицей. То, что орлы так обнаглели, таская в гнездо ягнят, доказывало, что у них уже подрастают птенцы, которые сами могут клевать добычу. Это была самая подходящая пора, чтобы начать приручение дикой птицы, с которой потом можно охотиться не только на уток, гусей и дроф, но даже на зайцев, на молодых горных козлят, на куниц и барсуков.

К тому же приближались дни сабантуя, веселого весеннего праздника «свадьбы плуга», когда устраиваются игры молодежи и взрослых, состязания в скачках, борьба, джигитовка, стрельба из лука. Принять участие в состязаниях было мечтой Салавата, а доказать свое право считаться взрослым можно было, только добившись победы, которая стоит жягета. Такою победой должна была стать удача в орлиной охоте.

Двое друзей догнали опередившего их товарища.

— Ты чего так рано вскочил, Хамит?! — окликнул толстяк Кинзя. — Опять муравьиное масло искал? Не нашел?

Хамит раскопал не меньше двухсот муравейников, руки его распухли от муравьиных укусов, а «муравьиное масло», по поверью — чудесное средство разбогатеть, скрытое на самом дне некоторых муравейников, все никак не давалось...

Хамит был шупленький, с острыми скулами, узенькими колючими глазами, юркий и ловкий. Он и по возрасту был моложе своих товарищей, а дружбой с ними двоими он был обязан тому, что был сыном лучника, делавшего превосходные луки и верные стрелы. Одет он был небогато и рядом с товарищами выглядел оборванцем: ведь Салават был сыном старшины, а Кинзя сыном муллы — сыновьями самых знатных людей.

— А если бы ты нашел муравьиное масло, то что бы сделал? — спросил Салават Хамита.

— Купил бы новые красные сапоги, малахай и белый бешмет, купил бы седло с серебряными стремями, отцу купил бы у русских в Муратовке новый топор и хороший стальной нож, тетке платье, сестре купил бы в приданое алмизю из одних золотых и еще... зарезал бы жирного же-ребенка и накормил бы всех мясом.

— А еще?

— А еще я отцу поставил бы кош из нового войлока и купил бы четыре подушки, четыре кошмы, четыре одеяла...

— А еще? — подзадорил и Кинзя.

— А еще я купил бы... — Хамит задумался. — Да ну вас совсем! Вот пристали! — воскликнул он. — Как найду, так увидите сами... А ты бы что сделал? — спросил он Кинзю.

— Я бы купил себе сто табунов лошадей, сто тысяч овец, три красивых жены, семь бочек меда, триста кош — на целый юрт, построил бы сто мечетей, завел бы себе десять шуб — три на соболях, три на белках, три на лисицах, три на горностаях...

— Двенадцать! — воскликнул Салават.

— Что двенадцать?

— Ты сказал десять шуб, а сам насчитал уже двенадцать. Прибавь три медвежьих — будет пятнадцать, потом три хорьковых — восемнадцать, три рысьих...

— Дурак! — перебил Кинзя. — А ты бы что сделал?

— Нет, ты скажи, как бы ты стал носить двадцать одну шубу?! Эх, мулла Кинзя, тебе надо бы было еще караван верблюдов, чтобы возить за тобою шубы.

— Первым верблюдом я взял бы тебя... А ты нам скажи, ты бы что сделал, если бы нашел?

— Я бы... — Салават призадумался. — Я бы купил нам всем троим по арабскому скакуну, брату Сулейману я подарил бы булатный кинжал, брату Ракаю — самый лучший челн и рыбацкие сети. Кинзе подарил бы двадцать пять шуб, тебе, Хамит, я купил бы крепкие штаны, новые сапоги, шапку с бархатным верхом, отцу подарил бы десять ха-

латов, ружье, как у русских солдат на заводах, кош из верблюжьей шерсти, матери — одеяло из лебяжьего пуха и десять подушек, себе самому я...

— Тише! — предостерег Хамит.

Они добрались как раз до подножия скалы, у которой в расселине жили выслеженные ими орлы. Дальше ехать было уже некуда. Мальчики отпустили лошадей, и связавшись между собою веревками, стали карабкаться вверх: маленький, ловкий и юркий Хамит впереди, за ним Кинзя, а самый сильный из них — Салават — позади всех, чтобы удерживать, если кто-нибудь из них поскользнется. Они карабкались молча, цепляясь за выступы камня, за скрюченные крепкие корни горных кустарников, за их колючие ветви. Путь был не легок, но вот наконец они добрались до узенькой плоской площадки, которая находилась как раз над расселиной скалы, где было гнездо орлов. Чтобы добраться до самого гнезда, отсюда надо было спускаться к нему на веревках. Ребята бросили жребий. Кинзе досталось остаться тут, наверху, чтобы следить за возвращением орлов, а Салавату с Хамитом — спускаться в гнездо.

Они опоясались веревками и скрылись внизу под скалой, за камнями. Только веревки, которые были привязаны к одинокой горной сосне, росшей у самой вершины, чуть шевелясь, подавали Кинзе знак, что товарищи осторожно спускаются.

Кинзя остался один. Необъятная ширь открывалась вокруг. Небо было сверкающе-голубое. Солнце взошло как-то незаметно и теперь уже начинало палить. Высокие хребты окружающих гор лежали внизу, как будто какие-то мирные громадные звери спали в зеленых просторах степей... Вон та гора зовется Медведь. И в самом деле, она так похожа на медведя, который роется в муравейнике, уткнувшись носом в самую землю, или лакомится черникой. А дальше Змея-гора — ишь как вьется ее хребет!.. Озера и реки лежат как на ладони. Табуны похожи на стаи каких-то букашек... Кинзя все это видел сотни раз и каждый раз был готов заново удивляться на этот необычайный мир, который становился таким маленьким, если глядеть на него с горной вершины.

Но сегодня некогда было любоваться этим странным, забавным миром. Кинзя остался охранять безопасность друзей. Веревки больше уже не шевелились. Кинзя приготовил лук и стрелу, лег на живот и заглянул со скалы вниз.

Ему было видно расселину, где находилось гнездо.

Салават уже достиг гнезда и почти висел на веревке, только одной ногой упираясь в выступ.

Если упасть — разобьешься, но веревка крепкая, она выдержит даже самого толстого батыра.

Хамит еще медлил, держась за куст можжевеля, и не решался повиснуть.

Кинзя услышал, как из гнезда закричал птенец. Хамит заторопился, скользнул и повис, его веревка повернулась два раза, раскручиваясь. Салават помог другу укрепиться на высоте гнезда.

Теперь уже оба птенца в гнезде, почуяв опасность, громко кричали. Охотники совещались. Вот Салават скрылся в трещине и тотчас опять появился, уже с орленком в руках. Птенец надсадно кричал. Хамит взял его, одной рукой развязал свой пояс и протянул Салавату.

Салават снова скрылся в трещине. В это время Кинзя поднял глаза и только тут почти над собою увидел в небе орла...

— Карагуш! — крикнул он.

Старый орел возвращался, неся ягненка. Он, должно быть, увидел врагов у гнезда, на мгновение застыл в полете и камнем ринулся вниз. Тетива прозвенела под рукою Кинзи, и стрела вонзилась в ягненка. Хищник бросил добычу, защитившую его от верной смерти, взмахнул крыльями и с криком мимо Кинзи устремился к своим птенцам. Навстречу ему прогудела в воздухе стрела Хамита и потонула где-то в долине.

Орел ударом крыла задел по лицу Салавата, который вынес второго детеныша. Салават едва удержался над пропастью. Ему некогда было искать в колчане стрелу. В руке у него заблестел кинжал.

Орел увернулся от удара, взлетел и напал на Хамита. Он ударил мальчика клювом в плечо.

Хамит покачнулся, испуганно схватился за веревку и выпустил из руки птенца, который упал на скалу и, связанный, трепыхался. Хамит схватился за лук.

— Ножом бей, ножом! — закричал ему Салават.

Хамит повис над обрывом, отбиваясь кинжалом от свирепого орла. Салават с поспешностью выбрал стрелу и только было выглянул из щели, где скрывалось гнездо, когда услышал со скалы крик Кинзи. Он понял, что на второго его товарища напала орлица. Одна из стрел Салавата бесполезно скользнула в воздухе мимо разъяренной самки. Салават наложил было вторую стрелу, но в это время птенец, трепыхавшийся у его ног, пронзительно крикнул. Орел откликнулся детенышу с покровительственной яростью и

кинулся на Салавата, но верная стрела угодила ему в грудь; однако раненая птица все же впилась когтями в шею стрелка, как железом, терзая тело. Салават бросил лук и по самую рукоять всадил свой кинжал под крыло орла. Птица упала к его ногам.

Он радостно вскрикнул, но в то же мгновение мимо него мелькнула ширококрылая тень орлицы. Салават позабыл про свою боль и схватился снова за лук. Хамит висел теперь на веревке, которая медленно раскручивалась. Ему не за что было ухватиться; он поворачивался, прикрывая лицо левой рукой от ударов орлицы, а правой стараясь нанести ей удар ножом. Защищая лицо, он закрыл глаза, и удары ножа падали в воздух, угрожая веревке. Салават на миг растерялся. Ноги его скользили по камням, закапанным кровью. Но вдруг, сообразив, он ногою столкнул птенца вниз с обрыва. Птенец, уже падая с криком, нелепо и неуклюже замахал молодыми крыльями. Но еще не успел он упасть, как орлица, оставив Хамита, подхватила детеныша на лету.

— На тебе! — крикнул ей Салават, и его стрела вонзилась в спину орлицы, которая стремительно вместе с детенышем полетела куда-то вниз, под скалу.

Салават ухватил веревку и из последних сил, напрягаясь, втянул Хамита в трещину, где было гнездо. Оба охотника, взявшись за руки, несмотря на усталость и боль, весело засмеялись.

— Четыре орла! — сказал Салават.

— Четыре орла, — повторил Хамит. И снова оба они засмеялись, хотя были так слабы, что не могли без отдыха влезть обратно на вершину скалы.

Отдохнув, оба мальчика, держась за веревки, стали карабкаться наверх, неся с собой одного птенца и убитого Салаватом орла.

Кинзи не оказалось на верхней площадке. Они испугались.

— Он упал! — прошептал в испуге за друга Хамит.

— Он кричал, — подтвердил Салават, — но ведь он был привязан!

Тут взгляд его скользнул по стволу, к которому были привязаны их веревки. Веревка Кинзи, ослабевшая и спокойная, змейкой вилась под крутой обрыв. Салават рванулся туда сквозь кусты боярышника.

За выступом огромного камня, повисшего над пропастью, на сломленном ветром суку искривленной сосны, зацепившись штанами, неподвижный, как мертвый, висел Кинзя...

— Кинзя! Ты жив?! — осторожно окликнул его Салават.

— Жив, — отозвался Кинзя, боясь шевельнуться.

— А что же ты так висишь, как летучая мышь? — со смехом спросил Салават.

— Боюсь, штаны разорвутся — и вниз полечу, — ответил товарищ.

Спустившийся к Салавату Хамит в первый миг тоже не мог удержаться от смеха при взгляде на толстяка, но тотчас же оба они оборвали веселье и шутки, оценив тяжелое положение друга.

Товарищи, обмотавшись веревками крепче, чтобы самим не сорваться с камня, осторожно, с большим трудом, обливаясь потом, втащили друга на вершину скалы. Он был не на шутку изранен, и оба товарища сразу забыли о всяких насмешках, поняв, что ему пришлось вынести тут, наверху, нешуточный бой.

— Смеетесь, как дураки, над бедой человека, — ворчал Кинзя. — А тут на меня налетела их целая стая, чуть на смерть не заклевали, да крыльями сбили с камня... Ладно еще, что штанами за сук зацепился... А вы смеетесь!..

— Ну, будет, не злись, — уговаривал друга Хамит. — Будешь злиться — обратно на сук за штаны повесим. Откуда ты стаю тут взял? Ведь была-то одна орлица.

— Зря болтаешь, Хамит! — оборвал Салават младшего друга. — Кабы Кинзя ее не удержал наверху, напали бы на нас сразу двое. Нам плохо тогда пришлось бы!

— Да, справиться было бы трудно! — признал и Хамит.

Кинзя, повеселев, улыбнулся и тут же простил друзьям их шутки.

Спускаясь с кручи утеса, ребята рассказывали друг другу подробности приключения, как будто каждый из них не был его участником. Слушая их, можно было подумать, что они возвращаются не с охоты, а с поля кровавой битвы с многоглавыми великанами-чудовищами, которых могли одолеть только могучие богатыри, избавляя народ от коварных врагов...

У подножия утеса, внизу, они изловили своих лошадей, выбрали убитую орлицу и недалеко от нее — живого и невредимого птенца, который, еще не умея взлететь, скачками спасался от них сквозь кусты и, когда его все же поймали, кричал, щелкал клювом и дрался когтями.

Спускаясь ниже, на тропе они натолкнулись на забытого всеми барашка, пронзенного стрелой Кинзи.

— Вот и твоя птица! — весело воскликнул Салават. — Она сейчас всех нужнее: можно ее испечь!

— Чего же не испечь! — согласился Кинзя. — На то бог послал человеку барана!

— Летучего барана! — подхватил Салават. — Никто никогда еще до Кинзи не стрелял баранов, летающих в небе!

Друзья расположились на открытой горной поляне, с которой виднелось родное кочевье, а если получше всмотреться, то зорким привычным глазом можно было узнать и старшину Юлая, Салаватова отца, который перед утренней молитвой совершал омовение, и муллу, стоявшего у своего коша и говорившего с пастухом, и скакавшего вдоль реки писаря Бухайра, и женщин, доивших кобыл недалеко от своих кошей, и ребятишек, игравших с собаками на берегу речки.

Кинзя таскал сучья в костер, Хамит потрошил барашка, а Салават копал яму. Злополучного «летучего барана» уложили на дно ямы, слегка присыпали сверху землей и на этом месте зажгли костер.

Плененные орлята не желали клевать брошенные им ягнячьи кишки. Ягнячьим жиром мальчики намазали свои обмытые в горном роднике раны: Хамит и Кинзя быстро уснули, усталые, разморенные зноем. Дым распугал больно кусающих оводов и докучную мошкарку. Жаркое пламя костра теряло свой блеск в полуденных солнечных лучах и казалось прозрачным. Раскаленный над костром воздух струился вверх, как волны чистой воды, а видимые за ним леса и горы дрожали и колебались, как отражение в озере.

У Салавата болела разодранная шея. Раны мешали уснуть, и Салават подремывал, думая о своем приключении.

Ему представилось, как они возвращаются, как встречает их аул и каждый несет подарок за избавление от хищников: кто — яйца, кто — лепешки, кто — гуся или утку, а богатые — по ягненку. Вот так пир, вот так богатство!..

Салават следил за орлятами. Они сидели нахохленные и злые. Костер их удивлял и пугал, путы на ногах не давали прыгать. Один из птенцов непрестанно клевал кушак Хамита, связывающий его ноги. Иногда он подымал голову и со смешной надменностью оглядывал все вокруг. Вся злость орлиной породы виднелась в его взоре, когда он взглядывал на Салавата. Его отец и мать, убитые, лежали тут же, недалеко от костра. Коричневое мощное крыло

отца было широко откинута. Салавату не раскинуть так широко рук.

— Батыр кыш! Смелая птица! — произнес Салават, с восхищением глядя на крыло. — Кочле кыш! Сильная птица...

Салават подбросил сучьев в костер, прилег на прежнее место. И, как это часто случалось, в голове Салавата родились и полились из груди слова новой песни:

Над скалами ветер вее,
Никто на них влезть не смеет, —
Там гнездятся только хищные орлы,
Там детей выводят грозные орлы.

Песня понравилась Салавату, и он громче и вдохновеннее, с каждым словом смелее, ее продолжал:

У нас отваги немало —
Трое взобрались на скалы,
Там на нас напали грозные орлы,
В битве с нами пали грозные орлы.

Двоих насмерть мы убили,
Двоих живыми пленили...
Эй, встречайте нас в ауле веселей,
Эй, тащите нам барашков пожирней!..

— Баран готов? Эй, певец! — крикнул Хамит. — Готов, что ли, баран? Нас песнями не накормишь!

— Проспали! Я съел и косточки проглотил!

— Я тоже сожрал бы с костями и с шерстью, — засмеялся Хамит.

— Еще бы, глядите — уж полдень! — указал на солнце Кинзя.

Салават раскидал костер. Земля под ним была черная, и от нее подымался душистый пар.

— Сейчас мы будем есть батырского барана, — важно сказал Салават.

— Почему батырского? — в один голос спросили Хамит и Кинзя.

— Когда настоящие батыры идут в поход, они не берут с собой котла, чтобы варить салму, пекут барана вот так — в яме. Этому научил людей Аксак-Темир. Он был большой батыр, который провел жизнь в походах, — пояснил Салават.

Он вынул кинжал и скинул тонкий пласт золы и земли, прикрывавший барашка. Вкусный, дразнящий пар вырвался из ямы клубами.

«Летучий баран» оказался им очень кстати. Косточки его смачно похрустывали на челюстях у охотников. Однако, расправившись с целым ягненком, мальчики до того почувствовали тяжесть в животах, что тотчас же опять все уснули.

Когда после крепкого безмятежного сна они снова проснулись, занималась уже вечерняя заря. С пением кружились жуки. Орлята спали, прижавшись друг к дружке.

— После батырского барана я выпался, как батыр! — сказал Хамит.

— Эх, если бы от него и вправду стать батыром! — мечтательно протянул Кинзя. — Настоящим батыром, про которого поют песни.

— Да я и сейчас сложил про тебя песню! — сказал Салават.

Чувствуя за словами друга какой-то подвох и насмешку, Кинзя промолчал, но Хамит настойчиво попросил:

— Спой, Салават! Какую ты песню сложил про Кинзю!

Салават не сложил еще никакой песни, однако настоящий певец не должен отмалчиваться, если у него просят песню. В прошлом году на праздник к шайтан-кудейцам приходил из Китайского юрта певец Керим. Он сказал Салавату, что у настоящего певца песни хранятся в сердце, как стрелы в колчане, чтобы в любой миг можно было достать нужную.

Стремясь не ударить лицом в грязь перед товарищами, Салават не заставил себя упрашивать и запел:

Кинзя висел вверх ногами,
С сука его сняли мы сами.
Наш Кинзя великий подвиг совершил:
Он летучего барана застрелил!..

— Спасибо, Салават. Пусть про тебя всю жизнь складывают такие песни, — с обидой сказал толстяк.

— Я пошутил, Кинзя! — воскликнул Салават. — Этой песни больше от меня никто не услышит, а когда ты станешь батыром, я сложу про тебя самые лучшие песни. Их все будут петь!..

Горная тишина умиротворяла. После сна не хотелось двигаться, и ребята, валяясь в траве, наслаждались покоем и болтовней. На западе подымалась темно-синяя гора облаков.

— Нарс! — указал на запад Салават! — Гора Нарс. До нее может доехать только самый смелый. А я доеду!

— И я доеду! — задорно выкрикнул Хамит. — А ну, кто скорей! — Он первым вскочил и принялся тормозить Кинзю.

— Ах ты, мышонок такой! До Нарса доскачешь! — навалившись всей тяжестью на Хамита, ворчал Кинзя. — Вот я тебя задавлю, ты и до дому не доберешься!..

— Салават! Стащи с меня этот бурдюк! — со смехом кричал Хамит.

Разыскав коней, мирно пасшихся неподалеку, мальчишки быстро помчались к дому.

Подъезжая к родной кочевке, они подхватили вновь сложенную Салаватом песню:

Над скалами ветер веет,
Никто на них влезть не смеет, —
Там гнездятся только хищные орлы,
Там детей выводят грозные орлы.

Ребятишки с кочевья выбежали навстречу и восторженно завизжали:

— Салават орлов убил! Салават орлов везет!

Старшина Юлай показался из коша. Он весело улыбнулся юным удалцам, везущим, как знамя юности, добычу своей охоты.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Есть ураза, есть большой байрам, есть малый байрам¹, и на каждую неделю есть своя пятница — вот данные аллахом дни!

Каждый праздник знает свое начало, и каждый праздник свят от аллаха.

Что есть сабантуй? Такого праздника не давал аллах. Какое начало его? Этот праздник не знает святого начала.

Что есть свадьба плуга? Живое живет родами, и множится, и умирает. Но кто видал брачующимися железо и камень? Разве мертвое, созданное человеком, может плодиться?

Масальян, только язычники, нечистые, не знающие аллаха, в безумии своем возмечтали о браке сабана с землею.

Идола создали они себе из земли, которая сама создана аллахом, и по единому слову его распадется в прах.

Жягани, масальян², правоверные, не празднуйте нечистого праздника!

¹ Названия мусульманских праздников.

² Жягани, масальян — арабские слова «итак», «например», которые муллы любят повторять, показывая свою ученость.

Так поутру говорил мулла Сакья собравшимся к празднику башкирам Шайтан-Кудейского юрта. Мужчины толпою слушали его, и те, кто стояли впереди, опускали глаза и молчали, а те, кто были позади, дальше от муллы, усмехались; когда же мулла обращал свое лицо на одного из стоящих, замеченный им тотчас кивал головой и бормотал: «Шулай, шулай!»

Мулла окончил поучение, отъехал в свой кош, и все разошлись.

Старшина Юлай подошел к кружку детворы, сидевшей невдалеке от его коша.

— Я завтра яйцо понесу зубами и не выроню. Сегодня целые сто шагов пронес! — говорил один из мальчиков.

— Я тоже понесу!

— Ахметка вас всех победит, он ложку не выронит. У него зубы такие крепкие, что он самые толстые бараньи мослы разгрызает! — поддразнил ребят сидевший тут же Салават, который строгал и отглаживал стрелу.

— Никто никого не победит, — сказал Юлай детям. — Мулла Сакья не велит сабантуй играть. Говорит: аллах запретил, большой грех будет...

— Вот старый ишак! — брякнул, не подумавши, Салават, и тут же крепкие пальцы отца словно капканом сжали ему кончик уха. — Атам, я не буду! — закричал мальчик. — Правда, не буду! Ухо не виновато — язык!

— А ты знаешь, что русские начальники делают с такими языками? — строго спросил отец. — Не знаешь? Постой, как отрежут — узнаешь!

Юлай отпустил ухо. Салават, как ни в чем не бывало, принялся вновь за стрелу.

— Время придет, мы русским начальникам вырежем языки! — буркнул он.

— Ну, ну! — сурово и угрожающе цыкнул Юлай. — Потреши мне, сорока!

Старшина пошел в кош.

— А как же награда? Как же подарки? Кому же теперь полотенца и тюбетейки? — встревоженно загалдели ребята, потому что каждый из них рассчитывал на состязаниях получить награду из вещей, собранных нарочно для этого к празднику со всего юрта.

— А может быть, старшина пошутил?

— Или мулла посмеялся над всеми? — выразил надежду кто-то из мальчиков.

— Можно узнать у Кинзи. Он все у муллы разузнает.

— Салават, съезди к Кинзе! — стали просить ребята.

Салавату и самому хотелось завтра принять участие в состязаниях. Он рассчитывал, что его допустят к скачке со взрослыми. Он был высок ростом, ловок, силен, и, хотя ему было только четырнадцать лет, он был во всем как девятнадцатилетний парень.

Он знал, что победит подростков в любом состязании, и поэтому оно было ему почти неинтересно. Принять участие в состязаниях взрослых он еще не мог по возрасту, но все же надеялся на особое разрешение старейшин праздника.

«Вот если бы быть женатым, то не смотрели бы на года! — думал он. — Раз женат, то, значит, и взрослый!

А сколько женатых парней не полезут со мной тягаться! Байбулата женили, а выглядит он и сейчас моложе, чем я. Посмотреть на женатых — нисколько я не моложе!..»

Салават спрятал в колчан стрелу и уже вскочил было на лошадь, чтобы поехать к кошу муллы и повидаться с Кинзей, когда его окликнул отец:

— Поезжай-ка к соседям, к мулле, к Бурнашу, потом к Рысабаю. Скажи, что приехал мой брат с сыновьями и я варю бишбармак, пусть едут на угощение.

Салават тронул коня.

— Постой, — остановил отец. — Если спросит мулла, то скажи, что вовсе не к сабантую зову, а потому, что приехали гости...

Салават поскакал.

Широкая степь была залита солнцем, еще не успевшим опалить сочную зелень и нарядные весенние цветы. Облитые солнцем, стояли вершины гор на краю степи. Воздух дрожал за невидимой дымкой прозрачных утренних испарений, и каждая капля росы в траве так сияла, словно хотела в блеске своем спорить с самим солнцем.

Грудь дышала легко. Радостной иноходью бежал рыженький жеребчик по степи, и Салавату весело было ехать по ней и без смысла петь, просто ласково называя предметы — синий воздух, серебряную речку, зеленую степь и высокие золотые горы...

У ближнего коша он крикнул привет и сошел с лошади, поклонился и попросил соседа приехать к отцу. Он обратился по-ученому, вежливо умоляя соседа доставить отцу радость и осветить его кош светом своего присутствия. Получив согласие, Салават снова вскочил на лошадь и тронулся дальше.

У коша муллы Салават столкнулся с Кинзей. Толстяк был занят тем, что быстро пятился раком на четвереньках, неся в зубах ложку с яйцом.

«Значит, мулла все же позволит праздновать сабан-туй», — мелькнуло в уме Салавата.

Но в тот же миг Кинзя с таинственным видом прижал пальцы к губам. И Салават узнал от него, что мулла запрещает сыну языческие игры, и он упражняется потихоньку, пользуясь тем, что отец отдыхает после еды.

Передав через друга посланное отцом приглашение, не тревожа муллу, Салават тронулся дальше.

Он пригласил старика Бурнаша вместе с Хамитом и пустился к кошу Рысабая.

Рысабай был человек такой же богатый, как сам старшина Юлай. Он никогда не был замешан ни в каком мятеже, никогда не подавал повода к недовольству со стороны русских начальников. Дед Рысабая спорил за первенство в своем роду с дедом Юлая Шиганаем, который был старшиною Шайтан-Кудейского юрта. Оба были тарханы, у обоих были жалованные грамоты на право владения покосами, рыбными ловлями, лесами, звериными промыслами и на сбор ясака с простых башкир. Но дед Юлая, старшина Шиганай, попал в немилость к властям после большого кровавого восстания башкир, когда царский комиссар Сергеев отнимал у башкир тарханские грамоты. И хотя потом царь Петр указал казнить самого Сергеева за жестокость и жадность, но тарханская грамота к Шиганая уже никогда не вернулась. Дед Рысабая, оставшийся в стороне от восстания в числе «верных» башкир, сделался тогда старшиной вместо Шиганая. Отец Рысабая стал старшиною после своего отца. Отец Юлая, хоть был богачом, равным по знатности с отцом Рысабая, так и не получил в свои руки старшинства и власти. Юлай возвратился с войны, награжденный медалью. Вскоре после его возвращения умер отец Рысабая. Рысабай рассчитывал стать старшиной после смерти отца, но шайтан-кудейские башкиры устали от насилий Рысабаева рода и не захотели избрать Рысабая. Русские начальники тоже подумали, что от наследственного старшинства может оказаться недалеко до ханских притязаний. Поэтому награжденный медалью за удачу в боях Юлай был охотно избран башкирами и утвержден провинциальным начальством. Позволив башкирам Шайтан-Кудейского юрта избрать старшиной Юлая, исецкий воевода назначил Рысабаева сына Бухайра писарем при Юлае. Русскому начальству было выгодно это, потому что писарь всегда мог следить за всем, что делает старшина, а по вражде между их семьями и донес бы начальству о каждом опасном шаге соперника.

Юлай был достаточно проницателен, чтобы понять, что писарь поставлен при нем соглядатаем. Он разумел, что Рысабай его враг, но ни одно угощение в доме Юлая не могло обойтись без Рысабая и его сына. Ни один праздник в доме Рысабая не обходился без старшины. Враги были вежливы и приветливы между собой, и если смотреть со стороны, то их можно было принять за близких друзей.

Салават проскакал по степи, перевалил через небольшую гору и с вершины ее над рекой близ опушки леса увидел кочевье в несколько кошей из белого войлока, бродивший вблизи табун лошадей, пасущихся невдалеке овец и множество войлочных и камышовых кочевков. Это был стан Рысабая с его огромным семейством, с его пастухами, слугами и богатствами...

Спустившись с горы, Салават подъехал к богатому кошу хозяина, сошел с конька и задержался у входа, чтобы приготовить торжественные, витиеватые слова, не хуже тех, какие мог произнести Бухаир, если бы был послан пригласить Юлая в кош своего отца.

Полог коша был чуть откинут и позволял видеть, что происходит внутри. Ровесница Салавата, сестра писаря Амина, стояла среди коша, закрыв ладонями лицо, и с плачем причитала, шевеля большим пальцем босой ноги, который сиротливо выглядывал из-под длинного, до земли, платья, и косясь на отца сквозь щелку между ладоней.

— Не отдавай меня за Юнуса. Не хочу я за старика. Такой пузатый... Какой он мне муж!.. Не отдавай за Юнуса! — твердила отцу Амина.

«Девчонкам везет! И не просится замуж, а ее отдают! А я попрошу, чтоб женили, — отец раскричится, что рано», — подумал, слушая Амину, Салават.

Рысабай сидел на подушке с чашкою кумыса в руках. Его нисколько не трогал плач дочери. Судьба ее была для него решена. Ей давно пора идти замуж. Он слушал ее причитания, как нудный писк комара. Но для порядка покачал головой.

— Ай-бай! Девчонка совсем позабыла, с кем говорит!.. Отцу говорит такие слова!.. Не ты ли учишь ее непокорности, жена Золиха?!

Золиха была старшей женой Рысабая. Она держала в руках весь дом, все хозяйство, детей, младших жен и даже старшего сына, писаря Бухаира. Салават не видал ее, но слышал ее раздраженный голос:

— Сам вырастил, набаловал своевольную девку!.. Меня за тебя выдавали, так я не скулила — «пузатый», а ведь

был еще хуже Юнуса... По мне, ее за косы отгаскать — вот тогда и не станет реветь!.. «Не хочу, не пойду!» Да кто ты такая, что можешь хотеть — не хотеть?! — прикрикнула она на девчонку.

Салават шагнул в кош.

— Салам-алейкум! — приветствовал он.

— Алейкум-салам! — отозвался отец писаря. — Что скажешь жягет? Не невесту ли сватать приехал? — с насмешкой спросил он.

Все заранее приготовленные торжественные слова от его насмешки выскочили вдруг из головы Салавата, как будто старик угадал его тайные мысли... Но, чтобы не выдать смущения, Салават приосанился и молодецки обвел взглядом кош. «Невеста» ему показала при этом язык.

— Ну, с чем же приехал? — спросил Рысабай.

— Мой отец просил тебя приехать к нему на угощение. Он варит сейчас бишбармак. К нему прибыли гости с дальних кочевий, — сказал Салават с поклоном.

— Мулла не велел ведь играть сабантуй! — возразил Рысабай.

— Мулла Сакья сам поехал сейчас к отцу, — возразил Салават.

— Ну, рахмат. Скажи, я приеду, — ответил важный Рыса.

Салават вышел из коша.

— Может, тебе такого сопливого мужа найти, как этот малайка? — обратился к дочери Рысабай, не стесняясь того, что Салават за пологом коша услышит его слова.

— Небось и сама постыдилась бы стать женою такого слепого крысенка! — подхватила жена Рысабая.

Салават вскочил на своего жеребчика, взмахнул плетью и помчался домой. Он не замечал уже больше сверкающего и радостного знойного дня, украшенной цветами богатой степи, не соблазнился прохладой реки, чтобы искупаться в ее холодных струях.

— Сопливый малайка! — с обидою повторял Салават. — Слепой крысенок!.. Возьму ли еще я от вас невесту!..

Салават решительно вошел в кош отца. Кроме Юлая, его старшего брата с двумя сыновьями и старших братьев Салавата в коше сидело еще несколько человек, съехавшихся с соседних кочевков. Оказалось, что весь юрт был встревожен: ко многим к празднику приехали кунаки из соседних и дальних юртов, к иным даже с других дорог, и вдруг мулла обрушился со своим запрещением.

Башкиры жаловались. Один из них, жирный, как вы-

холощенный баран, Муртаза, говорил тонким, плаксивым голосом:

— Я барашков резал, кобылу резал, мед варил, гостей звал... Как я теперь гостей буду гнать?

Юлай качал головой, разводил руками.

— А я что знаю! Мое дело — сказать, что русский начальник велел, мое дело — чтобы ясак все исправно платили, мое дело — закон знать, а что повелел аллах, мулла знает лучше меня...

Салават улучил мгновение, шагнул вперед и обратил на себя внимание отца.

— Позвал? — спросил сына Юлай.

— Позвал...

— Погодите. Мулла приедет ко мне, тогда его вместе уговорим, — пообещал Юлай.

Он взглянул на Салавата, заметил, что тот не уходит и хочет, но не решается что-то сказать.

— Ты что? — спросил старшина.

Салават колебался еще мгновение и вдруг словно ринулся в омут:

— Атай, дай мне десять коров, табун лошадей, триста овец и бобровую шапку, — выпалил он и почувствовал, как будто огнем обожгло его щеки.

— Уж не жениться ли хочешь? — спросил старшина.

Салават стоял среди коша, потупясь. Взоры всех обратились теперь на него. Он не решился вслед за отцом повторить это слово и вместо ответа лишь мрачно кивнул головой.

Общую тишину разорвало как громом. Смеялись все: сам старшина, его брат, сыновья Юлаева брата, пришедшие в гости соседи, а пуще всех — родные братья Салавата. Салават мог простить еще старшему брату Ракаю, но не Сулейману, бывшему всего на два года старше его самого. Тонкий, визгливый хохот брата взметнул в душе Салавата бурю вражды. Кровь отхлынула от его щек. Он подскочил к Сулейману, поднял его и бросил о землю, как рысь скакнул опять на него и вцепился, словно клещами, ему в горло. Сулейман покраснел и беспомощно дергал ногами. Руками старался он оторвать руки брата.

Салават ослаблял свои крепкие пальцы настолько, чтобы не задушить брата, но как только тот силился вырваться, он снова сжимал его горло, и Сулейман хрипел.

Видя, что драка пошла не в шутку, Юлай попробовал оттащить Салавата и решительно приказал:

— Отпусти Сулеймана!

— Не пушу! — прошипел Салават, снизу взглянув на отца сузившимися злыми глазами.

Возмущенный непослушанием и дерзостью сына, старшина ударил его по голове.

В Салавате вскипела лишь пуще обида и злоба. С визгом вскочил он на ноги и, нагнувшись, ткнул отца головой в живот. Старшина пошатнулся и тяжело плюхнулся на землю.

Не помня себя, Салават пустился бежать к табуну, взнуздal своего жеребчика и стремглав поскакал в горы, словно спасаясь от стаи расвирепевших волков...

Он промчался мимо каких-то чужих кочевий, мимо чужих табунов и овечьих стад, переехал вброд десяток ручьев и горных речушек, а сердце его все еще продолжало гореть обидой, стыдом и злостью...

Салават давно уже потерял знакомые тропы. Лес вокруг становился все дичее и глуше. Усталый конь несколько раз останавливался, и Салават, больше не подгоняя его, ехал медленно по лесу без дороги. Только тут он подумал, что, кроме ножа на поясе, при нем нет никакого оружия.

«Хоть бы попалась какая-нибудь кочевка!» — подумалось Салавату.

Сквозь густые ветви мелькнул тонкий серп луны. Над головою зажег огни Едыган. Салават устал, и гнев, распаливший его, притих. Он въезжал на горы, спускался в лощины, переезжал ручьи, расщелины и уже не знал, в какой стороне лежит кош Юлая...

Он спустился с горы в долину какой-то реки и отпустил повод. Жеребец остановился, пощипывая траву и фыркая.

Сам Салават тоже давно чувствовал голод, но у него не было с собой ничего. Дремалось. Салават клюнул носом в седле и очнулся. Надо было выбрать место ночлега, но стояла темень. С трудом он нашел наконец приземистый, склонившийся набок дуб и в развилине двух широких сучьев лег, сжавшись от холода, как щенок.

Сначала Салавату стало жалко себя.

Что делать дальше? После того как ударил отца, он теперь не посмеет вернуться домой, на свою кочевку. Не жить же так вечно в лесу, одному!..

Но мало-помалу в дремоте самые завидные мечты охватили Салавата. Он вообразил, как, став большим, славным батыром, он приезжает к своим и все с почетом встречают его.

«А как же с Аминой? — подумал беглец. — Неужели так и оставить ее старику в жены?» Салавату не столько хотелось жениться на ней, сколько прельщала его мечта

доказать, что он не «сопливый малайка», сделать так, чтобы все пожалели о том, что над ним смеялись.

Вырвать молоденькую жену из-под носа у богатого, знатного человека казалось Салавату блестящей победой. Потому, на время оставив мечты о подвигах, он снова обратился мыслями к женитьбе. С этими мыслями он и уснул.

Проснулся он на рассвете от испуганного храпа и ржания жеребца. Конь метался, рвался на дыбы, бил задом и всячески силился оборвать повод, которым он был привязан недалеко к дереву.

Салават спросонок не сразу сообразил, что случилось, и даже тогда, когда услышал с другой стороны хруст сучьев и увидел, что на поляну выходит из речного тумана какое-то черное чудище, юноша принял его сначала за колдуна и шайтана и только в последний миг понял, что это просто медведь. «Пропал жеребец!»

Не думая о себе, Салават спрыгнул с дуба и метнулся к жеребику, чтобы обрезать его привязь. Но было поздно: медведь поднялся на задние лапы и с ревом пошел на него самого.

Сжав нож в руке, Салават даже не попытался бежать от опасности, он замер на месте и ждал, не видя ни жеребца, ни поляны, ни самого медведя, уставившись взором только в левую сторону груди врага, куда он наметил ударить ножом...

Острый кинжал погрузился в тело медведя с неожиданной легкостью, но Салавату уже пахнуло в лицо дыхание зверя, грудь его была сжата, спина, казалось, переломлена пополам, и железные когти с нее обдирали кожу...

...Когда Салават очнулся, над его головой были листья дуба и сквозь них сияло синее-синее небо. Он лежал несколько мгновений, не думая, ничего не вспоминая, не пытаясь пошевелиться и испытывая радость от самого созерцания листьев и неба. Лишь постепенно к нему возвратилась память, и только пошевелившись, почувствовал он лому во всем теле и острую боль в спине. Рядом с ним неподвижной лохматою грудой лежал мертвый зверь. Привязанный конь стоял смиренно, кося испуганным глазом.

Салават осмотрел побежденного врага и себя самого. Вся одежда его оказалась в крови, запятнавшей также траву на месте битвы.

Было яркое утро. Прохлада, росная, влажная свежесть леса, пение птиц — все рождало бодрость и радость, но главное было — сознание победы. Победы!.. Все, что случилось вчера на кочевке, вдруг показалось далеким, неважным... Вот он, Салават, еще только вчера был малай-

кой. Забавы и детские игры — все, что он знал, а теперь он встретился ночью один на один с казавшейся неизбежною смертью — и он победил. Лохматая черная смерть, с оскаленной пастью, с железными когтями, лежит недвижной горой мертвого мяса и окровавленной шерсти, а он, Салават, живой, сильный, бодрый, стоит над убитой смертью, как победитель на празднике... Пусть Сулейман так с ножом выйдет на зверя! Небось побойтятся!..

Салават припомнил, что нынче день сабантуя.

— Первая награда моя. Я победил! — сказал он.

Он, наклонясь, осмотрел рану зверя и вытащил из нее свой глубоко засаженный окровавленный нож. В этот миг Салавату казалось, что он всю жизнь будет бесстрашно колоть медведей. Ему казалось, что он хоть сегодня с охотой пойдет в поединок на зверя. Да вовсе не так уж и страшно... «Медведь? Что такое медведь? Он мертвый, а я живой!» — размышлял Салават.

Жеребец недоверчиво фыркал, взволнованно косил глазами, прядал ушами и тревожно дергал повод, которым был крепко привязан к дереву.

Салават погладил его по вздрагивающей коже спины, отвязал от дерева и, не выпуская из рук повода, повел к реке. Пока жеребец пил, Салават сбросил одежду и вошел в холодную воду. Возле него на воде показались темные кровавые струйки; он оглянулся через плечо, как в зеркало, в воду — левая лопатка была разодрана. Больше не было ни одной царапины. Салават засмеялся, и эхо откликнулось в скалах.

Откуда-то из-за реки послышалось конское ржание. Жеребец ответил готовным и бодрым покриком. Ржание за рекой повторилось. Салават обрадовался: если близко лошади, значит, близко и люди.

Салават переехал речку и увидал табун. Невдалеке от табуна проезжал всадник. Салават окликнул его. Он оказался музыкантом, ехавшим на сабантуй к шайтан-кудейцам.

— Где мы сейчас? — спросил его мальчик. — Я заблудился.

— Здесь кончают кочевать куден и тамьяны. Там, — человек показал обратно за реку, — Кудейский юрт, а тут — Тамьянский. Тебе куда надо?

— Я сын старшины Юлая. Мне надо домой. — Он помолчал и с внезапной хвастливостью прибавил: — Я убил медведя.

Курайче взглянул на него недоверчиво.

— А где же шкура? — спросил он.

— Это мой первый медведь, я еще не умею снимать шкуру,— признался Салават.— Тут близко. Ты мне поможешь?

Они вместе переехали речку.

— Вот так зверь!— восхищенно воскликнул курайче.— Не медведь, а медвежий батыр. Я еще никогда не видал такого. Должно быть, батыр на батыра напал!— говорил курайче, помогая снимать шкуру.— Ну и зверь! Ты чудом остался жив. Сколько же лет тебе?

Салават повернулся к реке, окруженной горами, и крикнул во весь звонкий голос вопрос курайче:

— Сколько лет Салавату?

«Сколько лет Салавату?»— вопросом откликнулось эхо в прибрежных скалах, и тем же отзвуком прогремел отдаленный лес, и еще откликнулось тем же вдали, в холмах.

— Батыр Салават!

Горное эхо прогрехотало отзвуком тех же слов.

— Четырнадцать лет Салавату,— сказал мальчик, и так же гулко откликнулось эхо...

По горной тропке скакал Салават со своим спутником, и с уст его сама сорвалась песня, полная гордости и молодого задора:

С соболем шапка зеленого цвета —
Вот Салавата-батыра примета.
Спросите: «Сколько же лет Салават?»
Батыру пятнадцати лет еще нету...

Конь, чуя запах медведя, храпел и вздрагивал, мчался по горной тропе; Салавату его нелегко было сдерживать. Конь курайче тоже дрожал и прядал в сторону от конька Салавата. Всадники издали перекликались друг с другом.

На пути их лежал железный завод с деревеньками рабочих. Курайче предложил объехать их стороной, но Салавату хотелось, чтобы все видели его добычу, и он пустился мимо завода, через деревню.

В русской деревне Салават нарочно сдержал своего жеребца и поехал тише. Народ останавливался, глядел на шкуру, люди дружелюбно кричали что-то вслед Салавату, окровавленная одежда которого говорила о том, что именно он победил зверя.

На окраине деревеньки, возле кузницы, Салават остановил жеребца. Из кузни слышалась песня.

— Ванька!— крикнул Салават.

Черный и прокопченный, вышел мелкорослый кузнец с кувалдой в руке.

Ванька был единственным в округе кузнецом, который, несмотря на запретные указы, делал башкирам ножи, топоры и железные наконечники к стрелам. К нему заезжали башкиры под предлогом ковать лошадей, а уезжали с оружием. По закону за это он мог попасть под плеть и в тюрьму, но он был отчаянной головою и ничего не страшился. Говорили, что раз к нему пришли трое людей в кандалах, убежавшие с шахты, и он всем троим спилил цепи. Он ковал для башкир из заводского железа превеликой силы капканы на лисиц, на волков и медведей, и только то спасало его от тюрьмы, что за эти капканы брали с башкир приношения заводской управитель и двое приказчиков.

Медвежий нож был недавно подарен Салавату отцом. Салават вместе с Юлаем ездил за этим ножом в кузницу к Ваньке и теперь был доволен, что может отблагодарить кузнеца.

— Эй! Салаватка! Арума!— по-башкирски приветствовал кузнец, и белые зубы его весело засверкали.

— Недалеко от большого камня на речке, вон там за горой, остался медведь. Поезжай возьми,— сказал Салават.

— В капкан угодил зверюга? — радостно удивился кузнец.

— Нет, без капкана, — небрежно отозвался Салават, — знать, нож хороший! Рахмат! — добавил он и пустил коня.

В полдень подъехали они к кошу Юлая. Возле коша бродили чужие лошади. Мать Салавата и две молодые жены Юлая хлопотали у очага. В стороне толпились подростки и юноши. Повсюду по степи ехали ярко и празднично одетые всадники. С разных сторон от кочевков слышались звуки курая и кобыза.

«Значит, мулла снял запрет», — подумал Салават.

Чем ближе подъезжали они к кочевью Юлая, тем большая гордость охватывала Салавата.

Все, все увидят его победу — отец, братья, гости, приехавшие на праздник, писарь и сам Рысабай...

Пусть посмеется теперь Сулейман, пусть Рысабай посмеет назвать его сопливым малайкой... А как станут завидовать взрослые парни!.. Самый лучший охотник Мухтар Лукман и тот позавидовать мог такому удару — в самое сердце зверя!..

Но, подъезжая к кошу отца, Салават оробел: а вдруг отец не простит обиды, не впустит в дом и прогонит его с кочевки?..

— Я не пойду в кош. Вышли сюда отца, — попросил Салават спутника.

Курайче, войдя в кош, отдал салам и сказал:

— Юлай-ага, тебя спрашивает какой-то молодой батыр. Он убил в поединке ножом медведя, а тебе привез шкуру на праздник...

Юлай вышел из коша и увидел Салавата. Он нахмурился. Но Салават не дал ему сказать слова.

— Атам, я привез подарок тебе... — он указал на шкуру. — Я виноват, атам... — глухо сказал Салават, опустив голову.

Юлай сурово глянул на сына.

— Надо бы тебя не пускать в дом отца, — ответил он, — да ладно уж... Праздник сегодня.

Юлай хотел уйти.

— Отец, возьми мой подарок, — повторил Салават, — это тебе.

— Неси в кош, — приказал Юлай и возвратился к гостям.

В душе он был рад. Он был горд сыном. Кто еще в четырнадцать лет простым казачьим кинжалом убил медведя?! Юлай потому и поторопился уйти, чтобы Салават, увидав радость на его лице, не перестал думать о своей вчерашней провинности.

Салават был любимым из трех сыновей от первой жены Юлая. Младший из трех, в раннем детстве он был странным мальчишкой. Он мог часами сидеть, глядя на воробьев и трясогузок, любуясь полетом ласточек или следя за течением речки. Он был нежен, как девочка.

— Жена, кого ты мне родила — мальчика или девчонку? — спрашивал Юлай.

Салават, бегая по степи, усеянной цветами, вечно что-то сам себе бормотал...

— Девчонка, право, девчонка! — ворчал Юлай, глядя на младшего сына. — Как я тебя посажу на коня?!

Но пришла пора, и отец посадил Салавата в седло. Он велел ему крепче держать повод, а сам понукнул коня. И вдруг трехлетний наездник весь просиял.

— Н-но! — крикнул он со смешным молодечеством, подсмотренным им у лихих подростков, и он изо всех силенок хлестнул коня свободным концом повода.

Конь вздрогнул.

— Тр-р-р! — остановил его испуганный отец.

— Н-но-о! — звонче и веселее прежнего выкрикнул Салават и снова хлестнул коня.

Юлай протянул было руку, чтобы схватить коня под уздцы, но умное животное, казалось, поняло и своего юного всадника и тревогу его отца: словно играя с ребенком, конь пробежал легкой рысцой с десяток шагов.

Юлай снял с седла разгорячившегося малыша, внес в кош и подал жене.

— Мальчишка!— сказал он.— Нет, не девчонка — мальчишка.

По мере того как рос и мужал, все больше привязывался к нему старшина и прощал ему многое из того, чего не простил бы старшим сыновьям.

Своенравие и горячность мальчика, мечтательная влюбленность в природу, умение слагать песни — все в нем подкупало отца. Даже когда Салават схватил Сулеймана за горло — и тогда Юлай был на его стороне, но он не ждал, что мальчишка бросится на него самого. Этого он не мог простить своему любимцу.

Салават отпустил жеребца и, взвалив на спину тяжелую шкуру, вошел в кош.

— Салам-алейкум!— сказал он.

Он скинул на землю шкуру и развернул. При этом она заняла почти половину коша. С гордостью Салават посмотрел на братьев — Ракая и Сулеймана — и на своих двоюродных братьев, вчера смеявшихся вместе со всеми.

— Где взял?— забыв о вчерашней ссоре, спросил Сулейман, пораженный добычей брата.

— Это я ободрал барана,— насмешливо ответил ему Салават.— В лесу их много пасется.

Гости засмеялись.

— Ну, жягет, Расскажи,— сказал незнакомый старик.

Салавату и самому не терпелось, он десять раз рассказал бы о своей победе, но Юлай возразил:

— Не пристало почтенных гостей тревожить мальчишеской болтовней! Салават еще молод, чтобы разговаривать со старшими. Ему только четырнадцать лет. Пусть он идет на женскую половину.

Салават залился румянцем унижения и молча, покорно вышел. Ни горячий жирный бишбармак, ни шурпа, ни чекчак, ни мед, ни кумыс не прельщали его. Обида заставила его отвернуться даже от самой смачной еды.

Мать Салавата рассказывала женщинам о его ночной победе и, дав ему переодеться, то и дело подходила и спрашивала, очень ли больно ему. Она чувствовала обиду сына и жалела его.

Солнце спускалось. Уже скоро должны были начаться скачки, и Ракай, и Сулейман, и даже младший двоюродный

брат — Абдрахман — поедут, а Салават никуда не поедет и будет, как маленький, тут сидеть с бабами...

В степи у арбы, стоявшей без дела с закинутыми оглоблями, собралась молодежь.

Тут были братья Салавата, двоюродные братья его и толпа подростков, приехавших в гости.

Салават затаился один невдалеке от собравшейся молодежи. Он видел отца, сидевшего на задке высокой арбы, и даже слышал его слова. Отец рассказывал о чудесном дедовском луке, хранившемся у него в сундуке. Отец рассказывал о нем так много раз, что Салават, как и братья его, уже знал весь рассказ наизусть, но все-таки жадно слушал, как и другие, столпившиеся вокруг старшины юноши.

— В Самарканде, у хана Аксак-Темира, был одноглазый лучник, монгол. Из рогов дикого буйвола он делал самые тугие и верные луки. Когда умер хан, лучник зачах от тоски без дела и понял, что сам он тоже скоро умрет. Последний свой лук он подарил самому сильному из батыров хана Темира. Этот батыр был отец наших отцов Ш'гали-Ш'кман. Его стрелы люди всегда узнавали по птичьему свисту.

Когда Ш'Гали-Ш'кман собрался умирать, он отдал свой лук старшему из своих сыновей. Это был Кильмяк-батыр. И сказал Ш'гали-Ш'кман: «Кто сможет, как я, владеть моим луком, тот приведет башкирский народ к славе». — Юлай не добавил к рассказу, что в последний раз знаменитый лук был натянут Кара-Сакалом.

Юлай достал с пояса ключ и подал Ракаю, чтобы он принес со дна сундука заветный прадедовский лук.

Когда Ракай принес его, все тесно столпились вокруг, все по очереди старались, пыхтели над ним, но тетива только тоненько тенькала и срывалась из-под пальцев.

С завистью глядел Салават на забаву подростков. Он не смел подойти.

Поговорив о том, что прежние батыры были сильнее, Юлай сам понес лук назад в кош, Салават отвернулся и сделал вид, что ему все равно.

Молодежь направилась к месту, где должны были начаться скачки. Чтобы никто не видел зависти в его глазах, Салават перевел взгляд на небо. Почти над самой его головой кружился орел. Глаза Салавата вспыхнули охотничьим огнем. Он вскочил и в несколько прыжков догнал Юлая.

— Атай, карагуш! — крикнул он, почти вырвал из рук Юлая лук и наложил стрелу. От напряжения он почувст-

вовал боль в левой лопатке, разодранной медведем, разозлился и побледнел.

Все замерли на поляне у коша Юлая.

Орел, как бы дразня охотника, на мгновение застыл в воздухе, распластав крылья, и в тот же миг тетива непокорного дедовского лука тенькнула, оперенная стрела с резким свистом взвилась в небо и насмерть сразила птицу.

— На! — крикнул стрелок подавая отцу лук. — На! Я — малайка!

И Салават бросился прочь. Не слыша криков похвал и удивления, он скрылся в кустарнике возле реки.

Он забрался в ивовую чащу и не вылез даже для того, чтобы взглянуть на скачки, борьбу и бег. Спина от сильного напряжения разболелась.

Когда кончился день и у кошей в степи горели костры, от которых слышались пение и музыка. Салават вылез из своего убежища и в сумерках сел у реки с новым, только что вырезанным из камыша кураем. Отдавшись нежным звукам курая, Салават не слышал, как за его спиной появился отец. Юлай стоял недвижно, боясь спугнуть песню. Наконец он присел рядом с сыном.

Заметив отца, Салават прекратил игру.

— Играй, играй, — поощрил старшина.

Салават поднес было курай снова к губам, он взглянул на отца и опустил.

— Ну, играй, играй, — настойчиво повторил отец.

— Не пристало почтенного старшину беспокоить мальчишеской пискотней на дудке! — с насмешливой почительностью дерзко сказал Салават.

Но Юлай не обиделся.

— Ты натянул лук Ш'Гали-Ш'кмана! — серьезно сказал он.

Удовлетворенный недоговоренным признанием отца, которое для него прозвучало как просьба об извинении, Салават приложил курай в уголок рта, и тихий, задумчивый звук опять полился из сухой камышинки. Юлай молча слушал, дружески сидя плечо к плечу с сыном.

— У кого присмотрел невесту? — душевно спросил он, пользуясь паузой, когда Салават, окончив один мотив, еще не успел перейти к другому.

— У Рысабая, — буркнул Салават, охваченный снова смущением.

— Сестру Бухайрки? Сказать ведь, неплохо надумал: пора уже нам с Рысабаем мириться. Сватами станем — и лиха меж нами не будет, — ответил Юлай, но вдруг спох-

ватился: — Постой, Салават, ведь ее за Юнуса отдать хотели. Сказали, Юнус уже калым притащил!

— У ханов и то отбивают невест,— запальчиво возразил Салават.— Сам говоришь, что твой сын натянул богатырский лук!

— Так-то так, да тут уж не мир ведь придет, а вражда... Уж лучше я сам попытаю дело уладить: пошлем сватов, а Юнусу скажу, что калым с лихвою заплатим... Добром-то лучше ведь, значит!

Салават промолчал и снова взялся за курай.

Получив разрешение отца на женитьбу, Салават был захвачен этой новой заботой. Прежде всего рассказал об этом своим друзьям — Кинзе и Хамиту.

Услышав от Салавата, что старшина ему разрешил жениться, друзья смотрели на него с еще большим почтением.

Кинзя, почасту бывавший вместе с отцом в гостях у Рысабая, уже целый год в смущении посматривал на озорную, живую сестренку писаря. Амина ему нравилась, и толстяк часто думал о том, что пройдет год-другой — и мулла разрешит ему взять ее в жены. Сватовство к Амине Юнуса было внезапно для Кинзи.

Сорокалетний богатый Юнус, владелец больших табунов и многих тысяч овец, женатый на двух женах, отец десятка детей, старшие из которых были сами женаты, Юнус не мог представляться Кинзе соперником: толстый, пузатый, с красной складчатой шеей, с висячими реденькими усами и ярким румянцем на лоснящихся щеках, всегда довольный собою, хвастливый Юнус не упускал никогда случая посмеяться над прожорливостью и преждевременной полнотою Кинзи. Злые шутки его возбуждали веселый смех окружающих, а Кинзя ненавидел его, пытался и краснел, но не смел огрызаться на взрослого злого насмешника. Зная, что каждый раз в доме у Рысабая он встретит Юнуса, Кинзя отказался бы от поездок с отцом к Рысабаю, но мысль о том, что там он увидит смешливую черноглазку, младшую дочь старика Рысабая, снова влекла Кинзю в гости к отцу юртовского писаря. Сватовство Юнуса было для толстяка такою обидой, словно он уже просватал Амину за себя, а Юнус ее отнял... Потому, когда он услышал от Салавата, что тот решил перебить у Юнуса невесту, он так был увлечен этим планом мести, что позабыл о своей влюбленности и о своих мечтах о женитьбе на дочери Рысабая.

Дня через три Кинзя прискакал к Салавату, едва верхушки окрестных гор озолотились утренним блеском зари.

Он рассказал, что мулла, по просьбе старшины, говорил с Рысабаем, но тот ответил, что никогда не обидит верного друга Юнуса, не предпочтет его никакому малайке; он сказал, что если бы даже и сам старшина Юлай хотел взять его дочь не для сына, а для себя, и тогда бы он не нарушил слово, которое дал Юнусу.

— Все равно я ее увезу увозом! — упрямо сказал Салават.

— Мы поможем тебе, — обещали с жаром друзья.

Сестра Хамита была подружкой спорной невесты, и Хамит через сестру каждый день узнавал, как идут на кочевке у Рысабая приготовления к свадьбе.

Салават, Кинзя и Хамит — все трое вдруг увлеклись охотой. Они пропадали с кочевки на целые дни — от зари до зари, хотя неизменно возвращались с пустыми руками, словно какая-то редкая неудача преследовала их в лесах и в степях.

Заметив мрачность и озабоченность сына, Юлай успокоил его:

— Не беда! Что нам за родня Рысабай! Возьмем для тебя не хуже другую жену! — утешал он сына.

Салават свирепо взглянул на отца и, не ответив ни слова, выбежал вон из коша...

Свадьба в таком богатом доме, как дом Рысабая, была веселым событием для окрестных кочевий. Родственники, свойственники и кунаки съехались из соседних юртов. Важный и знатный жених со своей стороны тоже созвал много гостей; в числе их были даже двое приезжих татар-купцов из самой Уфы, переводчик провинциальной канцелярии, гостивший в Кигинском юрте у Сеитбая, и даже один из заводских приказчиков купца Твердышова, владельца железных и медных заводов.

Рысабай приказал своим пастухам отобрать самых лучших барашков для бишбармака. В день свадьбы с утра зарезали трех молодых жеребят; хозяйки готовили душистый пенный кумыс, настоенный на горьких вишневых косточках, купцы привезли дорогой белой муки. Женщины хлопотливо терли сухой курут для приправы к жирной шурпе, варили медовые сладости.

Молодежь готовилась к скачкам, к борьбе, музыканты также готовились к спору за первенство, словно не просто в тот день была назначена свадьба, а наступал второй сабантуй.

Старшина Юлай не был обойден приглашением Рысабая. Он не засылал к Рысабаю настоящих сватов, ему

никто ни в чем не отказывал, не было никакой обиды меж ними, и старшина, как всегда, когда ему случалось бывать в доме Рысабая, был сдержанно весел, приветлив, учтив с хозяином и его гостями. Юлай заметил, что Салавата с друзьями нет среди веселящейся молодежи, но, пожалуй, никто другой, кроме него, не обратил на это внимания.

День проходил веселый, знойный и шумный. Под кровом войлочных кошей и у костров меж кустами в разных местах слышались звуки курая и кобыза, го тут, то там заводились пляски. Вот завязалась борьба в кружке молодежи, и зрители бились за победителя об заклад. Вот пятеро молодых, споривших о быстроте своих лошадей, схватились враз за уздечки, а вот уж они и в седлах, готовые к скачке, и только что боровшиеся жягеты, забытые зрителями, сами бегут, чтобы глядеть на новое зрелище...

Среди знойного дня налетели вдруг с ветром темные тучи, закружились сорванные с деревьев листья, хлынул дождь, все попрятались в коши, и тут-то как раз подоспело вовремя угощение. Из прокопченных котлов, висевших над многочисленными огнями, от топившихся очагов повалил ароматный пар, и начался свадебный пир... Потом сытые и полупьяные гости, неподвижно сидя с отяжелевшими животами, слушали музыкантов и певцов, перебрасывались дерзкими, веселыми шутками, поддразнивали друг друга, и никто не обижался, потому что так уж заведено на праздничных пирах, что колючее, острое слово не принимается за обиду в застольной беседе.

После дождя зелень дышала свежестью.

И вот настало время забавы для женщин. Важный разодетый жених встал от еды, поклонился хозяину и сказал, что солнце уже село, пора ему ехать домой. Он потребовал выдать ему невесту.

— Ты калым заплатил без обиды — невеста твоя, — ответил ему, по обычаю, Рысабай. — Иди и возьми.

Юнус направился к женскому кошу.

— Нету, нету невесты! Не знаем, куда убежала! — заявили женщины, веселой толпой обступив жениха.

— Она у нас как коза быстроногая — ускочила куда-то!

— Не видали ли, сестрицы, куда она убежала, негодница?! — так же весело спрашивал их жених.

— Не видели, дядюшка. Мы тут работали, бишбармак варили, кобыл доили, овец стригли, шерсть пряли, а она, бездельница, убежала куда-то!

— Да на что тебе такую бездельницу?! Из нее все равно доброй жены не будет! — бранили невесту свахи.

— А я ее плеточкой выучу! — отсмеивался жених. — Ну, сказывайте, сестрицы, куда ее спрятали?

— Выкуп! Выкуп плати! — по обычаю, кричали женщины.

— Я калым весь сполна привез. Какой еще выкуп! — для виду торговался жених.

— Подарки давай нам, подарки! — шумели женщины.

— А ну, кунаки, давайте им выкуп. Нечего делаты! — сдался жених.

И двое товарищей жениха стали раздавать подружкам и мамкам невесты подарки — платки, колечки, сережки, бусы...

Старшая жена Рысабая молча взяла жениха за плечо и показала ему в сторону леса.

— Вон там поищи, — сказала она, довольная вязаной шалью, полученной от жениха.

Жених, как велел обычай, направился к лесу в сопровождении шумной веселой толпы женщин, которые шутили во поддразнивали и подзадоривали его:

— Ну и охотник, споткнулся! — кричали ему. — На куст наткнулся!

— Глаз сучком выколоч!

— Куда же тебе, кривому, жениться?

— Подружки, сестрицы, да он слепой, ничего не видит — на пень наскочил!.. Эй, ноги ломаешь!

— Не найдешь, не найдешь! Куда тебе за молоденькой козочкой гнаться — поезжай-ка домой к старухе!..

Они закидали его в насмешку еловыми и сосновыми шишками, подняв визг и хохот в темном ночном лесу.

— Должно, Юнус-бай, ты выкупа мало давал. Прибавь им подарков, — сказал один из его кунаков, которые сзади вели двух богато заседланных лошадей — для жениха и для невесты.

— Он от жадности лопнет, а не прибавит!

— Лучше голову сломит, а не прибавит! — поддразнивали женщины.

Жених уже устал спотыкаться в темном и влажном лесу. Отяжелевший от угощения, он хотел поскорее закончить обряд поисков.

— Прибавьте им, кунаки, — сказал он, пыхтя, отдуваясь и обливаясь потом.

Товарищи жениха из кожаных мешочков раздавали женщинам и девушкам припасенные для этого деньги.

— Мало! Жадный! — кричали женщины.

— Все раздайте им сразу! — велел жених. — Теперь говорите, сороки: куда запрятали девку? — потребовал он.

— Мимо! Мимо прошел! Кривой! Слепой! Не увидел, не заметил! — закричали женщины.

Юнус вспомнил, что он обошел стороной колючие заросли боярышника, — значит, подружки и мамки для потехи спрятали невесту в колючках! Эх, злые насмешницы, будут еще забавляться, когда он исколется весь, издерется в этих кустах...

Он решительно повернул к кустарнику, поросшему по краю оврага, злясь на женщин, которые не посчитались с его полнотою и возрастом. Но он молодился и не хотел показать досады.

В лесу потемнело. Кусты и стволы деревьев сливались в сплошную стену, сплетаясь с ночной тьмой.

— Подружки, он весь обдерется! Пожалей себя, Юнус-бай, заплати еще выкуп, мы тебе сами ее приведем! — закричали женщины. — Ой, сестрицы, пропал Юнус-бай!

— Ага! Вот она! — торжествующе крикнул Юнус, заметив белое пятно во мраке между кустарников.

Он ринулся на него, не жалея своей одежды, рук и лица, но «невеста» испуганно метнулась в кусты, забила и закричала, как показалося ему, ужасающе диким голосом.

Жених отшатнулся, поняв, что схватил привязанную в боярышнике козу...

Непритворный хохот молоденьких женщин огласил весь окрестный лес. Юнус, уже не скрывая злости, бранился с женщинами. Свахи постарше, принимавшие участие в забавном обряде, спохватились, что зашли далеко в своих шутках. Они уже сами решили помочь незадачливому охотнику и привести его «дичь» к нему в руки, но вдруг оказалось, что сами они не могут найти Амины. Невеста пропала.

Первые догадавшиеся об этом подружки невесты, пользуясь темнотою ночи, ускользнули в кусты и поспешили поодиночке добраться к кочевкам, другие аукались по лесу. Третьи еще оставались возле гневного жениха и хотя продолжали поддерживать шутливую перебранку, но уже шептались между собою, что неспроста оказалась в кустах привязанная коза. Кто-то болтнул, что колдун превратил невесту в козу, и вдруг всем сделалось жутковато, и, когда оставленная в лесном одиночестве коза снова жалобно закричала, женщины с воплями страха толпою бросились из лесу к человеческому жилью...

Когда солнце озолотило вершины соседних гор, Салават разбудил свою похищенную у Юнуса-бая жену, Амина

застыдилась и спрятала покрасневшее лицо у него на груди...

Потом они оба смеялись.

Чтобы позабавить Амину, Салават представлял перед нею в лицах все то, чего оба они не слышали и не видали, но что неминуемо должно было произойти после того, как Салават из-под носа жениха выкрал ее, оставив в лесу привязанную козу.

— Ты рада, что не осталась там? — в тысячный раз спрашивал ее Салават, глядя на маленькую жену как на чудо, упавшее с неба.

И в тысячный раз Амина повторяла ему, что рада.

В коше, куда привез ее Салават, она нашла женское платье. Возле коша паслось с десятков овец, бродила кобыла — все было как нужно. Маленький очажок перед кошом курился дымком: Амина и Салават натаскали в него сухих сучьев. Салават застрелил какую-то синеперую птицу. Амина пекла лепешки.

Кругом нигде не было ни единой живой души. С горы, на которой стоял их кош, были видны леса, и вершины гор, и леса без конца и края, и змеистая речка, но не было видно ни табунов, ни кошей.

Почти каждый день к ним наезжали в гости Хамит или Кинзя. Хамит бывал неизменно весел и без умолку трещал обо всех новостях, представляя то Рысабая, то его старшую жену, то рассказывал о том, как Юнус со злости послал уже сватов на кочевки соседнего аула и там получил отказ, потому что невесту успели просватать кому-то.

Кинзя привозил каждый раз с собой полный тургек кумыса или еще что-нибудь из съестного, чего Салават не мог бы добыть в лесу на охоте.

Вести, привозимые Хамитом, были все спокойнее. Наконец как-то раз он сказал, что поутру кочевка уходит намного дальше и будет уже трудно им приезжать, чтобы навещать молодоженов.

— Перекочуйте и вы к нам поближе, — сказал он. — Выберем новое место в лесу, в стороне ото всех, и живите, а то вам совсем-то одним будет скучно.

— Ласточка, скучно тебе со мной? — спросил Салават.

И Амина весело рассмеялась в ответ, словно ее спросили в палящий полдень, не дать ли ей шубу.

Как раз в эту пору приехал Кинзя. С сопением слез он с седла, уселся, выпил половину привезенного с собой кумыса и крикнул.

— Старшина приходил, — сказал он.

— Куда? — в один голос спросили все трое.

— К отцу, конечно. Спрашивал, как с вами быть. На тебя сердился, — сказал он Салавату.

Салават знал, что Юлаю приходится поневоле перед муллою изображать гнев. Но вслух он спросил с притворной тревогой:

— Что же сказал мулла?

— Велел простить тебя и отдать Рысабаю калым за Амину, а жениху заплатить убыток...

Салават вскочил, снял уздечку с гвоздя и пошел седлать лошадь.

В первый раз за три недели Салават выезжал из своего убежища. Он радовался тому, что наконец попросту сможет жить вместе со всеми. Но в первый раз он хотел приехать в кош Юлая не замеченным чужими людьми, а уж если встретится с кем-нибудь преждевременно, то не дать понять, с какой стороны он приехал; поэтому Салават и Кинзя сделали крюк и проехали через родную деревню, где в эту пору не было никого, потому что все жили на кочевке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из просторных владений Шайтан-Кудейского рода еще отец старшины Юлая продал часть леса с землей русским купцам Твердышову и Мясникову. На купленных русскими землях гибли леса: ненасытные рудоплавные печи пожирали березу, столетние сосны и ель.

Богатства уральских недр — железо и медь — влекли на башкирские земли все новых купцов. Заводские приказчики приезжали снова и снова к башкирам, каждый раз уговаривая и понуждая их продать то участок леса, то полосу степи, годную под пашню или сенные угодья.

Владельцы рудников и заводов целыми селами пригоняли сюда крепостных из центральных губерний.

Заводы росли, при них разрастались деревни, кругом деревень ложились полосатые пашни, и по степям, уставленным стогами заводского сена, уже не бродили табуны башкирских коней. Прежним хозяевам здешних мест приходилось, кочуя, переходить через чужие владения и — чего не бывало раньше — думать о том, где можно поставить свои коши, а где — нельзя.

В горах и степях оставалось еще довольно простора, но старики, испытывая впервые стеснение своих желаний, вселяли в свой народ страх и тоску: они пугали всех, что заводы, как злые драконы дедовских сказок, сожрут Урал,

захватят все земли, опустошат леса и некуда будет выгнать ни табуна коней, ни овечьего гурта...

К Юлаю снова приехал приказчик Твердышова. На этот раз купец хотел купить у Юлая участок земли на берегу реки, возле самой деревни.

Татарин-приказчик, удобный владельцу заводов, потому что он легко говорил по-башкирски, сидя в коше Юлая, звонко хлопал широкой ладонью по крышке узорной шкапулки, предлагая немедленно заплатить хорошие деньги.

Деньги были Юлаю нужны, а похищение Салаватом дочери Рысабая заставило старшину пойти на большие расходы: надо было платить калым за невесту и, кроме того, за бесчестье, нанесенное Салаватом жениху. Между тем сын Рысабая, писарь Бухаир, тотчас решил жениться на самой богатой невесте из всей округи, а Рысабай заявил, что помирится с Юлаем лишь после того, как старшина заплатит калым и за Бухаира; в расчете же на деньги Юлая он был несказанно щедр и обещал неслыханный выкуп отцу Бухаировой невесты.

Старшина взвешивал про себя, какая из двух невзгод больше: попасть в немилость к богатым заводчикам или заслужить озлобление единоплеменников?

Земли, которых так добивался владелец заводов, принадлежали лично ему, Юлаю, но в его руках это были башкирские земли, в руках же заводчиков они становились чужими.

Юлай созвал самых почтенных старейшин рода на совет к себе в кош. Он зарезал барашка, сварил бишбармак, он не жалел кумыса. Настелив ковров и паласов, он навалил подушек и под конец сказал сытым и благодушным односельчанам, в чем дело и для чего приехал его важный гость.

Но богатое, сытное угощение не усыпило аксакалов, когда зашла речь о продаже земли. Особенно всех встревожило то, что заводчик зарится на полосу, лежащую возле самой деревни.

— Курице некуда будет пойти погулять!

— Овечка сошла со двора — и тотчас на чужую землю. Штрафы да раздоры пойдут.

— На что то похоже, чтобы у самой деревни чужая земля была!

— Нет нашей воли! Продашь — во старшинах не будешь! — расшумелись старики.

Лучник Бурнаш одиноко сидел в стороне. Когда все шумели и спорили, он молчал, и вдруг из горла его словно сама полилась грустная песнь, которую, по преданию, сло-

жил славный батыр Мурадым. Все споры умолкли. Все слушали песню.

Гяуры отнимут землю твою,
Понемногу порубят леса для заводов,
А мужи, хозяева темных лесов,
Где возьмете тогда вы желтого меду?
А-ай!..

— Не продавай земли, старшина!

— Отцовских могил нельзя продавать неверным.

— Польстишься на золото — станешь врагом народу.

— Не продавай! — возбужденно кричали старейшины, еще больше распаленные песней Бурнаша.

Юлай обернулся к приказчику.

— Слышишь, гость, народ не велит. Не продам.

— Да что там — народ не велит! Чья земля? Или ты уж своей земле не хозяин? — раздраженно воскликнул приказчик, вскочив с места.

Юлай не успел ничего ответить ему, когда в кош ворвался возбужденный, пылающий гневом и возмущением Салават.

— Они рубят лес! Рубят лес! — закричал Салават.

Эта весть оглушила всех будто внезапным громом.

Никто не спросил Салавата, кто рубит лес, но все дружно вскочили с подушек и крикнули разом одно:

— Где рубят?!

Русские хозяйничали у самой деревни, оставленной жителями на время кочевья. Все поняли, что приказчик от имени заводовладельцев приехал добиваться согласия на то, что было уже захвачено...

В коше поднялся шум и крик. Лучник Бурнаш схватил за грудь заводского приказчика и кричал ему что-то, брызжа слюной, прямо в лицо. Другие дергали его за рукава и полы кафтана, тыкали в грудь и в бока кулаками, совали костлявые старческие кулаки ему под нос...

Часа через два старшина Юлай во главе старейшин уже стоял в толпе крепостных заводских рабочих на берегу реки, возле своей деревни. Старшина дознавался у рабочих, кто из них самый главный. Рабочие забавлялись его неправильной речью и кажущейся наивностью вопросов.

— Мы все тут главные! Все господа! — зубоскалил один из лесорубов. — Глянь сам — кафтаны парчевы, сапожки козловы!

Он повертывался перед Юлаем, выставляя всем на посмешище свои лохмотья и босые, израненные и запыленные ноги. Рабочие хохотали над его шутками.

Башкиры не улыбались. Они стояли, мрачно потупясь, и исподлобья смотрели на страшное разорение. Весь берег реки за деревней был сплошь завален срубленными стволами. Опушка леса ушла от берега вглубь. По самому берегу десятки людей рыли землю и таскали носилками на одно место и сваливали ее в кучу. Кипела какая-то стройка.

Балагур-лесоруб внезапно прервал свои шутки, взглянул на дорогу. По выражению лица его догадались и остальные работные люди, что он увидал. Они бросились врассыпную, а вслед за тем раздался и резкий голос того, кто своим прибытием так смутил шутников:

— An die Arbeit machen Ihr euch! За работ! — крикнул немец — плотинный мастер, осаживая аккуратную маленькую лошадку, запряженную в одноколку. Вместе с мастером подъехало несколько вооруженных всадников.

Толпа башкирских старейшин осталась лицом к лицу с мастером. Надменно взглянув на толпу азиатов, которых не ждал, считая, что они далеко на кочевке, немец вдруг обратился к ним по-хозяйски и даже строго, словно не он пришел к ним, а сами они вторглись в его владения.

— Ви чего хочет? — сурово спросил он, не сходя с повозки.

Юлай выступил из толпы вперед.

— Зачем гулял на наш сторона? Чего работать будешь? — спросил он в свою очередь.

— До нынешний день мой хозяин был каспадин купец Твердышов, — сказал мастер с издевкой. — Может быть, ты есть новый хозяин на место купец? Я долшон тебе отвешать? Ты кто есть?

Юлай приосанился, выставив грудь, украшенную медалью, надетой по поводу торжественности случая.

— Юртовой старшина Юлай Азналла-углы, — с достоинством сказал он.

— Я на тебе сказать, старшина: каспадин купец приказал работать... — мастер потерял нужное слово, — *di damm...* Как называй по-русски?

— Ферштай, ферштай! Их ферштай¹, — неожиданно с живостью перебил Юлай. — Работать плотину?! Тал койма, — перевел он башкирам. — Ты наша земля не купил — кауфта никс! — обратился он снова к немцу. — Майна земля, дайна никс! Ди дам — работать тут нельзя... Ду ферштай сам! — все более горячился Юлай, наступая на немца. — Копфа ду, копфа хабен!² — он хлопнул себя по лбу.

¹ Искаженное немецкое «понимаю».

² Также искаженное: голова, голова у тебя есть?!»

Внезапно услышав целую кучу немецких слов от азиата, мастер ослабился и подобрел.

— Веселый старик, — засмеявшись, сказал он. — Как ты научил наш язык?

— Пять лет ведь гулял на ваш сторона! На Берлин маршир, ваша царь Фридка гонял, — простодушно похвастался старшина, видя перемену в обращении. — Царица медаль нам давал! — Юлай с гордостью ткнул себе в грудь — Ди дам нельзя. Я в Питербурх генерал напишу на тебя бумагу...

— Болфан! — оборвал вдруг взбесившийся немец. — Пиши на генерал! Я плевать захотелся!

— Моя земля! — наступал Юлай. Он размахивал под носом немца руками и громко кричал: — Ваша кауфта никс! Плотин тут ставишь?! Лес рубишь, собака...

Немец вскочил в тарантасе и поднял длинный ремennyй бич. Невольно отхлынули прочь башкиры, и это придало ему храбрости.

— Азиатски сволошь! Паш-шоль домой! — выкрикнул он в лицо старшине, остававшемуся впереди.

— Шайтан! — крикнул немцу один из башкир.

— Иблис! Кагар хуккан!¹ — разногласо закричали башкиры.

— Ду бист швайна!² К царице самой на тебя напишу! — крикнул Юлай.

Бич взвился в руках немца со свистом и неожиданно острой болью резнул старшину по плечу и по шее...

Конная стража управителя угрожающе взялась за оружие.

Юлай бессильно в обиде и гневе сжал кулаки. Но что мог он сделать? Что могли сделать башкиры?!

...Юлай ехал понурый, и никто из спутников не утешал его. Все понимали, что это — поражение не одного старшины; понимали, что если построят плотину, то, вслед за плотиной, здесь вырастет новый завод, что вслед за заводом начнет разрастаться поселок и судьбы соседних земель решатся сами собой, точь-в-точь так, как пел старинный певец Мурадым...

По совету старейшин Юлай решил тотчас отправиться в провинциальную канцелярию. Он собрался, не откладывая, и на рассвете следующего дня уже был готов к выезду в сопровождении старших своих сыновей Ракая и Сулеймана.

¹ Черт! Сатана! Будь ты проклят!

² Искаженное немецкое: «ты свинья».

— Вот тебе юртовая печать, Салават,— сказал Юлай.— Ты ее береги. Печать старшины — большое дело! Мало ли что без меня случится, писарю надо будет какую бумагу писать — он ничего без печати сделать не может, в ней сила. Тогда ты печать сам поставишь на ту бумагу. Писарю в руки ее не давай. Сам поставишь. Только сначала мулле спроси, что за бумага, надо ли ставить печать... Да, может, я лучше мулле отдам... — спохватился Юлай.

— Что я — малайка?! — с обидой воскликнул юноша.

— Ну, береги ее сам, — согласился отец. — Хош, сыннок! — попрощался он и уехал.

На другое утро после отъезда Юлая в Исецкую провинциальную канцелярию, когда Салават предавался любимому занятию — вырезал из камыша себе новый курай, — мать вбежала в его кош, встревоженная и напуганная.

— Русские едут! — выкрикнула она.

Это случалось редко, что русские приезжали на кочевье. Женщины обычно при этом прятались, мужчины суровели. Все ожидали каких-нибудь новых налогов, поборов, вестей о войне, повинностей... Принимать посланцев начальства приходилось обыкновенно старшине. Он выходил к приезжим, облаченный в старшинское платье: в богатом халате, в высокой бобровой шапке, с саблей и посохом, выпятив грудь, украшенную елизаветинской медалью, потом приглашал к себе муллу и стариков, вызывал писаря, угощал приезжих и только после угощения вел разговор о делах.

Что было делать теперь?

— Скажи за муллой, Салават. Пока он займет их беседой, я стану варить мясо, а ты тогда за писарем, — несколько растерянная, сказала мать Салавата.

Салават приложил камышовую дудку к губам, дунул и пробежал по ладам пальцами.

— Хороший курай! — похвалил он.

— Ты слышал, Салават?! — удивленная его равнодушием, воскликнула мать.

— Я слышал, анам. Не тревожься. Атай оставил меня старшиной за себя, — сказал Салават. — Я сам выйду к русским.

— Как — тебя? Бухайра, наверно! — усомнилась женщина.

— А это что?! — показал Салават печать. — Не Бухайрка, а я натянул лук Ш'гали-Ш'кмана! — уверенно пояснил он и твердо добавил: — Вари бишбармак. Я сам пошлю за муллой и за стариками.

Мать растерянно моргнула, не сразу решившись послушаться сына, который в ее глазах продолжал быть ребенком.

— Ну, ну! — повелительно поощрил Салават.

Он вышел из коша и, прикрывшись ладонью от солнца, увидел в степи троих русских, двое из них были с ружьями за плечами. Они направлялись к кочевке Юлая.

Салават окликнул кучку мальчишек, также глядевших в степь на приближающихся гостей:

— Эй, воробьи, по коням! Кто скорее!

Мальчишки окружили его.

— А куда? Куда ехать?

— Ты поедешь к мулле, — ткнул Салават пальцем в грудь одного. — Ты поскачешь к Бурнашу, ты — к Ахтамьяну, ты — к Юлдашу, — приказывал он одному за другим: — Скажите им, что приехали русские и я всех зову на совет... Скакать без оглядки! — поощрил он ребят, и десяток всадников мигом рассыпался по степи в разные стороны.

Салават вошел в кош отца.

— Эй, апай, позови старшину! — окликнул переводчик, сопровождавший русского начальника.

Мать Салавата, с двумя младшими женами Юлая хлопотавшая у очага, ничего не успела ответить, когда Салават вышел из коша навстречу гостям.

— Здесь старшина, — сказал он.

Мать взглянула и обмерла: Салават был в высокой старшинской шапке, в богатом отцовском халате, опоясанный саблей и со старшинским посохом. Во всем его облике было величие и достоинство.

— Я старшина, — уверенно сказал он.

Лица приезжих изобразили недоумение.

— Ты старшина? — переспросил переводчик. — Может, твой дед или отец?

— Отец уехал по делу и оставил меня старшиной.

— Салам-алеку, старшина-агай! — улыбнулся Салавату переводчик.

— Алеку-салам! — важно отвечивал Салават. — Прошу гостей сойти с седел и отдохнуть. Жаркий день. Вам сейчас принесут кумыса, — непринужденно добавил он.

Он откинул полог коша, приглашая путников в его тень.

Мать смотрела на него, пораженная. Сын перестал быть ребенком. Это было олицетворение достоинства, власти и силы. Так говорить с русскими мог лишь старшина. Моло-

дое лицо Салавата в этом нарядном одеянии выглядело красивым. Сабля и посох так шли к его гордой осанке...

Гости сошли с коней, Салават пропустил их в кош; стоя у входа, приветливо указал на подушки, хлопнул в ладоши и приказал принести гостям воду для омовения.

Маленькие племянники, сыновья Ракая, вошли, неся полотенце, таз и кумган.

Женщины принесли тухтаки для кумыса. Все шло так, как если бы сам Юлай принимал приезжих.

Салават угощал гостей кумысом, говорил о жаркой погоде, об оводах, беспокоящих скот, посмеялся вместе с гостями над мальчиком, который вошел в кош с невытертым носом.

Между тем приехал Кинзя и сказал, что мулла болен, не может приехать по приглашению Салавата. У Кинзи захватило дыхание при взгляде на преобразившегося друга. Салават расспросил его, чем болен мулла. Из ответов Кинзи он понял, что мулла уклонился от встречи с русскими не по болезни. Он на миг омрачился, но пригласил Кинзю занять место среди гостей.

Приехали старики Ахтамьян и Бурнаш. Юлдаша в тот день не случилось дома.

Женщины приготовили угощение. Все шло своим чередом. Говорили о сборе меда, о метких стрелках из лука, о соколиной охоте.

Старик Ахтамьян между разговором сыграл на курае.

Наконец, гости стали благодарить. Они не отказались от мяса, потом от кумыса, наконец — от сладостей. Гости знали обычай не начинать деловых разговоров, пока не окончено угощение. По тому, как они переглядывались и обменивались короткими фразами, Салават понял, что они вообще сомневаются, начинать ли в отсутствие старшины разговор о делах. Тогда он решил сам.

— Что привело в кош отца моего русских гостей?— спросил он переводчика.

Русские тихо о чем-то заспорили между собой.

— Мы приедем еще раз, когда старшина возвратится, — сказал было переводчик, но тут же добавил: — А ты передай отцу, что ему придется перенести зимовку на новое место. Там, где стоит ваш аул, будет большая вода. Если дома не свезти на другое место, то их затопит. Русские не хотят вам беды. Надо подумать скорее о том, где выбрать новое место для вашей деревни.

— Как так затопит вода?!

— Какая вода?!

— Откуда большая вода?! — в один голос воскликнули Салават, Ахтамыян и Бурнаш.

— От плотины вода, — пояснил переводчик, — от новой плотины.

— Новой плотины не будет, — твердо сказал Салават — Атай поехал к начальникам с жалобой. Он не позволит строить плотину.

— Никакая жалоба не поможет, — ответил старший приезжий. — Плотину начали строить и будут строить. Мой хозяин не хочет вам худа. Он велел вам сказать заранее, что вашу деревню зальет вода.

— Не будет плотины! — с еще большей уверенностью сказал Салават.

— Не будет плотины! — повторили, убежденные уверенностью Салавата, Ахтамыян и Бурнаш.

— Не будет плотины, раз говорит Салават! — воскликнул Кинзя, восхищенный другом.

— Ты, молодой старшина, и вы, старики, не сетуйте. Мы подневольные люди, посланцы, — сказали, уезжая, незванные гости. — А если случится беда, тогда на себя пеняйте! — заключили они. — Спасибо вам за угощение.

— Чтобы вам в брюхе мой бишбармак стал камнями, от шайтана посланцы! — не выдержав роли, вспыхнул Салават.

Когда злые гости уехали, Салават с презрением поглядел на Кинзю.

— Твой отец нагадил в штаны, когда узнал, что приехали русские, — упрекнул он друга. — Не надо. Я без него обойдусь!

Салават снял старшинскую саблю, халат и высокую шапку, но печать не давала ему покоя: в ней сила всего Шайтан-Кудейского юрта — сила племени. Слова, скрепленные юртовой печатью, становятся голосом целого юрта башкир.

Салават поставил печать на листке чистой бумаги. Это была ель на горе и река, а под ними — сабля.

Салават решил действовать сам.

— Если волков не бить, они станут средь белого дня забираться в деревню! — сказал он Кинзе. — Уж я им теперь напишу!..

Слова письма сами лились из горячего сердца.

«Ты, купец Твердышов, поступаешь бесчестно. Река наша, гора наша, лес наш, башкирский. Если не хочешь великой крови, то не вели своим людям строить на нашей земле. Мы никуда не снесем аула! Так говорят башкиры

Шайтан-Кудейского юрта, так говорит батыр, натянувший лук Ш'гали-Ш'кмана», — написал Салават.

Кинзя прочел письмо.

— Надо было писать: «Ты, нечистый купец Твердышов...» — подсказал он.

Салават добавил слово «нечистый».

— Еще надо сказать: «Если ты, собака, не хочешь великой крови...» — советовал добавить Кинзя.

Салават согласился и с этим. Они вписали также слова о метких башкирских стрелах, тяжелых сукмарах...

Хамит поскакал с бумагой на стройку и отдал ее самому мастеру-немцу для Твердышова.

На другое утро они все втроем отправились к месту стройки, смотреть, прекратились ли на реке работы. Но русские продолжали рубить лес, копать и возить землю, тесать колья. Над местом стройки стояли крики, удары топора, звучала русская песня.

— Наверное, немец еще не поспел отдать бумагу, — решили друзья.

Они приехали снова дня через три. Продолжалось все то же, только у самого берега в дно реки рабочие начали заколачивать сваи.

— Говорят, Твердышов в Петербурге живет, где царица. Может, туда и письмо послали? — сказал Салават.

Его друзья согласились.

Слух о том, как Салават за старшину принимал русских, летел с кочевки на кочевку между шайтан-кудейских башкир. Рассказ о его смелом и дерзком письме полетел вслед за первым слухом.

Писарь Бухаир примчался на кочевье Юлая.

— Ты что тут наделал?! — напал он на Салавата. — Из-за зимовки Юлая ты хочешь посорить весь юрт с Твердышовым. За аул твоего отца нам всем пропадать?! Как ты, пустая твоя голова, поставил тамгу старшины на такую бумагу?! Русские схватят теперь старшину и меня, скажут, что мы им великой кровью грозились! Отдай мне печать!..

— Атай никому не велел ее отдавать. Пока нет дома отца, я старшина! — твердо сказал Салават.

Бухаир засмеялся.

— Попадет старшине за то, что малайке оставил свою тамгу. Юртовая тамга не игрушка! Теперь Юлая посадят в тюрьму. Из Исецка домой не пустят!

— А ты чему рад?! — взъелся на писаря Салават. — Сегодня водой затопят аул моего отца, а назавтра — аул

твоего отца. Если не быть с ними смелым, то все потеряем! Ты заяц!

Однако после отъезда писаря Салават затосковал: неужто же вправду он сам погубил отца?!

Но не прошло и недели, как Юлай возвратился домой. Он был угнетен. Чиновник кричал на него, как на мальчишку, он сказал, что Юлай столько раз продавал понемногу свои земли, что теперь уже и сам не поймет, где его, а где Твердышова, и лучше без всяких раздоров продать купцу уж сразу все земли, которые входят клином в его владения. «А вашу зимовку можно построить на новом месте», — сказал чиновник.

— Ведь как сказать — клин. Клин-то выходит велик. Больше всей земли клин-то! — бормотал Юлай, озадаченный тем, что вместо поддержки своей справедливой жалобы он натолкнулся на такой бесстыдный отпор.

Ему все стало понятно только тогда, когда у ворот канцелярии он встретил заводского приказчика татарина, который приезжал к нему по поводу продажи земли и с той самой шкатулкой. Ясно стало, что татарин привез большие подарки чиновнику.

Мрачно сидели возле Юлаева коша соседи — мулла и несколько стариков, слушая рассказ старшины о его поездке, когда подъехал Салават. Он поклонился всем и сел среди взрослых мужчин, с той стороны, где сидели старшие братья. Женившись, он приобрел все права взрослого человека. А когда послушал, о чем говорят, он сам удивился, что все понимает в делах старших и ему совсем не надо привыкать быть взрослым.

— Канцеляр ведь что может сделать?! Он маленький человек, — говорил мулла, утешая Юлая в его неудаче. — Ты старшина, у тебя медаль, как золотой, блестит. Ты самой царице пиши бумагу!

— Царице писать? — махнул рукой Юлай. — Когда взяли землю на Сюме, писал губернатору, в берг-коллегию и царице. Никто не прислал ответа, все только подарки брали... Опять напишу — кто ответит!..

— Раз не ответили — снова пиши, не ответили — снова, — сказал мулла, — наконец и ответят... Писать ведь не бунтовать. Бунт — плохо, а писать всегда можно... Хош, старшина, — заключил он, вставая, чтобы ехать домой.

За муллой разъехали остальные соседи, и старшина остался перед меркнувшими углями костра среди троих сыновей.

Ракай, Сулейман и Салават — все трое молчали, не смея нарушить молчаливых и скорбных размышлений отца.

«Сколько бедствий еще в руке у аллаха! Неужели же все их обрушит он на голову одного старшины?! Чем прогневал я милость божью? — думал Юлай, глядя в угасавшие синие огоньки. — Прежде купцы отнимали у нас леса и степи, теперь добрались до наших домов, до отцовских могил, и никто заступиться не хочет... Или напрасно царица дала мне свою медаль? Сам соберусь в Питербурх, поеду к царице молить... Все расскажу царице!..»

— Идите ложиться, пора, — сказал старшина сыновьям. — Утром, после молитвы, станем царице писать.

— Нечего ей писать! Чем царица поможет! Гнать надо волков! Ты позволь, мы прогоним!.. — горячо заговорил Салават.

— Молчи, Салават! — остановил старшина. — Сам знаешь, что против русских нельзя идти с голыми руками. У них порох, а у нас его нет!.. Это прежде могли мы бороться, когда порох и ружья были у нас, когда кузнецы у нас жили, ковали оружие. А теперь мы не можем драться!..

Салават, видя красное, напряженное лицо отца, ставшее еще краснее от блеска пламени, уже пожалел о своих словах. Юлай ушел в кош, ворча, что башкиры живут, как собаки, что вот еще придет день... Но никто не слышал, про какой день говорил он, потому что кашель сдавил его грудь, а войлочный полог коша заглушил его последние слова и закрыл его сгорбившуюся, вдруг постаревшую спину...

Салават поглядел ему вслед с болью. Сулейман молча усмехнулся, встал и пошел в свой кош. Ракай заметил:

— Ты, Салават, вечно кипишь, как бишбармак на огне. Пора быть постарше — ты ведь женат!

Он пошел в сторону от костра, а Салават еще долго глядел на потухшие угли и слушал ночную степь.

Степь лежала, поросшая ковылем, усеянная камнями. Молчаливая и просторная, она лежала, как темное отражение ночного неба.

Бесшумно махнула крылом над головою Салавата низко летящая ночная птица, где-то вдаль заржал конь, ему отозвались тревожным лаем собаки, и снова все стихло, только журчание струящейся по камням речушки нарушало мирную тишину просторов.

И в этой тиши родилась в душе Салавата новая песня. Он пел о том, как спокойно лежала сонная степь, как спали сладкие воды озер и во сне жевали стада сочные травы,

как в тумане дремали вольные табуны и свет месяца плыл над ними в безмолвном просторе, но вот налетела беда, словно буря прошла над цветущей страной, все губя и сметая.

Грудь Салавата щемило болью от этой песни.

Звенит пила, стучит топор,
Лопаты режут глуби гор,
Упали травы под косой,
Пчела отравлена росой,
Иссох родник, режут стада,
Горька озер вода...
Ай, померк мой свет!.. —

заклучил Салават.

Он почувствовал стеснение в горле. В досаде сломал он курай о колено, бросил его в костер. Сухой камыш вспыхнул живым огоньком, и пепел его быстро сдунуло налетевшим ночным ветерком...

— Сгорела тоскливая, глупая песня! — сказал Салават. — Хорошо, что никто не слышал этих вздохов... Пусть родятся новые, сильные песни!.. Лучшие песни Мурадым-батыра родились в битвах и звали в битвы жягетов...

И, отойдя от костра, Салават громко запел в спящей степи удалую песнь Мурадыма:

Если хочешь славным быть,
как Мурадым,
Будь всю жизнь душой
и сердцем молодым.
Время юности удало проводи.
В тучах Нарс-гора белеет впереди.
Недоступной для тебя не будет высь.
На коня! Присвистни. Смело мчись!

На кошмах в глубоких мягких подушках спала маленькая жена Салавата. Он лег и не тревожил ее сна. Горячие мысли о подвигах волновали его и не давали заснуть, но даже, когда заснул Салават, во сне видел он войну и бешеную скачку в погоне за русскими, и кричал ночью, пока Амина не растолкала его.

— Ты кричал, Салават, — объяснила она, — скрипел зубами, мне страшно стало...

— Спи, спи... Это, верно, джин прилетел и тревожил меня. Все прошло! — успокоил он, торопясь остаться наедине с воспоминаниями о своем сновидении...

Но заснуть Салават уже не мог, в нетерпении ожидая утра.

Он задумал великое, богатырское дело...

На рассвете по степи застучали копыта коня. Чуть склонившийся набок всадник промчался по дну широкого

лога, проскакал стремительно по степи и остановил коня у кочевки старшины Юлая. Здесь он соскочил с седла. Разбуженный топотом, вышел сонный Юлай и зажмурился от первых слепящих лучей утреннего солнца, прыснувших ему в лицо.

— Что опять, Салават? — спросил старшина. — Что снова стряслось, что примчался так рано?

— Атай, ведь я натянул лук Ш'гали-Ш'кмана. Мне будет во всем удача... Я соберу молодежь, подниму на гяуров... Наша земля, не дадим им строить!.. — горячо заговорил Салават. — Пустите нас!..

Юлай молчал. Два раза уже когда-то он посылал людей, и два раза была драка на месте постройки подсобных деревень Сjumского завода, когда твердышовским заводам не хватало места на купленной у него земле, но драки не помогли...

Юлай снова почувствовал гордость за Салавата. Этот мальчик во всем походил на него самого, когда он был молодым. Но Юлай понимал, что не может выйти добра из такого набега на постройку и опять, как тогда, русские перебьют башкир. Юлай посмотрел с тревогой на сына. Горячая голова!.. С другой стороны, Юлай сам уж больше не мог терпеть растущую наглость заводовладельцев. Если б кто-то другой взялся разогнать русских, он бы, может быть, и согласился, но как потерять любимого сына!

Из коша высунулась голова Сулеймана.

— Пустите нас, атам! И я пойду с Салаватом. Нападем, перебьем волков!.. — поддержал он брата. — Позволь нам собрать молодежь, мы разгоним русских и разрушим постройку!

— А что аксакалы скажут?! Весь юрт будет меня попрекать: «Юлай за свою землю губит людей. Какой он старшина, когда из-за своей земли не жалеет башкир?!» — Юлай пожевал губами конец бороды.

— Не посылай, ты только позволь нам собрать народ! — умолял Салават. — Ты поезжай, атам, в горы, к соседям... Нет ли каких приказов? Поезжай, узнай, как на кочевках исполняют волю начальства, а мы без тебя самовольно пойдем... Кто что тебе сможет сказать?!

Юлай молчал.

— Ты стал трусом, атам, — нападал на отца Салават. — Говорят, когда был молодой, ты был смел, как сокол, а теперь ты как старая крыса.

— Ну, ну! — рассердился Юлай. — Вот я покажу тебе крысу! Вас же жалею. Вы сыновья мне!

— Не нас — гяуров жалеешь! — опять поддержал Сулейман младшего брата, первенство которого он теперь признавал во всем. — Куда нам деваться, когда затопят наши дома?

— Кишкерма! — цыкнул на них Юлай, рассердясь не на шутку. — Нельзя! Слышать я не хочу... Навлечете беду на всех!.. — предостерег старшина и сердито ушел в кош.

Однако нельзя было так просто заставить горячего Салавата отказаться от мысли, которая зрела в нем целую ночь. Уверенный в том, что силы, скрытые в дедовском луке, будут ему помогать во всех начинаниях, Салават не хотел и не мог отступить.

Он решил во что бы то ни стало испытать свои силы и удаль.

Сулейман и друзья Салавата Кинзя и Хамит пустились в объезд кочевков. Они вызывали из кошей юношей и подростков, шептались с ними и ехали дальше.

К полудню десятка три зеленых юнцов собралось на ближней горе у белого камня, названного издавна «стариком». У всех у них были луки и стрелы, у иных — топоры и сукмары.

Салават уже ждал их. Он горел нетерпением зажечь в их сердцах тот самый пожар, который палил его собственную грудь. Он знал, что найдет и скажет те слова, которые нужны. Он был уверен, что заразит своих сверстников страстным желанием борьбы.

С самого детства Салават носил на груди ладанку, когда-то надетую дедом на шею Юлая. Салават знал, что в ней зашито, но мысль о том, чтобы ее открыть, никогда ему не приходила. И вдруг, когда он стал на камне перед сходбищем сверстников, сам не зная зачем, он распахнул ворот, сорвал с шеи ладанку, зашитую в лоскуток зеленого шелка, и поднял над головой уголек. Это был простой уголек...

— Жягеты! — сказал Салават. — Вот уголек от сожженной гяурами башкирской деревни.

Все мальчики, что сошлись на горе, слышали так же, как и Салават, о старых восстаниях, о войне, о разорениях деревень и казнях бунтовщиков, но все-таки все, как в реликвию, как в священный предмет, впились взглядами в уголек.

И так же, как уголек был всего лишь простым угольком, а казался необычайным и таинственным, символом борьбы за свободу, так и простые слова, которые говорил Салават, казались особенными словами. Юноши волнова-

лись и слушали вожака, как пророка. Семена мятежа падали в благодатную почву.

Салават приложил к сердцу свой уголек и произнес клятву — во всю свою жизнь ненавидеть всех русских.

— Пусть этот уголь снова зажжется огнем и прожжет мне сердце, если я изменю из страха или корысти! — сказал Салават, и голос его дрогнул.

И вслед за ним каждый из мальчиков приложил уголек к своему сердцу и произнес ту же клятву, и при этом у каждого от волнения срывался голос.

Они поскакали к деревне...

На берегу реки раскинулся стан строителей. Целыми днями одни из них копали землю и тачками свозили ее на место постройки, другие валили деревья, тесали толстые бревна. Землекопам, каменотесам, лесорубам и плотникам — всем хватало работы. С раннего летнего восхода до заката работали они, подготавливая постройку плотины. Десятки шалашей из хвороста, елового лапника, из корья и луба раскинулись вдоль берега будущего пруда, недалеко от башкирской деревни.

Только с наступлением темноты разгорались костры вблизи шалашей, и едва живые от усталости люди после рабочего дня сходились на отдых. Тут заводились беседы о тайном, заветном, о том, чего ждал весь народ, — о воле...

— Хотел государь господам сокращенье сделать, хрестьян-то на волю спустить, а бояре прознали, схватили его да в тюрьму... — вполголоса говорил старик у костра.

— Госу-да-аря! — удивленно шептали вокруг. — Да чья же злодейская рука поднялася?! Ведь государь только крикнул бы слово...

— Вот то-то, что крикнуть никак не успел!.. Тихомолком в темницу его, а супругу его на престол... Ты, мол, матушка-государыня, правь народом, а мужьев мы тебе сколько хошь непохуже сыщем! Сдалася!.. — Старик снизил голос до шепота, оглянулся. — Хотели бояре царя погубить, да спас от напасти служивый — солдатик стоял в карауле при ём, при самом-то... Платьем с ним обменялся — спустил... И ушел Петра Федорыч, государь всероссийский, дай бог ему здоровья, и ходит поныне и бродит... Видал человека я одного — говорит, повстречался с ним в Киевской лавре, государь-то, мол, богу молится. Припал головушкой в ножки святому угоднику, плачет, а голову поднял — и тот человек, мой знакомец, его и признал: лик-то царский сияет! И знакомец мой тоже рядом припал на

колени да тайно спрашивает: когда же, мол, в силе и славе к народу придешь, государь? А тот ему тихо: мол, час не приспел, как приспеет — тогда объявлюсь, злодеев моих покоряти под ножи, а ты, говорит, иди по земле разглашай, чтобы ждали...

— Ить ждаты-то не в мочи! — вздыхали вокруг. — Никому ведь житья не стало. Кто живет во добре? Крестьянам — беда, работному люду — хоть в петлю, солдатам — собачье житье... Бывало в бурлацтве приволье, а ныне гулящих хватают — в колодки да в цепи куют, да сдают в рудокопы...

— А встанет народ, не стерпит! На Волге в пещерке Степан Тимофеич-то тоже ждет часу. Ить голову на Москве-то срубили тогда не ему. Он в Москву-реку в воду мырнул, а вышел на Волге да скрылся в пещерке...

— Каб вместе-то с государем приспел на великое дело!..

— Не токмо что на бояр — и на заводчиков, и на больших купцов, на приказчиков-управителей вроде нашего немца — на всех народ сыщет управу!

— Немцу нашему несдобровать! Кто народу обидчик, с тех спросится крепко, — негромко, но оживленно заговорили вокруг костра.

— А сколь, братцы, немцев в России над русским народом лютует — помыслить-то только!

— Да им что русак, что татар, что башкирец — одна цена. Как наемни-то он старшину. Я мыслил, башкирцы его на куски раздерут, — ан стерпели!

— И стерпишь! Ведь тут — либо ныне стерпи, либо завтра натерпишься пуще!

— Братцы, каша поспела! — позвал кашевар.

У других костров также недолгий свой отдых рабочие проводили за беседой: там кто-то рассказывал бабкину сказку про Кривду и Правду, там спорили о волшебных счастливых травах...

Возле палатки немца стояли несколько человек, провинившихся за последний рабочий день, — немец собрался чинить им допрос и расправу. Все знали, что кончится дело плетью. К побоям привыкли, и неминуемые плети были уже не страшны. Хотелось только, чтоб немец «не вытягивал душу» проклятой и нудной отчиткой, от которой сосало под ложечкой и мутило тошнотой.

— Косяин заботился на тебе, а ты ворофаль! Уф, какой стыдны позор на рабочий люды! Господь бог указаль трудиться на пот лица, а ти нехороши лентяйка! Дурной шеловек, нишего не стоиль такой шеловек. Пфуй, такой шеловек! Хлеб кушать хочешь, работа делать не хочешь... За

такой шеловек мне очень печаль, и косяин печаль, и сам господь бог печаль за такой шеловек!.. Теперь тебя плети лупить отдам, как скотин. Разум нет — плети лупить!.. Шеловек долшон все разуметь без плеть... — подражая немцу, отчитывал прочих провинившихся товарищей один из бывалых рабочих, пока немец ужинал у себя в палатке, откуда сквозь слюдяное оконце сочился бледный мерцающий отсвет свечи.

Несмотря на свое невеселое ожидание, остальные, слушая зубоскала, не могли удержаться усмешки.

Меркли последние краски зари в облаках, с реки поднялась пока еще чуть заметная дымка тумана, вечерний прохладный ветер повеял запахом осени... У одного из костров занялась протяжная волжская песня.

Над огнями рабочего стана проплыла тяжело и бесшумно большая сова...

И вдруг по всему лагерю раздался в воздухе какой-то необычайный свист, в двух-трех местах слышались крики боли, свист повторился, и тут только поняли все, что на стан их сыплются стрелы. Одна из стрел угодила в палатку немца. Плотинный мастер выскочил из палатки, а в лагере уже начался переполох, потому что целая туча стрел пролетела над станом, а вслед за тем от нежилой башкирской деревни слышались крики и визг скакавших в набег башкир...

И рабочие, и плотинный мастер не раз слышали о том, как башкиры дрались за свои земли. Расширенным в страхе глазам строителей вместо трех десятков юнцов представилась тысячная орда повстанцев, скачущая в мстительный, кровавый набег, и, бросив свой стан, строители пустились бежать вдоль берега... Стрелы свистали вдогонку, они почти не приносили вреда, но раз поддавшуюся страху толпу было не успокоить, не образумить... Да и кому образумить? Плотинный мастер был сам не воин, а у строителей не было желания сражаться с грозною силой не видимого во мраке врага.

В неистовой ярости, опьяненные легкой победой, напали юнцы на лагерь, брошенный русскими.

— В воду! Все в воду! — кричал Салават, швыряя в течение реки какой-то неведомый инструмент, найденный в палатке у немца. — В огоны! Жги, чтобы от них ничего не осталось! — кричал он, кинув в костер сорванную с кольев палатку плотинного мастера.

Кинзя с сожалением вертел в руках лесорубный топор.

— Что смотришь?! — крикнул в лицо ему Салават.

— Хороший топор...

— В воду кидай! — неумолимо потребовал предводитель набега.

— Пила... — заикнулся кто-то другой.

— В воду! — выкрикнул Салават.

И в воду летели брошенные шапки и сапоги, топоры, пилы, ломы, кувалды, котомки с добришком рабочих, котелки с пищей и все, что осталось в покинутом стане строителей.

— В воду! В воду! — кричали мальчишки, кидая все, что попало, пока не осталось от строителей никакого следа.

Так кончили они расправу с лагерем, потом стащили к берегу и сбросили в воду заготовленные бревна, раскидали землю, натасканную для постройки плотины, и только тогда, вскочив по коням, помчались домой...

Они возвращались героями, пьяные победой. Они пели удалые песни, и их рассказы о всех событиях этой ночи казались им достойными славы дедов. Они ждали похвал со стороны стариков, но вместо похвал услышали только укоры.

— Быть беде! — с упреком сказал Юлай Салавату. — Тебе, Салават, надо бежать не позже нынешней ночи.

— Куда? Бежать со своих кочевков, от своего народа?!

— Бежать без оглядки, — с горечью подтвердил отец. — Забыть свое имя, свой край, отца, мать, жену...

— Я победил русских, — гордо сказал Салават. — Они бежали от нас, как зайцы, а ты говоришь — мне бежать от них?! Ты, атам, привык их страшиться. Смотри — они не посмеют больше вернуться в свой табор, рубить лес и строить плотину. Я говорю — не посмеют.

И в самом деле, прошел день, другой, третий. Салават с товарищами все время держали разъезды между кочевьями и зимовкой; с затаенным сердцем высматривали они, не появятся ли снова строители возле своего разоренного стана, но вырубка была пустынна, раз только заметили лисицу, которая по-хозяйски копалась в куче отбросов, сваленной русскими.

Прошла неделя и две недели...

— Я говорил, атам! — торжествовал Салават. — Их только не нужно бояться. Они успели уже забыть те времена, когда среди нас были батыры. Я не зря натянул лук Ш'гали-Ш'кмана... Вот близится осень, и мы придем на зимовье, и дома наших дедов не залиты водой. Мы будем в них жить, как жили отцы.

Удивительно было для всех, что купец так легко отступился. Многие верили в то, что лук Ш'гали-Ш'кмана таит в себе волшебную силу и удача будет всегда сопутствовать

удальцу Салавату. Особенно верила в это молодежь, бывшая с Салаватом в набеге.

Громко звенела во всем юрте песня:

С соболем шапка зеленого цвета —
Вот Салавата-батыра примета.
Спросите: «Сколько же лет Салават?» —
Батыру пятнадцати лет еще нету...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Круговой путь, совершаемый за лето кочевьями, подходил к концу. Еще один переход — две недели кормежки скота — и пора на зимовье. Травы желкли, все чаще лились дожди, и кошмы, не высыхая, пропахли кислым запахом прелого войлока. Кобылы начали убавлять молоко, молодые барашки повзросли и выглядели как взрослые овцы, зато выросли и молодые волчата и вместе со старыми волками врывались в табуны и в отары овец, принося опустошение. Пастухи и собаки не спали в эти темные осенние ночи.

Охотники с соколами и орлами тешились в редкие ясные дни удалой охотой на отлетающих уток, гусей и журавлей. Вода в реках становилась особенно глубокой, когда в ней отражалось бездонное густо-синее осеннее небо, и даже на взгляд она была холодна, а по течению ее все чаще несли золотистые и багряные листья деревьев.

На пушистых султанах сухого осеннего ковыля по утрам блестели мельчайшие капельки инея, и туман по воде расстилался долго — почти до самого полдня. Все говорило о том, что пора на зимовье.

Настал и последний день, когда на арбы, груженные добром, сложили войлоки кошей, согнали тысячные гурты овец и молодые жягеты с арканами на лучших конях выехали перегонять табуны на другой берег...

В пустынных улицах покинутого аула все было знакомо и все поросло высокой, не щипанной летом травой, все одичало... В жилищах пахло плесенью, сыростью, пылью, с крыш текло в избы, в первый раз затопленные печи дымили со всех сторон, плетни пошатнулись...

Женщины мыли, скребли, чистили, мужчины месили глину, рубили сучья, голодные в суматохе собаки дрались... Кто-то спугнул у себя во дворе лисицу. Кто-то нашел у себя в избе гнездо воробьев...

Старшина и Салават с тюками овечьей шерсти, с кожей и шкурами собрались выехать в русскую деревню, чтобы сменить все это добро на хлеб.

Салават уже не в первый раз ехал с отцом к русским. Каждую осень Юлай привозил к соседям свои товары и увозил два-три десятка мешков зерна, два-три ножа, топор, железные наконечники к стрелам, а иногда даже свинец и порох для старинного ружья, с которым любил он охотиться и которое прошлой зимой разорвало от выстрела.

Все эти товары были запретны для торга с башкирами. Русские, продавая их Юлаю, сами подвергались опасности быть наказанными. Один раз был наказан плетью веселый кузнец Ванька, который делал башкирам ножи и железные наконечники стрел. В другой раз увезли в тюрьму человека, который продал башкирам дешевую соль. Говорили, что солью торгует только сама царица.

Она представлялась тогда Салавату сидящей на возу с железным ведром...

На этот раз один русский знакомец обещал Юлаю новое ружье, свинец и порох.

Салавату не терпелось взять в руки ружье и научиться владеть им. Он поднялся раньше всех и разбудил к отъезду отца и братьев. Солнце едва взошло, когда они собрались садиться по коням, но в это время примчались из гор пастухи с вестью о том, что с перевала к деревне идут солдаты...

Весть пролетела мигом по всем дворам и всполошила аул. Все выбегали глядеть на дорогу, ведущую от перевала.

Юлай успокаивал встревоженных родичей:

— Зачем к нам солдатам идти?! Напутали что-нибудь пастухи.

Однако старшина решил обождать с выездом до выяснения дела.

И вот звук барабана, давно позабытый Юлаем, и звуки флейт и военной трубы донеслись до аула.

— Солдаты! — подтвердил озадаченный старшина. — Может, война у царицы с чужими царями, как ведь знать?

Конные и пешие солдаты по опустевшей улице дошли до площади у мечети.

Юлай приказал у себя в доме скорее варить мясо для угощения, а сам побежал к офицеру, на ходу натягивая старшинское одеяние...

Офицер приказал собрать всех мужчин старше шестнадцати лет, и вот они сходились на площадь.

Солдаты стояли вольно, приставив к ноге ружье, но не расходясь из рядов. Конные спешили и привязали своих лошадей к коновязи возле мечети. Они курили табак, пересмеивались.

Женщины и ребятишки вслед за мужчинами тоже высыпали на улицу, возле площади жались к плетням, поглядывая на необычное зрелище. Салават пришел было к площади, но отец подошел к нему.

— Уходи, — повелительно сказал старшина. — Увидит тебя офицер, не поверит, что ты молодой!

Салават неохотно вошел во двор Бурнаша, стоявший у самой площади, и выглядывал из-за рябины через плетень. Отсюда было видно всю площадь, со всем, что творится: и высокого усатого офицера с мутными глазами, в широкой шляпе, с косицей, и солдат с такими же белыми косицами, свисавшими из-под шляп.

Когда все собрались, отец суетливо подбежал к офицеру и по-солдатски сдернул с головы свою старшинскую шапку.

— Все сошлись? — спросил офицер старшину.

Юлай подтвердил, что все.

Тогда офицер пронзительно громко крикнул, и солдаты все разом вздернули головы, крепче перехватили свои ружья и в лад зашагали вокруг площади, словно вели хоровод. Офицер снова крикнул, солдаты все разом остановились, и тогда стало ясно, что площадь окружена и никто не мог бы теперь уйти из кольца солдат...

Окруженные озирались с тревогой: их было свыше полутораста человек, а солдат не больше полсотни. Но лица солдат, которые до этого пересмеивались, разговаривали между собою и что-то кричали женщинам, стали теперь суровы и угрожающи.

И Салават вдруг все понял — понял раньше, чем офицер с переводчиком-солдатом вошел в середину круга и переводчик начал читать по-татарски указ губернатора. Он читал громко, внятно, все слова были понятны и просты, но сквозь тревожный гул крови в ушах только отдельные слова доходили до слуха Салавата.

«...Ты, старшина Юлай, написал угрозное письмо господину тайному советнику Твердышову...»

«...Собрав мятежное скопище на конях с сайдаками, учинили пружестокый мятежный набег на землю его превосходительства господина Твердышова...»

Так это же про его, Салавата, письмо, про его набег! Это он навлек солдат на деревню. Что будет теперь?..

Салават не заметил и сам, как покинул свое укрытие, вышел из двора. Площадь притягивала его.

Башкиры, вначале стоявшие молча, теперь волновались, размахивали руками.

— Не писали письма...

— Какой там набег?! Ребятишки набег чинили!.. Какой мятеж?!

— Замолчать! Слушать, когда читают бумагу! — выкрикнул переводчик.

Башкиры утихли.

Салават замер. Он слушал, стараясь не пропустить ни слова.

— «...самочинно и дерзко, забыв шерть и службу ее императорскому величеству всемилостивой государыне Екатерине Алексеевне... — читал переводчик. — По сему указу: чтобы впредь неповадно вам было мятежи учинять — платить вам, башкирцам, штрафных лошадей триста да триста же лошадей за убытки, в оплату господину тайному советнику Твердышову...» — продолжал переводчик.

— За что лошадей давать?! За какой убыток?! — выкрикнул старшина.

— Никто мятежа не чинил! — шумно подхватили башкиры.

— Слушать указ губернатора! — потребовал офицер. — Стоять молча!

И выкрики снова утихли.

— «...да штрафных овец три тысячи и три тысячи же взять с вас в пользу господина советника. Да денег штрафных пятьсот рублей и пятьсот же рублей...»

Крики и брань разразились над толпою башкир.

Разорение и беда нависли над всем их аулом, и все это из-за него, Салавата, из-за его затей... «Вот тебе и батыр! Вот и лук Ш'гали-Ш'кмана!.. Малайка сопливый навлек такую невзгоду...» — думалось Салавату. Его слово опалило огнем с головы до ног...

— Кишкерма-а! Замолчать! — кричал переводчик в толпу башкир.

— Не будем молчать! Что ты глотки нам затыкаешь?!

— Нас грабят, а нам замолчать?!

— Разбой среди белого дня!

Офицер отскочил к солдатам и крикнул какое-то непонятное слово. Солдаты перехватили ружья, направив штыками в толпу, и крики оборвались перед этой угрозой. Тогда в наступившей тиши переводчик прочел:

— «Да всех вас, башкирцев, мужеска пола деревни Юлаевой Шиганайки с шестнадцати лет бить лозою по пятьдесят ударов и сызнава к шерти привести!!»

Теперь уже криков отчаяния и обиды, стонов негодования и гнева было не угасить, не умерить...

Вот-вот начнется восстание, вот-вот люди бросятся с голыми кулаками на выставленные штыки...

Но по новой команде солдаты все враз вскинули ружья на изготовку к стрельбе, и, заглушив все крики народа, ударили барабаны.

Салават увидел, как люди на площади сжались в один плотный ком, птясь со всех сторон в середину круга от направленных ружей. Салават увидел выражение страха на лицах односельчан, за барабанным грохотом не было слышно ничьих голосов, и вдруг двое солдат грубо схватили Юлая за широкие рукава нарядного старшинского халата и вырвали его из толпы. Двое других подскочили, бесстыдно задрали со старшинской спины на голову халат и рубаху и повалили Юлая на толстый обрубок бревна, валившийся возле мечети уже несколько лет...

Салават не помнил, как он ворвался в круг солдат, как, ринувшись на солдат, державших Юлая, отбросил их в сторону, как повалил и еще двоих, один из которых уже замахнулся лозою над голой спиной отца, как подскочил к офицеру.

— За что бить отца?! За что бить народ? За что весь народ грабить?! — выкрикнул он. — Я писал письмо. Я сделал набег! Меня бери... Я один!..

Мутные глаза офицера выпучились, усы шевельнулись, и в глазах Салавата завертелись сверкающие круги от удара в лицо. Он пошатнулся. Ответный удар по торчащим усам офицера был таким неожиданным, что никто не успел удержать Салавата. Никто не успел опомниться, пока, ринувшись к коновязи, Салават оборвал рывком повод и взлетел на седло офицерской лошади.

— Башкиры! По коням! За мно-ой! — крикнул он.

Из солдатских рядов ударили выстрелы, но офицер закричал, поднимаясь с земли:

— Догна-ать! Не стрелять! Взять живье-ом!

Несколько солдат вскочили на лошадей и помчались в погоню, однако Салават уже перемахнул через плетень деревни.

Глубокой ночью, в мокрой одежде, издрогший, голодный, Салават добрал до того места, где еще утром стояла родная деревня.

Возле пожарища выли собаки. Их вой сливался с протяжным плачем женщин, детей, с клятвами, бранью, стонами, с жалобами и тревожным блеянием одиноких уцелевших овец... Пламя пожрало все и успокоилось. Только кое-где мерцал еще отсвет углей, освещая понурые кучки осиротелых разоренных людей, и по всей долине в осенней ночной прохладе стлался в траве дым...

Спрянув с коня и нырнув от солдатских выстрелов в стремительное и ледящее течение Юрузени, Салават обманул погоню. Солдаты подумали, что убили его, и прекратили преследование...

Пробираясь горами назад к дому, Салават встретил уходящих веселых солдат. Они гнали с собой табуны коней, угоняли гурты овец, и с десятков башкир из родного аула, униженные, избитые, придавленные горем, сами гнали скот впереди «победителей».

Притаюсь меж камнями, Салават видел всех. Он узнал своих несчастных односельчан, узнал солдата-переводчика, двоих солдат-палачей, которых он отшвырнул от отца, офицера со вспухшим от удара лицом...

Если бы ненависть могла убивать! Как ненавидел он и солдат, и офицера! Он ненавидел их до того, что жить на одной земле с ними было невыносимо. Он готов был выскочить из своего убежища, встать на утес и крикнуть: «Вот я! Стреляйте!»

Но они не станут стрелять! Они схватят его и повезут в Исецкую канцелярию!

Когда они скрылись за перевалом, Салават пошел дальше. Издалека он увидел зарево. Его сердце остановилось: он понял все — ведь он продолжал носить на груди заветный уголек. В том зареве он разгадал беду, но хотел хоть на время себя обмануть надеждой на то, что это лишь отсвет заката... Запах дыма, летевший с ветром ему навстречу по долине родной речки, развеял обман...

И вот он стоит на пригорке один, в стороне от всех. Он виновник позора, отчаяния, скорби и нищеты своих родичей... Да все ли там живы?.. Может быть, кто-то заперот насмерть, кто-то не вынес позора, бросился на врагов, и его закололи штыком...

Салават стоял и смотрел на картину пожарища, освещенную мутным светом луны и отблеском догоравших углей.

Он не решался выйти к народу. Он чувствовал себя проклятым всеми. Хотел быть батыром, хотел принести счастье и волю, а принес унижение и беду. Если лук Ш'гали-Ш'кмана его обманул, то стоит ли жить!.. Горло сжимало, грудь разрывало болью. Осенний ветер пронизывал мокрую одежду, и дрожь передернула плечи юноши. Он одиноко побрел по долине журчащей речки, по узкой тропе, и вдруг за кустами, почти рядом, он услышал голос... Он замер. Встретить сейчас людей он не мог, он не смел... Как он взглянет в глаза? Что он скажет?.. Уйти одному в горы, где бродят лишь звери? Без оружия? Что же, пусть

нападут волки, медведь, рысь... Стать добычей зверей — достойный конец для того, от кого родится столько несчастий!

Салават стоял неподвижно в кустах, ожидая, когда пройдут люди, но голоса не приближались, не удалялись.

— Бесстыдные души, гнилые сердца! — узнал Салават голос муллы. — Ведь как старика истерзали, собаки!

И Салават разглядел за кустами очертания коша. Верно, кое-кто успел спасти из огня свои коши. Отсвет едва тлевших углей от догоревшего костра чуть озарял лежавшего на кошме человека и возле него на коленях муллу. Мулла Сакья намазывал чем-то голую спину лежавшего.

«Значит, муллу не побили — ишь бодрый какой, как всегда!» — подумалось Салавату.

— Ну, лежи, старшина, — сказал мулла, поднимаясь.

Так, значит, тут рядом, лежит отец... Он не ответил ни слова мулле, — может быть, он умирает... Как били его, когда Салават ускакал! Вся злоба нечистых кяфиров обрушилась на него...

«Как истерзали!» — сказал мулла... Какое же нужно сердце, чтобы стоять тут, рядом с отцом, и не пасть перед ним на колени!.. Как примет его отец? Отец скажет: «Трус! Ты напакостил и убежал. Будь ты проклят! Ты мне не сын... Ты трусливо бежал, а за тебя сожгли весь аул, за тебя засекали нас до полусмерти и разграбили дочиста!.. Изгоняю тебя навек!..»

А что ответить в свое оправдание? Нечего. Что тут скажешь, когда так и есть? Поцеловать подошву его сапога, поклониться и молча уйти в горы и там погибнуть от голода и зверей... Пусть волки растащат кости, пусть даже не будет могилы того, кто так виноват перед своим народом...

Салават шагнул из кустов.

— Атай... — произнес он едва слышно.

Старшина, лежавший на животе, опустив лицо на руки, поднял голову.

— Кто?! — спросил он, — Салават?! Сын! Мой сын!.. Ты живой?! — воскликнул старик. Он рванулся привстать, но без сил упал на кошму и внезапно заплакал, как женщина. — Солдаты сказали, что ты... что убили... Сынок!..

— Атай! — пролепетал Салават. Он кинулся на колени, схватил руку отца, прижал ее ко лбу, и слезы, как в раннем детстве, сами скатились из глаз Салавата на большую костлявую руку отца...

— Если бы ты не ударил кяфыра в его поганую рожу, все равно они сожгли бы нашу деревню. Они все равно

нашли бы, за что ее сжечь. Она им мешает, сынок... Они хотят делать плотину... Купец заплатил за это, наверно, немало денег... Не зря ведь у них была с собой для поджогов просмоленная пакля, — утешал старшина сына.

Отец говорил еще какие-то слова из корана, но Салават их не слушал. Мать дала Салавату сухое платье. Дрожащими от радости руками она сама, как ребенка, его раздевала, сама помогала одеться, приговаривая, как маленькому, ласковые слова:

— Вот у нас и рубашечка стала сухая, и спинка согрется, вот нам и будет тепло... И ножки обуем в сухие сапожки... И кушать будем...

— Если бы все мы кинулись за тобой на солдат, то мы их победили бы, — сказал Сулейман Салавату. — Самы мы все виноваты, что оробели.

— Дурак! У них ружья, пули! — проворчал Ракай, лежащий, как брат и отец, на животе.

Салават угрелся под одеялом из лисьего меха. Ему казалось, что он проспал бы еще три дня, когда суровый голос отца разбудил его:

— Уходи, Салават. Уходи, пока не увидели люди, что ты жив. Ведь горе какое у всех! От горя никто ничего не рассудит по правде. Еще кто-нибудь и начальству напишет... В Биккуловой, под Оренбургом, знакомый татарин держит умет. Он примет тебя. Три года пройдут, тогда возвращайся. За три года немало воды утечет — все смоеет время, и злобы людской не станет...

И Салават ушел до восхода солнца.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В глубине Оренбургских степей, по дороге от Оренбурга к Самаре, по тракту стояло немало одиноких уметов — заезжих дворов, в которых останавливались проезжие обозы с русскими товарами для азиатов и с азиатским товаром, идущим в Россию. Иногда приставали в уметах и караваны верблюдов, и окруженные злыми сторожевыми собаками гурты перегоняемых из степей жирнозадых овец, и тысячные табуны лошадей. В умет заезжали чиновники, офицеры, купцы — перед всяким гостем татарин, хозяин умета, старик, широко распахивал ворота двора; для старых знакомцев он отпирали тяжелый замок каменной подклети, куда складывал на ночь товары, а ключ отдавал владельцу товара. Зато с огорода, через коровник, был у татарина сделан тайный лаз, ведомый лишь немногим. Через этот лаз пробирались в умет никому не знакомые мол-

чаливые люди. Нередко их ноги были потерты колодками или цепями, на руках сохранялись под рукавами язвы от кандалов, а то и звенья неспиленной цепи; случалось, что заходили беглые крестьяне, бредущие по свету куда очи взглянут, подальше от родной подневольной пашни, от барских плетей... Бежали раскольники, расстриги попы, арестанты и каторжники — и все находили приют...

Был слух, что татарин к себе принимает даже разбойников и хранит их награбленное добро, но никогда не случалось, чтобы вблизи умета кого-нибудь грабили подорожные гуляки, не случалось и того, чтобы драгунский дозор, искавший разбойных людей, напал на их след возле умета. У старика Салтана было всегда напасено довольно сена, для добрых коней чиновникам и офицерам всегда мог старик угодить овсом, в любой час мог зарезать овечку, старуха его, Золиха, подавала к столу и сметану, и масло, и молоко, и яички, всегда у нее припасен был мед, а для добрых людей — и кислушечка-медовуха, и бражка, и квас...

На этот умет и пришел Салават в осеннюю непогоду, в слякоть и в дождь. Салтан в это время в подклети отмерял для приезжих овес.

Убедившись, что здесь, у амбара, никто не слышит его, кроме хозяина, Салават рассказал ему о себе. Старик Салтан сокрушенно покачал головой, слушая рассказ Салавата о его злоключениях.

— И чего молодому такому было соваться! — недоуменно сказал он. — Чего тебе надо? Отец — старшина, богат человек, у русских в почете... Ну, поставили бы деревню на новом месте. Места, что ли, у бога под солнышком мало?!.. Думаешь ты, что цыплята орла с двумя головами клевать могут? Орел с двумя головами — ой сильная птица какая!..

Салават, потупясь, молчал.

— На божьи порядки, джигит, поднимаешь руку. На зверя охотник есть, на птицу — орел, на бедного человека — богатый... Думаешь, ты доброе дело сделал — все рады будут? Рот ведь желтый еще у тебя. Тебе бы в гнезде сидеть, а ты полетел! На дворе — сова, на земле лисица съест. Как, сказал ты, зовут тебя?

— Салават.

— Имя святое дали тебе — Салават, это имя мира и тишины, а ты вон что затеял!.. Отца твоего таскать теперь станут: где, мол, сына укрыл? Если узнают, меня тоже схватят: «Зачем беглеца на двор пускаешь?»

— Святой пророк Магомет говорил... — осмелился возразить Салават.

— Ты меня не учи, что пророк говорил! — перебил хозяин. — Я корану учился — сам знаю! Заезжий двор у меня ведь!.. Солдаты каждый день ходят, у приезжих гостей смотрят бумаги, а где у тебя бумага?!

Салават резким движением вскинул заплечный мешок.

— Прощай, Салтан-агай! Не ко двору тебе в доме держать орленка — возьми поросенка! Прощай!..

По жидкой грязи, смешанной с конским навозом, Салават под дождем зашагал по двору к воротам.

— Куда ты? Горячий-то парень какой ведь попался! Постой! — забормотал, догоняя его, хозяин. — Стой, говорю! — Он схватил Салавата за полу чекменя. — Салтан-старик не таких еще укрывает... От слова беды не случится. Ну, побранил!.. Борода-то, гляди, седая, а ты молодой. Мне что тебя не учить маленько?! Иди, оставайся. Племянником будешь моим — из-под Казани приехал, Ахметка.

Юношеская гордость толкала Салавата от старика, но он был измучен долгим путем, промок под дождем, иззяб. Гордость его боролась с желанием пожить наконец спокойно. Много дней мотался он от кочевки к кочевке, от умета к умету, от двора ко двору, где попало ночуя, голодая, пробираясь к Салтану, у которого в давние годы скрывался и сам Юлай.

— Ну, кому говорю! Ишь, упрямый племянник! Идем.

Старик взял его за руку и повел в избу, вдруг изменившимся голосом весело бормоча:

— Хе-хе! Большой ведь ты вырос, Ахметка! Большой какой стал!.. Хе-хе! На сестру похож... Ну, как в деревне дела? Как дядя Гумар торгует?

Старик провел его в заднюю пристройку избы и подтолкнул в чулан, заваленный мешками с мукой, овсом, конской сбруей, заставленный бочками, кадками и ларями.

У двора в это время послышались голоса, конское ржание, послышался стук в ворота.

— Вишь, гости наехали. Тихо сиди. Кто увидит — Ахметом зовись... Я лучше запрю тебя тут, чтобы никто не увидел.

И Салават услышал, как он снаружи навесил и запер замок.

Салават сел на нары.

По густой грязи во дворе зачвокали конские копыта, въезжая в ворота, заскрипели колеса телег, с трудом переехавших, видимо, многие броды и смывших деготь с осей.

«Дальние, — услышав пронзительный визг колеса, подумал Салават, — или клажа велика, что так стерли смазку».

Во дворе послышалось несколько голосов, говоривших по-русски, потом зашаркали сапоги о ступени, очищая налипшую грязь; наконец все затихло.

Салтан не приходил. Салават, не раздеваясь, по-прежнему сидел на нарах. Он с завистью думал о том, что в заезжей избе за стеной, верно, пьют теперь чай.

«Небось, кто с деньгами приходит, тех кормит и поит Салтан — не так, как меня, принимает», — угрюмо думал Салават. Он почувствовал, что голод острее и острее, что он почти не может сидеть от голода. «И кобыла моя голодна, — продолжал он думать, — а старый козел, небось, не накормит».

Беглец встал с лавки и прошелся по кладовой.

В сенях возле двери заговорили тихо на русском языке; по-русски Салават знал немного и плохо понимал связную быструю речь. Замок громыхнул. Дверь отворилась, и в чулан вошел Салтан, сопровождая какого-то высокого, широкоплечего человека с повязкой, закрывавшей его лицо.

Войдя в полутемное помещение, гость отшатнулся от Салавата.

— Не бойся, это племянник, — успокоил его Салтан, — он даже по-русски не смыслит, первый раз дальше своей деревни гулял... Брат бедный, детей много, дома нечего есть...

Быстрые черные глаза гостя сверкнули.

— А ты, погляжу, всегда под замком племянников держишь. Я, знать, тоже племянник твой, дядя! И к чему ты мне брешешь, Салтанка?! Где это видано, чтобы работников из дому отпускали, когда дома нечего есть?

— Из-под Казани пришел, звать Ахметкой, — продолжал татарин, не для того, чтобы уверить нового гостя, а чтобы самому Салавату еще раз напомнить, как он должен теперь говорить про себя.

— Опять врешь и сызнава брешешь. Я тебя не спрашиваю, как его звать. Ты лучше, дядя, нас обоих, племянников, угости-ка с дороги.

— Ладно, ладно, сейчас угостим! — Салтан суетливо выскользнул из двери и снаружи запер ее на замок.

Неприятнь Салавата к хозяину удесятирилась. Если бы даже забыл он о клятве, данной недавно на уголке, — и тогда у него было достаточно причин для ненависти к русским. Язык, на котором человек говорит, и вера в бога его народа определяли для Салавата врагов и друзей с того

дня, как он бежал из сожженной солдатами деревни. Каждый, кто говорил по-русски, теперь представлялся ему врагом. Несмотря на свои пятнадцать лет, Салават был грамотен. Недаром он, сын старшины, дружил с сыном муллы Кинзей. Мулла хотел обучить премудрости пророка своего не по годам тяжеловесного и ленивого сына. Это было трудно, и хитрый отец облегчил себе дело тем, что вовлек в учебу сметливого, бойкого Салавата. Салават легко оправдал надежды муллы, перегнав в учебе своего друга, чем огорчил муллу и доставил возможность гордиться самолюбивому старшине.

Не раз, бывало, Юлай при гостях задавал Салавату вопросы, которые требовали знания корана, и Салават с легкостью и рассудительностью отвечал на вопросы, приводя в изумление одних, а других вынуждая изображать изумление.

Теперь не для других, не напоказ, а для себя самого вспоминал Салават строгие суры корана, гласящие о неверных. Ненависть и презрение к неверным предписывало устами пророка само небо. И Салават ненавидел их всей душой. Потому и новый пришелец с повязкой на лице вызвал в нем чувство неприязни и отвращения.

Словно стыдясь своего безобразия, отвернувшись от Салавата, он развязал повязку, чтобы ее поправить. Тут как раз гроыхнул замок. И, в поспешности оглянувшись, пришелец выдал товарищу по неволе свой страшный вид: у него не было носа... Он поспешно закрылся платком, но одного мгновения было довольно шустрому взгляду юнца. Несмотря на сумрак помещения, Салават разглядел его облик во всех ужасных подробностях...

Салават был нечаянно озадачен и молча глядел на безносого: он знал многих башкир, искалеченных так за мятежи, но в первый раз видел русского, побывавшего в руках палача. В полумраке амбара оба добровольных узника внимательно разглядывали друг друга.

Безносый молча опустился на скамью против Салавата. Вошел Салтан, неся под полой еду, плотно затворил за собой дверь и поставил на нары чашку с вареным мясом. С полки, тянувшейся вдоль стены, он достал каравай хлеба и положил перед гостями.

Ахмет, псак бар-ма? ¹ — обратился он к Салавату.

Салават не сразу отозвался. В первый раз Салтан называл его этим новым именем, которое — кто знает, надолго

¹ Ахмет, нож есть ли?

ли, — должно было заменить звучное и привычное — Салават.

Безносый усмехнулся, стрельнув пронзительными и вместе смешливыми, с издевочкой, глазами в сторону юноши.

Салават подал Салтану нож. Татарин, с восхищением осмотрев красивый клинок, стал резать принесенное мясо и хлеб.

— А как у тебя, молочка нет ли? — спросил безносый хозяина и с усмешкой добавил: — От бешеной коровки.

— Знаю, знаю, — торопливо проговорил хозяин. — Как в чулан тащить угощение? Увидят!

Он снова вышел. Салават и безносый молча приступили к еде. Через минуту снова вошел Салтан, принес чарку водки и ковш квасу. Квас поставил перед Салаватом, водку — перед безносым.

— К ночи еще зайду, — сказал он и вышел.

Салават, отвернувшись, ел молча. Безносый прервал молчание.

— Водку пьешь, Мукамет? — спросил он по-татарски. Салават лишь презрительно передернул плечом.

— Ладно, после успеешь! — успокоил безносый.

Салават не ответил. Он жадно жевал соленую конину и глотал хлеб, запивая квасом.

— Плохо тебя, Махмут, дядя твой кормит. Русский этак своих племянников не содержит, — сказал безносый, положив на плечо Салавата руку.

Салават неприязненно отодвинулся дальше.

Безносый засмеялся. Он выпил водку, доел мясо. Оба молча сидели теперь на разных концах длинной скамьи.

— Послушай-ка, Махмут, — начал опять безносый, — нам с тобой, может, месяц тут вместе прожить, неужто же ты так-то и будешь молчать? Мы оба со скуки издохнем! Расскажи, как к Салтану попал.

Салават упорно молчал.

— А то я расскажу. Я, брат, много видал, всего нюхал — вишь, от понюшки и нос весь вышел. А я говорю тебе, Махмут... Как тебя звать-то? — внезапно спросил безносый.

— Сам говоришь! — возмущенно воскликнул Салават, поняв ловушку.

Безносый весело засмеялся своей шутке.

— Вот тебе — «сам говоришь». А ты позабыл свою кличку! Так как же тебя зовут, Махмут или Ахмет? — спросил он.

— Как зовут — так зовут. А тебе-то какое дело? — огрызнулся Салават на насмешника.

— Да ты не серчай. Ахметка — и будь Ахметкой. А меня вот Хлопушей зовут — тоже кличка. И у собаки у каждой своя!.. — добродушно заметил шутник. — Так вот, Ахмет, чай, помнишь, тебе асай говорила сказки? Неужто же ты все позабыл? Ведь помнишь?.. Расскажи ты башкирскую, а я тебе расскажу нашу русскую сказку, так время у нас и пойдет!..

Салават посмотрел на безносого с гордым презрением и отвернулся.

— Я, брат, привязчивый, я не отстану! — сказал Хлопуша.

В глазах Салавата мелькнул лукавый и злой огонек.

— Помню одну... — неожиданно согласился он и повел рассказ:

— Жил барсук в норе под корнями, тихо жил, сладкие корешки сосал... Приходит свинья к нему, плачет: «Пусти в нору. Я в степи живу, у меня корешков нет, нору рыть не умею». Пустил барсук. Пожила день, другой, в пятницу пошла в гости к свахе. Назад идет — сваху ведет... — рассказывал Салават, заранее зло потешаясь тем, что придумал он рассказать русскому. — «Здравствуй, барсук! — сказал Салават, нарочно произнеся «здравствуй» — по-русски. — Уж я так твое житье да и тебя самого расхвалила — и сваха к тебе жить пришла».

— Вот беда! — перебил безносый. — Не хочешь, а принимай, коли в гости пришла!

Салават неодобрительно поглядел на беспокойного слушателя и продолжал:

— На другую неделю в пятницу обе в гости пошли на старое логовище да к вечеру привели к барсуку еще тетку свиньи. «Здравствуй, барсук! И тетка моя тебя полюбила!» Чуть не заплакал барсук, да пришлось и тетку принять. В пятницу снова пошли они все гулять на базар, а к вечеру и приводят...

— Знаю — дядю с племянницей, зятя да тещу, свекровь да шурина, пятерых сыновей, семерых дочерей!..

— Ты как знаешь? — наивно удивился Салават, который только что сочинил свою сказку.

Безносый засмеялся.

— Я хитрый, все знаю! — сказал он. — Дальше что же?

— Как полезли все к барсуку в нору — от свиной вони выскочил он из родной норы да бежать!..

— А дальше? — спросил безносый.

— Все сказал. Про тебя сказал! — оборвал Салават и вызывающе посмотрел на безносого.

— Кто же тут я? Барсук? — лукаво спросил безносый, словно не понимал намеков.

— Нет, свинья, — дерзко глядя в глаза Хлопуши, возразил Салават и пояснил: — Барсук — башкиры, урусы — свинья...

Безносый усмехнулся в широкую бороду и без обиды сказал:

— А сказка-то ведь не вся! У барсука был двоюродный брат Бюре-батыр, по нашему — Волк Бирюкович. Рассказал ему барсук про свою беду. Стал Бюре-батыр среди оврага и затрубил: «У-у-у! У-у-у! У-у!» — Безносый сложил ладони трубой и громко завыл волком.

Салават схватил его за руку.

— Шибко воешь, шайтан. Тихо вой! — прошептал он.

— Услыхал весь Бюре-народ, собрался, зубы и глаза засверкали, и повел их Бюре-батыр воевать с свиным народом...

Безносый умолк.

— А дальше? — спросил Салават.

— Конец впереди. Будем живы — увидим.

— А кто в твоей сказке Бюре-батыр? — продолжал Салават, позабыв, что решил не вымолвить ни единого слова.

— Ищи — и найдешь, — усмехнулся безносый. — Да тебе как найти! Плохой ты охотник — зверя не знаешь.

— Я?! — воскликнул запальчиво юноша.

— Ты. Лесного зверя за борова принял.

— Я медведя ножом зарезал, один! — вспыхнув, сказал Салават.

— Небось старый мерин был, не медведь! — спокойно возразил безносый.

— Самый большой медведь! — увлеченно доказывал Салават.

— Где же ты встретил его?

— В лесу над берегом Юрузени. Вся кочевка знает! Хлопуша захохотал.

— Ах ты, ирод, ирод! — забормотал он по-русски. — Ах ты, дубина, дубина!..

— Чего ты? — удивился Салават.

— Вот я тебе что скажу, — серьезно ответил Хлопуша. — Хороший ты парень, когда с этих лет хорониться должен, а будешь таким дураком — недолгое время убежишься. Ведь ты мне сказал, что татарин! Вот дурак! Да казанские татары про Юрузень не слыхивали!.. Пропадешь

ты, парень, так по уметам шатаюсь, время нынче неспокойное, на Яике бунт в казаках. Много всякого смутного народу по уметам ходит, а за смутным народом и сотники, и урядники, и ярыги... Иди-ка ты лучше, малый, ко мне в лес жить, житье у нас привольное!

— Ты в лесу живешь? — смущенно спросил Салават.

— В лесу, брат, в лесу... Где больше жить такому, как я? Видишь, как меня изукрасили?!

— А чего в лесу ешь?

— Всяко бывает. Когда пусто, когда и густо, когда и нет ничего! Живем мы в лесу — и волю знаем, выйдем из лесу — пропадем. Нет в дубраве у нас ни старшин, ни сотников, ни господских приказчиков...

— За зверем там промышляешь?

— На красного зверя охотничаем: с одного, бывает, шкур десять снимешь!

— Не бывает таких зверей! — отрезал Салават. — Теперь ты попался ведь, значит!

Хлопуша снова захохотал.

— С нашего зверя, парень, иной раз и сотни шкур снимешь, а то за свою дрожись, за последнюю; только тем и спасаемся, что все охотники о двух головах.

— Опять врешь? Где же у тебя другая голова?

В кабаке у целовальника заложена, — усмехнулся Хлопуша. — Расскажу теперь я тебе сказку про храбрых охотников, тогда сам поймешь:

— Едет, скажем, вашего Твердышева купца приказчик, везет купцу денежки, с русских мужиков и с башкирцев, с татар, с черемисы взятые. Выйдут лесные люди, наставят ружье да денежки заберут! И пошли гулять...

— Ты что — разбойник, каряк? — спросил Салават.

— А хотя и разбойник! — не смутился безносый. — Бедному человеку обиды мы не чиним, а с богатого десять шкур спустить — того бог не сочтет за грех!.. Да-а... Бывает, на нас и солдат высылают. Тогда уж спасай бог головушки! И летим, и летим тогда журавлями в далекие страны на новы места. Полетим, полетим да пристанем... Вольных мест еще много на свете осталось... Хватит места и журавлюшкам, и соколам, и орлам... Хочешь, малый, летим со мной в вольный свет?!

— В разбойники? — спросил опять Салават.

— Ну, хотя и в разбойники! Что ты страшишься?

— А коли поймают? — опасливо спросил Салават.

— А коли сейчас тебя словят, тогда что?! — поддразнил Хлопуша. — Ну, пойдешь с нами?

Салават не успел ответить, потому что внезапно Салтан распахнул дверь:

— Солдаты бумаги смотрят!

Салтан сказал это по-русски, и Салават не сразу понял, в чем дело, но Хлопуша схватил его за руку.

— Бежим!.. Айда, айда, торопись! — прохрипел он, сильной рукой увлекая Салавата мимо Салтана в конюшню, через двор.

Там, живо вскочив на коней, пустились они наутек в виду солдат, кричавших им вслед: «Стой! Стой! Стой, что за люди?!»

Совместное бегство от общей невзгоды связало Салавата с безносым товарищем, беглым каторжником, по прозвищу Хлопуша.

Все то, что рассказал Хлопуша о лесных людях, представлялось теперь живым в глазах Салавата. Он знал, что значит охота на красного зверя, как с убитой дичины снять десять шкур и почему лихому охотнику нужно не менее двух голов на плечах.

Вначале, когда судьба столкнула его с Хлопушей, Салават не думал, что сможет остаться с русскими лиходеями и разбойничать по лесам. Отдышавшись от первого бегства, в котором он потерял свою лошадь, сломавшую ногу, и спасся лишь за седлом Хлопуши, Салават попросился сойти на перекрестке дорог.

— Ты что? — удивленно спросил по-татарски Хлопуша.

— Мне не туда.

— А куда же?

— Во-он туда! — указал Салават на полдень, слегка к закату.

— Кто же там у тебя?

— Турецкий султан, — сказал Салават.

Бежать к султану было мечтой, которую мулла внушал своим ученикам. Страна, где царит коран Магомета, где шарият — верховный судья и сам султан исповедует, как последний нищий, веру пророка, — эта страна казалась мулле земным раем, легендой... О людях, бежавших к султану, рассказывали как о счастливых, чудом попавших живыми на небо.

Салават в раннем детстве еще слышал от муллы рассказ, как один из братьев его деда бежал к султану, стал там богат и знатен. В одном из больших городов он держал на базаре лавку, где торговал шербетом и фруктами; он был в милости у самого султана, а когда началась

война с русскими, убил сто гяуров и пал «на прямом пути», завещанном правоверными словами корана...

Каждый раз султан посылал денег на восстания башкир против русских царей, чтобы вести войну во славу ислама. Они не замечали только того, что это бывало всегда в те годы, когда сам султан воевал против русских и потому ему нужно было восстанием на востоке ослабить войска противника.

— К султану? — спросил Хлопуша. — А что же тебе даст султан?

— Султан и есть Бюре-батыр, старший брат барсука, про которого ты говорил в сказке.

Хлопуша мотнул головой.

— Не там ищешь, — сказал он. — Султан живет далеко в чужих странах, за морем. Ему что за дело до темной норы башкирского барсука! Ищи поближе, не бегай! Бегают зайцы, — сказал Хлопуша, когда Салават выразил несогласие с его словами.

Оскорбленный названием трусливого зверька, Салават, забыв последнюю предосторожность, с жаром выболтал перед безносом историю с луком Ш'гали-Ш'кмана.

— Есть и такие звери на свете, — спокойно сказал Хлопуша. — Силы много, да смелостью бог обидел. Медведь силен, а встретиться с ним, крикни погромче — и пустит бежать, не догонишь, бежит да гадит со страху, бежит да гадит...

— А смелый что стал бы делать? — спросил Салават.

— За море не бежал бы. Бегство — народу измена. Где твой народ, тут твоя и судьба.

Салават был озадачен. Русский в его представлении оставался врагом. Выслушать советы врага и поступить наперекор этим советам подсказывал ему неопытный мальчишеский ум, напитанный прямолинейной хитростью учений пророка, желавшего объять своей книгой все случаи жизни и не сумевшего охватить тысячной доли.

Но какое-то смутное чувство подсказало ему правоту Хлопуши. Зачем же враг, русский, чужой человек, дает верный совет самому страшному и заклятому из врагов своего народа?! Какая и в чем тут хитрость?! — обдумывал Салават и, не поняв, он прямо спросил об этом.

— Ты, брат, молод, смекалки не хватит, не поймешь, — ответил каторжник. — Поживешь, поглядишь на людей — тогда разберешься.

И Салават почему-то поверил безносому мудрецу. Поверил наперекор всему, чему верить учили его с колыбели.

Хлопуша недаром себя называл лесным зверем. Как лесной зверь, знал он все самые малые, тайные тропы и умел укрываться от сыска хоть в голой степи. И Салават, вынужденный, впервые в жизни, скрываться от злых и опасных людей в мундирах, должен был подчиниться опыту своего вожака. Он слепо шел за Хлопушей, останавливался на ночлег, где указывал тот, научился дышать, зарывшись глубоко в стог сена, согреться на холоде только своим теплом, питаться корнями и не зевать, когда удавался случай стащить по дороге через деревню домашнюю утку или краюшку хлеба.

Так один из «неверных» стал другом и спутником юного беглеца. В первый момент он подкупил Салавата своим умением говорить на его языке и живо перенимать башкирские слова.

И Салават мало-помалу сдавался Хлопуше. Он не хотел еще сам признаться себе в том, что питает ответные чувства к спутнику, посланному судьбой. Он уверял себя, что именно потому за заботу платит заботой, чтобы не быть в долгу у «неверного», что его забота похожа на торг, а пророк не запрещал никогда торговать с «неверными», если сам торг удобен и выгоден. Но все рассуждения эти были простой уловкой, упрямой ребячьей попыткой скрыть от себя самого добрый юношеский порыв и чувство теплой благодарности, вспыхнувшие в светлой и поэтической душе беглеца, оторванного от близких людей и от родной земли...

Старый бродяга, успевший бежать из деревни от барина, потом с крепостного завода, из солдатчины и из каторжных соляных рудников, прошедший все школы тогдашней жизни, умевший говорить почти на всех языках приуральских и поволжских народов, Хлопуша умел быть верным в дружбе, заботливым, даже нежным, если назвать нежностью те его чувства, которые заставляли его уступить мальчишке кусок хлеба, когда было нечего есть, укрыть его в холод своей одеждой или не спать ночью, давая выспаться Салавату, когда Хлопуша почему-то считал не совсем надежным место, избранное для ночлега.

Хлопуша, только недавно бежавший из места последней своей неволи в Илецкой Защите, где его заставили вырубать соль, остался тоже без близких людей и всякой поддержки. Стародавний бродяга, он, много скитаясь, многих узнал, и повсюду по деревням и погостам, по селам и городам, на заводах, в станицах и крепостях у него были знакомые люди. Но, опасаясь, что в знакомых местах его скорее могут поймать, он нарочно не шел к ним, боясь

попасться и подвергнуть всевозможным карам людей, которые по знакомству его приютят.

Бродя по русским селениям, Хлопуша нарочно уродовал русскую речь, представляясь башкирином, а в татарских и в башкирских селениях он превращался в глухонемого, чтобы не выдать своей речи, и только с немногими говорил без притворства.

Нанимаясь в работники, проходили они по казачьим станицам Яицкого войска, просили под окнами и получали то корку, то огурец, то кусок вчерашнего пирога...

Они работали зимой лесорубами при заводе, весной нанялись в бурлаки и тянули тяжелую лямку, чтобы потом при ночлеге на пустынном берегу перейти к открытой игре и, ограбив хозяина, увести в разбойники всех бурлаков.

Несколько месяцев грозной шайкой скитались они по дорогам, грабя купцов, нападая на землевладельцев и даже на заводские конторы. Слава безносого атамана Хлопуши росла с каждым днем, и к нему стали уже приходять крестьяне, прося наказать того или другого жестокого помещика.

О подобной услуге Хлопушу не приходилось долго упрасивать: он ненавидел богатых купцов и особенно знатных дворян. Он нападал, выбрав такую ночь, когда ветер не дул от барского дома к деревне и не мог бы зажечь крестьянских домов пожаром.

Его отчаянная ватага убивала помещиков, грабила все что попало — одежду, деньги и драгоценности. Раздавала из барских амбаров хлеб крепостным, потом зажигала хоромы, и на барских конях разбойники угоняли награбленное добро. По дороге, багровой от зарева горящей усадьбы, нередко с ними в леса убегали и крепостные крестьяне.

Около двух лет уже бродил Салават с Хлопушей с места на место. Не всегда — в лесу, не всегда — на большой дороге. Он побывал вдоль по Яику до самых калмыцких степей, тех самых, где когда-то Юлай так горько встретился в последний раз с бывшим башкирским ханом Кара-Сакалом; побывал у калмыков и киргизов, по Волге дошел до моря, посетил казачьи станицы и городки, и везде вместе с Хлопушей, для которого находились повсюду добрые люди, дававшие и ночлег и пищу. Эти добрые люди попадались и среди содержателей уметов, где собирались разные беглецы, и среди жителей городов и пограничных крепостей, и среди торговых и полевых казаков, и в

городах — мелкие лавочники, и даже дьячки, и кладбищенские сторожа, и заводские рабочие, и казачки-вдовы.

И за все это время немало слышался молодой странник о жизни разных народов «под рукою» царицы, и не только слышался — немало и видел такого, что сама рука тянулась за пояс к кинжалу, чтобы дружно вместе с острой сталью вступить за слабого, обиженного и забитого нуждой, будь то татарин, кайсак, калмык или даже русский... Да и русским жилось не хуже ли, чем другим?

У чувашей отнимали их веру, калмыки платили ясак, у башкир отрезали клочок за клочком широкую степь и богатый лес, а у русских, у которых нечего было уже отнять, отнимали последнее — волю: ими торговали, как лошадьми, их продавали... Не раз у ночных бурлацких костров слышал Салават страшные рассказы беглых солдат и каторжников о том, за что их послали на каторгу, почему бежали они от солдатчины.

Тоска по родным кочевкам одолела Салавата. Теперь ему шел восемнадцатый год, и за это время он окреп и возмужал. Черные брови его гуще почернели и ближе сошлись на лбу, еще больше окреп голос и шире стала и без того широкая грудь.

Вдвоем с Хлопушей брели они вдоль Иргиза, еще не вполне вошедшего в берега, хотя белые пятна льдин уже вовсе исчезли с сизой воды. Вечерело.

— Стой, Салават, верно, придется нам здесь ночевать, — сказал Хлопуша. — Вода высокая, а до станицы далеко. По такой воде да без лодки плыть — вымокнем и простынем, а сушиться ночью в степи несподручно.

— Ну что же, не в первый раз, — отвечал Салават. — А где станем?

— Вот сейчас будет дом — тут рыбак жил.

Некоторое время путники шли молча. Рыбачьего домика не оказалось.

— Али его Иргиз унес? — задумчиво выговорил Хлопуша. — Велик он был ныне.

— А вот! — обрадованно крикнул Салават, указывая на берег, где стояла большая рыбачья лодка с кровелькой, под которой в дурную погоду укрывался рыбак.

Они подошли к лодке, поискали весел и, не найдя, стали раскладывать костер. Неподалеку, в камнях, Салават разыскал успешные высохнуть кусты мохнатого мха для растопки, в стороне от берега набрал камыша, и вот затрепещал в степи маленький живой огонек. Закусив, Хлопуша растянулся на земле, выправляя уставшие ноги, а Салават, усевшись перед костром, вынул курай и заиграл. Хло-

пуша молча слушал игру. Он привык к этим чуждым для русского уха звукам и любил игру камышовой свирели, прерываемую тонким гортанным пением. Напевы Салавата в большинстве были грустные, но на этот раз в его пении звучала не глухая тоска, не грусть, а отчаянный зов к родному народу, к горам Урала, к его цветущим степям и кипучим рекам, к отцу, к молодой жене, к матери и маленькому сыну, который, конечно, был должен родиться...

Вдруг Салават резким движением сломал пополам свой курай и бросил в огонь. Камыш затрещал в огне.

— Ты что? — осторожно спросил Хлопуша.

— Плохо тут... Айда вместе в нашу деревню. Жена у меня скучает, сын растет, тятку не знает. Ему без отца жить?! Домой надо. Айда в нашу деревню, Хлопуша. В моем коше лежать будешь, кумыс пить...

— Изловят, смотри, — возразил Хлопуша.

— Время целый река ушел! Начальник думать забыл, какой Салават... Сын Рамазан тоже отца не знает...

— Ладно, брат. Утро вечера мудренее. Утром сгадаем, куда нам с тобой поворот, — уклонился Хлопуша.

Салават замолчал.

Молчал и Хлопуша. Он умел молчать. При желании было легко позабыть о его присутствии. Может быть, именно потому Салават с ним легко сжился. Салават жаловался на свою судьбу, а Хлопуша впитывал жалобы, не перебивая пустым сочувственным словом, не жалуясь сам, не говоря о самом себе, как бы дожидаясь, когда его друг спросит о нем сам. Но, долгое время поглощенный, как большинство юношей, только самим собой, Салават и не думал о друге. Мысль о его судьбе даже не приходила юноше в голову.

По придорожным уметам, в рудничных шахтах, в станциях, где нанимались летом косить траву, в степях, по которым перегоняли купеческие овечьи гурты, — всюду видел теперь Салават тяжелую подневольную жизнь тех, кого раньше считал врагами; научившись понимать русский язык, он всюду слышал их недовольство, ропот и стоны. Он слышал не раз их чаяния, разговоры об ожидании того дня, когда «объявится» государь, избавитель народа от всяческих бед, но ему никогда не могло прийти в голову, что судьбы царя могут как-то коснуться его самого...

— Слышь, Салават, не туды ты задумал, — вскинулся вдруг от костра Хлопуша. — Не я с тобою в башкирцы, а вместе на Волгу пойдем.

— Опять купцов грабить?! — с досадой спросил Салават. — Плохая жизнь, Хлопуша! В беду попадешь, никог-

да ни жену, ни сына тогда не видеть... Не хочу... Да что тебе — денег мало? Ай, жадный, Хлопуша!

— Не то! — отмахнулся Хлопуша. И, приблизив лицо к самому уху друга, он пояснил: — Государь объявился на Волге, народ призывает на помощь... Туды нам идти за волю и правду...

Салават не ответил. Ему не хотелось так скоро расстаться с мечтой о родных краях.

— Пойдешь? — торопил с ответом Хлопуша.

— А куда мне теперь без тебя? Ты пойдешь — значит, я пойду, как же!

— Одной веревочкой бог нас с тобою связал. Теперь не распутать! — согласился Хлопуша.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Необъятные шири ковыльных степей с пролысинами мертвых солончаков лежали по сторонам Яика. Ближе к реке лепились казацкие хутора, окруженные бахчами, где среди золотых подсолнечников, нежась, грелись под знойным солнцем бокастые полосатые арбузы, золотисто-желтые дыни и великаны-тыквы.

Степная дорога под ветром была все время подернута легкой дымкой песчаной пыли, а изредка над нею вставало густое облако, скрывая длинный медлительный караван верблюдов, шествующих с надменной и глупой осанкой, скрипящий конный обоз или одинокого всадника, двигавшихся от хутора к хутору, от умета к умету.

Яик меняет картину степи. Возле его берегов выжженный бурый цвет сменяется зеленью. Ивы склоняются над водой, дубовые рощи окружают заливы. В камышистых заводях крикают утки, порою хрюкнет кабан, блаженствуя в разогретой воде на тенистой отмели.

Рыбачьи челны чернеют кое-где в камышах. По берегу курятся редкие одинокие костры...

Над хуторами меж ив и дубов высятся журавли колодезцев, в августовский полдень под зноем на хуторах лениво движутся люди.

На уметы заедет редкий проезжий, и хозяин рад ему уже не ради дохода, а просто от скуки, видючи свежего человека. И вот сидят они, коротая часы, покуда покормятся в тени под навесом и отходнут кони от проклятых мух и слепней, покуда спадет жара...

Одинокий гость сидел на умете Дениса Кузнецова, по прозванию Еремина Курица, в ожидании, когда хозяин вернется со штофом вина с соседнего хутора. Гость сидел, расстегнув от жары ворот белой рубахи, кинув на лавку шапку. Сидел в глубокой задумчивости, облокотясь на



стол и теребя свою преждевременно начинавшую сесть густую темно-русую бороду. Он видел в окно, как молоденькая, стройная и красивая казачка прошла на зады умета с подойником, как воротилась, слышал, как она потопталась в сенях, загремела ведрами, и видел, как снова прошла через двор. Он видел и не видал и двор, и широкие крупы пары своих коней, лениво кормившихся под теннисным навесом, и девушку. Погруженный в свои думы, он не замечал и течения времени...

— Задумался, гостек?! Я девку хотел спсылать за вином, ан, еремина курица, опять она ускочила куда-то! — входя в избу и ставя на стол глиняный штоф, произнес хозяин, небольшого роста, коренастый светловолосый казак с широкою бородой.

— Напрасно коришь девицу. Вот только что проходила с подойником по двору и снова с ведром пошла. Все хлопчет, — ответил гость. — Красавица дочка-то! — похвалил он, желая сказать приятное слово хозяину.

— Да, удалась и лицом и всей выходкой и по хозяйству в мать... — с радостной гордостью подхватил хозяин. — Каков ни случись жених, а всю жизнь на нее не радуется. Кабы по старому казацкому житью, то моей бы Насте только песни петь да рядиться, а тут на ней, еремина курица, заботы да хозяйство. Умет на большой дороге. В иную пору гостей человек по десять, а то и больше случится.

Говоря, хозяин доставал с широкой полки и ставил на стол закуску: огурцы, лук, яйца, вареную солонину, с которой с гудением взлетела туча тяжелых, разъевшихся мух.

— А ты бы женился, — сказал гость.

Хозяин остановился на полпути к столу посреди избы с оловянной кружкой в руке.

— Еремина курица, мачеху в дом?! Ну, не-ет, — отрезал он. — Дочь выдам, тогда без хозяйки мне не управиться будет — обокрадут в неделю... Прохожего люда бывает по столько! И отколе берется? Едут, идут, бредут... Еремина курица, не сидится им дома! Кажись, вот вся Россия вышла на дорогу...

Гость принял кружку, налил вино, пошарил глазами по комнате и своей рукой, достав еще такую же кружку с полки, налил вина во вторую.

— Ну что же, не одному ведь мне пить, — сказал он. — Стукнемся, что ли, хозяин! Пей, казак, — пригласил он, придвинув кружку хозяину и поднимая свою, — со встречей!

— Дай бог не последнюю! — отозвался тот.

Гость покрутил головой, понюхал хлеб после выпитого стакана и отрезал кусок солонины.

— От сладкого житья не кидают люди домов! — произнес он со вздохом. — Доли ищут люди, за тем и бродят. Мне по купечеству довелось всю Россию изъездить за разным товаром, а легкой жизни нигде я не видел. Ну, скажи ты, кому на Руси хорошо? Дворянам, откупщикам да по-пам...

— Чиновникам тоже! — подхватил и хозяин. — А прочие бегут: и ремесленный люд, и купчишки помельче, крестьяне, заводчина и солдаты — кто хошь...

— А казаков слышал? — спросил гость, прищурив карие глаза из-под мягких собольих бровей.

— Да что же тут дивного! И казаки, бывает, бегут. У нас на Яике казацкая жизнь такая стала...

— Пей да закусывай! — перебил гость, наливая сызнава чарки.

Они снова стукнулись.

— Да-а... Под женской рукой все во скудость пришло, все в шатость... Корыстники рвут на куски Россию, — задумчиво говорил гость.

— И то ведь, еремина курица, чтобы Российское царство держать, женская рука слабовата. У государыни, сказывают, личико белое, ручки-то — бархат, еремина курица...

В это время раздался стук в ворота.

— Вот и еще бог гостей посылает! — сказал хозяин, идя во двор отпирать.

Гость остался один.

«Да, ручки — ба-архат! — подумал он и усмехнулся. — В глотку вцепится, так залишишь чижом от этих ручек... Вон царь-то пискнул — да и душу богу! С того и воцарилась... и пошло-о! Душно, душно в твоей державе, сударыня матушка! Боярам простор, а народу куды как тесно! Оттого-то народ и надумал, что жив государь да ходит повсюду!.. Народ, мол, в бегах, и царь тоже беглый!.. Хе-хе! Он, мол, все видит! И панихиды-то, вишь ты, не помогают: ты ему «вечну память», а народ — «добра здоровьица!» Дескать, время придет — и объявится в силе и славе... А и вправду придет ведь! — подумал гость с уверенностью и радостью. — Придет... боярам рвать хвосты, бобровые, собольи, лисьи хвосты трепать... Эх, будет шерсти! Эх, пух-то полетит-ит!.. А мы то уж не оплошаем вступиться за законного царя — пух-то рвать из хвостов пособи-им! Только бы поскорей объявился...»

Вся Россия верила в бродячего царя-правдолюбца, в царя-страстотерпца, который изведал сам все народные беды, невзгоды, все горе...

Народ не хранил бумажных свитков с печатями, народ не писал истории, но свято передавал от дедов ко внукам в изустных сказаниях все трудные были и память о всех невзгодах и радостях. Народ вел точный счет бесконечно щедрым обидам и бедам и невеликому числу скупых, сирых просветов своей многотрудной судьбы и сознавал их порою невидимые и тонкие связи.

Так сознание народа хранило память о том, что крепостное помещичье иго легло на крестьянские плечи с тех пор, как цари обязали дворян нести ратную службу «для блага родной земли». Когда временами крестьяне пытались стряхнуть тяжелую ношу — их усмиряли огнем и железом, после увещевая, для верности, что восстания их несправедливы: служилые люди, дворяне несут свою долю кровавых ратных тягот, а вы, мужики, несите свою долю, в поте лица трудясь на дворян.

И вот пришел царь, объявивший вольность дворянства, сложивший с дворян тяготу государственной службы. Народ всколыхнулся и зашептал, что не нынче-завтра выйдет другой манифест — о вольности для крестьян...

И вышел такой манифест, но он давал волю не всем крестьянам, а только одним монастырским да церковным крестьянам, которые из крепостных становились вольными и платили оброк лишь в казну государя. Этим указом недовольны были одни попы да монахи. Крестьяне роптали, что воля дана не всем, но были и утешители среди них, которые говорили, что сразу все сделать не можно, что вскоре выйдет другой закон, в котором помещичьим мужикам тоже будет объявлена воля...

И вдруг царя, от которого ждали крестьяне свободы, свергла с престола царица, его жена, и провозгласила себя императрицей. А вслед за тем пролетела весть о таинственной смерти государя.

Словно померкло солнце, погибла едва рожденная надежда. «Злодеи-дворяне убили царя за то, что хотел дать волю крестьянам», — упорно зашептали в народе.

Но нельзя угасить без следа надежды и чаяния миллионов людей — нет такой силы! И, недолго спустя после смерти царя, из затаенных народных глубин вышел слух о спасении от убийц «вольнолюбца» — царя Петра Третьего...

Народ ничего не знал о настоящем лице этого царя-полунемца, деревянного солдатика, просидевшего на престоле без году неделю, ни о его презрении к своим поддан-

ным, ни о слепом преклонении его перед всем немецким, ни о его шпионской измене России, ни о грубой жестокости, тупости, трусости и себялюбии. Народ от него ждал освобождения и добра. И вот он все более в мыслях народа превращался из года в год в справедливого мученика, который ходит по всей земле, изведывая неправды и беды народа, чтобы потом «объявиться».

Народ создает поэтические образы своих героев из лучших народных же черт. И сказочный царь был создан в народном предании великодушным, прямым, справедливым, самоотверженным, терпящим беды за весь народ.

Толпами убегал народ от невыносимых обид и притеснений корыстных чиновников и дворянства. Народ бежал из дворянской усадьбы, из солдатчины, с рудников, заводов и фабрик...

О страданиях царя-правдолюбца и скором его пришествии обездоленный люд шептался везде: по тюрьмам, уметам и сборищам голытьбы на волжских плесах, в лесных притонах, по староверским скитам, на базарах и богомольнях, по задворкам поместий и в заводских деревеньках.

Народ беглец и бродяга создал образ царя-беглеца... А если бездомный бродяга впадал в отчаяние и тоску, то в утешение себе в тяжелый час жизни он повторял сам себе эту светлую сказку...

Беглый донской казак Емельян Пугачев был одним из тех беспокойных людей, которые не находили по сердцу пристанища нигде на широких просторах России.

Судьба бросала его из родной Зимовейской станицы в Турцию — на войну, в Приазовье — в бега, на Кубань и на Терек, к польской границе, в Саратов, Казань, на Иргиз и на Яик...

Он испытал военную службу, тюрьму, колодки и бегство, тяжесть батрацкой жизни, болезни, холод и голод, и в бродяжной тяжкой доле его не раз утешало предание о царе, который явится из безвестности и поднимет народ на своих ненавистников...

Емельян натворил довольно, чтобы ему самому угрожали кнуты, и каторжное клеймо, и тяжкий труд в рудниках, с руками и ногами, закованными в железо. Устав от скитаний, как загнанный вепрь, несколько дней скрывавшийся в береговых камышах, он думал о том, что если бы долгожданный царь появился, то он служил бы ему, не жалея сил, крови, жизни — по всей правде. Недаром неграмотный и не знатный, простой казак, за отвагу и удаль он был произведен в хорунжие! Отвага и сметли-

вость в битвах дали ему офицерский чин, а за своего государя, который несет избавление всем измученным, сирым людям, Емельян постарался бы так, что стал бы не меньше чем полковником!..

Сказавшись хозяину купцом, он сидел на степном уме, пробравшись сюда черт знает как — из Казани да через Вятку, через Челябину, мимо Троицкой крепости, Орска и Оренбурха.

«Как заяц, мечешь обманные петли по всей Руси, и места не стало укрыться! — раздумывал он. — От польской границы — аж за Урал, и тут нет покоя!.. Только бы поскорей государь объявился... Какой-никакой!.. — добавил про себя Емельян. — Только бы поднял скорее народ!..»

— Житья не стало! — возвращаясь в избу, воскликнул хозяин. — Хоть сам беги из дому!..

— А что стряслось? — с сочувствием спросил Емельян.

— Да ведаешь ты, купец, что к нам на казацкий Яик в старое время никогда царский сыск не лез. Кто там чего натворил на царской земле, еремина курица, дело не наше! Пришел, сел на Яицких землях. Приняли? Стало, ты уже казак и старые вины с тебя сняты. А ныне ведь сыски да розыски извели! Вишь, ищут какого-то Емельку Пугачева, донского казака. Сбежал, мол, из Казани из тюрьмы.

— В избу придут?! — вскочив, в тревоге воскликнул гость.

— Да нет! Сиди, еремина курица, сиди да пей! — не придав значения его испугу, успокоил хозяин. — Я сам их не люблю. Казак приехал с упреждением, чтобы хозяевам уметов у заезжих настрою смотреть бумаги, а из прохожих да проезжих половина... — хозяин свистнул и выразительно подмигнул.

— Длинные у Петербурха руки стали, — согласился гость, стараясь скрыть свое волнение, — ведь вон куда — на Яик добрались!

— Некуда податься! — подтвердил хозяин. — А было бы куда — снялись бы целым казацким войском и потекли бы на новые места... Да нынче, вишь, и места уже такого нигде не осталось...

— Дела-а! — протянул по-прежнему гость. Он снова налил по чарке и чуть дрожащей рукой отрезал себе кусок солонины. — А велика земля, — заговорил он. — И ныне ведь поискать, так есть еще такие места, что приходи хоть целым казацким войском, и хватит простору... — Емельян увлекся, черные живые глаза его разгорелись. — Слышал ты, есть вольная Терек-река? Там тебе осетры, белорыбца — ну, как лоси матерые, да сами так в сети и скачут.

Птица фазан — с барана, кабаны — как медведи. Винограды несеяны по лесу вьются, яблоков, груш — аж деревья стелются до земли, кавунищи — как бочки, по дуплам ме-еду-у!..

— Еремина курица! — в восхищении воскликнул простодушный хозяин.

Пылкое воображение гостя разыгралось еще пуще.

— Там по горам золотые пески, серебряные жилы аж наверх из камня прыщут! — выкрикивал он в азарте, как удачливый карточный игрок, щедро мечущий козыри перед противником. Вначале на вид ему было под сорок лет — теперь он помолодел на добрый десяток.

— Ну, еремина курица! — захлебнулся восторгом хозяин. — А дорогу, дорогу кто знает? Дорогу кто знает? — Торговый человек, он не любил мечтаний без твердой почвы.

Емельян подмигнул.

— Кто бывал, тот уж, видно, знает дорогу, как мыслить? — Он заново налил кружки. — За вольное житье! — сказал он, стукнувшись кружкой с хозяином.

— За вашу добрую торговлю, за прибыли! — приветствовал хозяин, стучаясь кружкой. Он разгорелся. Новые сказочные земли манили его. Осетры, белорыбица, птицы ростом с барана, золотые пески — все эти богатства кружили его голову, но ему нужна была уверенность, основанная на точном расчете. — Ну, скажем, хотя ты, купец, доведешь нас до тех привольных краев, куда Петербурх не дастанет. Да людей-то, подумай, ведь цело казацкое войско — не шутка!.. Нас ведь целое племя!

— Не шутка! — согласился с ним гость.

— Ведь деньги нужны, — продолжал хозяин умета, откладывая на пальцах, — на хлеб, на пропитанье, избы ставить, на порох, свинец, на то и на се — на всякое дело.

— Невеликое дело деньги! — небрежно махнул рукой Емельян, словно владел несметной силы богатством. — Было бы войсковое согласие, а деньги найдутся!

Хозяин умета качнул головой.

— Нет, ты постой, — упрямо сказал он. — Ведь на экое дело деньги-то нужны большие, еремина курица... Войсковое согласие будет, а де-еньги...

Но Емельян вдохновился. Его уже было не удержать. Море было ему по колено.

— Да что за большие?! — ответил он, убежденный и сам в этот миг, что деньги откуда-нибудь да возьмутся. — Ну, скажем, так: для начала сыскать тысяч двести деньгами? Найдем! На Тереке хлебных товаров да всяких дру-

гих еще на семьдесят тысяч лежит, а как избы поставим да пашню вздымем, так сразу... — Емельян перешел на едва слышный шепот: — Турецкий паша обещает взаимы миллиён... Конечно, за рост он, нехристь, сдерет...

Хозяин глядел обалдело на гостя, который ворочал такими деньгами. Наконец он не выдержал и при последних словах Емельяна вскочил со скамьи и начал креститься.

— Еремина курица!.. Боже помилуй!.. Да господи!.. Да отколь же такие-то деньги? Да кто же ты таков?.. Ведь такие-то деньги... — растерянно бормотал хозяин. Он схватил Емельяна за руку и, весь трепеща, зашептал: — Ты скажи, ты скажи, ваша милость, не в шутку мне молвил? Да господи боже! Да как тому быть?!

Емельян посмотрел ему прямо в глаза и таинственно усмехнулся.

— А так вот и быть! — значительно сказал он. — Да ты не страшись, казак, — начал он, но в этот миг застучали в двери.

— Окаянная девка, пришла не ко времени! — выбранился хозяин и выскочил в сени.

Пугачев остался один.

— Оробела Еремина курица от миллиёна, — презрительно усмехнулся он. — «Да кто же ты таков?!» — передразнил он растерянного казака. — А вдруг да я сам государь!.. — Емельян прислушался, словно ждал царского голоса из глубины своего существа. И, не дождавшись, печально махнул рукою. — Куды-ы! Нелегко на себя такое-то имя принять. Здоровенный ведь нужен хребет, чтобы такое взвалить да нести.

Будто примериваясь к этой тяжести, Емельян встал со скамьи.

— И плечи надо во какие! Осанку! Царский взгляд!..

Хозяин вошел в этот миг назад в избу и замер у порога.

Прежнего купца как не бывало в избе. Вместо него у стола стоял человек величавого вида. Повелительность, воля и сила словно бы излучались изо всего его существа: гордо откинута голова, орлиные сверкающие глаза, могучие плечи и властная стать...

— Сударь, да кто же ты подлинно?.. — робко пробормотал хозяин. — Коль не во гнев тебе... — помыслить — и то ведь страшно...

И Пугачев почувствовал, что «чудо» свершилось: сказочный призрак царя-правдолюбца, созданный в сердце народа, явился его глазам и в одно мгновение облекся во плоть его самого.

— Что? Признаешь? — грозно спросил он хозяина. — А?! Признаешь?! Ну! Спро-ша-ю!

И тот растерялся.

— Да как тому... господи... как тому быть? Ведь писали... писали ведь, — едва слышным шепотом залепетал уметчик, — что государь... что, царство вам небесное, изволили...

Хозяин, весь дрожа, в волнении крестился мелким, частым крестом.

— Что ты врешь, дурак! Да как ты смеешь?.. Пьян ты, что ли?! — грянул грозный голос над растерявшимся от страха казаком.

Тот рухнул на колени.

— Простите, государь-надежда! Ваше величество, смилуйся, прости дурака! — молил он со слезами, захлебываясь от восторга. — Ведь глазам-то легко ли поверить!.. За что же мне радость такая, что вот у меня же в дому... Ах, ты, господи!..

Но тяжелая рука Емельяна легла на его плечо.

— Ты, казак, не шуми, — остановил Пугачев изливания хозяина, — не спеши, поразмысли, со стариками совет поведи казацким урядом. Может, яицкие ваши устроятся петербурхских «напастей», не посмеют принять своего государя. Я тогда дальше пойду простым человеком — солдатом, купцом али попом. Сколь образов я уж сменил за эти года! — душевно и с горестью говорил Емельян, сам уже веря всему, что сходило с его языка. — Наша царская вотчина — вся мать Россия. Доберусь и до верных подданных наших: кто помнит добро да святую присягу, тот нас примет...

— Да что вы! Что вы! Ваше величество! Мы сколько лет уже вас ждали... Да как же нам не принять! — проникновенно, со слезами умиления на глазах уверял хозяин. — Что ты! Смилуйся! Куда тебе дальше идти! Не скрой от нас лик свой! Нешто мы позабыли присягу?!

— Ты говори за себя, Денис Петрович. Тебя мы милостью нашей за верность пожалуем. А за других не спеши уверять. Прежде времени ты наше царское имя не разглашай по народу. Великий грех падет тебе на душу, коли ты погубишь меня...

Казак отшатнулся в испуге от этих слов и опять закрестился.

— Господи! Да как совершится экой напасти! Как можно-то, государь-надежда! — перебил он речь Емельяна.

— Ведь ты, казак, разумей, — продолжал Пугачев. — Все народы в тяготах и болезнях ждут нашего явленья. И

мы пообещались богу, за чудесное наше спасение от не друзей, избавить народ от господской неволи и жесточи. А наша царская присяга — священная скрижаль! Ты можешь уразуметь премудрость нашу, простой казак?

— Уж постараюсь, государь. Хотя разум наш — мужицкий, темный... — смиренно начал хозяин.

В это время снова раздался стук у ворот.

Пугачев в испуге схватил хозяина за плечи.

— Кто там? Кому ты сказал про меня? Кому разгласил?! — прохрипел он в лицо казаку.

— Да что ты, государь! Помилуй! — лепетал тот, напуганный стуком не менее Емельяна. — Знать, кто-то по нужде, а может — гости. Ведь у меня заезжий двор... А то и дочка... Да что ты, батюшка! Да успокойся ты, ваше величество!

— Чш-ш-ш! — зашипел самозванец. — Сказано — не разглашай! Зови меня... ну, хотя Емельяном... Иваном Емельяновым, что ли... Сказывай, заехал симбирский купец... мол, он-то и слышал про государя и царские очи его удостоился видеть...

В ворота постучали еще нетерпеливей и громче.

— Где бы тут у тебя покуда укрыться? — спросил Пугачев.

— Да тут вот в горенке, — предложил хозяин, притворив незаметную дверцу, сам весь дрожа.

Хозяин выскочил во двор, где кто-то ожесточенно дубасил в ворота.

— Иду, иду! Кто долбит этак-то? Ворота с вереюшек пособиешь! — успокоил уметчик стучавшего с улицы.

Скинув железную щеколду, он отворил калитку.

Перед ним, держа в поводу заседленного конька, стоял человек с обвязанным тряпицей лицом.

— Здорово, Хлопуша! Вишь, я соснул часок. Разомлел от жарыщи, а девка сошла со двора. Али долго стучался? Входи.

— Здорово, Еремина курица! — отозвался приезжий. — Рад не рад, а примай! Гостей много?

— Нет никого. То и скука сморила, уснул, — неумело притворяясь, сказал уметчик.

Бросив повод коня молодому спутнику, Хлопуша вошел за хозяином в избу.

Уметчик заметил шапку, забытую Пугачевым на лавке, и торопливо спрятал ее у себя за спиной, стараясь укрыть от глаз незваного гостя.

— Не деньги ли в шапке хоронишь? — лукаво спросил приезжий.

— Поди ты, Еремина курица! Какие там деньги! Уж ска-ажешь! Так старая шапка.

Хозяин забросил шапку за печь.

Хлопуша рассмеялся и кивнул на стол, где стояла забытая выпивка и закуска.

— А кружку лишнюю за печку не кидай со стола. Уж я тебя как-нибудь выручу: нас с тобой двое, и кружки две. Ты садись, не чинись: будь как в гостях, а я за хозяина. — Хлопуша налил в обе кружки вина. — За добрую встречу, за тароватого хозяина выпьем! — насмешливо предложил он.

— За щедрых гостей! — отшутился хозяин и, стукнувшись кружкой, выпил.

— И что ты за обычай взял один из двух кружек пить! Ведь так-то совсем сопьешься, Еремина курица, — продолжал потешаться над хозяином Хлопуша.

— А ну-то тебя! — отмахнулся тот. — Сидел гость, пил, кликнули его ко двору рыбу купляти, он и сошел, да долго что-то замешкался — должно, магарыч...

— Ну, как у вас житье? — уже серьезно спросил Хлопуша, поверив объяснениям хозяина.

— Опять все рыщут! — с досадой отозвался уметчик. — Донской казак бежал из казанской тюрьмы да, кажись, увел лошадей и с телегой.

— Удалец казак! — заметил Хлопуша. — А ну, за его здоровьице выпьем, — сказал он, наливая вино.

Оба рассмеялись.

— Да зато теперь у всех гостей велят смотреть бумаги... Может, податься тебе?.. — намекнул хозяин.

— А ты не старайся, Еремина курица! Бумаг у нас на пятерых будет довольно. И ты меня не выпроваживай, братец, не на простого напал! Мы с есаульцем мним у тебя на недельку пристанем.

Задав коням корму, в избу вошел Салават.

— Здорово, хозяин! — приветствовал он в дверях.

— Здравствуй, малый, как звать-то?

— Аль ты его не признал? — напомнил Хлопуша. — Ахметку помнишь? Теперь Салават зовется.

— Ну, коль старый знакомец, входи да садись ко столу. Возро-ос! И вправду ведь не признать, как возрос! Салават опустил на скамью у края стола.

— Ближе двигайся к чарке, малый! — сказал хозяин, доставая третью кружку.

— А ну его! — с деланной неприязнью махнул рукою Хлопуша. — Не угощай. Сердит я на него.

— За что серчаешь! — весело спросил хозяин.

— Водки пить не хочет.

— У башкирцев строгий закон на водку. Кумыс — другое дело, али чай... Так, что ли, парень!

— Кумыс пьем, чай пьем, — согласился Салават. — А водку пьешь — потом дурак какой-то!

Все засмеялись.

— Ну, сказывай, где бывал, что на свете видал, прибрался из каких краев — ведь сто лет не казался, — спрашивал хозяин Хлопушу, видя, что от него легко не отделаешься и сразу из дома не выпроводишь.

— С Волги едем... Заветное дело там было, — уклонился гость от прямого ответа.

— В бурлаки, что ли, ходил найматься? — с насмешкой спросил уметчик.

— А когда в палачи?! — злобно усмехнулся в ответ Хлопуша.

— Еремина курица! Что ты! Христос с тобой! Не к лицу бы оно знатному ватаману такому! — Хозяин даже перекрестился на образ.

Он знал, что Хлопуша и беглый каторжник, и бродяга, и конокрад, и разбойник, и все же готов был принимать его в своем доме, кормить и поить и стучаться чаркою за его здоровье, но палача он не мог вынести у себя за столом. Озлобленная усмешка Хлопуши сказала ему, что слово «палач» сорвалось с языка его гостя не в шутку... Еремина курица поставил обратно на стол поднятую было заново чарку и отложил кусок хлеба с солью, приготовленный для закуски. Палач! Омерзительное это слово в народе могло вызывать лишь презрение, ненависть к человеку, которого так называют... Не может быть!

— Тьфу ты, бес, напужал! Ну, шутни-ик! — попробовал отмахнуться от этого слова хозяин.

— А я не шучу, — упрямо сказал Хлопуша. — Сам-то не верю, как быдто во сне... Да поделом и наука мне — взялся не за свое: вишь, захотел со рваной ноздрей ко царю во помощники...

Хозяин умета вздрогнул и незаметно скользнул взглядом по двери соседней горницы.

— Как так к царю?.. К какому царю?.. Ведь у нас на престоле не царь, а царица!.. — забормотал уметчик в растерянности.

— Э, да брось — «на престоле!» Мало ли кто на престоле!.. — отмахнулся с досадой безносый гость. — Загадали по слуху мы с молодцом на Волгу. Народ расслышал, что там государь объявился... — таинственно сообщил Хлопуша, понизив голос. — Пошли мы в Самару. Мыслили —

государю нужны удалыцы. Народ-то по Волге вокруг, ну, скажи ты, — кипит! Повсюду слух: «Объявился!» А где объявился — никто и не знает того. Ну, мы стали рыскать, слухи пытаться... И дознались, что государя злоден схватили и в остроге томят... Аж в груди загорелось! — воскликнул Хлопуша и с яростью стукнул по столу кулаком. — Ну, мол, нет! Уж мы не дадимся в обиду. Сколько лет ожидали, томилась. Тюрьму разорим, а государя отыщем... Мыслил я — на своих плечицах на каторжных донесу его сам до престола... — Хлопуша вскочил со скамьи, глаза его загорелись. — А кто бы за мной не пошел?! Мыслил так: из тюрьмы его вынесу, света, на площадь да гаркну: «Народ! Вот ваш государь законный! За нужды ваши, за горе, за слезы заступа!» Как знамя нес бы... Ты подумай — Россия! Вон что!.. А как добратся? Как вызволить?!

Еремина курица был увлечен рассказом Хлопуши, весь подался к нему.

— Ну? — в нетерпении поощрил он.

— Палач оказался в остроге знакомец. Нам вместе с ним за разбой ноздри рвали. Сошлись... Раз выпили, два... Во помощники кличет... Тьфу, мерзость! — Хлопуша отплюнулся и глухо добавил: — Пошел к нему...

— Еремина курица! — растерянно встал хозяин.

— Для государева дела! — с усмешкой закончил Хлопуша и злобно расхохотался. — И пришлось мне своею рукою, — сказал он, — анператору всей Руси, государю... на шею веревку мылить...

Хозяин вскочил, заметался по горнице...

— Спаси господи!.. Как так?.. Да тише ты, тише!.. Как так?.. Еремина курица, как же?.. Да как же?!

— А так! Удалили! — с подчеркнутой грубостью оборвал Хлопуша. — Перед смертью покаялся всем, что вовсе не государь, а беглый приказный из Нижнего...

— И повесили? — переспросил с облегчением хозяин. — Что ж, вору мука за самозванство! — бойко сказал он. — Ведь грех-то, грех-то какой! — Он зашептал: — Ведь подлинный государь-то, болезный, в народе ходит, а тот, вишь, за него во дворец захотел, на перины!.. Ну как же не грех! А подлинный государь-то, Еремина курица...

— Э-э, брось ты, Еремин Петух! Какой там к чертям государь, прости господи! — оборвал Хлопуша. — Хватит уж! Ждали да ждали... Ведь народ как дитё: чем бы ни тешился... Умыслили цацку себе... государя...

— Еремина курица, ты, слышь, потише! — вдруг строго предостерег хозяин. — Зря плетешь!

— Не верю я в государя больше, — убежденно настаивал Хлопуша, — и никогда не поверю, хотя тут вот под образа посади его! Сам веревку намылил на беглого ябеду...

— И был беглый ябеда! — внезапно раздался звучный голос за спиной Хлопуши. — А то — го-су-да-арь! Иная статья, атаман. Ты не путай!

Все вздрогнули, оглянулись.

Темнобородый широкоплечий человек стоял на пороге соседней горницы.

Салават и Хлопуша вскочили с мест.

— А ты кто таков? — запальчиво и дерзко спросил Хлопуша. — Шапка твоя за печью, водку твою я выпил. А ты кто таков?

Но Пугачев словно не слышал его вопроса.

— Государь изволением божьим ушел от злодеев. Не ты, так другие ему пособили: народ спас... А беглый приказный, вишь, муку принял за государя. Сказать, што ль, — венец терновый! Может, ныне приказный тот, — Пугачев торжественно перекрестился, — может, ныне за муку он в ангельском чине в раю...

Хозяин перекрестился вслед за Емельяном. Хлопуша молча потупился.

— Что?! Вот то-то! Не цацки! — внушительно заключил Емельян.

— Стало, жив государь-то, значит? — с простодушной радостью, по-юношески звонко спросил Салават.

Но, не обращая никакого внимания на юнца, уметчик в лад с Емельяном, подступив к Хлопуше, поучающе сообщил:

— Есть люди такие, что сами видали царские ясны очи...

Оттолкнув Еремину курицу, Хлопуша шагнул к Пугачеву.

— А ты кто таков, я спрашаю?! — по-прежнему с дерзким вызовом повторил он. — Кто таков ты? Отколе?

Пугачев поглядел с насмешкой.

— Я?.. Архирей... заморских земель! Дедушка ништо да бабушка пыхто!.. А вот ты, знаю, продерзкий языня! Я тебя впервой вижу, не знаю, а ты пытаешь — кто да отколь... А сам, говорил, в палачах был... Тебе все равно, а мое дело тайность... Великое дело!..

— А мне — все равно?! — с горечью переспросил Хлопуша и вдруг злобно вскинулся: — Да и то все равно! Вот уйду с Салаваткой в Башкирду, приму магометскую веру, да и шабаш! Что мне ваши дела? Я клейменное рыло,

рвана ноздря, беглый каторжник, да еще ко всему и разбойник, да тьфу ты, палач!..

— Аванасий Иваныч, стой! — кинулся умолять уметчик. — Да ты не бери в обиду... Время сам знаешь какое — у стен и то уши!.. Его милость симбирский купец Иван Емельянов проездом гостит, по купечеству ездил повсюду и ведаёт много...

— А мне ни к чему! — раздраженно прервал Хлопуша. — У меня ведь купцам, что дворянам, — едина честь: суд да веревка! Пойдем, Салават! — позвал он и взялся за шапку.

Салават живо на плечи вскинул мешок.

— А ты зря, ватаман, серчаешь! — остановил Пугачев Хлопушу. — Не всякое слово в строку. У меня примета такая: кто с первой встречи повздорит, с тем дружба век не порушится. Знать, нам с тобой подружиться!..

Хлопуша взглянул в ясные, горящие глаза Пугачева. Приветливая, хитроватая и добрая улыбка его располагала к нему сердце.

— Идем-ка сюды, потолкуем, — позвал Хлопушу Еремина курица, кивнув на дверь горницы, куда услап Пугачева при стуке в ворота.

— Идем, что ль! — мигнул Пугачев. — Да брось, не серчай! — сказал он, дружески положив сильные руки на плечи атамана.

Хлопуша не сразу сдался. Задумчиво и испытующе обвел он взглядом обоих, и увидав особую торжественную таинственность в их взглядах, вдруг бросил шапку на лавку.

— Айда! — решительно согласился он. — Ты, слышь, Салават, пожди тут, а я с ними...

Все трое вышли.

Салават остался один с мешком за плечами. Обида ожгла его. Он стоял посреди избы в задумчивом оцепенении.

«Кунак Салават, друг Салават, — думал он. — Салават за Хлопушей в огонь и в воду, все вместе... А когда дело большое пришло, тогда — погоди тут один, Салават!.. Купец, видишь, умный приехал, царя видал, знает много, а ты, значит, глуп! Ты тут сиди, Салават!.. Битты! ¹ Довольно уж, Афанас Иваныч! Твоя дорога туды, моя дорога сюды, Афанас Иваныч!..»

Салават поправил мешок за плечами, тронул шапку и выскочил вон, во двор. Почти бегом он бросился под навес,

¹ Б и т т ы — будет, хватит, довольно.

где кормились кони, быстро взнуздal своего и хотел вскочить на седло, как кто-то рванул его вниз за подол бешмета. Он оглянулся.

— Тпру! Стой!.. погоди!.. — услышал он девичий голос. — Куда ты, с хозяином не простясь, из ворот?!

Крепкая, ладная молоденькая казачка насмешливо глядела на него.

— Чего тебе надо, девка? Мой конь...

— А мне почем знать — твой, не твой ли? Вишь, тут стоит не один конь, а два. Ускачешь в степь — там ищи!

— Пусти! — отмахнулся от девушки Салават.

Он снова хотел взобраться в седло, но она крепче прежнего дернула за бешмет.

— А я говорю — не пущу! Ишь ты, черт скуломордый! Батя! Батя! Батяня!.. — крикнула девушка. — Тут малай какой-то коня зануздal!..

— Мой жеребец, говорю тебе, девка! Чего ты кричишь?! — Салават еще раз взглянул на нее. Ее воинственный вид его рассмешил. — Казак, а не девка! — с усмешкой сказал он. — Айда, идем спросим, — согласился он.

— И казак! — задорно согласилась она. — Спросим, тогда и ездай.

Они вошли в избу. Из горницы вышли навстречу Хлопуша и хозяин умета.

— Чего стряслось тут, Настюша? — спросил уметчик. — Чего ты звала?

— А вот, — кивнула Настя на Салавата, — коня зануздal, да и ногу в стремя. Я, мол, — стой, — а он — жеребец, мол, его. Мне как знать, что его!

— А ты куда же один, Салават, собрался? — спросил удивленный Хлопуша.

— Так... Ладно!.. — махнул Салават рукою. — Один ведь поеду домой. Видать, у нас разны дороги!

— Да ты что, обиделся, что ли? — спросил Хлопуша.

— Ладно, ладно!.. Чего обижаться! Ты — туды, я — сюды. Ты меня никогда не знал, я тебя не знаю. Чего обижаться!..

— Да ты не таись! На что у тебя обида?

— Чего «не таись»? Чего «не таись»?!! — горячо воскликнул Салават. — Ты сам от меня таишься! Когда мне нельзя русской правды знать, зачем ходить вместе?! Твоя жизнь — своя, моя жизнь — своя!..

— Ты сбесился, что ли? — воскликнул Хлопуша, который уже много месяцев жил с Салаватом без ссоры и споров.

— Ты сам, Афанас Иванович, сбесился! — запальчиво возразил Салават. — Чего мне нельзя знать? Кто в Самару с тобой ходил? — Кто коней держал возле тюрьмы?! Я что, никогда, что ли, царское имя не слышал?! Раньше — можно, теперь — нельзя?! Царь Пётра нельзя знать? Царь Пётра — ваш русский царь? А башкирский другой царь будет? Неправда, Иванович, одна земля — одна царь!..

— «Одна царь!» — засмеялась девушка.

— Ты, дочка, пойди там телят погляди или что по хозяйству, а тут не девичье дело! — сказал ей хозяин.

Настя со вздохом махнула рукой и вышла.

— Ты сам, Афанас Иванович, мне говорил, — горячо продолжал Салават. — Царь Пётра ходит, большую книгу читает. Царь Пётра придет — всем народам царь будет, всем волю даст, жить ладно будем.

— А на что русский царь вам, башкирцам? — вмешался уметчик. — Чего он вам даст?

— Чего, чего даст?! Чего надо народу, того, значит, даст!

— А чего, вам, башкирцам, надо? Как сказать государю? — спросил Пугачев, который не утерпел и вышел на их разговор из горницы.

Салават никогда не думал и сам о том, что даст государь башкирам. Живя общей жизнью со всем бездомным бродяжным людом, он мысленно не отделял своей судьбы ото всех остальных. Он не думал о том, что башкиры живут какой-то другой, совершенно отличною жизнью. Он не думал о том, что нужно башкирам от доброго народного царя. Вопросы застали его врасплох, но вдруг он вдохновился.

— Царь Пётра?! — переспросил он. — Царь Пётра землю нашу заводчикам брать не велит, лес рубить не велит, — откладывая на пальцах, сказал он. — Царь Пётра лошадей отнимать не велит, царь ружья башкирам даст, порох, свинца даст, начальников, заводских командиров велит гонять, башку им рубить, на деревьях их вешать... Скажет царь: «Живи, башкирский народ, как зверь в степи вольно бегай, как птица в небе высоко летай, как рыба в воде плавай!» Весь башкирский народ пойдет за такого царя!..

Салават умолк, но все были захвачены его мыслью, все впервые подумали о том, что же царь даст народу, и смотрели на Салавата, словно ожидая, что он скажет еще...

— Зверем по степи бегай, птицей в небе летай! — при общем молчании задумчиво повторил Пугачев. — Да, с та-

ким-то народом государь Пётра Федорыч всех одолеет. Грех от такого народа нам правду таить, — сказал он.

— Так слышишь, Салават, никто от тебя не таится, ждуть недолго осталось: государь в казаках на Яике нынче. Вот купец его видел своими очами, — указал Хлопуша на Пугачева. — И сказывает купец, что скоро уж, скоро объявится государь.

— А ты, башкирец, ступай в свои коши нынче да разглашай народу про государя, что шлет он башкирцам поклон и все так исполнит, — торжественно произнес Емельян.

Салават непонимающе переводил свой взгляд с одного на другого.

— Чего говорить? Как сказать? Я чего знаю ведь, значит?

Пугачев ласково усмехнулся.

— Как ты нам сказал, так говори. Лучше никто не скажет! Я своими ушами слышал. Как ты сейчас говорил, так и царь обещал: лес ваш не рубить, деревни ваши не жечь, лошадей не трогать, порох, свинец вам давать, и живите вольно...

— Да сказывай там своим, — вставил Хлопуша, — готовили бы сайдаки да стрелы, да пики, да топоры...

— Да коней бы получше кормили — как раз и время приспеет! — заключил Пугачев. — Как, как ты сказал-то? — спросил он. — Живи, башкирский народ, как птица, вольно, как звери в лесу живут. Так дома и сказывай!..

С сознанием важности возложенного на него дела простился Салават с Хлопушей, которого встречный знакомец увлек на иной, новый путь.

Друзья, не сходя с седел, обнялись у перекрестка дорог.

— Твоя дорога прямая, моя дорога прямая, — сказал Салават на прощание, — на прямой дороге сучеточка будет...

— Значит, будет! — ответил Хлопуша.

И каждый поехал своим путем.

Долго ехал Салават молча по холмистой равнодушной степи, пока не показались вдали горы. Тогда он запел:

Благодатный Урал мой,
Пою про тебя мою песнь,
Славлю твое величие, Урал мой!..

Усталый конь пошел тише. Юноша не понуждал его. Закат отбросил последние лучи, и в небе блеснули редкие звезды. Из-за отдаленных гор показалась луна.

Твои гребни, Урал мой,
Близки к небу...
Когда утром солнце встает,
На землю глядя,
Твои головы прекрасно светят
Чистейшим серебром...
Когда утром солнце встает,
На землю глядя,
Твои верхушки, как огнем пожаров,
Облиты золотом...
Вокруг тебя, Урал высокий,
Растут леса,
Как мохнатые бархатные ковры,
Разостланы травы...

Маленькая речушка преграждала Салавату путь, и над нею белой стеной поднимался весенний холодный туман. Салават остановил коня.

— Хватит на этот день, — сказал он. — Стой, аргамак. Еще много дней нам ехать к нашим кочевьям.

Салават стреножил коня и пустил его у реки на открытом месте. Переезжать реку он не хотел: на том берегу ее был лес и, как знать, может быть, звери.

Засыпая, Салават думал о доме, о красавице Юрузени, о маленькой жене Амине, о Юлае и о своем сыне, который должен был теперь стать уже совсем большим...

ГЛАВА ВТОРАЯ

По-прежнему Юлай был юртовым старшиной, Бухаир был по-прежнему писарем. Как и много лет назад, кочевали башкиры Шайтан-Кудейского юрта...

В августе кочевья повернули от Сюма к северу, к Юрузени, приближаясь к зимовью.

Но кочевое движение аулов не избавляло башкир от забот начальства: по дорогам скакали всадники, разыскивали кочевки, вручали бумаги, требовали налогов и выполнения обязательств.

Российская империя вела большую войну с Турцией. Россия рвалась к Черному морю, и ее продвижение на юг, к дедовским рубежам, стоило много денег.

После полудня Бухаир подъехал к кошу Юлая с новым пакетом, полученным из Исецкой провинциальной канцелярии.

— Опять бакет! Снова бумага! Куда пишут столько бумаги! Беда! Сколько денег, чать, стоит столько бумаг посылать, — покряхтывая, ворчал Юлай. — Ну, садись. Ишь, как жарко. Кумыс пей сначала, а там уж бумагу читать...

Бухаир присел в тени коша, отпил глоток кумыса и взялся за пакет.

— Погоди, — остановил старшина. — Ну, куда спешишь? Все равно ведь добра не напишут!.. Намедни я сон видал: прислали такую бумагу, чтобы заводы ломать и земли, которые взяты, назад отдавать башкирам... Такую бумагу ведь не пришлют наяву!

— Наяву не пришлют, старшина-агай! — согласился писарь. — Наяву вот такие бумаги приходят, — зловеще сказал он. — Хоть еще пять тухтаков будешь пить кумыса, все равно тебе легче не станет!

— Опять ведь, значит, плохая бумага, писарь? — сокрушенно спросил старшина.

— Плохая, агай! — согласился писарь.

— Ну что же, куда деваться! Читай.

Бухаир развернул лист с сургучной печатью.

— «Шайтан-Кудейского юрта старшине Юлаю Азналихову сыну. С получением сего тотчас без всякия волокиты с твоего Шайтан-Кудейского юрта прислать в Исецкую провинциальную канцелярию в Челябинскую крепость его высокоблагородию горных заводов асессору и ремонтеру Ивану Дмитриевичу господину Петухову сто пятьдесят лошадей...»

— Опять лошадей! — возмутился Юлай. — Снова сто пятьдесят! Ай-ай-ай, что делать будем? Не даст ведь народ лошадей, Бухаирка... Как пойдешь-то к народу? Как скажешь? Сто двадцать голов ведь недавно совсем послали! Как народу лицо показать с такой нехорошей бумагой?! Ну, что делать! Ты поезжай по кочевкам, скажи народу... Ступай объявляй...

— Довольно уж мне объявлять, старшина-агай! — заявил с раздражением писарь. — Как что плохое стряслось, так опять иди объявлять! Бухаир не ворон, чтобы каркать всегда к беде. Иди сам, старшина-агай. Старшине бумагу прислали. Я не хочу старшиною быть вместо тебя. Мне твоего почета у русских не нужно... Ты не умеешь сам за народ вступиться. Народ разоряют, а ты молчишь!..

Юлай испугался таких резких слов. Он знал, что в коше и возле коша нет никого, что он с Бухаиром сидит вдвоем — сыновья у себя по кошам, ребятишки все где-то в лесу, а женщины доят кобыл, — и все же зачем говорить такие слова!

— Тише, тише! Чего ты шумишь в моем коше! Старшине ведь такие слова не пристало слушать. Ты такие слова у себя на кочевке кричи!.. — взъелся Юлай на писаря, не доверяя ему.

— Не буду требовать лошадей от народа. Сам поезжай! — настойчиво говорил Бухаир.

Юлай смягчился:

— Бухаир, ты ведь писарь. Мне как знать-то, что писано в русской бумаге?! Ведь ты бумагу по-русски читаешь — не я. Я как объявлять по бумаге буду?!

Писарь угрюмо молчал.

— Ну, ну, поезжай! Мало ли мы чего с тобой не хотим! Нас ведь не спросят. Иди объявляй. Чай, строго наказывать будут. В прошлый раз, кто лошадей задержал, с того еще и штрафных лошадей на каждую сотню по десять голов забрали, — напомнил Юлай.

— Теперь еще хуже: кто лошадей не даст, с того на каждые пять лошадей прислать на завод человека, — скавал Бухаир.

— Как так «человека»? — не понял Юлай.

— Писано тут: «...сто пятьдесят лошадей без промедления и волокиты, а буде противиться станут, — и с тех башкирских юртов для горных работ взять мужеска пола тридцать душ на заводы...»

— Не шутка!.. — растерянно и недоумевающе качнул головой старшина. — Ну, поезжай, объяви, — настойчиво повторил он.

Бухаир вышел, вскочил на коня и умчался в степь, где были рассеяны кочевки шайтан-кудейцев.

Старшина остался один в своем коше.

«Ай, прав ты, прав, писарь, прав! — размышлял он. — Да как ведь, как тебе верить, собака?! Я нынче стар ведь. Мне как бунтовать? Нельзя!.. — Он горестно покачал головой. — Ай-бай! Никогда не бывало такого!.. Башкир на завод, в крепостные!.. Стар ты стал, старшина, ай, стар стал! Всего ты боишься, смелое слово сказать не смеешь... А может, народ старый стал? Может, народ боится сказать смелое слово? Мне как самому за народ говорить-то такое слово, когда не хочет народ! — попробовал оправдать себя старшина. — Ай, прежде народ был — огонь! Ведь как вспыхнет — и не потушишь! Эй, народ, народ! Эй, башкиры, башкиры!.. Жягетов нет!.. Жягеты как старики! А в наше-то время и все старики жягетами были, пожалуй!.. Конечно, ведь Бухаир — удалец... А может, он так-то нарочно, может, он хочет, чтобы я взбунтовался, меня из старшин прогонят, и он старшиною станет... Ай, хитрый шайтан ведь какой!.. А мне-то зачем бунтовать? Лошадей, слава богу, довольно, найдем и еще для царицы... Чего не найти? Меня на завод не возьмут!.. И сыновей не возьмут!..»

И, как всегда, когда думал о сыновьях, Юлай припомнил ушедшего из дому и пропавшего любимого младшего сына.

— Эх, Салават, Салават! — вслух вздохнул старшина.

В это время услышал он топот копыт, кто-то подъехал к кошу, спрыгнул с седла, Юлай встал с подушки, шагнул к выходу, но кошма распахнулась, и рослый широкоплечий жягет столкнулся с Юлаем.

— Атам, арума! Салам-алейкум, атам! — воскликнул он радостно.

Это был Салават. Возмужавший и выросший, уже с бородой, это все-таки был Салават.

Юлай от неожиданности отшатнулся.

— Эй, алла!.. — прошептал он.

Салават засмеялся и обнял его.

— Я живой, атам! Я не призрак...

— Живой! Ай, живой! Ай, живой, Салават!.. Жив мой сын, жив жягет удалой! — обнимая его, откидываясь и рассматривая лицо Салавата, радостно воскликнул старшина. — Ай, хитрый какой! Говорили, что помер, а ты и здоров!.. Откуда ты, Салават? — вдруг спросил Юлай, словно опомнившись. — С какой стороны приехал? Кто видел тебя на кочевке?

— Никто не видал, атам. Я узнал твой кош. Да я не таился, атам. Кого мне бояться? Ведь время ушло! — ответил весело сын.

— Злых людей много! Ох, много! Что для них время! — забормотал старшина. — Ты Бухайрку не встретил?

— Никого я не встретил, атам. А что будет?

— Ох, сын! Схватят тебя, закуют в железы, на каторгу бросят... Гляди-ка, народ ко мне скачет. Уйди скорей в кош, схоронись и сиди потише... Я тут их встречу.

Салават скользнул в кош. Все тут было знакомо. Подушки, паласы, старый медный кумган, старшинское одеяние отца, его сабля и посох, два обитых железом больших сундука...

Салават вошел за занавеску, отделяющую женскую половину. Два пустых опрокинутых чилияка, горкой стоят пустые тухтаки, одежда матери на деревянном гвозде...

Шумная ватага возбужденных всадников подъехала к кошу старшины. Глядя в степь, Юлай видел, что вслед за этими первыми гостями к его кочевью мчатся еще и еще люди с разных кочевков.

— Объявил Бухайрка, собака! Вот тебе на! Объявил бумагу! — проворчал про себя старшина.

— К тебе, старшина-агай! — крикнул еще с седла дюжий медвежатник Мустай.

— Суди сам, Юлай-ага, нельзя больше так!

— Не можем давать лошадей! — закричали приехавшие с кочевок башкиры.

— Давал, давал — и еще давай! Хватит! — крикнул Мустай, уже соскочив с седла. Он ухватил старшину за полы халата и дюжими руками в забывчивости встряхнул.

— Мустай! Ты сбесился, шайтан! — закричал старшина.

— Не я сбесился — царица сбесилась! Опять прискакал Бухаир с бумагой — давать лошадей, а кто лошадей не даст, тот иди на завод в неволю!..

— Мустай! Так нельзя говорить у меня на кочевке! Ведь я — старшина. Так нельзя про царицу, — взмолился Юлай. — Я сам бумагу видал. Раз канцеляр написал, что царицын такой указ, значит, надо...

— Конечно, так надо! — насмешливо «поддержал» Юлая старик Бурнаш. — Ведь как без коней воевать?! Царица с султаном воюет, ей лошади нужны!..

— А нам зачем воевать?! Нам зачем воевать?! — опять подступив к Юлаю, взволнованно выкрикивал Мустай. — Зачем нам против султана?!

— На что нам война? — зашумели вокруг. — Старшина богат, и пускай он своих лошадей дает! А мы уже много и так платили!

— Овчинные деньги платили? Платили! И пчелиные деньги платили, и рыбные деньги платили.

— Охотничьи, базарные!.. — подсказывали в толпе, горяча друг друга.

— Коней давали. Сам знаешь: сто лошадей для солдат, еще пятьдесят — для завода, еще сто двадцать всего только месяц назад опять для солдат, — отсчитывал толстый Кинзя, сын муллы.

— И вправду, сбесилась царица! — выкрикнул молодой Абдрахман.

— Замолчать! — повелительно крикнул на всех старшина.

Все замолчали, сойдя с коней, сгрудились толпой возле Юлаева коша.

— Бумагу ведь умные люди пишут, — поучающе, внятно сказал старшина. — Какую войну, с кем воевать — нас с вами не спросят. Я сам на войне был, войну понимаю... Надо отдать царице коней-то... Отдадим — и живи на воле, — стараясь утихомирить толпу, спокойно сказал старшина.

— На воле?! — снова ввязался Мустай. — А неделя пройдет — и опять бумагу пришлют?.. Не дадим лошадей!

— Ну, пригонят солдат, людей заберут на заводы. Ты что, хочешь идти на завод?..

Среди сотни заседланных коней конь Салавата оказался неприметен, никто не мог заподозрить, что в коше у старшины находится такой необычный гость. Но Салават не стерпел. Покорность постаревшего отца, который утратил старшинскую твердость, и давнюю бунтарскую смелость, и уважение народа, привела Салавата в бешенство. Он загорелся и, не смущаясь более приказом отца, распахнул полог коша.

— Жягетляр, якши-ма! ¹ — выкрикнул он.

Все увидели его, но не сразу узнали. Кто-то откликнулся вежливым холодным словом приветствия.

— Салава-а-ат? — первым заголосил Кинзя, кинувшись к другу.

И вдруг за ним вся толпа разразилась веселыми криками. К Салавату бросилось сразу с десятков людей. Все словно забыли про злосчастную бумагу, про то, что с них требуют лошадей. Салавата обнимали, хлопали по плечам, удивлялись его возмужалости, спрашивали наперебой, откуда он появился, теребили за рукава и полы одежды...

Когда первый шум чуть-чуть приутих, Салават, чтобы видеть всех, встал повыше — на камень, лежавший возле коша Юлая.

— Не крепостными нам стать, башкиры! Не дадим лошадей и сами не поддадимся! В горы, в леса уйдем — ни коней, ни людей не дадим. Скоро выйдет новый закон, и никто не посмеет больше требовать с нас лошадей!

Бухаир в общем шуме, когда глаза всех съехавшихся к Юлаеву кошу были обращены на Салавата, не замеченный никем из толпы шайтан-кудейцев, подъехал из степи. Он услышал лишь последние слова Салавата, но не узнал Юлаева сына. Ему и в голову не пришло бы, что Салават может вернуться.

— Откуда новый закон? — спросил писарь. — Где ты слышал про новый закон?

Бухаир, как бык, исподлобья взглянул.

— Кто сказал? — повторил он вопрос. — Откуда закон?

— Я птичий язык понимаю, мне птицы сказали! — весело отшутился Салават.

— Что же тебе птицы сказали? — спросил Бухаир настоятельно и как-то назойливо-резко, не в лад с другими.

¹ Джигиты, здоров!

Старшина угодливо и торопливо засмеялся, за ним еще несколько человек, но Салават, видя робкое унижение отца перед писарем, вдруг вспыхнул. Он позабыл всякую осторожность.

— Птицы все знают! — громко воскликнул он. — Они говорят, что жив русский царь, что он ходит в народе и скоро поднимет всех — и башкир, и татар, и русских...

— Сорока! — прервал Юлай сына. — Что сказки болтаешь!.. Какой там закон! Что за птицы? Какой там царь?! Замолчи!

— Сам замолчи, старик! — крикнул один из молодых башкир.

— Говори, Салават! — подхватил другой. — Старшина да писарь всем рот загыкают!

— Говори! Не слушай их, сказывай! — раздался голоса.

— Где кричите? У старшины во дворе кричите! — гаркнул Юлай, поняв, что теряет влияние.

Салават среди общего гвалта вскочил на арбу, вытащил из-за пазухи курай и заиграл. Чего не смог сделать окрик Юлая, то сделала музыка — все разом стихло. И Салават, тут же слагая, запел новую песню:

Я спросил у соловья:
— О чем песенка твоя?
Мне ответил соловей:
— Зияйли, эй-гей лелей —
Звери рыщут по лесам,
Птицы прыщут к небесам,
Рыба плавает в воде,
Облачко летит к звезде.
Только ты из всех один
Сам себе не господин,
Не по воле ты живешь —
Все царице отдаешь...

— Кишкерма! — громко взревел Юлай. — Песни поешь? Пой по чужим кочевкам... Я — старшина!..

— Айда, Салават, на нашу кочевку, — громко позвал Хамит.

— Айда ко мне! — подхватил Кинзя.

— Ко мне! — выкрикнул лучник.

— Ко мне! Ко мне! — стали звать многие, вскакивая в седла.

— Пой, Салават!

— Идем, Салават!.. — кричали кругом.

Салават, окруженный народом, вскочил на коня и поехал от коша отца. Он пел задорно, дразня оставшегося у коша Юлая.

Старшина, трусливый крот,
Не зажмет народу рот:
Не хотим мы жить кротами —
Крылья вырастил народ, —

пел Салават, и толпа шла со смехом за ним. Шли все, кроме двоих — старшины и писаря Бухайра, который, вскочив на коня, ускакал в обратную сторону, к своему кошу.

— Сала-ва-а-ат! — вдруг раздался пронзительный вскрик.

Среди нескольких женщин, уронив на землю чиялак с водой, стояла Амина... Растерянная, она не знала, что делать, как верить глазам...

Она шла с речки, неся воду домой, и вдруг по степи, просто так, как будто не уходил никуда, как будто тут жил и вчера и сегодня, с толпою знакомцев едет ее муж... ее Салават... Салават, о котором твердили со всех сторон, что он, наверно, погиб, никогда не вернется...

Испуганная собственным вскриком, растерявшись от неожиданности, смущенная видом множества мужчин, Амина закрыла краем платка лицо, подхватила чиялак и пустилась бежать в женский кош на кочевку Юлая.

— Аминка! Амина! Аминка! — звал Салават, повернув за ней.

Толпа проводила его сочувственным смехом.

— Завтра нам допоешь!

— Завтра расскажешь про новый закон! — кричали ему вдогонку.

— Завтра допою! — выкрикнул Салават. — Никаких коней! Все идем в горы. Пусть там найдут нас и заберут коней.

Салават настиг у самого коша Амину.

Разозленный Юлай ушел к себе в кош, а вся гурьба всадников, смеясь, ускакала, и в коше матери они были вдвоем... Амина уткнулась лицом Салавату в грудь и плакала, не умея сдержать своей радости.

Салават, смеясь, прижимал ее к сердцу. Она стала как бы еще меньше ростом. За годы разлуки он вырос и возмужал, а она осталась такой же девочкой, как была...

— Карлыгаш'м, акщарлак'м, каракош'м! ¹ — твердил ей ласковые слова Салават.

Во время долгой одинокой дороги он представлял себе ее более взрослой, с ребенком на руках. Он всю дорогу думал о них двоих — о ней и о сыне. Срезав бересты с молоденького ствола, на одном из привалов он сделал да-

¹ Ласточка моя, белогрудка, чернобровка моя!

же игрушечную берестяную корзиночку и теперь гордо извлек ее из-за пазухи.

Когда Салават должен был бежать из дома, сына, конечно, еще не было. Но они заранее сговорились уже о том, чтобы назвать его Рамазаном, и потому Салават, протянув берестянку Амине, сказал:

— Вот Рамазану...

Он видел, как кровь сбежала с ее лица, как от горя и страха стали вдруг шире зрачки, как голова ушла в плечи, когда, исподлобья взглянув на него, она прошептала одними губами:

— Нет Рамазана...

— Он умер?! — воскликнул горестно Салават.

— Он... он... не хотел, он совсем не родился... не было... — пролепетала в слезах Амина. — Мать говорит... твоя мать говорит... что я не виновна... — оправдывалась она. — Мать говорит — ты придешь, и родится сын... Я могу родить... Я... еще не успела. Не прогоняй меня, Салават... — бормотала в отчаянии Амина.

Она знала, что по законам пророка муж может ее отослать от себя обратно к отцу за бесплодие. Но за годы разлуки она сжилась с Салаватом, с вечными мыслями только о нем и о его возвращении. Он стал ее мечтой. Она ждала его, и как было бы полно ее счастье, если бы в час его возвращения она могла в самом деле вынести навстречу ему сына!.. Но его не было, и в своем трехлетнем вдовстве семнадцатилетняя женщина успела уже ощутить тоску бесплодия и желание материнства. Она привыкла смотреть на бесплодие как на позор. Слова Салавата о сыне повергли ее в этот позор.

Она плакала...

Грудь Салавата еще никогда до сих пор не бывала влажной от чьих-либо слез. От того, что к нему доверчиво прижималась эта девочка, называемая его женой, он вдруг ощутил в себе прилив мужества, сил и особого мужского превосходства.

— Не плачь, ласточка. Разве ласточки плачут?! Я никуда не пущу тебя, никому не отдам... Ты моя... — сказал он покровительственно и нежно.

И вся ее радость, все то тепло, с которым затрепетала она на его груди, в один миг дали ему понять, чем был он для нее за годы разлуки.

— Цветок мой! — шепнул он ей.

Но радость встречи с Аминой была в тот же миг нарушена разъяренным Юлаем.

— Нашелся?! — воскликнул он. — Позорить меня пришел?! У меня на кочевке?! У старшины? Ты щенок, истаскавшийся по дорогам!.. Пришел — так молчал бы, жил бы уж тихо, губишь себя и меня! Молчи! — крикнул он, заметив, что Салават пытается что-то сказать.

— Может, опять уйти? — вызывающе спросил Салават, сделав движение к выходу.

— Салават'м! — выкрикнула Амина, вцепившись в его рукав, словно он в самом деле, едва появившись, готов был исчезнуть.

И Юлай, зараженный ее опасением, вдруг тоже сдался:

— Куда ты пойдешь?! Только выйди с кочевки — я тебя прикажу схватить и отдам русским...

— Меня?! — задорно спросил Салават, словно поверил тому, что запальчивость старика может его довести до подобного шага.

— Тебя, щенка! Своими руками отдам заводским командирам.

— Отдай! — весело сказал Салават, схватившись за рукоять кинжала. — Вот что для них!

— Салават! Салават!.. — испуганной горлицей стонала Амина.

И вдруг распахнулся полог — в кош ворвалась мать Салавата. Она была у жены муллы, болтала о всяческой чепухе уже не один час и могла бы сидеть там за чаем и сплетнями еще, может быть, столько же времени, если бы прискакавший домой Кинзя не принес радостной вести.

Не слушая мужа, она обняла дорогого, вновь рожденного сына, она ласкала его, гладила, причитала и приносила к нему... Амина — с одной стороны, мать — с другой, они не вызывали друг в друге ревности и неприязни. Делить его между собой было естественно для обеих, и у обеих в глазах было счастье...

Старик не выдержал.

— Ну, ну, повисли на малом! — сказал он строго. — Воды надо дать умыться ему да печку топить, варить... Иди-ка сюда, Салават, — позвал он по-деловому, как мужчина мужчину...

Оставив женщин заниматься хозяйством, Салават вышел к отцу.

— Садись, — указал Юлай на подушку. — Надо совет держать.. — сказал он спокойно и положительно.

В кош вбежал брат Сулейман.

— Арума! — приветственно закричал Сулейман, тряся обе руки Салавата. — Вернулся!.. Ару, ару!..

Он держался восторженно, по-мальчишески, и Салават почувствовал себя старше его на несколько лет.

— Где был, говори скорей!.. Говорят, ты про новый закон слыхал?.. Когда новый закон? Скоро война? — сыпал вопросами Сулейман.

— Сайскан, кишкерма! — прикрикнул Юлай. — Сбегай за старшим братом, — велел он Сулейману.

Но Ракай вошел сам.

— Салам-алейкум! — приветствовал он от порога строго и чинно.

В отличие от Сулеймана он был степенен, полон достоинства, толст и надут. И симпатии Салавата остались полностью на стороне среднего брата.

«Лучше сорока, чем сын!» — подумал про себя Салават.

Юлай заговорил с сыновьями. Они уже знали о том, как вел себя Салават перед толпою.

— Бухаир ускакал к себе, — сокрушенно вздохнув, сообщил Юлай главную причину своих опасений. — Писарь все-таки он. Как знать, что начальству может сказать! Скажет, что ко мне сын воротился, что сын бунтовщицкие слова говорит, мятежные песни поет у меня на дворе... Что делать?

— Придется коней давать, деньги давать... — заметил Ракай.

— Много не надо, — сказал Сулейман. — Когда Нурали-старшина прислал тебе арабского стригуна, писарь глаз от него не мог отвести. Отдай аргамака и глотку ему заткнешь. Подавится — будет молчать.

— Жалко конька, — причмокнув, сказал Юлай. — Молодой еще и не кован...

— Я сам отведу его Бухаиру, — предложил Салават. — Писарь любит покорность. Приду к нему, приведу коня. У меня есть еще и четыре новых подковы.

Юлай удивленно взглянул на сына. Он не привык видеть в Салавате угодливость и покорность.

«Жизнь научила!» — подумал он. И странно — не ощутил никакой радости от того, что Салават оказался не так своеволен, не так горяч, как он ожидал. Ранняя мудрость и успокоение сына его не порадовали. Он промолчал.

— Отведи, — подтвердил за отца Ракай. — Сам отведешь — лучше будет.

— Я бы ни за что не повел! — воскликнул Сулейман. — Что он посмеет сделать? Салавата все любят... Салават песни поет... Пусть Бухаир попробует натянуть лук Ш'гали-Ш'кмана!..

Салават, внутренне польщенный словами брата, скрыл честолюбивую усмешку.

— Мало жил, мало видел ты, Сулейман, — произнес напыщенно Салават. — «Что знает живший долго? Знает лишь видевший многое!..»

Сулейман недоверчиво поглядел на него.

— Поседеешь на сорок лет раньше, если тебя послушать, — сказал он.

Порешили, что утром Салават доставит подарок писарю.

Оставшись вдвоем с Салаватом, Амина болтала без умолку.

Она рассказывала ему о себе, о том, как отец, мать и брат ее убеждали, что Салават погиб, и уговаривали выйти замуж за другого, как один только толстый Кинзя оставался ему верен и каждый раз находил приметы того, что Салават возвратится домой. Он даже учил Амину гадать по стружкам, брошенным в реку, по камням и, наконец, научил наговору на дым от коры со скрипучей березы. После этого заклинания Салават должен был возвратиться во что бы то ни стало. Кинзя верил в это так же, как и Амина, свято и непреложно... И вот Салават возвратился...

От Амины Салават узнал о том, почему все так его слушали и заступились за него перед старшиной: он узнал, что разогнанные им рабочие больше уже не возвратились на место разрушенной стройки и не стали делать плотины.

Произошло ли это потому, что разведанные поблизости богатства недр обманули ожидания заводчиков, потому ли, что недра других участков оказались богаче, но то, что плотины не стали строить, заставило деревню считать Салавата своим избавителем, и, несмотря на его молодой возраст, он прослыл в своем юрте героем, он почти превратился в легенду, и его возвращение стало событием.

Салават был достаточно умен, чтобы это понять из беспорядочной болтовни Амины.

— Ты больше уже не уйдешь, не уйдешь, Салават? — дознавалась она. — Тебе больше не надо прятаться от солдат?..

— Как знать! Столько времени миновало. Собака лаять устанет, а волк ведь ходить не перестанет! Отец обещал всем начальникам подарить по кобыле и по две.

— А Бухаирке?

— Я к писарю сам поутру отведу арабского аргамака.

— Тогда останешься дома? — спросила она.

— Останусь, кзым. Буду жить дома. У нас будет пять косяков лошадей, большая отара овец, ты мне родишь

сына, потом другого, потом третьего, четвертого...

Салават, перечисляя, откладывал на пальцах, и Амина, улыбаясь, в темноте кивала каждому из его утверждений.

— Потом пятого, шестого, седьмого, — продолжал перечислять Салават.

— А дочку? — обиженно прервала Амина.

— Не дочку, а трех, — поправил Салават. — Ты родишь семь сыновей и трех дочерей, а я все буду жить дома... Я заведу себе восемь соколов и каждому сыну дам по одному. Восемь арабских аргамаков... Восемь коней будут стоять возле нашего коша, двадцать одна невестка будет покорна тебе... У меня будет большая белая борода и вот тако-ое пузо... У нас будет двести внуков и будут бегать вокруг наших кошей.

Они хохотали, бегали, как дети, пользуясь тем, что в кунацкой, где их устроила мать Салавата, никто их не слышал.

— Салават, ты жил с русскими... Ты не женился на русской? Русская не любила тебя? — спрашивала, ласкаясь к нему Амина.

И Салават был счастлив, что может ей доказать свою нерастрченную любовь, нежность, верность и получить в обмен такие же доказательства...

Поутру на голубом аргамаке Салават подъехал к кочевке Бухайра. Оставив коня, он вошел к писарю.

Бухайр указал на подушку, прося сесть, но Салават остался стоять у порога.

— Отец послал меня отвести коня в подарок тебе, — сказал Салават. — Тебя все боятся здесь, писарь, а я не боюсь.

— Все знают, что ты никого не боишься, — сказал Бухайр то ли с насмешкой, то ли серьезно.

— У меня есть еще новые подковы на все четыре ноги этому жеребцу, — перебил Салават. — Но жеребец полюбился мне самому, а подковы вот...

Салават достал из-за пазухи пару подков.

— Вот, — сказал он, — вот я ломаю из них две, как черствую ржаную лепешку. — Салават разломил подковы и бросил обломки к ногам Бухайра. — Теперь пиши донос русским, что я возвратился и возмущаю народ. Вот вторая пара. Возьми, чтобы подковать свои ноги: если захочешь предать меня русским, тебе придется бежать далеко.

Писарь поднял подковы и весь напрягся, не желая уступить первенство Салавату, разломил одну, за ней и вторую, небрежно швырнул на землю, словно не придавая значения этому.

— Ты глупость сказал, Салават! Садись... — настойчиво указал Бухаир. — Ты вчера говорил про новый закон. Расскажи мне, — неожиданно попросил он.

Салават с недоверием взглянул на писаря.

— Бухаира никто не знает, — сказал писарь. — Русские верят мне, потому что меня не знают. Башкиры не верят и тоже лишь потому, что не знают... А ты? Ты много ходил, много видел. Ты тоже не можешь узнать человека, взглянув ему прямо в глаза?

— Ты можешь? — спросил Салават.

— Я увидел, что ты не сам меня заподозрил, — сказал писарь. — Старик испугался меня и послал тебя... Старшина стал трусом, боится вчерашнего дня и своей собственной тени... Не правда? — спросил Бухаир.

Салават опустил глаза, удивленный пронизательностью писаря.

— Садись, — сказал Бухаир в третий раз, хлопнув рукой по подушке.

И Салават сел с ним рядом...

Бухаир расспрашивал о русских, об их недовольствах и о готовности к бунту. Салават говорил охотно и горячо. Он привык, как и другие, к высокомерному пренебрежению писаря, всегда занятого своей, более важной мыслью, и, сам не сознавая того, подкупленный проявленным им вниманием, подпал под его власть. Он отвечал писарю просто и ясно, хотя и не говорил ему про царя.

— Ты ходил три года и не набрался ума, — заключил Бухаир, когда Салават выболтал ему все свои мысли. — Ты прав в одном — час настал: пора восстать. Пора напасть на неверных... Лучшего времени мы никогда не дождемся: у царицы война с султаном, там все ее главное войско. Мы восстанем и выгоним всех неверных с нашей земли, мы разорим заводы, сожжем деревни...

— Ты забыл, Бухаир, — возразил Салават, — Алдар и Кусюм, старшина Сеит, Святой Султан, Кара-Сакал, Батырша — все поднимали башкир. Почти все восставали, когда была война с турецким султаном, и солдаты нас побеждали... Ты сам слышал от стариков. Сам знаешь... А если русские встанут вместе с нами против заводчиков и бояр...

— И будут жар загребать твоими руками! — перебил Бухаир. — Ты ничего не знаешь, малай. Смотри, что я покажу.

Бухаир поднял кошму, отковырнул ножом куст дерна из-под того места, где сидел, и вынул кожаный мешочек, лежавший в земле.

Салават был поколеблен: в словах писаря была своя правота, был свой здравый смысл. С любопытством и нетерпением ждал Салават доказательств правоты Бухайра. С таинственным видом писарь развязал мешочек и торжественно встряхнул содержимое.

В руках Бухайра блеснуло богатым убранством великолепное зеленое знамя, расшитое золотом и серебром. На одной стороне его была вышита эмблема ислама — полумесяц и звезда, на другой — изречение из корана.

— Султан прислал его нам в залог дружбы, — шепотом пояснил Бухайр. — Ко мне приходил его посланный. Когда мы начнем войну против русских, султан пришлет нам войска и денег.

— Кто же поведет башкир? — спросил Салават.

— Нам надо выбрать хана среди себя, — зашептал Бухайр. — Так указал султан. Под этим знаменем поедет башкирский хан, и ты, Салават, будешь первым батыром хана и правой рукой его.

Салават пристально поглядел Бухайру в глаза и вдруг понял честолюбивые намерения этого человека, и в тот же миг писарь над ним потерял всякую власть.

— Я? — спросил Салават. — Я первым батыром? Правой рукой?!

— Ты. Кто видел больше тебя?! — польстил Бухайр, не моргнув.

— Султан обманет тебя. Он обещал свою помощь Святому Султану, обещал Кара-Сакалу и Батырше, но еще ни разу по нашей земле не ступала нога турка, кроме проповедников да соглядатаев, — сказал Салават.

— Султан поклялся на этом знамени, — горячо возразил Бухайр. — Мне сказал посланец султана, что видал, как султан поцеловал его край...

— Султан далеко. Его клятва с ним за далеким морем. Я был у берега моря. Оно сливается с небом, и края его нельзя видеть. Если клятва султана как птица, то по пути, утомив свои крылья, она упадет в море и там утонет...

— Султану не веришь?! — воскликнул писарь. — Не веришь султану, а веришь гяурам?

— Ты легковверен, писарь, — с усмешкой сказал Салават. — Ты веришь тому, что тешит твое властолюбие. А я верю в то, что нужно башкирам.

— Ты мальчишка, а я говорил с тобою как с равным, — раздраженно сказал Бухайр. — Нам не о чем говорить.

Салават встал.

— У тебя много хлопот. Надо собрать все бумаги, прежде чем выехать на новое кочевье, — почтительно сказал он. — Не стану тебе мешать. Хош.

— Хош, — угрюмо отозвался писарь.

— Я скажу отцу, что ты не хочешь взять аргмака. Пусть лучше подарит его мне, — обернувшись в дверях, насмешливо добавил Салават. И он уже не видал взгляда Бухайра, посланного вдогонку, потому что, не оглядываясь, вскочил в седло и помчался к кочевке отца.

Весенний солнечный день пьянил. Бескрайняя широта неба манила, и Салават был счастлив, что он снова на родине.

Уйти в горы после получения бумаги о лошадях, не выполнив губернаторского указа, скрыться — это начальство могло рассматривать как бунт, но, видно, терпение народа истощилось. К кошу, который Салават поставил себе в стороне от кочевки отца, целый день ездили люди. Салавата расспрашивали о слухах про новый закон. Не говоря еще ничего про воскресшего царя, Салават говорил, что новый закон скоро выйдет и нужно лишь выиграть время. Ведь если отдать лошадей, то никто их назад не вернет. Надо пока уйти в горы, чтобы посланные начальства не нашли их кочевий, а когда выйдет новый закон, то уж будет не страшно вернуться.

К вечеру на кочевье шайтан-гудейцев прискакали двое башкир из Авзяна. Они рассказали о том, что два аула башкир начальники целиком приписали к заводу, мужчин забрали солдаты и погнали на рудник...

Эта весть прибавила всем решимости. Сам старшина Юлай согласился, что надо идти в горы до времени, пока выйдет новый закон.

На рассвете шайтан-кудейцы тронулись в путь.

Арбы, груженные скарбом, женщины с ребятишками на арбах, дико скрипящих колесами, мальчишки и взрослые мужчины верхами, с луками и колчанами, с пиками и сукмарами, растянулись длинным шумным караваном.

Охотник Юлдаш вел на сворке своих знаменитых собак-полуволков. Пастухи гнали голосистые гурты овец, табуны коней...

В голове шествия ехал покоренный народом осторожный Юлай. По его лицу читал Салават, что сам старик был доволен необходимостью подчиниться бунтовщику-сыну и своему непокорному народу. Он ехал торжественный, разодетый, с елизаветинской медалью на груди и поглаживал свою поседевшую бороду. С ним рядом ехали, скособочившись в седлах, аксакалы деревни, за ними кучка ве-

селою вооруженной молодежи горячила коней. У многих из юношей на руках были охотничьи соколы, кречеты, беркуты.

Салават скакал на коне, счастливый сознанием того, что это он всколыхнул непокорность народа и вывел людей в горы. Радость переполняла его. Он с наслаждением вдыхал прозрачный воздух рассвета, глядя в свинцовую темноту лежащих впереди гор.

И вдруг из-за вершины брызнуло солнце, заливая весь пестрый поход щедрым потоком золота.

— Пой, пой, Салават! — закричал восторженный юноша Абдрахман, подскакав к Салавату.

Салават взглянул на подростка и понял, что песня нужна в это мгновение Абдрахману, как и другим, как самому Салавату.

И Салават запел:

Будем жить среди полей...
Зиляйли, эй-гей лелей...
Сбережем свою свободу,
Не дадим людей заводу,
Ни людей, ни лошадей...

В первую же ночь перехода к Салавату в кош ходили бесчисленные гости, так что не хватало для угощения кумыса, и под конец он стал совсем пресным.

Внезапно явившийся после трех лет отлучки Салават для всех был героем.

Юноши приходили, чтобы хоть поглядеть на него, и те из них гордились, кого он называл по имени и с кем радостно здоровался, как с старыми кунаками.

Старики расспрашивали его о слухах, ходящих по свету, о людях, которых встречал.

Целый вечер ходил народ, и только когда наступила ночь, все разошлись.

— Вернулся домой Салават или нет — не знаю: все равно не вижу его, — ласково пожаловалась Амина, когда они остались вдвоем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Они теперь кочевали в горах, где их было не так легко разыскать начальству.

Все тут напоминало Салавату ставшее далеким детство: те же коши, похожие на стога сена, кисловатый запах прелой кошмы после дождя, те же полудикие табуны, знакомые горы, леса, перелески, полянки... Иногда — соколиная охота, скачки, долгие вечера у огня перед кошами.

Салават играл на курае, пел, и к его кошу песня сзывала людей. Говорили, что нет курайче искуснее Салавата, говорили, что нет песен слаще его песен. Старики слушали их, опустив головы, и, теребя бороды, думали о прошлом. Молодые, нахмутив брови, обдумывали настоящее, юноши, устремив взоры к звездам, мечтали о будущем, а девушки через щель в пологе и через дырочки в кошмах любовались певцом...

Амина ревниво сказала Салавату, что больше всего глядит на него Гульбазир, дочь Рустамбая, и упрекнула в том, что он тоже поглядывал на нее. Маленькая женщина не подумала, что ревнивый упрек послужит причиной первого внимательного взгляда мужчины на ту, к которой она его ревновала.

Салават не взглянул ни на одну девушку до поры, пока его не спросила Амина, горячо ли ожгли его бесстыжие глаза Гульбазир, но с этого часа он захотел убедиться в бесстыдстве ее глаз... Он даже придумал предлог пойти в гости к ее отцу Рустамбаю, он попросил у него старую татарскую книгу, в которой было рассказано о всех походах и битвах Аксак-Темира.

— Готовиться к битве с неверными никогда не рано, — сказал Рустамбай, — для мужа высшей утехой служит чтение о битвах.

Он еще много говорил о войнах и книгах, и Салават делал вид, что слушает болтовню старика, а сам наблюдал за пологом, отделяющим женскую половину, и ему показалось не раз, что полог заколыхался и даже блеснул зрачок в маленькой дырочке в занавеске...

По башкирским кочевьям летели беспокойные слухи. Крепостное право, недавно шагнувшее за уральский хребет, становилось все тверже ногой на уступы уральских утесов и протягивало длинную руку к свободным до того народам. Уже несколько десятилетий прошло с тех пор, как первые башкиры были обращены в крепостных. Это случилось после восстаний, как бы в кару за возмущение — семьи казненных и сосланных в каторгу бунтовщиков были розданы в рабство их усмирителям.

Теперь без всякого бунта несколько крупных башкирских селений, расположенных поблизости от заводов и рудников, были приписаны к заводам.

Шел слух, что царица готовит новый указ об отдаче всего народа в рабы заводчикам и дворянам.

Всюду кипела молва о том, что яицкие казаки начали восстание, что на заводах русские крепостные убивают приказчиков и командиров...

Сходясь вечерами у камелька, народ говорил обо всех слухах, а Салават слагал боевые песни.

Когда он оставался наедине с Аминой, она в тревоге спрашивала его, скоро ли будет война и поведет ли он всех башкир.

— Гульбазир говорит, что ты натянул лук Ш'гали-Ш'кмана и ты пойдешь впереди всех против неверных...

— Гульбазир говорит, что ты самый смелый.

— Гульбазир говорит, что если б она была твоею женой...

Амина слишком много и часто говорила о Гульбазире, и Салават стал чаще бродить возле кочевья Рустамбая.

При перемене места кочевки он поставил свой кош так, чтобы кош Рустамбая был на пути от Юлая к его кошу. Он уходил или уезжал еще засветло к отцу и просиживал у него до темноты, чтобы, в глубоких сумерках возвращаясь домой, пройти возле коша Рустамбая, в надежде встретить Гульбазир. Ему уже стало казаться, что без нее невозможна жизнь, и каждая женская фигура издали стала ему казаться похожей на Гульбазир. Он спешил, догонял и только вблизи убеждался в обмане воображения.

Но однажды его поразила странная вещь: он услышал в коше Рустамбая приглушенный голос писаря Бухайра в споре с чужим человеком, говорящим как-то не по-башкирски.

Салават подошел ко входу и с приветствием тронул полог.

— Алек-салам! Кто там?—как-то испуганно пробормотал Рустамбай, выходя навстречу.

Салавату показалось даже, что старик хочет силой его удержать за порогом, не впуская к себе в кош, но он сделал вид, что не видит испуга старого книжника-грамотея. Однако, войдя в кош Рустама, Салават никого не увидел.

— А где же твои гости?—спросил он.

— Какие гости? Нет никаких гостей! Что ты! Мало ли что наболтают народ — ты не слушай! — залепетал старик и через миг позвал: — Душно тут. Идем посидим возле коша...

Салават удивился, но не высказал никаких подозрений. Он знал, что лучший друг Рустамбая мулла Сакья, и решил дознаться о незнакомце через Кинзю.

— Кинзя, кто живет у Рустама? — врасплох спросил он толстяка.

Кинзя растерялся.

— Почему я знаю! Я не хожу к Рустамбаю. Откуда мне знать!—сказал он, покраснев и надувшись.

Кинзе было трудно скрывать от друга то, что он знал, но он не смел выдать тайны. Салават это понял и пристыдил толстяка. Тот в ответ простодушно сказал:

— А ты мне открыл свою тайну?!

— Я все тебе рассказал по правде.

— Все как есть?

— Все как есть.

— А зачем же ты мне не сказал, что ты у русских крестился? Все знают об этом...

— Кто сказал тебе?!—вспыхнул Салават.

— Все говорят... Бухаир говорит.

— Я писарем быть не хочу — что мне креститься!— огрызнулся Салават. — Ты веришь ему?

— Все говорят, что ты забываешь исполнять молитву, да и во всем как русский...

— Чего болтаешь?! Не стыдно! Если так, не ходи в мой кош!—накинулся Салават. — Иди к Бухаирке...

— Зачем пойду? Никогда к нему не хожу, — возразил Кинзя. — А про турку что знаю?! Живет турок, письмо повезет султану... Чего еще?! Ничего я не знаю, что ты пристал!..

Сколько ни пытался Салават, вытянуть из Кинзи подробности о приезде турке было невысказано. Он ссылался на то, что мулла таится и от него.

Когда после этого Амина упомянула имя Гульбазир, Салават отмахнулся.

— Твою Гульбазир Рустамбай отдает за турка, — сказал он.

— Она не идет за него!—откликнулась с живостью Амина. — Ехать через море боится, и страшный он — нос как крючок, глаза черные, зубы блестят, как у волка, а ноги кривые... Он едет один назад. Вот только еще мулла Рахмангул приедет из Верхних Кигов, прочтает письмо к султану, подпишет — и турок поедет назад.

Салават в душе хохотал над самим собой: он ходил подслушивать и следить, допытывался у Кинзи, а его Амина знала больше, чем все...

— А за меня пойдет Гульбазир?—смеясь, спросил Салават у Амины.

— Рустамбай не пустит. Он говорит — ты крестился... Она бы пошла, — был ответ. — А ты хочешь взять ее в жены?—ревниво спросила Амина, снизу заглядывая в глаза мужа. — Тебе не довольно меня одной?

— Я пошутил, — откликнулся Салават.

«Писарь говорит — ты крестился!..»

И только теперь Салават подумал о том, что в последние дни все меньше народу съезжалось к нему для беседы, уже не так охотно расспрашивали его о странствиях и о бывальщине соседних земель. Салават понял, что, опасаясь его влияния в народе, Бухаир пустил слух о том, что он крестился и стал русским; и писарь победил — от мнимого отступника мусульманской веры многие отшатнулись, хотя и не явно, но все же так, что можно было заметить. Теперь он все понял... Он решил не сдаваться писарю и готовить народ к битвам, которые вот-вот должны были грянуть...

Лук Ш'гали-Ш'кмана по праву принадлежал Салавату, но от дюжины стрел осталось всего семь штук. Захватив одну из них, Салават пошел к лучнику Бурнашу, чтобы просить его сделать новые стрелы по образцу.

Лучник сидел не один — Бухаир был у него в гостях. С приходом он тотчас вскочил с паласа.

— Мне время идти, — сказал он и торопливо вышел.

— Ты был с ним в ссоре, — сказал Салават Бурнашу.

— Война одних ссорит, других мирит, — ответил старик.

Салават заметил у него множество готовых луков.

— Для кого делал? — спросил Салават.

— После дождя на глине видели пять волчьих следов. Пятиногий волк приходит всегда к войне, а на войне нужны луки и стрелы.

— Сделай мне полный колчан таких, — сказал Салават, протянув стрелу Ш'гали-Ш'кмана.

Выйдя от лучника, он не поехал домой, а пустился на гору в лес.

Одиночество, прежде бывшее для него незаметным, потому что он не знал о его причинах, сейчас показалось тяжелым.

Салават ехал один, обуреваемый чувствами, не находившими выражения в песне, и потому вместо стройных мыслей, всегда рождаемых песней, в его голове теснились и кружились лишь их обрывки...

Лук и стрелы были при нем. Стрелы Салавата были всегда верны. Охотничья страсть не угасала в нем никогда, но сейчас он не следил за дичью. Птица летела над головой, выводки вспархивали из-под самых копыт коня и разлетались с тревожным писком и шумным шорохом крыльев. Не раз мимо торопливым порывком пробежал мелкий зверек... Салават не замечал ничего.

Уже вечерело. В лесу наступали сумерки, хотя верхушки высоких сосен еще золотились от солнца. Салават пробирался дебрями, через которые конь проходил с трудом, и

всаднику приходилось ежеминутно склоняться к самой луке, чтобы проехать под сучьями и ветвями.

Вдруг конь взвился на дыбы и шарахнулся прочь... Салават заметил почти рядом с собой качнувшийся куст.

— Тр-р-р!—осадил он коня.

Ему показалось, что за кустом притаился волк, и он вскинул свой лук на прицел.

Он не успел спустить тетиву, когда из куста поднялся человек.

— За что бьешь?—спросил он по-русски.

Салават едва успел изменить положение лука, и сорвавшаяся стрела взвилась высоко в небо.

— Чаял, волк ведь!.. — пояснил Салават и сокрушенно добавил: — Ведь чуть-чуть не сгубил твою голову...

— Губи, не жалко!—отчаянно махнул рукой тот, и при этом звякнула железная цепь.

— А-а-а!—понимающе протянул Салават. — Я думал, чего схоронился. Заводской, что ли?—спросил он с сочувствием.

Беглец молча кивнул.

— Железку сымать надо, — сказал Салават. — В лесу жить — пропадешь... Айда на мою кочевку. Пила есть.

— Не обманешь?—спросил беглец.

— Какая корысть?! Эх, ты!—пристыдил его Салават.

Беглец был замучен голодом, холодом и бродяжничеством. Несколько ночей, проведенных в лесу, он старался не спать, опасаясь зверя и человека.

Салават, приведя его в кош, напоил, накормил, позаботился освободить от цепей с помощью обуха и пилы и наконец уложил спать.

Беглый заводской мужичонка, проснувшись, повеселел.

Семка, как сам назвался беглец, был из тех, с какими не раз уже приходилось встречаться Салавату в своих скитаниях, но он рассказал о таком, чего Салавату еще не пришлось слышать.

Отданный барином за провинность в солдатчину, он бежал из солдат и пошел искать лучшей доли на новых сибирских землях. Много верст лежали уже за спиной, сыск он считал отставшим, и вдруг на дороге веревочная петля взвилась над его головой, на него напали, связали его и повезли в плен...

— Я думал — ваши, башкирцы, — рассказывал Семка. — Мало ли чего в далекой земле про вашего брата услышишь!.. Ан нет, русаки! Да хуже всяких киргизцев: железы надели да в шахту!.. А знаешь ты, брат, шахту, а?!

Салават кивнул.

— Медные руды рубить... Да то не беда бы — человек, он не лошадь, не сдохнет, все одолеет! Ино гляди — туды-то впустили, а наверх никак. Где работаешь — там спать, там и жрать... Воньца — дохнуть нечем... Без света, без неба... Солнце и звезды забудешь, глаза слепнут...

— От шайтан!—удивленно качнул головой Салават.

— И шайтану такого не вздумать! Я чаял: работать не стану — прогонят. Уперся — кайла не беру. Так что ты скажешь — меня на откачку воды посадили. Вода бежит. Ее не откачивай — шахту зальет. Меня посадили воду в ведро набирать да наверх веревкой вздымать. Креплюсь — ведра не беру... Второй день гляжу — вода по колено стала. Как стали меня свои же лупить: «Сукин сын, барин какой! Он работать не хочет, а нам в воде по колену — ноги ломит от холоду...»

— Стал наливать?—спросил Салават.

Мужичонка крутнул головой.

— Где там! Приказчик спустился, бил, надсмотрщик бил, бросили в воду — я потонул. Чайли, что покойник, взяли наверх. На верху очнулся... три недели лежал, да снова окреп... живучий! Как сказали мне завтра опять под землю, я побегал к реке да кинулся в воду. С железами вниз пошел, аи коряга спасла... зацепился за пень плавучий... вишь — жив!..

Амина слушала, ничего не понимая.

Салават запретил ей говорить о своем госте, но Амина ли не утерпела или кто-то из женщин, зашедших к ней, видел случайно русского беглеца, однако дня через три его безмятежной жизни к Салавату в кош внезапно заехал отец.

Юлай не застал врасплох Салавата. Семка и не жил в коше: он просто скрывался рядом с кочевкой. Однако старшина с подозрением осмотрел весь кош.

— Все говорят — у тебя русский, — сказал он Салавату. — У нас довольно своих хлопот. Ты сам подбивал не давать царице коней. Теперь могут прийти за конями солдаты. Если узнают, что у тебя беглец...

— Я сам отвечаю за гостя, — резко сказал Салават.

— Тебя отведут в тюрьму и меня на старости лет из старшин пожалуют в каторгу...

Юлай понял, что Салават не уступит, и испугался за свою участь.

— Ищи, атай. Если его найдешь — он уйдет от меня. Но ты его не найдешь, не найдут и солдаты, — пообещал Салават, утешая отца.

— Боюсь, Рысабай напишет донос, — пробормотал Юлай.

— Его сын у Рустама сам с турком спутался... Что лучше?!—спросил Салават.

— Турок уже далеко, он уехал три дня, — сказал старшина. — Салават, ты позоришь меня, — взмолился старик со слезами в голосе. — Все говорят, что ты окрестился. Я не верю писарю, но народ ему верит. Докажи всем, что ты не русский... Бухаир призывает народ камнями побить тебя...

— Как докажу? Зачем доказывать! Я верю словам пророка. Я не ищу у царицы милостей... Что мне крещение? Я мусульманин, как все башкиры.

— Все знают, что у тебя скрывается русский. Если ты не крестился, то выдай начальникам беглеца. Мы отдадим русским.

— Он мой гость!—возмущенно сказал Салават. — Ты, отец, знаешь, чему ты меня учил? Гость есть гость!

— Тогда Бухаирка прав. Значит, ты русский! Прощай! Ты не сын мне!—воскликнул Юлай. Он вскочил на коня и умчался.

Возмущение кипело во всем существе Салавата. Он довольно был сам беглецом, скрывавшимся от властей, чтобы каждый беглец стал ему братом и другом. Русские приючали и укрывали его. Он готов был драться за гостя, как за родного... Нет, он не выдаст его никому. Если писарь сумеет поднять народ на облаву за беглым, Салават убьет шурина, но не выдаст гостя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наступила осень. По утрам в горах иней покрывал седinouю травы, и хотя полуденное солнце пыталось им вернуть молодость, но бурый цвет смерти и разложения с каждым днем все больше сменял жизнерадостную зелень степей и лесов.

Настала пора возвращаться к зимовью в аулы, но начатое неподчинение начальству грозило тем, что на зимовки сразу нагрянут солдаты, станут брать лошадей, а может быть, и людей. Многие уже раскаялись в том, что ушли в горы, а не погнали сразу лошадей. Но вместо того чтобы решиться на что-то, башкиры еще оттягивали время, оставаясь на горном кочевье.

Юлай призвал к себе стариков на совет; сварил большого барана. Долго сидели старики, обдумывая, что делать, и наконец решили сменить еще раз место кочевья и двинуться ближе к зимовке, а там уж разведать, что собирается с ними делать начальство.

И вот едва основались шайтан-кудейцы на новом кочевье, как женщины, выйдя доить кобылиц поутру, увидели с горы приближающихся к кочевью солдат. Подруги кочевников не хуже мужчин умели скакать верхом. Одна из них мигом примчалась к кошу Юлая.

— Солдаты! — тревожно выкрикнула она. — Солдаты едут, агай!..

Солдаты были еще далеко, когда высланные в дозор сыновья старшины Сулейман и Ракай убедились, что женщины были правы, что не страх обманул их. Солдат было семь человек, они ехали не очень спеша. За плечами у них были ружья, на головах кивера.

На всякий случай Юлай приказал сгонять в лошину к речке коней, чтобы сказать, что кони готовы, их только осталось отправить, куда укажет начальство.

Сам Юлай пошел одеться по форме торжественно, как полагалось при встрече начальников. Он волновался, не так пристегнул саблю, долго не мог нацепить медаль, раздраженно покрикивал, чтобы скорее кололи барана и варили мясо... Но все успелось, все было сделано, когда наконец появились солдаты и с ними писарь, который успел их встретить, будто бы невзначай.

Разодетый, торжественный старшина вышел из коша на зов Бухайра.

— Капрал к нам с какой-то бумагой, Юлай-агай, — почтительно поклонился Юлаю писарь.

Капрал и солдаты сошли с лошадей, солдаты построились в ряд. При взгляде на них Юлаю стало не по себе — сразу припомнился тот день, в который была сожжена их деревня. Однако на этот раз солдат было мало. Семеро солдат не посмеют напасть на народ. Эта мысль несколько успокоила старшину. Капрал вышел вперед, вынул из сумки пакет с сургучными печатями.

— Ты старшина... Шай-тан-Ку-дей-ского юрта, Юлай Аз-на-ли-хов?.. — с трудом прочел капрал на пакете.

— Я — старшина Юлай.

— Салам-алейкум, старшина! — дружелюбно приветствовал капрал.

— Здравия желаю, капрал! Здорово, солдаты! — молодецки выкрикнул по-русски Юлай и протянул руку капралу. — Я сам, ведь сказать, капрал, как и ты. В поход гулял много... В чужой стороне гулял. Прусский царь Фридка гонял!

— Еще раз, коли так, здоров, камрат! — весело воскликнул капрал, второй раз пожав руку Юлая.

— Еще раз здоров, камрат! — отозвался Юлай. — Ну, какой там бакет притащил?

— Держи бакет. Прочтешь — сам узнаешь.

Юлай принял пакет, почтительно поглядел на красные сургучные печати, надорвал край и подал писарю.

— Читай-ка...

— «С получением сего указа тотчас, немедля, надлежит тебе, старшине Юлаю, собрать своего юрта лучших жигитов сотню, одвуконь, в седлах с сайдаками, стрелы да пиками...» — читал Бухаир. — А много ведь будет сотню, — сказал он капралу, прервав чтение. — Мы и так ведь злодея поймаем: недалеко искать-то — все знают! Гляди-ка, начальник капрал, что я нашел...

Бухаир сунул руку за пазуху и торжествующе вынул кандалы с распиленными наручниками.

— Наверно, недалеко ушел вор! — сказал он.

У Юлая стеснило дыхание. Как ни раздражал его Салават своим упорством в выдаче русского беглеца, он надеялся, что тот сам уберется с кочевки. Предательство писаря ставило под угрозу не только Салавата, но и его, старшину, чей сын оказался укрывателем беглеца. Юлай силился что-то сказать, но слова не шли в голову. Он вдруг вспотел от волнения.

— Раз цепи ведь снять изловчился, теперь его где поймаешь! Теперь не поймать!.. — пробормотал старшина.

— Я знаю, в какой стороне искать! Вон там! — указав в сторону Салаватова коша, злорадно сказал писарь. — Никуда не уйдет!

— Плохой ты, писарь, угадчик! — с насмешкой прервал капрал. — Какое нам дело, что ты железки нашел! Кто потерял, тому, знать, ненадобны больше! А ты нашел — твое счастье: надень на себя да носи!.. Читай-кося лучше бумагу!

— «...с сайдаками, стрелы да пиками, и привести тех сто жигитов самолично к ратной ее величества государыни службе на Стерлитамакскую пристань, к его высокоблагородию асессору Богданову...»

— Вот и опять, старшина, воевать пойдешь! — весело воскликнул капрал.

— Нам воевать ведь не ново дело! Начальство велит — и пойдем, да с кем воевать-то? — спросил Юлай, у которого отлегло от сердца. — Всю, что ли, писарь, бумагу читал?

— «...асессору Богданову, — продолжал Бухаир, — против бунтовщика и вора, беглого донского казака Емельки Пугачева, который предерзко, приняв на себя лжесамозванное именование покойного императора Петра Третьего Федоровича, возмущает толпы воровского сброда против за-

койной государыни нашей божьей милостью императрицы Екатерины Алексеевны...»

— С немцами воевать, значит, а нынче как — с русскими воевать, выходит?! — в недоумении развел руками Юлай.

— Что врешь? — строго одернул капрал. — На воров зовут — не на русских!

— «Памятуй твою, старшины Юлая, воинскую службу и милостивое награждение тебя медалью, настрого указую вести свою сотню без проволоочки...» — продолжал читать Бухаир.

— Мы службу ведь знаем! — тронув свою медаль и выпятив грудь, гордо сказал Юлай.

— «...а старшинство твое и юртовую печать препоручить, до возвращения твоего, юртовому писарю... — Бухаир остановился, словно не веря своим глазам, еще раз всмотрелся в бумагу и с гордым самодовольством внятно прочел: — юртовому писарю Бухаиру Рысабаеву...»

Захлебнувшись восторгом, писарь смотрел в бумагу. Буквы и строчки прыгали перед его глазами...

— «...писарю Бухаиру Рысабаеву!...» — еще раз громче прежнего прочел он.

— Вся, что ли, бумага? — спросил Юлай. Он почувствовал, что Бухаир уже не покинет старшинства, если усядется надолго его заменять. Кровь бросилась в голову старшине... Но, может быть, там, в конце злосчастной бумаги, есть что-нибудь, что спасет. Ведь бумаги начальства хитры. Часто в самом конце бывает такое, что все повернет на другой лад. — Вся, что ли, бумага? — строго спросил он еще раз писаря.

— Нет, еще тут, — смущенный и сам откровенностью своего восторга, пробормотал Бухаир. — «А с тех, кто пойдет с тобой в поход, по указу Исецкой провинциальной канцелярии лошадей на заводы не брать да с их отцов и братьев и с матерей и с жен та налога слагается ж...»

— Вот спасибо, капрал! Народ рад будет, значит! — с искренней радостью поклонился Юлай капралу, словно он сам написал бумагу. — Ладно, что лошадей-то слагают... Айда кумыс пить, капрал. Идем, что ли! — позвал старшина.

В большом казане уже варился отъевшийся жирный баран. Собаки с рычанием растаскивали в стороне его кишки. В двух женских кошах старшинской кочевки хлопотали над лакомствами. Солдаты мирно составили ружья в козла, разнуздали своих лошадей и развалились возле костра перед кошем старшины, дымя табакком. Осеннее бледное

солнце разогрело поляну над речкой, и всем были радостны прощальные теплые лучи, которые оно посылало с холодящего неба...

Но за хлопотами не сходилась печать трудных дум со лба старшины Юлая. Он видел, как Бухаир вертелся возле капрала, что-то рассказывал ему, и боялся предательства писаря: «Как ведь знать, а вдруг сговорит, собака, солдат на облаву на беглеца!» — опасался Юлай.

Прошло уже больше недели, как беглый солдат Семка покинул кош Салавата, но Салават по-прежнему делал таинственный вид, не впуская к себе в кош приходивших людей. Он сам хотел столкновения с Бухаиром. Салавату казалось, что нужно в открытом бою померяться с писарем силой, и он выводил из терпения Бухаира, считавшего, что беглец продолжает жить у Салавата на кочевке.

Салават видел, что его влияние на башкир утеряно: в его кош перестали ходить гости, даже его песня по вечерам привлекала только немногих, а с тех пор, как у него поселился русский, с ним, и встречаясь, не очень стремились заговорить и спешили пройти мимо.

И вот рано поутру на новом месте кочевки прискакал к Салавату кошу Кинзя.

— Солдаты! — выкрикнул он, распахнув полог. — Беги, Салават!

Салават сел на своей постели.

— Ты тоже бежишь? — спросил он.

— Я!.. Нет, конечно... — растерянно пробормотал Кинзя, недоумевая, зачем же бежать ему.

— А Бухаир?

— Нет, наверно, — ответил Кинзя.

— А мне зачем? — сказал Салават и, натянув на себя одеяло, закрыл глаза.

— Салават! — в отчаянии за легкомысленного друга крикнул Кинзя. — Писарь предаст тебя!

Если бы Амина была здесь, Кинзя нашел бы себе союзницу, но она доила кобыл — ее не было в коше.

Кинзя забормотал, тормоша Салавата и не давая ему спать:

— Салават, солдаты, солдаты! Все знают, что ты не велел давать лошадей и увел народ в горы...

— Я готов! — внезапно вскочив, выкрикнул Салават. — Где солдаты?

— У твоего отца.

— Бери Амину, вези скорей к матери,— приказал Салават, роясь уже в большом сундуке.

— Чего ищешь? Беги скорей. Беги в чем есть, я тебе привезу все, куда ты укажешь,— твердил в тревоге Кинзя. Он волновался за друга больше, чем сам Салават за себя.

— Что я, заяц?! — сказал Салават. — Довольно уж бегал.

Он вынул со дна сундука кольчугу и мигом ее натянул на себя. Он приготовил сукмар и кинжал, лук и стрелы, и боевой топор.

Амина, войдя, увидела приготовления к бою.

— Война?! — в страхе вскричала она.

— Садись на коня. Кинзя проводит тебя к матери! — коротко приказал Салават.

— А ты?

— Скорей! — вместо ответа заторопил Салават. — Если солдаты узнают, что ты мне жена, они обидят тебя.

Салават взглянул в сторону кошей. Оттуда вздымалась пыль — мчался всадник.

— Проедете тут,— указал Салават в сторону противоположную кочевью,— тут лесом никто вас не встретит.

— Я мигом вернусь, Салават,— шепнул, уезжая, Кинзя.

Салават остался в коше один. Он посмотрел еще раз оружие и взглянул на спешившего к его кошу скакуна, но не мог узнать всадника.

На всякий случай он приготовил стрелу и вдруг разглядел женщину... Еще миг — он узнал Гульбазир. Она мчалась к нему во всю мочь; конь ее не скакал, а словно стлался по воздуху.

Она удержала коня, подскакав вплотную, и Салават подхватил ее и спустил с седла.

— Ты ко мне?! — не скрывая радости и восхищения, воскликнул он, держа ее за плечи, глядя в ее лицо.

— Где твой русский? Солдаты пришли на кочевку, — торопливо сказала она.

— Я готов их встречать,— ответил Салават.

— Спасайся скорей! — крикнула девушка.

— От тебя? — со смехом спросил Салават. — Я не вижу других врагов.

— Смотри! — указала она.

И Салават увидел десяток всадников, мчавшихся от кочевки старшины.

— Спасайся туда,— указал Салават девушке ту же тропу, что Аминe с Кинзей.

— А ты? — спросила Гульбазир тем же тоном, как Амина, и столько же тревоги было в ее голосе.

— Гости ко мне. Надо ждать, — с усмешкой сказал Салават.

Она поняла его.

— Твоя жена ускакала. Я буду прислуживать за столом и подносить угощение, — ответила Гульбазир, складным движением выдернув из его колчана стрелу и подавая ему.

— Рустамбай не простит тебя, девушка, — сказал Салават. — Твой отец тебя проклянет. Уезжай обратно — никто тебя не увидит.

— Я буду с тобой до смертного часа, — сказала она, глядя восторженно на Салавата. — Когда на Кильмяк-батыра напали киргизы, его сестра всю ночь подавала ему стрелы, пока они оба не пали в бою.

Всадники стремительно приближались к Салаватову кошу. Стрелы уже могли их достичь, но вдруг Салават узнал в них башкир.

— Свои, — прошептал он в испуге. — Спрячься скорее!..

И Гульбазир, не страшившаяся солдат, как испуганная лисица, скользнула за кош, вскочила на своего конька, и Салават услышал только удаляющийся хруст под конскими копытами..

Десяток всадников, примчавшихся от кочевки Юлая, были старые друзья Салавата. Они поняли писаря и вернулись к другу. Писарь их уверял, что Салават крестился и стал русским, но вот появились солдаты, и Бухаир подскочил к их начальнику, что-то нашептывает ему, Бухаир угодливо вытащил из-за пазухи цепь, чтобы предать Салавата русским солдатам... Они мигом поняли, что Салавату грозит опасность. Не писарь ведь — Салават натянул лук Ш'гали-Ш'кмана, это он не хотел давать лошадей на заводы. Салават стал первый звать в горы весь юрт... И юнцы, не дождавшись, когда станут читать «бакет», вскочили по седлам, чтобы оружием защитить Салавата.

— Не дадим в обиду тебя, Салават! — закричал Абдрахман.

— Мы все за тебя! — зашумели Вахаб и Юнус.

— Веди на солдат!.. — возбужденно требовали юнцы.

Кинзя тоже примчался обратно. У всех у них в руках были луки, сукмары и топоры. Они считали, что час восстания пробил. Все были готовы к битве, и не хватало только врага. Они не знали того, что возле коша Юлая уже мирно варится бишбармак, что солдаты спокойно беседуют со старшиной, что там же сидят мулла и Рустам и Бурнаш, ожидая старшинского угощения...

Салават растерялся, еще не решившись, что делать с «войском», которое вдруг явилось само, без призыва, в жажде сражения, как вдруг со стороны кочевья вместо отряда солдат появился еще один всадник, и все признали в нем старшину.

— Вы приготовились на войну, жягеты? — спросил, подъехав, Юлай.— Скоро собрались. А ты за начальника, Салават?! Война ждет вас, дети. Завтра поедете все на войну.

— А где солдаты? — спросил Салават.

— Солдаты сидят у меня, угощенья ждут. Бумага пришла: кто пойдет на войну, с того лошадей не берут, слава богу...

— Против кого воевать? — спросил молодой Абдрахман.

— Беглый казак Пугач назвался царем и бунтует против царицы. Царица зовет на него башкир. Поезжайте все по своим кочевкам, зовите ко мне отцов и сами — назад ко мне, — приказал старшина молодежи.

Юнцы присвистнули и поскакали...

Когда Салават и Юлай остались наедине, старшина обратился к сыну:

— В бумаге написано — мне самому вести вас на войну, а на Бухайрку оставить мое старшинство, — сказал Юлай.

— Вот рад небось писарь? — с усмешкой спросил Салават.

— Не видеть мне больше старшинства, сожрет ведь меня Бухайрка, — говорил сокрушенный Юлай.— Я стар, Салават, а ты удалец и батыр, ты бывалый — веди удальцов!.. Пойдешь, а? — несмело спросил он.

— Воевать за царицу?! — вспыхнув, переспросил Салават.— Не нам воевать за нее. Другие цари с нас брали мех соболей, лисиц, горностаев, а все же не разоряли дотла, другие цари требовали коней — мы давали, а кто из царей кабалил башкир в крепостные, кто, кроме этой царицы, людей отдавал аулами в рабство заводам?! Не нам, атай, воевать за царицу!..

— Войско — не рабство, сын, — возразил старшина.— Война ведь всегда призывает башкир. Я сам воевал в чужих землях, начальником был. Бабушка Лизавет-царица дала мне медаль, деньгами дарила, велела забыть, что я был в мятеже, а теперь я в почете — сам знаешь. Так и ты: хорошо повоюешь — никто не потребует с тебя лошадей, никто не потащит тебя на заводы, никто не вспомнит набег на плотину..

Они подъехали к кочевью Юлая, сошли с лошадей позади старшинского коша.

— А если царь победит царицу? — понизив голос, сказал Салават.— Тогда меня царь наградит за то, что я вел башкир против него?

— Не царь, Салават! — убежденно воскликнул Юлай.— Он ведь беглый казак, самозванец!

— А если он победит? — настойчиво продолжал Салават.

— Царицу нельзя победить. Ты не знаешь, какая сила войско царицы, а я видал, Салават, я знаю, я войско видал на войне...

— Атам, я слышал, царь обещает волю для всех народов,— проникновенно сказал Салават.— Все народы пойдут за такого царя. У него будет войско еще сильнее. Он велит казнить всех, кто против него... Я встречал людей, которые сами с ним говорили...

Старик удивленно взглянул на сына.

— Когда волю всем обещает, то, может, не самозванец, как ведь знать!.. Давно уже бумагу писали, что царь-то помер, а может, ведь жив!.. Пока нам нынче царица велит сто жягетов набрать, а там видно ведь будет — кто из них царь настоящий!..

— Ладно, атам, я за тебя поеду,— согласился вдруг Салават.

— Юлай-агай, — внезапно вмешался оказавшийся тут же за кошем писарь,— я читал ведь бумагу, которую привезли солдаты. Там сказано, что ты должен сам повести жягетов.

— Я стар стал уж, писарь, — со всем простодушием возразил Юлай.— Куда старику на войну. Сын Салават поведет жягетов.

Писарь побагровел от злости. Мысленно он уже стал юртовым старшиной.

— Начальник велел ведь! Написано, чтобы вел старшина!.. С меня спросят: скажут, что писарь не так прочитал бумагу!..— выходя из себя, закричал он.

— Ты так прочитал, Бухаир,— твердо сказал Юлай.— Ты такой уж ведь грамотный, значит. Всегда все бумаги читаешь верно. Там писано, чтобы ты старшиной остался, пока я в поход пойду, а я в поход не пойду. Сын пойдет, а я дома останусь, и ты старшиной не будешь. Вот то-то!..

— Салават какой сотник? Какой он начальник?! Он беглых держит!..— взбешенный, кричал Бухаир.— Если ты, старшина, сам идти на войну боишься, уж лучше я сотником стану.

— Мое слово твердо, парень,— отрезал Юлай.— Когда Салават захочет, он может тебя переводчиком взять под начало. Я тебя отпущу, Бухаир...

Юлай, не слушая больше писаря, подошел к солдатам. Вокруг них собралась большая толпа башкир. Бишбармак был готов, и женщины начали раскладывать мясо в широкие деревянные чашки.

Башкир, понимавших по-русски, было немного, и солдаты разговаривали знаками, объясняя свое семейное положение столпившимся возле них башкирам. Тут были и молодые парни, которым завтра предстояло идти в поход, и старики, их отцы.

Встревоженные слухами о предстоящем военном походе, жены и матери тоже собрались со всего кочевья в женский кош старшинской кочевки; самые важные из них были приняты в особом коше белого войлока, принадлежавшем первой жене Юлая, матери Салавата.

Видя, что все уже собрались по его приглашению, старшина, прежде чем приступить к трапезе, обратился ко всем гостям.

— Аксакалы, жягеты! — сказал он. — На государыню мать-царицу — беда: беглый казак Пугач ее обижает — царем себя объявил. Царица-мать призывает башкир на помощь. Когда мать помогать зовет, дети сами всякое дело бросают — на помощь бегут. Нас мать зовет, дети. Сам я стар. Сын Салават за меня поведет. Удалец удалцов поведет. Только весть услышал — кольчугу надел, лук и стрелы взял, сукмар у седла, пика у стремени. Иди сюда, сын, — подозвал старшина.

Салават подошел, не зная еще, что хочет сделать отец.

— Вот тебе моя сабля,— сказал Юлай и, сняв с себя саблю, прикрепил ее к поясу Салавата.— Вот плетка моя, с ней в прусской войне воевал, много чужой земли на коне проехал,— сказал Юлай, прицепив к поясу Салавата плетку.— А вот медаль моя. Мне ее бабушка Лизавет-царица дала,— заключил старик, отколов и медаль со своей груди.— Не осрами ее, парень: смело сражайся.

Салават вынул саблю из ножен, поцеловал клинок.

Твоя сабля, атай, всегда будет рубиться только за правду,— сказал он торжественно.

Ночь проскользнула быстро. Уже на рассвете Салават чистил сбрую, он ходил одетым в кольчугу, и ему нравилось чувствовать ее тяжесть.

— Вот уже и чужой Салават,— говорила Амина.— Голову приложишь к груди, а грудь чужая — железная.

— Железо лучше сохранит твоего Салавата — успокаивал он ее.

Салават ласково болтал с Аминой, пока у коша не раздался топот коней.

— Кинзя приехал. Прощай, Амина. Прощай, не плачь, Амина! — Салават обнял ее.

Быстро он доехал вместе с Кинзей до коша Юлая. Перед кошем уже толпились всадники.

Салават пришпорил аргамака и выехал вперед. Зеленая шапка, опушенная соболем, красовалась на его голове, чуть сдвинутая на затылок. Юлай стоял у входа. Многие женщины, пришедшие провожать сыновей, плакали. Сыновья старались быть веселей.

— Все как один. Вот каких солдат дали царице шайтанкудеи, гляди, капрал! — говорил Юлай.

Писарь стал выкликать отправляющихся в поход, и те, кого называл он, громче, чем нужно, отзывались.

— Салах Рамазан-углы! — кричал писарь.

— Бар! ¹ — отвечали из толпы.

— Сафар Зайнулла-углы!

— Бар!

— Ахмет Магомезян-углы!

— Шунда! ²

Когда все были перечтены и оказались налицо, писарь доложил, что все собралось.

Юлай сказал:

— С богом!

— Аллах сохранит вас! — громко произнес мулла.

— Хош! — крикнул Салават.

— Хош! Хош! — стали перекликаться всадники с толпой.

Послышался плач в толпе женщин.

Салават выпрямился в седле и натянул удила.

— Айда! — лихо воскликнул он и тронул коня.

— Айда! — грянула вся ватага, и сотня коней пустилась вперед не спеша, потому что сзади гнали гурт молодых баранов, взятых с собой в пищу.

Солнце скрылось уже за горами, и сумерки выступали из-за камней и из травы, а отряд неустанно ехал вперед.

Поднималась луна и сзади бросала тени под ноги коней. Впереди встала темная туча, закрывшая половину горизонта.

¹ Бар — есть.

² Шунда — тут, здесь.

— Под дождь едем. Пора ночевать! — крикнул кто-то сзади.

Салават поглядел на небо.

— Пристанем у Сюмских пещер, — сказал он. — Теперь близко.

Вдруг он заметил белую полосу в небе, белый столб справа от себя, почти у самого края тучи, и такой же белый светящийся столб слева. «Что бы это такое было?» — подумал он и снова взглянул — и уже два столба выросли, соединились, срослись в дугу желтоватого и синеватого цветов. Радуга!

Салават обернулся назад, к воинам.

— Радуга! — крикнул он. — Радуга — мост к победе! — И он протянул руку по направлению к «мосту».

Он знал, к какой победе ведет этот мост, знал, что делать и куда ехать, но эта сотня юнцов, посланных с ним на помощь царице, — что знала она?!

Всадники изумленно глядели на радугу. Ночная радуга! Как-то никому из них за восемнадцать и двадцать лет жизни не пришлось видеть ее никогда, и все они приняли ее за предзнаменование, доброе или злое — кто знает! Первым назвал ее добрым знамением Салават, и все поверили, хотя никто не знал, о какой победе он думал...

Сборы, отправка — все было стремительно. За горестями расставания, за неожиданностью далекого похода некогда было подумать о том, куда и зачем их послали... Салават, их герой, певец, бунтовщик, скиталец, вел их, скача впереди других на голубом арабском коне, и этого было достаточно, чтобы спокойно скакать к славе и подвигам. Самое слово «война» было овеяно сладкой мечтой юности. Ехать на настоящую войну казалось им сбывшейся грезой, и потому все были немногословны и молчаливо возбуждены собственными переживаниями без размышлений. Их призывали драться с казаками. Что были для них казаки? Русские, неверные, христиане... Отцы, деды и прадеды бились с «неверными», и песни и сказки о дедах передает народ — значит, битвы с ними послужат к славе. Это были даже не мысли, а смутные обрывки их, перепутанные с мечтами о дсушках, о почете возвращения, о подвигах, храбрости..

Только отдых и ночлег, охлаждающий пыл, возбужденный походом, могли окончательно разбудить мысли, вопросы и призвать к ответу спокойную рассудительность.

Из всех лишь один Салават с самого начала сознавал, что каждый шаг приближает его не только к войскам царицы, но и к войскам восставших яицких казаков, против которых послали башкир. Лишь он, бродяга, изъездивший

и исходивший казачьи места, знал скрещения дорог и троп и заранее думал о том, на каком перекрестке вернее и безопасней свернуть с назначенного пути. Но он решил, что никому не откроет своих замыслов до того самого часа, когда не станет уже дороги назад. Тогда на последнем ночлеге он скажет им всем: «Башкиры, я не веду вас против царя. Мы пойдем вместе с ним против царицы, против заводчиков и бояр...»

Бодро ехала сотня всадников.

Под луной впереди заструилась серебром река Сюм. Взяв на седло по овце из стада, захваченного с собою в путь, башкиры приготовились к переправе.

Они растянулись в цепь, и кони, войдя в воду, жадно тянули студеную влагу. Когда же они напились, снова Салават громко крикнул:

— Айда-а!

И, борясь с течением, широкими и сильными грудями бросились кони резать быструю струю. Несколько минут только всплескивала вода в ночи, фыркали лошади да жалобно кричали испуганные ягнята и взрослые овцы, лежа на спинах коней, впереди седел. Но вот первый аргамак вышел на берег, а за ним и другие.

— Гей-на! — выкрикнул Салават и помчал впереди отряда бодрого от студеной сентябрьской воды коня.

— Гей, гей! Айда-а! — И сотня всадников, не снимая живой клади с седел, помчалась вскачь, чтобы согреть коней, и ночная радуга вставала впереди них за горами, как светлые ворота в ночь будущего — мост к победе. Сзади луна овещала их путь.

Они ехали не один, не два дня. С перерывами, с передышками, с остановками, они подвигались медленно. Казалось, по мере приближения цель теряла свою притягательную силу; война перестала так безотчетно манить юношей. Размышления и беседы родили сомнения в головах и сердцах жаждущих славы...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Стерлитамакская пристань была построена горными воинскими командами всего десять лет назад для вывоза меди и железа с горных заводов и соли с Илецкой Защиты в Казань, Симбирск и Москву.

На берегу богатой рыбою реки Белой раскинулся небольшой городок. Как всякое селение, возведенное воинскими командами, пристанский городок был выстроен «по линейке» — улицы его образовывали точные квадраты.

Единственным выделявшимся из общего порядка был двухэтажный дом с резными балконами и высоким шпилем, на котором развевался российский флаг, — это было управление пристани, за которым, вплотную спускаясь к реке, простирался широкий пристанский двор с каменными лабазами и длинными деревянными навесами по сторонам. Он был обнесен высоким бревенчатым тыном, обрыт рвом, словно крепость, и по углам его возвышались деревянные вышки, на которых ночами и днями стоял воинский караул.

Вокруг городка разрастались густые леса, липа, дуб, береза шумели в долине реки возле пристани, и только много выше ее по течению Белой темнели ели и качались высокие сосны.

Часть товаров — железа, меди и соли — приходила к пристани уже в коломенках по воде, другую же часть свозили на пристань зимою санным путем, хранили на пристанском дворе, а по весне грузили в коломенки.

Коломенки никогда уже не возвращались обратно на Стерлитамакскую пристань, почему каждый год их тут строили заново. Для этого в городке, возле пристани, жило около сотни плотников — русских и татар, а повыше пристани стояла вододействующая пильная мельница, которая «терла» из круглого леса доски для построения этих судов.

В Кормщицкой слободке, как назывался один из кварталов селения, стояло с десяток домов бельских лоцманов, знавших все мели и стрежени Белой и Камы. Иные из кормщиков сдавали суда в Бельском устье, иные из них водили коломенки до Симбирска.

Частью в домишках обывателей, частью в длинной бревенчатой казарме размещалась рота солдат, охранявшая пристань, торговый ряд и казенные постройки.

В соседних с пристанью домах, выкрашенных яркими красками и обсаженных цветами, жили чиновники и офицеры, приказчики пристанского двора, инженер, наблюдавший постройку коломенок, и причт небольшой деревянной церковки, выросшей на бугре.

Весь город был выстроен из сосны и толстого дуба. Дома стояли, как крепости. Дубы и липы, не вырубленные в самом городке, давали широкую тень в знойные дни лета. Во время цветения лип над городом разливалось медовое благоухание, и миллионы пчел наполняли гудением воздух. На задах почти каждого дома стояли колоды с пчелами.

Возле пристани вечно искало себе пропитания множество всякого сброда — «работных людишек» — бурлаков и грузчиков, многие из которых оказывались крепостными беглецами с заводов и рудников, и случалось, нагрывшие

с заводов воинские команды хватали тех из них, что не успели проворно скрыться, их тут же заковывали в колодки и в цепи и увозили в горы, по прежним местам.

В пристанском городке не было ни коменданта, ни городничего. Самым большим начальником тут стоял отставной гусарский поручик, а ныне в гражданской службе — ассессор Богданов. Ему подчинялись пристанские приказчики, писаря, переводчики, плотники, грузчики, лоцманы. Даже офицеры воинской команды считали его своим начальником, хотя и в штатском звании.

На Богданова-то и возложил губернатор в первые же тревожные дни сбор «ясашных инородцев», высылаемых на службу против Пугачева.

На пристани как раз наступала та глухая пора, когда все заранее заготовленные товары были уже отправлены на низовья, а новых еще приходилось ждать не ранее санного первопутка.

В эти месяцы жители городка, включая солдат, прилежно занимались поисками посторонних прибитков: мочили и дубили кожи, скупали мед, воск и шерсть, охотились по осенней тяге на птицу, ловили, солили рыбу... Сам господин ассессор был любителем лошадей и овец, которых он за лето скупал у башкир, а к осени гнал на продажу в Уфу и в Самару. Обычно он сам выезжал со своим табуном лошадей в Уфу, где проводил время в отдыхе до первопутка, когда наступало зимнее оживление на пристани, — начинали возить паклю для конопатки судов, смолу, пеньковые и мочальные канаты, железо и медь с заводов и, наконец, тянулись обозы с солью. Тогда же приступали к зимним заготовкам леса для постройки судов.

Развлечением служили чиновникам медвежьи и волчьи облавы да карточная игра.

Раздосадованный невозможностью выехать с пристани Богданов принял участие в общих осенних развлечениях: соревнуясь одна с другою, попадая и офицерские, и приказчицьи жены варили пьяную медовую «кислушку», и каждый вечер в другом доме все собирались «пробовать» ее с вечера до утра — где с инбирем, где с корицей, где с мускатным орехом, с изюмом...

Шли осенние дожди, стояла грязь.

Высланные для набора «инородцев» команды не возвращались.

Ассессор сначала считал всего лишь досадной помехой своему ежегодному отдыху появление самозванца и губернаторское поручение о приеме на пристань «инородческих» команд. Но вдруг он был ошарашен слухом о том, что Орен-

бург оказался в осаде от самозванца, а вслед за тем прискакал гонец с отчаянным письмом генерала Кара, старого знакомого, с которым ассессор не раз проводил ночь за карточным столом.

«Милостивый государь, Петр Степанович! — писал генерал ассессору. — Волею государыни назначен я к подавлению самозванца, для чего по редутам и крепостям Самарской линии набраны мною гарнизонные инвалиды. Двое из оных кавалеров пронзили меня любопытным признанием, что были в походах еще с государем Петром Великим. После сего не удивлюсь встретить таких, что с царем Иваном Васильевичем Грозным брали Казань.

Его превосходительство господин губернатор Рейнсдорп писал ко мне, что в помощь мне набирает инородцев. Что же, славное войско — спокон веков наяву и во сне только и мыслят о мятежах. Однако же крайность мою поймете, когда скажу, что молю христом богом и сих язычников ваших хоть сотен пять прислать поскорее. Промедление смерти подобно!»

И только теперь, прочитав письмо Кара, Богданов понял, что дело нешуточно, только теперь он почувствовал свою всю великую важность возложенного на него поручения.

На улицах городка и на площади перед управлением пристани скопилось несколько сотен иноплеменного войска.

За городком по берегам Ашкадара, Стерли и Белой паслись гурты овец, табуны коней, дымились костры, на которых воины варили себе пищу.

С улицы в канцелярию доносилось все время протяжное, назойливое татарское пение.

— Лейкин! — нетерпеливо окликнул ассессор одного из своих писарей.

Тот готовно вскочил, чувствуя, что начальник сильно не в духе после вчерашней «пробы» кислушки у попадьи и после письма Кара.

— Насмерть ведь так изведут, окаянные! — страдальчески морщась и будто бы затыкая пальцами уши, сказал ассессор. — Разгони-ка их всех из-под окон. Чего им на улице делать — по берегам места хватит.

— Нельзя их из улиц погнать, Петр Степанович, — возразил поручик, сидевший за соседним столом. — Под каждым кустом вокруг пристани рыщут лазутчики самозванца.

— До сих пор, господин поручик, вы не доставили мне ни единого из лазутчиков.

— Неуловимы-с! — воскликнул поручик. — Команда охотников ищет в лесу неустанно уже третьи сутки.

— Что же они — как кузнечики скачут?! — насмешливо сказал Богданов. Он смягчился от собственной шутки.— Ну хоть петь замолчали бы, что ли! Уши ведь ломит! Ты, Лейкин, голубчик, иди укажи им не выть возле дома...

Писарь вышел.

— Словить бы хоть одного. Я бы тут его принародно на кусочки порезал,— проворчал ассессор.

В тот же миг песня стала стихать, под окнами послышался шум толпы, какие-то восклицания, вопросы на чужом языке.

— Ваничка, заготовьте приказ всем инородческим сотням завтра с утра направиться... — ассессор посмотрел в письмо генерала Кара и на висевшую на стене позади его кресла карту,— сюда вот, в Биккулову, к Кару,— сказал он.— Нечего им тут проедаться. Поименные списки всех инородцев в пакет, да и с богом!.. Да конвойных солдатиков отрядить — не разбежались бы по дороге, не дай бог.

— Вашскородь, пугачевский лазутчик! — выкрикнул от порога канцелярии второй писарь, входя с улицы.

Богданов живо вскочил.

— Где лазутчик? Откуда?

— Тептяри привели, вашскородь! Прикажите на допрос?

— Давай, давай поскорее, давай! — нетерпеливо отозвался ассессор.

— Прикажите ножик и вилочку-с, Петр Степанович? — спросил поручик.

Богданов удивленно взглянул на него.

— К чему это ножик и вилочку?

— Лазутчика — на кусочки-с! — зубоскаля, сказал поручик.

— Ах вы, Ваничка, шалопай, шалопай, господин поручик!

В это время ввели связанного мужичонку. Солдат подталкивал его в спину.

— Иди, не кобенясь, дура. Не к палачу — к господам офицерам, не бойся!

— А я не пужливый. Не боюсь не только богатых, а в аду и чертей рогатых.

— Молчи! — в угоду начальству прикрикнул солдат.

— А ты меня не учи. Я и сам ученый, на семи кирпичах точеный!

— А ну-ка, ближе сюды, «ученый»! Ответ веди по-ученому. Как зовут? — грозно спросил ассессор.

— Зовут-то, барин, зовуткой, а кличут уткой!

— Дерзок, холоп, самозванцев лазутчик! Небось плетьюми я тебя смирю,— проворчал Богданов.

Солдат положил перед ассессором бумагу, исписанную татарским письмом.

— Что за грамота?—спросил тот.

— У лазутчика выняли, вашскоброды!—отрапортовал солдат.

— Что за бумага?—обратился Богданов к пленнику.

— Писано не при мне, ваша милость, вишь, по-татарски, а я и по-русски-то — прости господи!..

— Отколь же она у тебя?

— На дороге нашел.

В допрос ввязался поручик:

— За язык повешу, собака, нечистый дух! Отвечай по делу — пошто при тебе бумага?

— Табачку завернуть приберег. Кабы знал, что беда за нее мне придет, да будь она проклята вместе и с табаком!

— А подпис чей? Чья печать?—строго спросил поручик.

— Не могу разуметь, баринок голубчик! Неграмотен, ваше красивое благородьечко!—сменив тон, захныкал испуганный мужичонка.

Кажи-ка сюды, господин поручик, что там за печать, — обратился Богданов. Он осмотрел бумагу и вдруг отшатнулся, будто от ядовитой змеи. — «Петр»?!—воскликнул он. — Кто же будет сей Петр? И как под татарским письмом вдруг подпис латынский? Отколе?!—взревел Богданов. Он вскочил, схватил мужичонку за горло и крепко его встряхнул. — Отколь взял бумагу, собака?!

— Истинно на дороге, барин. Вот сдохнуть на месте!

— Врешь! На месте не сдохнешь! Велю на куски тебя резать. Уши, нос, когти из пальцев повывру, по едину суставчику пальцы велю отсекать, глаза тебе выколю, а язык напоследок оставлю... Где взял?

— Кабы руки не связаны, я бы перекрестился. Вот истинный!..

Поручик ударил пленника по лицу, опрокинул на пол. Тот стужнулся головой.

За окном в это время опять раздалась громкая песня.

— Лейкин! Опять завыли там дьяволы! — гаркнул Богданов.

Писарь выскочил вон.

Салават почувствовал, что на пятый-шестой день пути между ним и его отрядом встала каменная стена молчания и тайны. От него что-то скрывали, и он не мог понять — что. Он хотел разведать через Кинзю, но прямодушный толстяк удивленно хлопал глазами.

— Тебя все любят. Что от тебя скрывать?..

— Эх, Кинзя! Видно, и от тебя скрывают!—вздыхнул Салават.

Он пытался заговорить осторожно с другими воинами своего отряда, но его сторонились.

На остановках для ночлега Салават замечал у костров шепот и оживленные споры между людьми, но как только он сам пытался присесть у костра и вступить в разговор, все умолкали.

«Догадались! Боятся, что я уведу к царю и завлеку всех в бунт!»—решил он про себя.

Он стал опасаться удара в спину, предательского убийства, тревожно спал, во сне держал руку на рукояти кинжала и просыпался от шороха.

Однако, несмотря на все опасения, он решил не сдаваться и довести задуманное до конца — привести свой отряд к царю.

На десятый-одиннадцатый день пути, когда уже ехали берегом Белой, остановились ночевать в лесу.

Салават проснулся от холода на рассвете. Осеннее утро покрыло инеем шапку и край овчинного ворота, не хотелось вылезать из тепла и шевелиться. Он лежал неподвижно.

— Связать его... Продан русским!—услышал он тихий шепот, заглушенный шумом ветра в деревьях и шорохом облетающих листьев.

Салават не мог понять, чей это голос, и остался недвижимым.

Это были слова Бухайра. Но в отряде не было никого из явных друзей писаря. Кто мог сказать?!

— Погоди еще день-другой. Минуем Стерлитамак да тогда и расспросим его. Не дадим нас продать, как баранов...

Рядом с Салаватом, сопя и кряхтя, заворочался Кинзя.

— Тсс-с!—пролетел свист, и оба голоса смолкли.

Салават поднял голову.

В сумерках коша чернели люди. Здесь спало кругом человек пятнадцать. Кто-то из них не спал, притворялся, но кто — Салават не мог разобрать.

Отряд тронулся дальше.

В этот день достигли они Стерлитамакской пристани, где должны были явиться к Богданову.

Салават подумал, что здесь тайные враги могут выдать его начальству; начальник схватит его и будет пытать. Чтобы казаться и быть беззаботней, при въезде в селение он запел песню...

Улица Стерлитамакской пристани, несмотря на вечерний час, кишела людьми. Составленные в козла пики, возы о

задранными оглоблями, высокомерные верблюды, множество разноплеменного народа, с луками, стрелами и кинжалами у поясов, привязанные у заборов заседланные кони с торбами, подвязанными к мордам...

Салават понял, что здесь собрались отряды башкир, тептярей, мещеряков и черемис, созванных с разных сторон по указу царицы.

Приземистый, крепкий тептярь в старшинской одежде указал Салавату дом, в который ему надлежало явиться.

Оставив отряд у ворот, Салават вошел в дом и подал солдату бумагу.

Солдат скрылся в доме и, выйдя, позвал его за собой.

Его ввели в канцелярию.

Двое солдат, офицер и перед ними связанный мужчина...

Салават не верил глазам — его Семка стоял перед офицерским столом... Взгляд его бегло скользнул по вошедшему Салавату, и он опустил глаза.

— Здорово, орел башкирский!—ласково поздоровался с ним Богданов.

— Здра жла, вашбродь!—лихо и весело отозвался Салават, как учили его отец и капрал.

— Молодец, сотник! А что же ты молод? В сотниках указано быть старшине юртовому.

— Старшина, отец мой, — старик ведь совсем. Его куда воевать!..

— Как тебя звать?

— Башкирцев Шайтан-Кудейского юрта сотник Салават Юлай-углы, — по-прежнему браво выкрикнул Салават, войдя в роль молодца-сотника.

— Здорово рапортуешь. С песней ты пришел?

— Я, вашбродь.

— И поешь тоже лихо, — одобрил начальник.

— Сандугачем дома зовут ведь, по-русски сказать — соловей!..

— Соловей?!—Богданов засмеялся. — А скажи-ка мне, соловей, читать разумеешь?

— По-татарски совсем разумею. По-русски — так, мала-мала буквы смотреть разумею.

— Ну-ка, читай сей лист да на русский перекладай — что тут писано?—сказал Богданов, передавая ему бумагу.

Салават взглянул на нее и едва удержался от восклицания: это было то самое, что он мечтал получить в руки, — письмо царя!..

Салават подумал, что если он скажет вслух, что за письмо, начальник тотчас отнимет его, и с дрожащими руками,

в волнении он читал про себя, стараясь сразу прочесть больше.

— «Я из далекий места пришел...» Как сказать то по-русски? Из тайный, что ли, места пришел — вот так будет ладно, вашскородь. «Я из тайного места пришел. Пётра Федорович Третий, царь!» — выговорил наконец Салават.

Он взглянул на Богданова, тот испытующе глядел на него. Салават отшвырнул бумагу.

— Не знаю закон, как такой-то бумага читать? Мой отец старшина ведь!—в притворном испуге воскликнул он.

— Читай, читай дальше. Я командир. Коли велел, то читай! — настойчиво приказал ассессор, сунув обратно в руки Салавата письмо.

— «Башкирский народ, здравствуй!—перевел Салават. — Вам земля даем, лес, вода, трава, свинца, порох... Живи, башкирский народ...» — Салават запнулся. У него не хватало дыхания. Он узнал собственные слова, сказанные в доме Ереминой курицы: «...живи, как звери в степи, как рыбы в воде живут, как вольные птицы в небе!..»

«Волю даем так жить детям и внукам вашим», — успел глазами прочесть Салават, но Богданов на этот раз сам протянул руку к бумаге.

— Ну-ну! Врешь! Довольно!—прервал ассессор.

Салават спохватился. Чтобы скрыть волнение, он смял манифест и отшвырнул далеко в угол комнаты.

— Такой бумага нельзя читать, — сказал он, убеждая Богданова.

— Слышал?—повернулся Богданов к Семке.

— Ваше благородьечко, барин, ей-богу, не знал, чего в ней, будь она проклята... сунул ее мне какой-то...

— Молчать! — прикрикнул Богданов, и Семка умолк, словно его заткнули.

— Врака такая бумага!—сказал с убеждением Салават. — Казак хочет землю забирать у башкирских людей, затем воевать идет... Нам начальник сказал.

— Какой начальник?

— Которого царица послала башкирские люди звать на войну...

— Верно сказал, — подтвердил Богданов, довольный своим посланцем капралом, который так ловко сумел убедить башкир в противоречии их интересов с восставшими казаками.

— Дорогу к Биккуловой знаешь?—спросил он Салавата.

— На Салмышь-елга? Блям¹.

¹ Б л я м — знаю, понимаю.

— Горами пройдешь?

— Кажный дорожка знаю!—похвалился Салават.

— Молодец. Дам тебе еще тысячу соловьев, ты их поведешь к генералу Кару... Воюй хорошо — и награда будет.

Салават выпятил грудь.

— Сам Пугач забирам, а твоя канцеляр таскам!—брякнул он.

— Сук-кин ты сын! — невольно вырвалось у Семки.

Салават бросился на него и схватил за горло.

— Ты сам сукин сын, изменщик. Какую бумагу таскал! Злодейску бумагу!..

— Стой! Стой, соловей! Постой!—бросился уговаривать офицер, испугавшись за участь пленника, который, как он считал, много может порассказать о пугачевском лагере.

Салават, словно опомнившись, отошел, вытер руки об одежду и скорчил гадливую рожу.

— Рука об него запащкал, — сказал он, с презрением глядя на Семку.

— Сукин сын!—повторил Семка, но в тоне его несмотря на притворную злобу, была теплота. Он знал изумительную силу Салавата, и по тому, как Салават в кажущейся ярости сжал ему горло, он понял, что все поведение знакомого — сплошное противорвство.

Офицер понял Салавата иначе. В нем увидел он неумного, но верного пособника.

— Твой отец тархан?—спросил он.

— Тархан, старшина Шайтан-Кудейского юрта, Юлай Азналихов.

— Здорово рапортуешь!.. Ну, так ступай. Завтра чуть свет поедешь к Бижкулову и всех соловьев с моей шеи свалишь. Ехать без передышки, пока кони идут! За все про все с тебя спрос будет. Все хорошо исполнишь — награду дадут. Взят в толк?

— В толк, вашскородь!

— Ну, поди. Утром пакет тебе дам для генерала Кара.

Салават, выйдя из дома, где была канцелярия, спустился к реке. Холодная и быстрая, она спокойно стремилась к воде.

Салават сел на берегу на большой камень. Он глядел в вечернюю воду. Туда упали уже несколько тусклых звезд. Невдалеке от того места, где он сел, лежала груда камней, поросшая кустарником. Ветер донес из кустарника голоса.

— Коли под Оренбурх пойдем, там по логам уйти можно... Не идти же к царице в плен... Одним боярам лишь от того добро, а ты что за боярин? — уговаривал хрипловатый голос.

— Какое уж! Не боярин, да страшно. Две жены да трое ребят дома... Уйдешь к казакам — последнюю овцу заберут у них.

— А как узнают?

— Да как же узнать? Сотник на что? Салавата затем послал отец, чтобы он выслужил перед царицей свою вину. Он теперь первый доносчик будет на всех беглецов.

Салават усмеянулся, слыша эти слова.

— А вот погоди, мы его попытаем. Если так, то потеряет он голову по дороге. Узнай поди, кто убил!

— Другого поставят, опять не слаще! Нет, боюсь я. Ты один на свете, тебе легче, а я детей пожалею.

— К царице пойдешь? За заводчиков?—гневно спросил другой. И слышно было, как осыпался песок из-под его ног. — Коли так, прощай! Зря говорил я с тобой.

Салават притаился за камнем. Мимо него в сумерках быстро прошел человек, другой нагонял его и бормотал что-то, оправдываясь. Все стихло. Только река молча катила воды, слегка плеща в берег.

Салават никогда не умел думать молча.

Его дума всегда была мутной, пока не находила своей песни, и только тогда, как песня, ровная и могучая, текла из груди.

Салават сам не заметил, как начал петь:

Несет Ак-Идель холодные воды,
Батыр сидит на белом камне,
Думает про царицу и царя,
Про золото и про дуб.
Если золото бросить в воду,
Золото пойдет на песчаное дно.
Если дуб бросить, дуб поплывет к морю...
Думай думу, молодой командир,
Думай думу, жягет!

С реки прилетел ветер и принес холод. Салават вздрогнул и встал с камня.

Царь обещал повесить заводчиков,
Обещал царь казнить бояр...

Салават пел это почти громко, но, подходя к пристани, опомнился и замолчал. Теперь, когда из манифеста узнал он, наверно, чего хочет царь, надо было скорее решить как действовать.

Слова неизвестного за кустами взволновали Салавата. Надо было, однако, узнать, что думают те девяносто человек, которые пришли с ним, и что думает та тысяча с лишним людей, которые завтра пойдут вместе с ними. Многие

ли согласны с теми, говорившими на берегу? Как узнать? Подслушивать самому? Велеть Кинзе тоже подслушивать и выспрашивать, а там...

— Где ты был, Салават? Куда скрылся?— окликнул его Кинзя.

— Мне надо сказать тебе, Кинзя, — прошептал Салават, обрадованный встречей.

— Что сказать?

— Мы не пойдем против Пугача, — сообщил ему Салават.

— А куда пойдем?—удивился Кинзя.

— Мы пойдем против царицы.

— Так велел русский начальник?—спросил Кинзя простодушно.

— Так велел аллах. И река то же сказала мне. И ветер с реки, и белый камень... Так сказала мне песня. Слушай, Кинзя! Царь обещал повесить заводчиков... А царица за них. Я не поведу народ за царицу!—Салават зашептал торопливо: — Нынче ночью ты говори со всеми... Спроси тихонько... Это бунт... Ты тише, смотри!.. Громко нельзя говорить. Завтра утром скажешь мне, что думает весь народ...

— Ладно, — Кинзя помолчал. — Тебе не страшно, Салават?

— Я разве баба?—вопросом ответил Салават. Но, не смотря на презрительность ответа, Кинзя признался:

— А мне страшно... Большое дело... Страшное дело!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«Великий государь и над цари царь, достойный император...» «...Российского войска содержатель, всех меньших и больших уволитель и милосердой, сопротивников казнитель, больших почитатель, меньших почитатель же, скудных обогатитель, самодержавный Петр Федорович Всероссийский и прочая и прочая» наконец явился народу, волей которого поднят был на гребень восстания не он первый в истории, и стал повелителем и вождем из простого беглого казака...

Емельян Пугачев, названный Петром Третьим, осаждал Оренбург. Ставка его была в Бердской крепости, под Оренбургом. Сюда со всех четырех сторон стекался народ... Не Москва, а Берда в те дни стала сердцем России.

Еще не зная, что дальше делать, как быть и куда идти, только с верой в свою правду и силы народа, повстанцы копили мощь. Каждый день подходили сюда многосотенные подкрепления.

Уже тысячные толпы вооруженных чем попало людей сошлись под знамена восстания, и перед ними пали крепости и городки: был взят Илецкий соляной городок, место каюрги, где выпущены были колодники, взяты Нижне-Озерная и Сакмарская крепости, терпели осаду твердыни Урала — Оренбург, Губерлинск и Уфа, были захвачены медеплавильные заводы, редуты, острожки и многое множество сел, деревень и казачьих станиц...

Смелый каторжник, многократный беглец, Афанасий Иванович Соколов, по прозванию Хлопуша, был одним из немногих, кто через сплоченный круг яицких казаков, окруживших «царя», пробился к нему, получил его доверие и по его поручению людей на восстания. Заводские крепостные рабочие сотнями переходили на сторону «государя», стараясь помочь всеми средствами вооружению восставших.

Петербург выслал войска против мужицкого царя.

— Жена-то, жена — на мужа! — шептали в народе. — Ведь поп их венчал и читал из святого писания: «Жена да боится мужа»... Ну, баба!

Генерал-майор Кар, назначенный главнокомандующим правительственных войск, собрал все, что мыслимо, по редутам и городкам Самарской линии, — орудия, ядра, порох, седых инвалидов, но, не надеясь на слабое войско, наскоро, несерьезно состряпанное без настоящего внимания, он из-требовал подкреплений со всех сторон: из Казани и из Москвы — солдат, казаков — с Дона и «инородцев» — с Урала...

Весть о том, что башкиры, собранные по приказу царицы, идут к генералу Кару, встревожила Пугачева. Он, человек, бывалый в боях, выдавший их в битвах с немцами, умел оценить башкир как отчаянный, безудержный народ и предпочел их иметь на своей стороне, а не против себя.

Он приказал написать манифест к башкирам на татарском языке. Когда татарин Идорка составил его и перевел Пугачеву, царь, подумав, добавил:

— Пиши ты, Идорка, к башкирцам еще такие слова: жалую вас землями, травами и лесами, реками и горами, порохом и свинцом, и живите, как звери степные, как рыбы в воде, как птицы в небе — по всей вашей вольной воле...

— Доброй слова сказал, бачка! — воскликнул Идорка.

— Не я сказал — батыр один в Питербурхе, когда я еще на престоле сидел, так мне молвил. Спросил я тогда его, чего ваш башкирский народ хочет, он мне так сказал, — пояснил Пугачев.

— Доброй слова! — одобрил еще раз Идорка и принялся строчить.

Еще манифест к башкирам не был размножен, как в Берду примчался гонец из башкирских земель и стал требовать государя.

Когда привели его к Пугачеву, он рассказал, что он беглый солдат, а сейчас бежал с рудника, скрывался в башкирах и ускакал, когда по кочевкам явились солдаты собирать народ, по указу царицы, против царя.

— Слышал, — сказал Пугачев.

— Башкирцы, тебе не во гнев, государь, не любят твоей благоверной супруги. Их можно к тебе привести. Пошли им письмо за своей рукою навстречу.

— И приведешь?—Пугачев посмотрел испытующе.

— Приведу! — подтвердил гонец. — Есть у меня там знакомцы.

Наградив гонца сапогами, чаркой вина из своих царских рук и полтиной, Пугачев наутро отправил его с манифестом перехватить башкир, высланных властями Екатерины.

Бывший беглец, а теперь личный царский посланец, Семка летел стремглав, поспевая к Стерлитамакской пристани, прежде чем туда явятся отряды башкир.

Но тептярский сотник Давлетев выдал его, поймав на раздаче пугачевского манифеста башкирам и тептярям.

Так Семка попал к Богданову в плен.

После беседы с Богдановым и неожиданно подслушанного разговора на берегу Ашкадара Салават плохо спал. Он совсем не радовался тому, что офицер обещал передать ему еще тысячу человек. Огромная толпа чужих, незнакомых людей связывала Салавата. Обмануть двоих труднее, чем одного, но обмануть тысячу человек невозможно: кто-то из них да знает же пути на Биккулову и на Оренбург!

Салават понял свою ошибку.

— Дурак, — корил он себя. — Ты хотел быть умнее всего народа — и вот попался. Тысяча человек поведут тебя в войско царицы, и ты не сможешь от них уйти. Если бы ты не стал их начальником, ты бы мог скрыться один, а теперь, у всех на виду, тебе никуда не сумеешь убежать...

Салават больше всего жалел о том, что не поделился ни с кем своим намерением идти к царю и заранее не сумел сложить вокруг себя кучку надежных людей.

Утром Кинзя подошел к другу.

— Не знаю, Салават. Все боятся. Никто ничего не знает... Кто говорит — надо за царя, кто — за царицу... За царицу хотят из страха, что жестоко усмирять потом будут...

Салават велел приготовиться в дорогу, а сам зашел снова к Богданову. Ассессор только что проснулся и завтракал. Напротив него сидел за столом писарь в очках. Салават заметил, как он вложил в пакет пачку бумаг и среди других — манифест царя, обращенный к башкирам, и потом запечатал сургучной печатью.

— А, соловей!—встретил Салавата ассессор.— Входи, входи... Вот тебе пакет. Передашь в собственные руки — слышь, в собственные!—генералу Кару... Вот пакет... — Ассессор взял от писаря, осмотрел и зачем-то понюхал сургучную печать. — С тобой же пошлю и вчерашнего мужичонку — не задуши его. Живым генералу сдай. Теперь с богом!.. Кругом и марш!..

Салават вышел за ворота. Вместе с ним вышел ассессор. Весь отряд в тысячу человек «инородцев» стоял на улице.

— Одна сволочь! — сказал ассессор.— Как они драться будут! Давлетев! — позвал он громко. Тептярский старшина выехал к нему.— Вот тебе начальник, Салават Юлаев. Не гляди, что он молод, зато удал. Он вас поведет куда надо.

— Латна, вашескородье! — согласился старшина, исподлобья, угрюмо взглянув на Салавата, так неожиданно ставшего выше его самого.

— Ну, с богом,— отпустил ассессор.

Кинзя подвел Салавату лошадь. Салават вскочил в седло и тронул коня. Тысяча коней тронулись за ним, по десяти в ряд, с края каждого ряда ехал десятник. Сотня разделялась от сотни, впереди каждой скакал сотник. Рядом с Салаватом ехал капрал, тот самый, что приезжал на кочевку для набора башкир. Его солдаты держались с боков и позади отряда.

Проехали мимо пристани.

Развернулась степь. Салават дернул поводья и поскакал быстрее. Он не подал никакого другого знака, но за ним быстрее зацокали копыта тысячи коней.

Следом за Салаватом, передней сотней, скакали его башкиры. Приняв начальствование над всем отрядом, Салават назначил сотником над своими Кинзю. Он слышал ропот среди своих: «Сын старшины сына муллы поставил! Другим не верит...» «Бойтся измены, собака!» — ворчали втихомолку башкиры.

Рядом с Кинзей, под надежной охраной двоих башкир, назначенных Салаватом, трясся на лошади без седла связанный Семка.

Салават напряженно думал о том, как выбраться из своего почетного и тяжелого плена. Еще полсуток пути —

и все будет кончено, тогда уже не уйти. Надо было спешить. Но как?

Незаметно Салават удержал своего коня и сравнялся с Кинзей и Семкой, когда капрал отъехал покурить со своими солдатами. Пользуясь тем, что никто из окружающих Семку не понимает по-русски, Салават вполголоса обратился к нему:

— Ты, Семка, где письмо государское взял?

— За его рукой государевой припись — такое письмо где взять, как ты мыслишь? Сам государь мне дал, — сказал Семка.

— Так, стало, ты сам его видел?!

— Сам видел, — признался пленник.

— Чего же государь тебе приказал? Зачем он тебе башкирское письмо дал?? Ведь ты не башкирец!

— Вас, башкирцев, приводить к его царской руке послал... — Семка осекся, заметив, что капрал их нагоняет.

Капрал и сам давно уже порывался заговорить с пленником, но опасался того, что Салават понимает по-русски. Семку он знал еще год назад, до побега его из солдатской службы, как знали и помнили Семку и все солдаты. Если бы Семка пал на глаза не Богданову и не вновь присланному в тот год поручику, а попался бы кому-нибудь из старых офицеров полка, то его бы разом признали, но Семке, что называется, повезло. Только что, дымя табачком, капрал говорил с солдатами именно о нем. Они узнали его и вместе с тем еще не узнали. Капрал догнал Салавата и Семку.

— Семка, хошь табачку? — внезапно спросил он.

— Милость твоя, Листратыч, то дай потянуть, — отозвался Семка, не таясь от капрала.

— Ты, сказывают, затем и бумагу поднял с дороги, чтобы табачку покурить, — усмехнулся тот.

— За тем-то и поднял, — подтвердил пленник.

— А что в ней писано было? — спросил капрал.

— Ты башкирца спрости, Салаватку. Ему давал барин читать — по-татарски ведь писана, — притворился незнайкой пленник.

— Слышь, Салаватка, про что бумага? — обратился капрал к Салавату, свертывая сигарку для Семки.

— Царь Пётра письмо написал к башкирцам. Землю, волю дает, реку, лес, начальников убивать велит царь.

— Какой же он царь, коль велит начальников побивать?! — усомнился капрал.

— Они его тоже ведь не жалели, значит! — сказал Салават.

— Точно, что не жалели,— признал и капрал.— А что же он одним башкирцам письмо прислал? Царь-то русский, а письмо башкирцам?!

— Видать, он ко всем народам писал. У народов ведь разные нужды,— вмешался Семка.— Кому чего надо, того тем и жалуется.

— А сказывает начальство — не царь он, Пугач, беглый каторжник, рваные ноздри! — сказал капрал.

— Тьфу, брехня-то! — не выдержал Семка.— Каки таки рваные ноздри?! Да я его, как тебя, видал! Образом благолепен, борода, усы черноваты с русинкой. Очи карие, обычаем прост, аж до слез...

— И грозен? — спросил капрал, уже поддаваясь искреннему тону пленника.

— Кому-то и грозен, а кому-то и милостив. Люди разные, и милость и грозы под стать человекам!

— Стало, письмо-то... Не на дороге нашел! — качнул головой капрал.— И говорил он с тобою, с солдатом беглым?!

— Не токмо что говорил — из царских рук чарку я принял,— увлекся Семка,— за ручку с царем витался и лобызал его ручку, манифесты своею рукой он мне дал, а как в дорогу послал, то сам государь меня обнял и в уста целовал.

— Мать честна! — удивился капрал.— Чай, медом пахнет, как целовал?

— Водкой да луком. Дух чистый русский! — сказал Семка.— Поручика чин на мне нынче.

— Ну, брешешь, Семен! Каков уж ты, братец, поручик?! Из беглых солдат — во поручики!.. Бога побойся, собака! — рассердился капрал.

— Искали бумагу у меня господи, а заветную разыскать не сумели,— признался пленник.— На привале ты сам прочитай, покажу, то не скажешь — брешу!..

Капрал замолчал. Как ведь знать — не накликать бы лиха! Вдруг вправду был беглый солдат, а теперь офицер... благородие!

— Хоша б посмотреть своими глазами на царский подписание... Эх ты! Не сберег такую бумагу — поручик взялся! — укорил капрал.

— А бумага в бакете у Салаватки лежит, печатью ее припечатали да в бакет заложили,— утешил Семка.

— Неужто вправду? — спросил капрал.

Салават молча вынул пакет, показал капралу и спрятал обратно в шапку.

— Мать честна-то! А что, кабы нам почитать? — заикнулся капрал.

— По-татарски ведь писана — как ты читаешь! — со злостью откликнулся Салават, которого самого замучило желание открыть пакет и дочитать до конца запретную грамоту.

— Ведь ты считаешь, а мне-то по-русски скажешь, — с усмешкой сказал капрал.

Салават не понял, притворно он так говорит или в самом деле хочет узнать, что в бумаге. А может, поймает на слове, да и свяжет, как Семку.

— А ты сам печать ломать будешь, с орлом, на бакете? — так же насмешливо спросил Салават, чтобы понять, нарочно он говорит или вправду.

— Дурак ты, я смехом сказал! Береги бакет, коли начальство тебе вручило! — поучающе заключил капрал и отъехал в сторону от Салавата и Семки.

— В каком месте держать поворот на царску стоянку? — спросил вполголоса Салават у Семки.

— За рекой Казлаир, — так же вполголоса буркнул и пленник.

— Далеко еще?

— Так ехать, то завтра в полдни доедем.

Салават прояснил: впереди оставалась еще ночевка и ночная беседа со своей сотней. Если не согласятся с ним свои, то он рассчитывал бежать ночью к царю, захватив в провожатые Семку.

Они остановились в селе при переправе через речку Мелеус.

Избегая преждевременной встречи с войсками, под предлогом опасения от казаков, Салават запретил разжигать в поле костры, и вся тысяча человек разместились у жителей, кроме тех, у кого были с собой для похода захвачены коши. Их было немного, почти у одних лишь башкир Салават, оседлые же тептяри и мещеряки не везли при себе кочевого добра и устроились на ночь по избам, клетям, сеновалам и по овечьим закутам. Капрал и солдаты держали караул возле лагеря.

Кинзя привел ночевать к Салавату в кош самых верных и молодых из тех, что прискакали к его кошу по первой вести о приходе солдат на кочевку. В кош Салавата поместили и Семку, и в темноте, под свист осеннего ветра и щелканье капель дождя по кошам. Салават открыл свой замысел кучке товарищей.

— Жягеты, я был как тот листок, который хотел странствовать и призывал бурю на весь лес. Я думал, что дуб

не сможет расти без меня и полетит по ветру за мной, и я чуть не сгубил вас всех,— сказал Салават.— Я задумал обманом вас увезти к казакам, к царю и чуть не выдал всех головой царице...

— Зачем обманом? — спросил Салах.

И Салават узнал голос того, кто в первый ночлег поутру шептался в коше.

— Ты же нам рассказал про царя. Мы считали теперь, что ты ему изменил, и сами собрались уйти к царю.

— Если б ты стал нас держать, тебе не уберечь бы своей головы,— поддержал Салаха Кильмяк.

Тогда сказал Мустай:

— Зачем нам царь! Пусть царь дерется с царицей. Выберем хана, как указал султан. Прогоним русских и станем жить, как отцы.

Начался спор.

Выставленные в дозор двое юношей бродили всю ночь под дождем у коша, чтобы не услышал никто из чужих этого спора.

И до утра шел говор.

Изредка Салават говорил с Семкой по-русски и переводил всем его рассказ о царе и о том, что в его войсках немало калмыков, татар, киргиз и башкир, сбежавших поодиночке...

Сафар уговаривал тут же, ночью, бежать к царю, покинув отряд тептярей и мещеряков. Салават обратился к Семке: как думает он?

— Чудак,— сказал Семка,— царю чем больше людей, тем лучше. Ты вот своих боялся, а они все как надо решили и без тебя. Теперь вы все тептярей страшитесь, а тептяри, я чай,— вас!.. Как до реки Қазлаир доскочем тут надобе все порешить между всеми, а до того тептярей пытать — как они мыслят.

Снова поднялся спор, и его прекратил только рассвет, когда поздно было бежать — их все равно могла бы настигнуть погоня.

Дождь утих. Выглянуло серебряное осеннее солнце. В нем уже не было тепла, но всем казалось, что оно согревает, и ему улыбались...

Тысяча всадников снова тронулась в путь.

Сотня шайтан-кудейских башкир держалась теснее, шла менее стройно, чем все другие: среди башкир шелестел шепот, слышался тихий говор, словно глухое гудение весеннего улья.

Салават был доволен и счастлив тем, что открыл свою тайну башкирам. Он перестал быть одиноким. Часто

оглядываясь на свою сотню, он видел с каждым мгновением все больше и больше дружелюбных, сочувственных и понимающих взглядов. Он чувствовал, что его оберегают свои, близкие люди, что около сотни людей вступятся за него, если кто-нибудь посмеет поднять на него руку.

Капрал подъехал к нему.

— Слышь, Салаватка, Семка тебе показал заветную бумагу свою? — спросил он, стараясь, чтобы никто не услышал его слов.

— Казал-то казал ведь, да я чего понимаю. По-русски бумага, — так же тихонько ответил ему Салават.

— Ты возьми у него, я ее почитаю.

— Сам возьми, — сказал Салават.

Он поскакал стороной, оставив Семку наедине с капралом, а тот приблизился к пленнику. Салават наблюдал, как капрал взял у Семки бумагу и, читая ее, отъехал к солдатам. Держась настороже, Салават посматривал искоса, как капрал читает Семкину грамоту то с одним, то с другим из русских солдат. Вот он помчался рысью вперед, обгоняя всю тысячу воинов, вот он подъехал опять к Салавату.

— Слышь, брат Салаватка, не шутики! В бумаге-то, знаешь, чего писано? — таинственно спросил он.

Салават притворился, что он ничего не знает.

— Ведь точно Семен-то Сергеич, поручик царской, его благородие — вон как! — Капрал ткнул в бумагу: — «Его величества тайному поручику». От царской руки, с печатью писано жаловать его и любить, корма и подводы давать, на постой пускать, от царских недругов и злодеев, бояр и генералов, его укрывать — вон чего! А заставам казацким, разъездам, пикетам, постам и секретам ему мешкоты не чинить, пароль и отзыв не спрашивать, всюду пускать... А мы-то с тобою в веревках его волочим!..

— Начальство велело ведь! — сказал Салават, еще не вполне доверяя капралу.

— То ведь какое начальство! А то — государы! Ты в мысли возьми — го-су-да-арь! Ты гляди-ко, гляди — вот тут писано: «собственную руку к сему приложил...» Вон ведь как!

— А что делать? — спросил Салават.

— Веревки бы, перво, срезать, а то ведь сра-ам! В ка-торгу нас с тобою зашлют, в Сибирь загонят!

— Бумага по-русски ведь писана, значит. Я ничего не знаю, а ты читал — тебе и веревки резать!

— Эх, мать расчестна! — жарко воскликнул капрал.

Он сам поравнялся с Семкой, склонился с седла и ножом перерезал веревки, которыми были связаны Семкины ноги под брюхом у лошади. Он обрезал также веревки у пленника на руках, отдал ему заветную бумагу, и Семка так, не сходя с седла, расцеловался со старым своим сослуживцем.

До реки Казлаир оставалось уже проехать недолго.

В голове Салавата не сложилось еще плана что делать, когда отряд достигнет Казлаира. Вместо трезвого плана в мыслях его как обычно роились туманные мечты.

Он принуждал себя что-то решить, что-то обдумать. Стягивал в узел непослушную мысль, но, как легкий дым, снова она расплывалась, превращаясь в мечту.

Салават опомнился, услыхав в стороне в лесу выстрел. Как знать, что за выстрел? Может быть, это знак, может быть, окружают? Салават сунул руку за пазуху и сжал пистолет. Он был встревожен, но своей тревоги не передал другим. Выстрел оказался случайным и не повторился. «Может быть, это охотник с одного из русских хуторов», — решил Салават.

Но этот же безопасный выстрел заставил его подумать о той встрече с войсками, которая предстоит, может быть, через час. Он удержал лошадь и, повернув поперек дороги, высоко поднял руку.

— Стойте, жягеты! — крикнул он.

Ряды смешались, кони сгрудились, положи морды на крупы передних. Заржали сошедшиеся мордами жеребцы, загремело разноголосое отпрукивание.

— Тише! Я вам скажу... — выкрикнул Салават, но на последнем слове голос его сорвался и сердце забилося сильнее. Решено! Теперь уже некуда отступить. Он начал, а как примут его слова мещеряки, тептяри?.. Совсем недавно, в год рождения Салавата, еще свежа о том память, как тептярями и мещеряками был предан восставший Батырша — сам мещеряк и верный мусульманин. Мещеряки и тептяри куплены русскими царями; за свое смиренное подчинение, за вечную верность, мещеряки получили в собственность земли, а тептяри, платившие прежде дань башкирам, освобождены от дани. Отряд состоял больше чем наполовину из тептярей и мещеряков. Решившись говорить, Салават сознавал, что через несколько мгновений может произойти свалка, что тептяри и мещеряки не послушают его и, может быть, он окажется связанным и как возмутитель будет казнен.

Но уже поздно было остановиться. Салават привстал на стремях.

— Жягетляр! — крикнул он пронзительно и тонко. — Русский начальник велел нам идти в Биккулову на помощь войскам царицы. Под Оренбургом стоят казаки царя...

Тихий ропот, возрастая, прошел в толпе. Салават начал громче:

— Царь и царица ведут войну между собой. За царицу идут заводчики, за царицу — помещики. За царя — казаки и весь бедный народ: русский народ, киргизский народ, калмыцкий народ... а разве мы хуже?!

Снова по толпе пронесся неясный гул.

— Царь обещал удавить всех заводчиков и приказчиков, перебить помещиков и командиров! — громко сказал Салават.

— Бить! Не жалеть! — крикнули из башкирской сотни.

Салават продолжал:

— Царица строит у нас крепости, а если мы поможем царю — крепости разрушатся, и мы будем жить на воле.

— На воле жить! — раздались возгласы башкир. — Царь освободит от ясака. Все равно баба не справится с царем... Если мы пойдем за нее, нас же потом, когда царь победит, накажут!

— Бунтовать хочешь? — выкрикнул толстый тептярский сотник Давлетев, обиженный еще ранее тем, что Богданов передал начальство над отрядом мальчишке Салавату. — Бунтовать хочешь? — И он, грозя кулаком, направил к Салавату коня, но столпившиеся вокруг своего командира шайтан-кудейские башкиры, которые стали ближе, готовые к стычке с солдатами и с самим шайтаном, загородили ему дорогу.

Кинзя подъехал к Давлетеву вплотную и так же, как он, вытянул руку со сжатым кулаком. Так стояли они, толстые и громадные, друг против друга, со сжатыми кулаками, сунутыми друг другу под нос.

Была самая решительная минута: если Кинзя ударит Давлетева, тептяри ринутся на башкир; если же первый ударит Давлетев, не смогут стерпеть башкирцы.

Все мгновенно подобрали поводья, все замерло, все готовы были по первому знаку ринуться в свалку, тем более страшную, что противники стояли грудь с грудью, что толпа вся уже перемешалась во время речи Салавата, кроме кучки в девяносто человек башкир Шайтан-Кудейского юрта, державшихся возле начальника.

Салават покосился на солдат и увидел, что те вместе с капралом и Семкой отъехали к стороне, словно наблюдая, что будет, предоставив его самому себе. Да как могли бы они помочь ему, если бы захотели, если всего одна лишь

десятая часть из отряда Салавата могла кое-как, кое-что понимать по-русски.

Уже жеребцы Кинзи и Давлетева враждебно обнюхивали друг друга. Довольно одному из них куснуть другого — это все равно примут за нападение всадника и свалки не миновать. Настала тишина, но в тишине зазвенел вдруг раскатистый смех Салавата. Салават прыснул самым безудержным хохотом, показывая пальцем на обоих толстяков.

— Бараны! — крикнул он и громче захохотал. — Ребята, бараны сошлись!

И эти слова вдруг всколыхнули всех. Внезапно все увидели, что перед ними не грозные воины, стоящие друг против друга, а жирные упрямые бараны, застывшие в глупой пугающей позе. Тишина, которая наступила, не могла нарушиться исподволь, — напряжение ее должно было прорваться в грозу, в бурю, в гром. И оно прорвалось: буря смеха, широкие раскаты хохота огласили стоянку.

— Бараны! Толстозадые! Ай-бай-бай-бай! — взлетали из бури отдельные выкрики, и снова колыхало окрестности раскатистым хохотом тысячи глоток, тысячи молодых здоровенных грудей.

Кинзя и Давлетев, смущенные, разъехались угрюмо и молча, и вдруг жирный и краснощекий Кинзя затрясся мелкой дрожью, покраснел еще больше, узенькие глазки его еще сузились, и он захохотал сам пронзительным, тонким смехом.

— Кишкерма! — крикнул Салават. — Тише, вы!

Но этот бешеный смех не так легко теперь было унять; он перекатывался по всей толпе с места на место, гремел и грохотал, то с одной, то с другой стороны. Наконец сама по себе буря стала утихать. Давлетев, красный от жирного затылка до рук, сжимавших узду, до рыжей бородки и белков глаз, замешался в толпу немногих сочувствующих.

— Все за царя!.. Все на заводчиков!.. — выкрикнул молодой тептарь, проталкиваясь вперед, подъезжая к Салавату.

Тогда Салават вдруг вспомнил про пакет, адресованный к генералу. Он вынул его из шапки, сломал печать и развернул манифест, который заставил его читать и переводить Богданов.

— Слушайте все! Вот письмо от царя! — возгласил Салават.

И все мгновенно утихло. Даже кони, смирясь, утихли, и только пряданье ушей да мелкая дрожь кожи на шеях и крупах еще выдавали их неулегшееся волнение — животные подчинились единой воле своих хозяев, и замерло все.

— «Я царь, пришедший из тайных мест...» — начал громко и внятно читать Салават. И тут он вспомнил, что манифест обращен только к башкирам. Это могло погубить все дело. Нельзя было ставить башкир отдельно от всех других...

Салават быстро нашелся:

— «Все народы моей земли — башкир и татар, тептярь, мешеряк, чуваш и калмык — здравствуй!» — прочел Салават.

— Здравствуй, бачка царь! — крикнул юнец тептярь, подъехавший к Салавату и глядевший на него неотрывно восторженными, сияющими глазами.

Салават улыбнулся.

— «Жалую вас землей, лесом, водами, травами, порохом, живите, как звери степные...» — читал Салават, и голос его креп и звенел медью...

Салават преобразился.

Из юноши в одно мгновение он стал мужем. Сознание, что именем царя он читает свои слова, возглашает свою мечту, окрыляло его. За царя, написавшего эти слова к народу, он был готов сражаться один с тысячью воинов...

И как бы звенящая медь призывала народы голосом Салавата:

— «Ваших и наших противников — заводчиков и дворян, приказчиков и начальников — убивать без пощады. Всем, кто вас и нас принимает, даем милость, и вы давайте. Покорных не убивать, а врагам нашей воли смерти!..»

— Смерть им! — подхватили кругом, и клич этот гремел теперь уже не из одних башкирских рядов. Крикнули многие из тептярей и мешеряков.

Копья и топоры, луки, кинжалы, палицы взметнулись вверх над отрядом.

Теперь капрал с солдатами вместе с Семкой подъехали к Салавату.

— По-русски переложил бы — ведь всякому лестно послушать царское слово, — сказал капрал.

— Семку спрошай! Он всякие письма знает. Царь ему много давал, — отмахнулся Салават от капрала.

Но в тот же миг посрамленный раньше Давлетев вырвался из рядов и подъехал к капралу, считая, что между ним и Салаватом возникла распря.

— Ты ведь начальник, сказать, благородьям, значит! — обратился к капралу тептярский сотник.

— Начальник вот, молодой, — указал капрал на Салавата, — а я провожатый, сказать, поводырь, — пояснил он, не зная татарского слова.

— Вот, вот, блыгадыр! — подхватил Давлетев. — Зачем нас сопливый малайка зовет к царю? Ты, сказать, по-татарски, башкирски не знаешь, а он ведь к царю всех зовет. А какой такой царь? Самозванец Пугач?

— Отколе ты взял, что государь самозванец? — удивленно спросил капрал, как будто он в первый раз слышал такие слова.

— Господин канцеляр говорил, сам Богдан: царь — не царь, мол, а беглый казак. За тем на него царица и зовет воевать.

— Стар ты сотник — вот все и напутал! — вмешался Семка. — Царь вас звал воевать, а царицы нет. Вместо царицы сидит в Петербурге беглый казак!..

— Как так — беглый казак на место царицы? — отшатнулся Давлетев.

— Вот так и сидит на троне. Ножки свесил да взбрыкивает, а сам с бородой! — поддержал капрал Семку.

Давлетев махнул рукой и под смех окружающих с досадой отъехал к своим.

Над отрядом стоял сплошной крик — все спорили, все говорили, и не было слышно отдельных слов.

Салават поднял руку и снова все смолкло.

— Кто за волю? Кто против заводчиков и бояр?! — крикнул Салават, и теперь толпа, слившая свой смех в сплошной гром, в один взрыв соединившая все свои чувства, грянула звучно:

— За волю!.. За степь, за воду!.. За хлеб!..

Толпа редела, как потоки режут, обрываясь с гор и с собой обрывая камни.

— За соль, за степи, за волю!.. Вешать заводских командиров! — кричали в толпе.

Двое башкир разодрали зеленый халат одного из них и, вздев на копье, подняли высоко над собой и громче других кричали:

— За волю!.. За воду!.. За землю!..

Салават растерялся. Если перед тем он готов был уговаривать, звать, понуждать, то теперь, оглушенный криками, счастливый, что все так легко разрешилось, он сам кричал вместе с другими, повторяя призывные слова:

— За степь, за реку, за волю!..

Голову Салавата кружил успех дела, такой неожиданно-негаданно легкий конец.

Что же случилось? Откуда в царском письме появились слова его, Салавата, откуда письмо долетело к нему, как птица, порхнувшая в небо из сердца царя, как меткая стрела через горы, долины, реки?! Как так случилось, что рус-

ский начальник сам отдал в руки его, Салавата, тысячу всадников,— ведь были же люди постарше!..

Славить, хвалить царя, новую судьбу своего народа, излить радость в песне — вот чего требовало все существо певца Салавата. И песня брызнула, словно прямо из сердца:

Живи, башкирский народ,
Как зверь на воле живет,
Как птица в небе поет,
Как рыба в море плывет...
Царь Пётра волю дает!..
Царь Пётра к бою зовет!..

Песня словно на крыльях несла вперед всю тысячу всадников, кони бежали резвее, ветер сильнее свистал в ушах... И только когда проехали час-полтора, когда устали от крика груди, когда разноголосый и нестройный гвалт утихомирился, тогда из выкриков и из накипевшей и вырвавшейся наконец горячей беседы всадников друг с другом можно стало различать слова:

— А что, коли царица победит, а не царь?

— Что же, казнили нас прежде, отцы терпели...

— На то и идем, чтоб царь победил!

— А примет ли царь на службу?

— Царь всех принимает!

— Нам бы сейчас на крепость...

— Эй, Салават, веди нас на крепость!

— А где пушки? Вот погоди — царь нам пушки даст!

— И пороху даст?

— А я думал, как встретимся с казаками — и убегу к казакам.

— И я!

— И я тоже!

— У казаков пушки есть. Вчера стерлитамакские говорили, что казаки много крепостей взяли!

— Под Уфой стоит царское войско...

— Оренбурх едва держится!

— В Белебее чувашаи убили попа...

— Приказчиков жгут...

Оказалось, что все знают что-то о восстании, что все собирали слухи и складывали в самые глубокие тайники, а теперь переполнились тайники, и кипели новости, кипела беседа, не беседа — галдеж, гомон, гам тысячеголосая боевая радость.

Салават выехал вперед.

— Стой! — крикнул он. — Слушайте! — И все стихло. — Царицены солдаты ходят стройно, нападают дружно, а мы забыли порядок. Становись по десяткам! Сотники, вперед!

Когда войско выстроилось в порядке, снова все тронулись вперед, и теперь уже в голове Салавата роились не мечты только. «Теперь мы пойдем на Оренбурх мимо генерала Кара. Быть бою! — думал он и старался представить себе, каков будет этот бой. — Только бы не предал Давлетев, не изменили мещеряки, — думал он. — Как быть?» И он решил приставить к Давлетеву верных людей, чтобы следили. Он поманил к себе юношу тептяря. «Держись поблизости от своего старшины», — шепнул ему.

Салават ехал с этими мыслями легкой рысью, иногда прислушиваясь к цокоту копыт за своей спиной и радостно ощущал, что он начальник целой тысячи всадников, что сотни бывалых в боях бородатых воинов судьба отдала ему в подчинение.

Сколько времени прошло, Салават не знал. Справа мелькнули воды какой-то речки. Салават припустил коня к переправе, но взглянул вперед и тут же сдержал поводья. Послушные его движению, как словам, сотни всадников взмахнули нагайками и также сдержали коней.

Навстречу им показался отряд всадников в высоких бараньих шапках.

— Свои! — шепнул Салавату Семка.

— Стой, сто-ой! — скомандовал Салават.

— Сто-ой! — повторили сотники, и вся тысяча всадников остановилась.

Салават обернулся к отряду.

— Это казаки. Это войска царя Петра Пугача! — сказал он, и в голосе его дрожала тревога. Он и рад был тому, что все решалось само, что не надо было рисковать головой, что не надо было бежать от генерала Кара и трепетать перед изменой Давлетева.

— Поезжай к ним вперед, Салават, говори за нас! — крикнул Кинзя.

— Поезжай, говори! — подхватили башкиры.

— И Давлетев пусть едет со мной! — ответил Салават.

— Не надо Давлетева! Говори за всех! — шумно возразили из толпы.

— Пусть едет Давлетев вместе со мной! — упорно повторил Салават.

— Пусть, пусть едет! — поддержали друзья Давлетева из толпы тептярей.

Старшина Давлетев, покручивая ус, выехал вперед.

— Я привык говорить с начальством, со мной не бойся.

Салават засмеялся:

— Ладно, с тобой я как в крепости!

Казачи тоже остановились. Навстречу Салавату выехали двое всадников. Салават наклонился с седла, поднял полу чекменя, вынул кинжал, обрезав белую подкладку, вздел ее на пику — в знак мира. Давлетев важно ехал рядом с Салаватом, а по другую сторону — довольный, сияющий Семка.

— Что за люди? Куда идете? — спросили подъехав, казаки.

— Башкиры и тептяри разных дорог, разных юртов, едем к царю Петру, — ответил Салават. — Вот бакет от русского командира к Биккулову, к генералу Кару — его царю даем.

— А какие у вас помыслы, кто вас знает! — недоверчиво сказал казак, беря пакет.

— На службу пойдем веда! — не поняв как следует, но догадавшись о смысле его замечания, ответил Салават. — Все хотим служить государскую службу, кроме того старшины, — указал на Давлетева.

Давлетев покраснел.

— Джадид! Собака! — крикнул он. Но казак поднес ему кулак под нос, и тот замолчал.

— Сзади нас пойдете к государю, — указал старший из казаков. — Я его полковник и выслан на встречу всех верных покорных войск. А старшину мы с собой возьмем. Да ближе к нам не можете подъехать, как едете, не то из пушки пальну.

— Сзади так сзади, — согласился Салават.

— А ты что за птица? — строго спросил казак Семку.

— Я птица бугай, ты меня не пугай, — огрызнулся Семка. — Тебя государь послал с пушками, а я поумней тебя, так меня с одной головой. Я народ веда подобру, а ты обижаешь, пушкой стращаешь его, дура!

— Слышь, помолчи! — приказал казак. — Я полковник, а ты вошь барская.

— Врешь, то барин моя вошь. Я его крови не сасывал, а он из меня ведро выпил.

— Заткни глотку! Что ты за человек — пойдешь с нами! — скомандовал казачий полковник.

— Я сам по себе! — огрызнулся Семка. — Хочу — иду, а хочу — при дороге сяду, да тут и останусь!..

Полковник взмахнул плетью...

Но Салават крепко схватил его за руку.

— Нельзя, казак! Семка человек ладный! Царское письмо носил башкирцам... Царский служак! Такого человека нельзя обижать.

Почувяв крепкую хватку батыра и его горячность, казак, что-то ворча, опустил плеть.

— Я башкирец к царю сговорил,— сказал Семка.— Я с ними до самого государя дойду. Ты думаешь, казаки народ, а мы не народ! — попрекнул он полковника.

— Ты холоп — не народ! — возразил казак. — Ты и батыру своему холоп, и царю холоп, а казак и царю своей волей служит. Ступай со своими башкирцами!

Семка кивнул Салавату.

— Айда, кунак, едем.

И вместе отъехали от казаков.

Салават возвратился к отряду с Семкой.

Казачий отряд повернул к Оренбургу, и позади казаков жерлами направленные на башкир оказались казацкие пушки. Салават понял казачью хитрость, усмехнулся и тронул коня.

Башкиры тоже поняли.

— Гяур — всегда гяур! — ворчали они. — Нашему брату нет веры. Гяур хоть отцом будь, и то за спиной топор.

— Нешто казак гяур? — возразил Салават. — Как они нам поверят?.. Погодите, укажет царь, тогда будут верить!

Но, говоря так, Салават сам почувствовал неприязнь к казакам. Их полковник показался ему похожим на заводского приказчика. Да и самое положение башкир было Салавату обидно: их вели, словно пленников, под жерлами пушек. Разве так думал он привести к царю свой отряд?!

Или прав Бухаир, и для башкир должно быть одно — что царь, что царица, или не прав Салават и русский всегда враг башкирам?! «А Хлопуша? А Семка?» — остановил себя Салават.

— Салават проданся русским! — послышалось восклицание сзади.

— Где сотник Давлетев! Ты продал его?!

— Не пойдем под пушками! Назад, по домам!

— Бей казаков! — раздались выкрики, и Салават, начувшийся теперь различать своих воинов по голосам, узнал, не оглядываясь, всех крикунов.

Последний возглас принадлежал Мухамедзяну. Горячий юноша, вооруженный отличным луком, прекрасный стрелок, он выхватил из колчана стрелу.

«Если он пустит стрелу в казаков — все пропало!» — мелькнуло в уме Салавата.

Он нагнулся и ткнул рукоятью нагайки коня под живот. Жеребец скакнул, словно барс, и вмиг Салават схватил стрелка за руку.

— Мальчишка! — громко в упор сказал он. — Тебя нуж-

но было оставить дома. Кто не умеет подчиняться начальнику, тот не дорос до войны. Поедешь домой, к отцу...

Мухамедзян опустил голову. Отроческий румянец покрыл его щеки. На черных глазах показались слезы.

— Прости его, Салават-ага,— заступился Кинзя.— Готовность к битве — хорошее свойство воина. Сегодня он сделал глупость, а завтра, быть может, покажет другим пример.

— Прости его, Салават-ага! — подхватили Салах и Сафар.— Он молодой, прости...

Салават поглядел на них и усмехнулся. Он знал, что они первые из башкир подхватили крик тептярей.

— Прощаю для вас двоих, — сказал Салават, обращаясь к ним.— Научите его, как надо вести себя в войске.

Салават осмотрел свой отряд. Все сбились в нестройную массу, стоял галдеж; крики людей мешались с бляением овец и барашков, с ржанием и фырканием коней, сотни все перепутались, шли какие-то споры, и кое-где готова была завязаться драка.

Салават взглянул на казачий отряд. Отойдя немного, отряд остановился, дожидаясь башкир. Салават заметил, что несколько человек совещаются с полковником. Он привстал в стремених.

— Опять вы как бабы! — выкрикнул Салават всей грудью. Резко прозвучав, его голос покрыл все остальные.— Все по местам! Сотники, вперед! — скомандовал он.

И, снова построившись, отряд двинулся за Салаватом.

Но, наведя порядок, сам Салават несколько не стал спокойнее. Обида на казаков, сомнения в своей правоте, неприязнь к полковнику, а через него — и к самому царю тревожили его, и темным смятением было полно его сердце. Он хотел отогнать песней тревогу, но песня не приходила.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Бердской крепости не хватало места для всех стекающих сюда отрядов. Вокруг ее стен кишел народ. Приходящие с разных сторон крепостные крестьяне, заводские крепостные рабочие, тептяри и мещеряки, чуваша, татары, башкиры стояли лагерем возле ее стен.

Каждый устраивался на биваке на свой лад: одни рыли себе землянки, те сколачивали дощатые навесы, эти устраивались на возах, прикрытых наподобие цыганских кибиток, кочевники раскидывали кочевые шатры.

Сотня возов с задранными вверх оглоблями стояла между кострами.

Предложив башкирам и тептярям самим выбрать место для бивака, казачий полковник Овчинников взял с собой в крепость только Салавата.

Салават оставил Қинзю вместо себя начальствовать над всеми. Он оглянулся, отыскивая глазами Семку, но тот вдруг исчез, затерявшись в многотысячной массе повстанцев.

Царский полковник Овчинников привел Салавата в избу, где был на постое сам.

— Отдохни покуда с дороги, а там уже к вечеру я тебя к самому государю сведу,— пообещал он и ушел из избы, предоставив Салавату устраиваться.

Но Салават не был расположен к отдыху. Девятнадцатилетний юноша, внезапно ставший начальником тысячи воинов, зачинщик восстания, он не чувствовал никакой усталости. Волнение его гнало прочь усталость. Он полон был жажды деятельности и движения, тем более что было раннее утро.

В замешательстве он присел на лавку, встал, нескладно потоптался из угла в угол...



Молодая хозяйка-казачка поставила перед ним миску блинов. Салават поклонился.

— Рахмат. Спасибо...

— Чай, думаешь со свиной? — спросила она, усмехнувшись.

— Зачем свинина! Я есть не хочу. Сыт...

— Ну, ляг, полежи с дороги.

— Лежать нельзя... Сердце горячий — на войну гулять надо ведь! — точно объяснил он ей свое состояние.

Женщина понимающе улыбнулась.

— Поспеешь навоеваться! Иди, коли так, погуляй по крепости, на базар, что ли, — ласково предложила она.

И Салават вдруг обрадовался, кивнул:

— Пойду погуляю.

За окном на улице в этот миг послышался шум. Салават выскользнул из избы.

По улице толпилось множество народу. Расспрашивая людей, Салават узнал, что внезапным картечным выстрелом из Оренбурга убит и поранен почти весь разъезд казаков, слишком приблизившийся к стенам.

В тот век, век долгих, упорных осад, у всех народов, во всех, без изъятия, войнах велся обычай, описанный в тысячах повестей, — обычай словесных турниров и полушутливых переключек между осаждающими и осажденными. Так же велось и под Оренбургом: каждое утро несколько удальцов из лагеря Пугачева, вскочив по коням, подъезжали к самым стенам осажденного города, чтобы разведать настроение гарнизона и жителей.

Их подпускали близко без выстрела. Один из казаков, что покрепче глоткой, кричал с седла:

— Как живы-здоровы? Кто хочет к батюшке государю — айда проводим!

— Антихрист твой государь! — отвечали со стен.

— Ныне государь милостив — только полковников вешает, а ниже чинами добром примает! — обещали казаки.

— Иди к нам, у нас милости больше — всех вас повесим да еще языки приколем!

— Сказывают, у вас собачина в радость, — завтра вам пса привезу в поклон. Ладный был пес, да с жиру издох! — издевались казаки, и весь разъезд покрывал подобную шутку бурным, дразнящим хохотом.

Вдоволь покричав, натешившись, казачий разъезд уезжал в Берду.

Иногда бывало, что в расщепленной вешке казаки оставляли перед стеной бунтовское письмо, манифест, просто записку с бранью по адресу оренбургского губернатора

Рейнсдорпа, сообщения о действительных или мнимых своих победах.

Обычно разъезд уезжал спокойно. Гарнизон не стрелял в казаков. У солдат не было злобы на пугачевцев, да, кроме того, их удерживали и яицкие казаки «старшинской стороны, оставшиеся верными Екатерине Второй и сидевшие в оренбургской осаде. Они не были уверены в том, что недолгое время спустя им не придется сдать пугачевцам город. А если так, то лучше не злить и попусту не раздражать мятежников, рассуждали они.

В последние дни перед прибытием Салавата в Берду повстанцам везло.

Только что после большого сражения были разбиты войска генерала Кара, назначенного главнокомандующим всеми силами, сражавшимися против повстанцев. Сам генерал Кар, осознав бесплодность своих стараний победить Пугачева силами инвалидов-солдат, казаков, искавших лишь случая, чтобы бежать к бунтовщикам, и «инородческих» ополчений, бросив свое бесполезное войско, помчался в Москву, чтобы требовать сильного подкрепления, как в настоящей войне.

Вслед за бегством разбитого Кара и захватом части его людей и оружия Пугачев одержал победу над отрядом полковника Чернышева, шедшего на подкрепление Оренбургу. Три тысячи пленных солдат, казаков, и тридцать четыре повешенных офицера — вот что ознаменовало эту победу.

Пугачевцы праздновали ее пьяно и бурно.

Салават прибыл в Берду как раз на следующее утро, когда веселый, хмельной казачий разъезд повез к оренбуржцам победную реляцию о предложении о сдаче.

Шутник, пожилой мясистый казак Аржаницын, захватил с собой для насмешки мешок специально наловленных крыс к столу губернатору Рейнсдорпу. Подъезжая под крепостные стены, казаки уже заранее предвкушали шумную, озорную перебранку. Морозное утро бодрило коней и всадников и освежало хмельные головы казаков.

Узнав, с какою потехою едет разъезд, множество любопытных бездельников увязалось вслед за разъездом, чтобы видеть забавное зрелище.

И вот, когда подъезжали они под самые стены, вдруг, против обычая, грянул, как гром из ясного неба, пушечный выстрел и огненный сноп картечи хлестнул по коням и всадникам.

Веселье сменилось ужасом. Казаки повернули своих лошадей и помчались к Берде. Но шестеро из десяти оста-

лись лежать под стенами, и в том числе тяжеловесный веселый выдумщик Аржаницын...

В смятении прискакали казаки в Берду.

Шумным ропотом встретила толпа бунтовщиков рассказ уцелевших казаков. В предательском пушечном выстреле видели все словно нарушение неписаного договора, и все в один голос ругали оренбургского губернатора, которого считали виновником этого нарушения.

— Погоди, дай взять крепость — первая петля ему! — кричали в негодовании из толпы, обступившей рассказчиков.

Тут же на улице молодому казаку, несмотря на утренний холод, сняв рубаху, перевязывали двое товарищей простреленный бок.

Самый вид раненого казака, со страшной руганью сучившего кулаки на Оренбург, и кровь, окрасившая его рубаху, сильно взволновали Салавата. Сердце его застучало громче.

«Вот и война!» — подумал он, и все героические мечты, с детства тревожившие его мысль, вдруг собрались воедино, как бы принесенные каким-то чудным ветром из глубины прошедших годов, и ураганом понеслись в голове. Страсть охотника и бойца закипела в нем той же сладкой истомой, как при наезде на толпу мастеровых, так же, как и в детстве, когда выезжал на охоту за орлами, как при набегах с Хлопушею на дворян.

Целый день бродил Салават, как чужой, по улицам слободы, он не знал, чувствовать ли себя пленником или добровольным гостем.

Видя множество людей с оружием, подъезжавших со всех сторон к Берде, он не понимал, почему царь не велит им тотчас же взять Оренбург и позволяет им празднично сидеть в кабаках слободы, пьяными шататься по улицам да играть в орлянку.

«Был бы я здесь главным командиром, — думал юноша, — я бы показал генералам... Я бы не стал дожидаться царицы, пока на помощь Оренбургу придут еще солдаты, а тотчас бы взял город».

К вечеру он стал с возмущением думать о том, почему его не зовут к царю. «Разве не нужна ему помощь?» — удивлялся Салават.

Нетерпение мучило его.

Он почти не прикоснулся к еде и только, слыша изредка одиночные выстрелы, которыми казачьи разъезды обменивались с осажденным гарнизоном, каждый раз хватался за пистолет, заткнутый за пояс.

Целый вечер он ожидал, что придет Овчинников, но того так и не было.

Салавата мучила тоска. Со злостью слышал он пьяные песни, доносившиеся откуда-то из кабака или с богатого казацкого двора, где казаки сошлись отпраздновать победу.

Салават видел днем эти тридцать четыре трупа повешенных офицеров. Он ненавидел офицерскую форму с того часа, когда офицер приказал бить Юлая плетью по спине. Вид офицерских трупов порадовал его в первый миг, но когда он всмотрелся ближе в лица казненных, казнь вызвала в нем отвращение.

«Я бы лучше башки им посек или стрелами пострелял...» — подумалось Салавату.

В избе мерно капала в лохань вода из треснутого ручкомойника. За окном шумел дождь. Салават думал о своих товарищах, оставшихся под стенами Берды.

В томлении от безделья он лег на скамью и заснул рано вечером. Его разбудили крики, топот копыт и бегущих людей и отдаленный гул пушек... Салават мигом выскочил из избы. Смятение и тревога царили на улице. Оказалось, что казаки до того бурно праздновали накануне победу, что даже и те, кто выслан был на дороги, чтобы держать осаду со стороны Яика и Самары, перепились допьяна. Один из лучших полковников государя, Иван Зарубин, по прозвищу Чика, высланный со сторожевым полком, ночью проспал, и в осажденный город во тьме и во мгле непогоды прошло подкрепление под командою генерала Корфа, да еще привезло с собою богатый обоз провианта.

И вот, обрадованный своею удачей, беспокойный Корф, едва дождавшись в стенах Оренбурга рассвета, вывел на вылазку гарнизон и, решительно двигаясь к Берде, разбил и обратил в бегство передовые заслоны пугачевцев.

Едва успел Салават услышать об этом, как со стороны Оренбурга снова послышалась пушечная пальба и по улице проскакал из крепости большой конный отряд.

— Государь, государь, сам государь! — раздались голоса кругом, но Салават не успел рассмотреть государя в лицо и заметил только малиновый верх заломленной набекрень шапки.

В волнении бросился Салават за его отрядом. Он считал, что на войне во время сражений все разом во что бы ни стало должны ринуться в бой, и опасался, что пропустит битву. Каждый удар пушки волновал его больше и больше и вселял в его сердце былую отвагу... Каково же было его удивление, когда за воротами Берды он увидел тот же стан, дымящиеся костры с котелками над ними и кучки людей, с

пригорка следивших за ходом битвы у Оренбурга. Иные из них дожевывали краюшки хлеба, иные — чистили воблу, другие, полностью отдавая внимание бою, громко бранились, выражая тем самым уверенность в скорой победе своих. Овчинников удержал Салавата.

Заняв позицию на пригорке, за лагерем, Салават вместе с Овчинниковым увидели вдалеке при свете утра белые дымки пушек и бегущих от Оренбурга солдат, показавшихся издали крошечными людишками... Впереди пехоты из Оренбурга скакал конный отряд, преследующий бегущих казаков. И вдруг все изменилось: два конных отряда, вынырнув неожиданно из тумана, справа и слева ударили на оренбургскую кавалерию. Казачьи пушки грянули с двух сторон картечью по оренбургской пехоте... И те, кто бежал вперед, вдруг повернули обратно к городу, а отступавшие до того казаки, оправившись, бросились их преследовать. Издалека все это было похоже на ребячью забаву, если бы не сознание, что падающие фигурки людей не просто споткнулись, а ранены или убиты.

— Видал царя? — спросил Салавата какой-то татарин.

— А ты?

— Видал. Ух, смелый батыр!.. Как поскакал впереди всех!..

Приветственный клич, раздавшийся вокруг, прервал их разговор.

Царь с казаками ехал обратно в Берду, забив неприятеля назад в ворота Оренбурга... Казаки везли пленных.

Толпа безоружных повстанцев кинулась на поле битвы подбирать брошенные оренбуржцами ружья и сабли.

— Не подходите близко к стенам — картечью огреют! — предупреждали их.

Салават не успел подъехать, чтобы вблизи увидеть царя: толпа любопытных теснилась вокруг дороги, и он не мог протолкаться через толпу. Овчинникова он тоже потерял из виду.

Он возвратился в крепость в хвосте казачьих отрядов.

Мимо него протащили несколько пленных.

После вылазки оренбуржцев Берда вдруг изменилась, приутихла. Смолкли песни по кабакам, замолчали неугомонные балалайки, больше не слышно было ни выкриков пляски, ни громкого хмельного смеха.

Казаки затаились, засели по домам, и самый вид домов казался в сгущавшихся сумерках тревожным и угрюмым.

Кучки бородачей сходились у ворот и крылец, с оглядкой о чем-то вполголоса совещались.

По перекресткам явились усиленные караулы.

Общая тревога передалась и Салавату.

Говорили, что в Берде и возле Берды стоит восемь тысяч войска, из них Салават привел целую тысячу. Кого же, как не его, было встречать с почетом! Он ждал почета и считал, что его заслужил. И вот царь не звал его, не хотел его видеть, с ним говорить...

Побродив одиноко по улицам крепости, Салават забился в избу, где его оставил Овчинников, ожидая, что вот он придет наконец и позовет к царю.

На улице поднялся сильный ветер, начался дождь.

Широко распахнув дверь, в избу ввалился мужик с топором в руках, в рыжем нагольном тулупе, в лаптях и без шапки.

— Где Овчинников?—громко и требовательно спросил он.

— Ушел, — односложно сказал Салават.

Мужик подошел к нему и дыхнул в лицо водочным перегаром. Салават с отвращением отшатнулся. Мужик не заметил этого.

— Слышь, киргизец, ты не казак. Скажи русскому человеку — какую измену казаки затеяли?—тихо спросил он.

— Измену? Не знаю измены... Пьяный ты... — презрительно сказал Салават. — Иди спать.

— И ты заодно с казаками!—воскликнул мужик. — Мы спать, а вы убежете, и нас в полон заберут!

— Ей-богу, не знаю, — отозвался Салават.

— Врешь! Знаешь!.. Бежать собрались от народа? Боярам нас выдать?! Думаешь, не знаю, что пушки к увозу готовят да лошадей овсом кормят!.. Мы все одно не пустим. С кольями встанем!..

Лапотник погрозил топором Салавату и вышел, захлопнув дверь.

По его уходе тотчас вошла хозяйка-казачка. Торопливо стала собирать по избе вещи, совать в высокий, обитый железом сундук.

— Куда собираешь?—спросил Салават, поняв, что лапотник в чем-то был прав и в крепости творится неладное.

— На кудыкину гору!—отозвалась казачка и вдруг, смутясь, пояснила: — Мать захворала. К матери еду... Сам знаешь — родная мать-то одна...

По ее смущенному и торопливому бормотанию он понял, что женщина говорит неправду.

Салават вышел из дому. Еще утром, томясь бездельем, он осмотрел снаружи «дворец», в котором жил царь, и даже одним глазком заглянул в окно. Он увидел золоченые стены

горницы, развешанное по стене оружие, человека, который, низко склоняясь к столу, что-то писал и поминутно чистил о длинные волосы кончик гусиного пера.

Караульный казак сурово окликнул любопытного зеваку, и Салават отошел, благоговейно косясь на «дворец».

Зараженный общей тревогой, он теперь вдруг обиделся на караульного казака, отогнавшего его от царского дома: значит, царь то же, что и царица!.. К нему не придешь, не скажешь... Значит, прав Бухаир, что русский всегда враг!.. Салават подумал — пойти к своему отряду, но что скажет он им?! Что его не пускают к царю? Что он не видал царя?

Ему было стыдно прийти так. «Зачем ты нас вел сюда? — спросят его темяри и башкиры. — Поверил бумаге? Тебя обманули, а ты обманул нас...»

Бросить все и уйти домой. Пусть дерутся себе царь и царица... Мулла тоже дерется со старшей женой. Какое до этого дело соседям!

Салават остановил себя. Уйти просто, но уйти, не испытав, чего хочет царь, что он обещает башкирам, — это было бы непростительно... Салават знал, что отец писал о своих спорах с заводчиками царице. Он не получал ответа. «Далек Питербурх, — говорил старшина. — Если бы сам поехал туда — добился бы, увидал царицу и все порешил!..» Но Юлай не решался ехать в такую даль... «А что же, — спросит он Салавата, — ты был рядом с царем, видел дворец и не добился?.. Когда еще будет такой случай, что царь приедет из Питербурха сюда!..»

И Салават решил все выяснить лично. Прийти к царю и спросить его смело и прямо: «Что дашь башкирам? Они пойдут за тебя, а что ты им дашь?..»

Пусть царь ответит...

Так размышляя, стоял Салават у ворот дома, где помещался Овчинников, когда тот подъехал и сам.

— Здорово, батыр! Ну как, не видал еще государя?

— Какое! — отчаянно махнул рукой Салават.

— А ты не крушишься — увидишь. Я сам про тебя государю ныне скажу. Меня самого еще до него покуда не допустили. Добьемся!

— Салават-агай! — в это время обрадованно окликнул молодой башкирин с другой стороны улицы. — Насилу тебя я нашел, — сказал по-башкирски юный, преданный Салавату Абдрахман, больше всех веривший в лук Ш'тали-Ш'кмана и, как святыню, хранивший, пока не было Салавата, сделанный им когда-то курай.

— Ты зачем сюда, Абдрахман? — спросил Салават.

— Салават, ты покинул войско. Ты забыл, что Мустай — друг писаря. Он смущает народ без тебя... Если ты не вернешься к войску, он всех уведет назад в горы... Я за тобой, Салават-агай! Едва нашел тебя.

К удивлению Салавата, Овчинников понял башкирскую речь.

Пусть малый останется тут в избе. Когда государь укажет, я пошлю его за тобою, — сказал казацкий полковник, — а ты иди к войску!

И, оставив в избе Абдрахмана, Салават зашагал к Сакмарским воротам крепости.

Улицы опустели. Погода переменилась, моросил мелкий дождь, и под ногами хлюпала грязь.

Тревога, охватившая Берду, казалось, висела и в вечерней мгле. Проходя по улицам, Салават слышал какую-то сдержанную возню за воротами во дворах, приглушенные восклицания, звяканье конской сбруи.

Салават понял, что недаром тревожился мужик с топором: тайно готовилось в крепости что-то большое...

Как и другие отряды, пришедшие с Урала, башкиры Салавата толпились под стенами Бердской крепости. Дождь лил с короткими передышками, мелкая осенняя морось сменялась ливнем, и все промокло вокруг. Нельзя было найти для костра сухой щепки. Войлочных кошей было немного, их не хватало на всех. Башкиры были мастера строить шалаши из ветвей и луба, но в оголенной местности все ветви были порублены на шалаши, все деревья разбиты в щепу для костров великого войска, которое с каждым днем и часом все больше возрастало.

В первые часы они в возбуждении ждали царских указов, ждали возвращения Салавата, ждали, что царь позовет их в битву... Но шли сутки, другие, и ничто не менялось...

День протекал в безделье, медленный, нудный, ленивый. У кого были коши, те спали, тесно прижавшись боками или дыша друг другу в затылки, но прошел ливень, и под края кошей налилась вода, промокли кошмы, подушки.

Люди возились перед кострами, стараясь раздуть огонь, но сырые дрова шипели и без пламени превращались в золу... Прокопченные дымом, вымазанные сажей, с золой в бороде, усах и бровях, голодные люди бранили царя, всех русских и Салавата.

Кинзя спал целый день. А что было делать, стоя табором под дождем на одном месте? Что значит начальник, когда нет ни похода, ни битвы? Приказать дождю, чтобы больше не лился? Не станет ведь слушать! И Кинзя простодушно спал...

Зато не спал Мустай — друг и приятель писаря Бухара. Он не сидел на месте: целый день переходил он от коша к кошу, от кучки к кучке людей, от одного едва дымящегося костра к другому, разжигал недовольство, будил гнев и ненависть...

— Ждем тут у ворот, как нищие подачки!—ворчали башкиры и мишари. — Вторые сутки сидим. У нищего больше стыда — тот бы плюнул, ушел от такого дома!

— Смотри, смотри — казаки ходят в крепость, из крепости, а нам не велят, нас не пускают! Мы тут, как свиньи, будем валяться под дождем!—озлобленно указывали друг другу голодные и промокшие люди.

— А все кто виноват? Салават!—подзадоривал Мустай.— «К царю пойду! Царю скажу!..» На царские милости у него разгорелись глаза: хотел первым из всех прибежать к государю, хотел подслужиться... Ан что-то назад не идет? Небось не так просто к царю-то!.. Ох, чем все это кончится, бай-бай-ба-ай!.. — вздыхал друг писаря.

— А чем, сказать, кончится? Ты на что намекаешь?—в испуге спрашивали более робкие.

— Как вперед-то узнаешь?!—разводил руками Мустай. — А все-таки вышло неладно: нас царица звала идти на царя, а мы-то пошли ведь к царю, значит — против царицы. Ну, кто же мы теперь? Солдаты царя? Нет, царь нас к себе не принял... Ведь мы — ни то ни се, бунтовщики какие-то!

— И то ведь сказать — ни туда ни сюда не попали! — покачивали головами собеседники Мустая.

— Салават обещал нам почет у царя. Почета ведь кто не хочет! Ну, вот мы пришли... Мы думали — царь для нас сразу станет барашков резать, золота каждому насыплет по полной тюбетейке, а он нас и знать не хочет!..

— Не очень ведь хочет, пожалуй!—признавали отдельные голоса.

Смутные речи Мустая породили во всем стане смутные мысли.

— Дождь, ветер... Я в такую погоду собаку не прогоню из дома — пусть лежит у огня. А мы, знать-то, хуже собак для царя, — шептались люди между собою. — Мяса куска не сварить!

Мустай понял, что его разговоры сделали дело: он смутил народ, поселил раздражение и страх. Тогда он пошел в кош Кинзи, который беспечно спал.

— Кинзя! Чего мы тут ждем под стенами! Давай увести народ... Чего мы тут ждем? — с жаром заговорил Мустай.

— Как так «чего»?! Салават ведь к царю пошел. Его-то и ждем! — ответил, потягиваясь, Кинзя.

— Судьба стольких воинов в руках одного мальчишки, который три года не жил среди своего народа. Что смыслит он в наших нуждах? Чего он добьется?! Забрался в крепость, попал к царю во дворец, сладко пьет, ест, сидит и забывает уже о том, что мы тут, как собаки, скулим у порога!..

Кинзя засмеялся:

— Ай-бай-ба-ай! Ты сам хотел бы сидеть у царя за столом и есть его бишбармак!.. А тебя-то к столу как раз не позвали!

Мустай вспыхнул:

— Стыдно, мулла Кинзя! Ты человек ученый, и я ученый. Не будем играть недостойной игры со словами. Я хочу сказать, что если бы ты или я говорили с царем, то знали бы лучше, чего потребовать от царя за помощь против царицы... По правде сказать, что нам за дело до царя и царицы? Пусть царь возьмет ее в плен и выдерет за косы: на то он ей муж. Пусть царица поймает царя и удавит да выйдет сама за кого-нибудь замуж. Какое нам дело! У нас ведь заботы свои — давай уведем людей по прямой дороге ислама. Царь не сумел принять нас достойно — уйдем. Давай звать народ на Урал! Давай уходить, пока не пришла напасть!— призывал Мустай.

— Какая напасть, Мустай-агай? Что за напасть?—спросил Кинзя.

— Ты спишь, Кинзя. Не видишь, что творится: со всех сторон нас окружают солдаты, а казаки бросают крепость, я считал — из ворот прошло пятнадцать возов с казацким добром. Они уходят к себе по домам, а нас покидают на растерзание солдатам царицы. У нас нет ни ружей, ни пушек... Нас тут одних окружают: кого перебьют, а кого и живыми захватят, судить нас будут, а с нами судить весь наш народ. Скажут: «Кто бунтовал? Одни башкиры бунтовали. Повесить вожаков на железные крючья за ребра, обрезать им уши, повырывать им языки, а деревни все сжечь, а детей забить плетями, а женщин отдать в рабство!»

Вслед за Мустаем в кош Кинзи во время этой беседы один по одному пробирались башкиры. Речи Мустая слушало уже десятка два собравшихся воинов. Слова Мустая, которые он твердил, начиная еще со вчерашнего дня, находили все больший отзвук в сердцах промокших голодных людей.

— Пугаешь, Мустай! Чего же ты хочешь? Народ знает лучше сам, куда он идет. Народ не бараны!—усмехнулся Кинзя.

— А за кем мы пошли? Кому поверили? Певцу Салавату? Его дело песни складывать... Певец всегда будто пьяный... Помнишь, Кинзя, что сказал пророк Магомет о певцах: «Они шляются всюду, горланят слова, нашептанные им дьяволом, и увлекают заблудших...» Нам надо спасти народ от безумца. Мальчик в игре напялил себе на лоб коровьи рога, а вы подумали, что он и вправду Искандер Двурогий... Что за вождь для народа мальчишка, забывший родные обычаи, несколько лет таскавшийся по дорогам? А может быть, правду шепчут в народе, что он крестился...

— Мутишь, Мустай! Писарь велел тебе всех мутить?!— вдруг накинулся с возмущением Кинзя на Мустая. — А ну-ка, заткни свою бабью глотку, не то вот как раз укажу тебя тут же повесить!..

— Повесить?!—Мустай вскочил. — Меня, что ли, повесить?! Башкиры! Кто не крестился — за мной!—позвал он окружавших.

С ним поднялся приятель Рашид.

— Я с тобой!—готовно выкрикнул он.

— Стой-ой!—У самого входа в кош из сумрака вышел Вали. — Никуда не уйдешь!.. — Вали выдернул саблю из ножен.

Рядом с Вали вскочил Хамит и Муса с ножами в руках.

— Не пустим отсюда, — сказал Муса, преграждая Мустаю выход.

— А ну-ка с дороги!

Мустай и Рашид обнажили сабли, готовые с кровью пробиться через толпу. Клинки ударились о клинки. Народ раздался в обе стороны, остерегаясь случайных ударов.

— Разнять их!—крикнул Кинзя. Он вскочил и протянул между противниками пику.

Но в этот миг в кош вошел Салават.

— Убрать сабли живо!—решительно приказал он.

Мустай и Рашид покорно вложили сабли, но их противники, чувствуя силу на своей стороне, преграждая выход из коша смутьянам, стояли по-прежнему с обнаженными клинками.

— Всем убрать сабли, — повторил Салават, строго взглянув на Вали и Хамита.

Те опустили клинки в ножны.

— Я слышал все, — сказал Салават. — Мустай, уходи к своему Бухаирке. Трусам не место в войске. Иди от нас, я тебя изгоняю.

— Меня?!—Мустай ударил себя кулаком в грудь.

— Тебя, — твердо сказал Салават. — Уходи, без тебя не будет раздоров и робости.

— Я уйду, — заявил Мустай.

Он хотел уйти сам. Он хотел увести за собою людей, крикнуть башкирам, что Кинзя стремился его удержать насильно на царской службе. Он хотел вырваться силой оружия, стать героем в глазах многих... Но вот пришел Салават, велел вложить саблю в ножны и без оружия, просто одним только словом, изгоняет его из войска...

Мустай принял гордую позу.

— Идем, Рашид, — позвал он своего союзника и взял его за плечо.

— А мне-то куда же? — растерянно спросил тот, оглянувшись на Кинзю.

— Туда же, за ним ступай. Ведь ты за Мустая поднял свою саблю, идите уж вместе, — сказал Кинзя.

— Мне куда от народа! — воскликнул Рашид. — Я буду как все... Мустай мне дул в уши со вчерашнего дня, ну и сбил меня с толку... Я буду со всеми...

— У-у, собака! — проворчал Мустай, с ненавистью взглянув на Рашида. — Оставайся, продайся русским. Будь одним из баранов в стаде Салавата... Уйду без тебя! — Он вышел из коша.

— Проводите его за табор, — приказал Салават. — Пусть идет к своему Бухайрке.

Спокойная уверенность Салавата сделала свое дело. Его обаяние покорило колебавшихся воинов, которых Мустай завлек было в свои сети. Все шумной гурьбой пошли из коша, чтобы выпроводить Мустая.

Салават и Кинзя остались вдвоем.

— Что сказал тебе царь, Салават? — спросил Кинзя.

— Меня не пустили к нему, — признался Салават. — После битвы царь с черным лицом воротился в крепость и заперся во дворце... Там Абдрахман остался. Как царь позовет, он сюда прибежит.

— Сердит, что ли, царь?

— Указ там читали — кто водки напьется в войске, того казнить. Кабаки указали закрыть и царскую печать наложили на двери. Двоих казаков каких-то повесили нынче, — рассказывал Салават.

— Да, царский гнев ведь не шутка! — понимающе отозвался Кинзя. — Лучше, конечно, дождаться, когда царь подобреет.

— А куда нам спешить! — стараясь держаться бодро, согласился Салават.

— Кабы не дождь, то куда и спешить! — ответил Кинзя. — Ты бы сказал казакам, чтобы нас хоть в крепость пустили. Казаки ведь ходят туда и сюда, а нас не пускают.

За кошем Кинзи послышалась многоголосая русская песня. Салават и Кинзя — оба вышли выглянуть на вновь подходящий отряд. Это была толпа пеших людей с косами, вилами, топорами, дубинами. В толпе в полторы сотни воинов всего с десяток людей сидело по коням. Они уверенно двигались к воротам Бердской крепости.

Салават и Кинзя с любопытством следили, что будет.

— Пойдем-ка поближе к воротам, — позвал Кинзю Салават.

Башкиры и тептяри с разных сторон толпою сбегались сюда же. Всем было интересно поглядеть, отворят ли казаки ворота для новых русских пришельцев.

Кто-то из русских уже дубасил в ворота.

— Эй, отворяй, воротные! Заснули, что ли?!—крикнул свежий молодой голос, такой молодой и звонкий, что показался женским.

— Крепость не гумно — держать ворота настежь!—почающе откликнулся с воротной башни караульный казак. — Что там за люди?

— Казаки государю на подмогу, — ответил тот же женский голос.

И, протеснившись сквозь толпу ближе к воротам, Салават увидел, что впереди отряда в самом деле женщина, опоясанная саблею, с пикой в руке.

— Ишь ты, казаки?! А ты пошто ж? Ведь ты, похоже, не казак, а девка!—насмешливо сказал воротный.

— Я казачий ватаман. Отворяй, говорю!—нетерпеливо крикнула необыкновенная предводительница отряда.

— Вот так ватаман, — равнодушно зубоскала, подхватил воротный казак с башни. — Ах ты, вояка с пушкой! Вот мать честная!.. Да ты бы лучше замуж, что ли!.. Нечистый дух, бедовая!..

— Отколе же вы прибрались?—спросил первый казак.

— Тебе небось с башни видно: где зарево от дворянских домов, оттуда и мы пришли.

— Оттоль, где баре ножками дрыгают на воротах!—поддержали атаманшу голоса из ее отряда.

— Эх, лапотные души! Да какие же вы казаки? Господска челядь вы... Казаки! Скажут тоже! Елки-палки — сме-ех!.. — забавлялись воротные, не сходя с башни и не думая отпирать.

— Да что вы, песьи души, зубы скалите на башне! Народ с дороги притомился, а вы не пускаете в крепость. Зови к нам главного полковника государева!—потребовала атаманша,

— И тут вам места хватит, вон поле сколь широко — выбирайте себе!—уже без шутки ответил казак. — Не велено в крепость чужих пускать.

— Да какие же мы чужие!

— Кто впускать не велел, ах ты, нехристь?!—послышались голоса из толпы крестьян.

— Не супостаты мы. Как можно к государю не пускать? Ить мы крестьяне православные.

— По избам тесно в крепости, не продохнешы!—пояснил воротный.

— А что ж, что тесно!—возразили снизу. — Ведь теснота не лихость. Друг дружку потесним — и всем тепло!

— Да что ты, отец, с нами в спор!—уже сочувственно ответил казак с башни. — Начальники ведь не велели народ пускать в крепость. А наше дело малое: стой на воротах да посматривай — береги государево войско. Пождите до утра. Утром скажут...

Толпа у ворот стояла уныло, не расходясь, не подыскивая себе никакого места. Да и что им было в месте — не кочевники: с ними не было войлочных кошей, только вымокшая одежонка на плечах укрывала их от ветра и дождя.

— Видишь, русских тоже не впускают, — утешил Салават Кинзю.

Стоявшие за их спинами башкиры и телтяри шептались о том же.

Наступила ночь. Костры едва тлелись по широкой степи. Опять моросил дождик. Вновь прибывшие крестьяне, не выбирая места в степи, прижались к самым стенам крепости, стремясь под ними укрыться от дождика... Салават хотел уже пойти к себе в кош, когда по ту сторону деревянной стены в крепости послышался топот копыт, скрип колес, голоса людей.

— Эй, воротные! Давай-ка отворяй!—крикнул кто-то снизу.

— Кто едет?—спросил караульный казак.

— Слезь, тогда увидишь! Разуи глаза-то!—повелительный окрик.

— Нам попусту спускаться не указ. Ты сам отзовись!—откликнулся воротный.

— Да ты что, сатана, оглох? Ить я государев судья войсковой!

— Алекса-андра Иванович!—зашумел казак. — Прощенья просим. Ить, право, я тебя по голосу не признал! Сей миг отворю!

Слышно было, как казак поспешно затопотал сапогами, сбегая по лестнице с башни.

Второй казак, склоняясь с башни, негромко окликнул: — Эй, ватаманиха! Сам Творогов едет. Он у государя в первых. Проси его. Укажет, то и в крепость вас впустим...

Салават услышал эти слова и тоже зашагал к воротам.

Толпа русских крестьян, башкир, тептярей, мишарей сбилась у самых ворот. Слышны были какие-то переговоры и перекоры, пока отпирали замки на воротах изнутри крепости, но вот ворота со скрипом растворились, и с понуканием и хлестом кнутом из ворот потянулись воза.

— Куды-то столько возов?—спросил воротный, которого Салават узнал по голосу.

— Не твоего ума! Сколько надо, столь и возов!—огрызнулся хозяин обоза.

— Тпру-у! Но-о, пошла-а!.. Давай, давай влево! Смотри, бес, колесом-то в яму! Зава-алишы!.. — кричали казаки-возницы, нахлестывая лошадей, выводя их под уздцы и присвечивая фонарями под колеса возов.

— С дороги! Эй! Что за толпа сошлась?!—грозно прикрикнул рослый казак, войсковой судья Творогов. — Дайте-ка возам проехать!

Первой осмелилась подступить к грозному начальнику крестьянская атаманша:

— Лександр Иваныч, укажи воротным нас в стены пустить.

— Отколь вы пришли, что за люди?

— Из крепостных крестьян мы, по государеву кличу сошлись...

— А мы ведь башкирцы, тептяри, мишари — всяких народов люди, — сказал Салават, подошедши к Творогову.

— Когда ж государь баб-то кликал? Для бабьей службы у него и казачек довольно будет!—обратясь к атаманше, насмешливо пошутил Творогов, даже не глядя на Салавата.

— А ты бы зубы-то не чесал, Лександра Иваныч, — отрезала атаманша. — Ведь люди домá побросали, семейки покинули, землю, господ побили, на государеву службу пришли, а ты над судьбой народной и над царским указом глумишься, как скоморох!

— Я вам без шутки, братцы, скажу — и башкирцам и русским, — серьезно сказал Творогов, спрыгнув с седла. — Шли бы вы все по домам, откуда прибрались.

— Как по домам?! Ведь мы к государю!—воскликнул Салават, не веря ушам.

— Мы к батюшке пресветлому царю. Он нам письмо писал, — подхватили в толпе крестьян, окружая Творогова.

— Дьячок читал!—раздались голоса.

— Мы всем сходом слушали да сразу и взялись кто за топор, а тот — за вилы...

— Лихо!—воскликнул Творогов и добавил: — Да, вишь, ныне уж и нужда миновалась у государя.

— Аль с государыней примирился?—спросил пожилой крестьянин. — Ну, дело божье, любовь да совет... А крестьянам-то будет ли воля?..

— Да как ведь сказать.., — неопределенно начал Творогов.

Но в это время воротный казак подошел к нему.

— Александра Иваныч, а дозволяю-ка спросить тебя не во гнев: куды ты с собою из крепости пушки повез?

— А ты что за спросчик?—одернул воротного Творогов.

— Я не спросчик, а караульный казак, — не унялся тот.— Я службу знаю! Пошто с тобой пушки?—настойчиво повторил он.

— Те пушки мои. Я сам их с Яика вез на своих лошадях!

— А я мыслил — царские пушки!—сказал казак. — А где же ты такой закон взял, что пушки твой?

— Не твоего ума!—остановил его Творогов. — А сказываешь, что службу знаешь! Стратигия — тайное дело!—поучительно сказал он. — Куды государь указал, туды и поставлю их, чтобы способней палить. А перед тобой мне ответ держать не пристало. И недосуг мне с тобой.

— Ан я человек-то досужий и с любопытством тоже! — с дерзкой насмешкой возразил казак.— Стратигия — тайна, конечно. Не смею пытаться, куды пушки поставишь, а с бабой пошто?

— С какой бабой! Ну-ка, с дороги!—оттолкнув воротного в грудь, нетерпеливо прикрикнул Творогов.

— А с той бабой, какая сидит на возу-то с тремя сундуками. Картечью ее заряжаешь, что ли?!—не отступался казак.

— Пусти-ка ты, зубоскал!—в смущении и со злостью воскликнул Творогов и взялся за луку, ставя ногу в стремя.

Но воротный казак ухватил коня под уздцы, а другою рукой дернул Творогова за полу полушубка, так что дюжий судья повалился наземь.

— Не пуцу! Так-то пушки из крепости не вывозят!—со злостью рыкнул казак. — Где проходная бумага на пушки?

— А вот тебе проходная!—Творогов живо вскочил развернулся и ткнул казака под глаз кулаком.

Казак пошатнулся, схватился за глаз.

Салават решительно надвинулся на Творогова.

— А ведь мы тебя свяжем, казак!—твердо сказал он.

— Меня?! Да я вот велю моим казакам... — заикнулся тот.

— И тебя!—поддержал Салавата воротный казак, хватая за грудь войскового судью.

— И свяжем!—воскликнула мужицкая атаманша. — Куды от царя пушки тащишь?!

— Ах вы, нехристи окаянные! Да что вы к нему привя-зались! Ить он войсковой судья, ироды!—внезапно раздался бабий визгливый голос. И тучная казачка, расталкивая толпу, подступила к Салавату. — Не он один пушки тащит! А через те ворота сколь проехало люду — и пушки и порох увозят... Уж раз порешили на Яик...

— Молчала бы, дура!—крикнул Творогов.

— Вот ты с женой-то как — «дура»! А сам и умен. Говорила тебе — ну их к лешему, пушки! Говорила — гляди, по-падешься!.. Вот и вправду!—кричала всюю Творожиха.

— Распахнула хайло-то! Уймись!—одернул ее муж.

— Не уймись! Говорила — идем через те воротá! — рас-кричалась баба.

— Так, стало, судья, ты на Яик собрался?—спросил во-ротный казак.

Салават не дослушал спора. Он мигнул стоявшим вбли-зи башкирам. С десятка сметливых парней отошли с ним в сторону, где окруженные толпой народа, стояли атаманские вozy и две пушки. Салават решительно подошел к одной из них, вытащил из-за пояса топорок и мигом срубил по-стромки.

Ездовые казаки бросились на него, но толпа их мгновенно смяла. Кинзя отрубил постромки второй пары коней. Их отвели от пушек. Ездовых казаков повязали. На руках баш-киры катили пушки назад к крепости, где продолжалось еще препирательство с Твороговым.

— Постромки срубили?! Бунт! На царских слуг!—закри-чал Творогов.

Он выхватил пистолет и направил на Салавата, но преж-де выстрела ринулся на него из толпы один из башкир. Гря-нул выстрел, и башкирин упал.

Воротный казак и двое-трое крестьян схватили Творо-гова.

— Вязать его! — сказал Салават.

— Измена! Братцы! Каза-аки! Изме-ена!.. — кричал Тво-рогов стараясь, чтобы его услышали в крепости, но на голову ему накинули шубу, повалили, скрутили.

Только тут Салават узнал, что его спасителем от пули Творогова был Абдрахман.

Раненный в плечо из пистолета, пока ему перевязывали рану, он сказал Салавату, что Овчинников выдал ему проходную, велел поскорее вести ко дворцу башкир. Он сказал, что царю угрожает измена, и велел торопиться.

— Ей, дядька! Ты видел измену?—спросил Салават воротного казака. — Изменщики не велели пускать нас в крепость. Нынче давай мы скорее пойдем, а девка тут с вами станет беречь ворота. Никого из ворот не пускать. Кто с возами будет — возы вываливать тут прямо на дорогу.

Казак кивнул.

— Гасить костры!—приказал Салават башкирам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Еще до прибытия Салавата с башкирами к Берде яицкие главари сошлись на тайный совет в избе казачьего полковника Лысова.

Им нечего было таить друг от друга: общие интересы во всем связывали их, и речи их были прямы и откровенны.

— Куды ни кинь, а все клин!—сказал старик Почиталин. — Мы тут осадничать будем, стоять, Оренбурх караулить, а в ту пору дома наши все разорят.

— Вставали за дело казачье, — начал Яким Давилин, — а стоим...

— ...за собачье!—перебив, подсказал Лысов.

— «Царь-батюшка», вишь, орлом в облаках летит: мало ему почета от яицких — он всю Расею хочет подмять под себя, — ворчал Коновалов.

— Крылышки надо орлу подстричь:—опять перебил Лысов. — Губим казачество за чужую нужду. Мужиков он, вишь, ублажает, чувашам пособить сулит, солдатам беглым он тоже отец родной.

— Да всем, окромя одних казаков, — подхватил старик Почиталин.— Заводским рубашки сулит раздать, рудничные беглецы да колодники с каторги ему дети родные...

— А чьи хутора пожгут! Чье хозяйство на дым сойдет?!—выкрикнул Дмитрий Лысов. — Я так сужу, атаманы: вечер Перфильева хутор сгорел от Корфа, сколь других горят, мы не ведаем, а надо идти к домам. Так и скажем царю: «Военной коллегией приговорили: больше осаде не быть. На Яик идем, да и все!..»

— Верно! Ладно сказал! Не удумать лучше!—разом заговорили собравшиеся казаки.

— Так-то так, — вдруг всех охладил Коновалов, — а кто же скажет ему?

Казаки быстро и воровато переглянулись.

— Ты старший у нас!—нарушив неловкую заминку, бойко сказал Лысов Коновалову.

— И то!

— Кому же больше!—обрадованно подхватили остальные.

Коновалов синим платком отер со лба вдруг выступивший каплями пот.

— Говорить я красно не искусник, — забормотал он. — Вот, может, Давилин... Ближе ему... Он дежурный при государе...

— Яким?! Ась?! — спросил Почиталин.

— Нашли дурака!—усмехнулся Давилин. — Аль мне голова не мила?

— Андрей!—воскликнул Лысов, увидав в окно проезжавшего улицей Овчинникова, который, только что оставив в избе Салавата, скакал к царю. Лысов застучал в стекло, торопливо поднял раму окошка и крикнул: — Андрей Афанасьевич!

Овчинников оглянулся. Лысов поманил его, и минуту спустя, бросив коня без привязи у крыльца, полковник вошел в избу.

— Куда?—спросил Коновалов.

— К государю.

— С чем?

— Башкирцы переметнулись к нам! Привел больше тысячи, — довольный удачей, радостно сообщил Овчинников.

— Помолчи!—резко остановил Лысов.

— Как бы «сам» не прознал, — поддержал Почиталин, понизив голос.

— Куды ж медведя в мешок?!—шепотом воскликнул Овчинников.

— К государю не допускать — пусть за стенами табором станут, — указал Коновалов, — а мы...

Он не успел закончить: крики на улице привлекли внимание всех главарей казачества — это промчался обстрелянный из Оренбурга разъезд казаков.

Яицкие казачьи вожаки, пошатнувшись при первом же смелом выезде осажденных, начали подстрекать казацкую массу к тому, чтобы, снявшись из Берды, оставив осаду Оренбурга, идти всем полчищем в Яицкий городок. Они говорили, что к рассвету от государя будет указ, что войско снимется быстро и, кто отстанет, тот может попасть в руки солдат Корфа.

Боясь за участь свою и своих семей, которых низовое казачество немало свезло в Берду, казаки начали с вечера по дворам готовить к отъезду добро, делая это втайне от

скопища крепостных крестьян, заводских повстанцев и от нерусских воинов. Среди казаков шептались о том, что при переходе Оренбурга к наступательным действиям казаки окажутся отрезанными от яицкого понизовья, откуда большинство из них было родом и где оставили они дома и имущество.

Между тем сам Пугачев, человек большой личной отваги и незаурядного воинского удалства, и не думал о том, чтобы покинуть Берду. Он знал, что легко забитый обратно в Оренбург гарнизон не отважится скоро на новую вылазку.

Привычный к походам и боевой обстановке, умеющий мыслить как воин, он рассчитывал, что прибытие Корфа в город хотя на сегодня и усилило гарнизон, но через несколько дней станет худшей обузой для осажденных, когда истощатся привезенные Корфом в обозе фураж и провиант.

В то время, когда по всей Берде слышался шепот напуганных обывателей, а казаки тихомолком вязали возы, Пугачев, ничего не зная об этом, довольный удачей дня, победой над вылазкой Корфа, которую справедливо считал наполовину лично своей удачей, сидел вдвоем с сыном Трушкой.

При свете двух оплывающих свечей любовно вглядывался он в задорное личико одиннадцатилетнего Пугачонка, как называл его сам.

Трушка только вчера прибыл к отцу с надежным человеком, сумевшим опаста его от врагов.

Сквозь свое бродяжное прошлое, через походы, скитания, тюрьму и мятежные замыслы Емельяна Ивановича Пугачева пронес нежность к сыну. И даже теперь, когда, отрекаясь от имени Пугачева, он доказывал всем, что он «точный», единственный подлинный царь, — он не мог удержаться от сладостного соблазна держать при себе Трушку...

Пугачев был довольно умен, рассудителен и дальновиден, чтобы не противопоставлять малолетнего казачонка великому князю Павлу Петровичу. Он не называл его своим сыном, но предоставить сыну лучшую участь, чем беспокойная жизнь небогатого казака, было великим прельщением. Держа его при себе, Пугачев хотел для него использовать все возможности, представляемые судьбой.

— Есть у меня офицер. Третьеводни его в плен привели — Шванович. Грамоте он искусен на разные языки, — говорил Пугачев Трушке, — велю тебя обучать, по-русски и по-французски! Бог даст, одолеешь...

— Чего же не одолеть! — бойко сверкнув глазенками, перебил Трушка. — Дьякон сказал — я вострый на грамоту. Вб как перейму.

— Завтра начнешь, — ласково усмехнувшись, сказал Пугачев. Он погладил мальчишку по голове. — Только слышь, Трушко, — осторожно понизил он голос, — станет он тебя обучать — и ты полюбишь его. Станет тебе офицер тот как свой, как родня... А вдруг он и спросит: «Трушко, чей ты сын?» Как скажешь ему по правде?

— Государя Петра Федоровича, — напыщенно, с гордостью произнес Трушка, довольный своей догадкой и хитростью.

— Ой, врешь! Емельяна Иваныча Пугачева ты сын!.. «А где же твой батька?» — тоном воображаемого офицера опять спросил Пугачев.

— Да вот, на скамье! — бойко брякнул мальчишка, обрадованный тем, что однажды, хоть одному, человеку, он скажет великую тайную правду...

— Опять врешь, — с укором, тихо сказал Емельян. — Я государь Петр Третий...

— А Емельян где же? — в тон ему шепотом переспросил казачонок и опасно оглянулся, словно ища по комнате двойника.

— Царство небесное! Засечен плетью за имя мое, — сказал Пугачев и истово перекрестился.

Трушка растерянно перекрестился, глядя на него. Пугачев наклонился к сыну, желая что-то еще пояснить ему, но распахнулась дверь, и он отшатнулся от Трушки, словно его застали за преступлением. В горницу вошел «дежурный» при Пугачеве, казак Яким Давилин. Он почтительно поклонился, не глядя Пугачеву в глаза.

— К вам казаки, ваше величество, — произнес он.

— И Пугачев еще не успел ответить, как в избу целой толпой ввалились казаки. Это были Василий Коновалов, степенный и положительный, весом в двенадцать пудов, с бородой по пояс; молодой писарь, румяный, кудрявый Иван Почиталин; старик Яков Почиталин — отец Ивана, лукавый, с бегающими слезящимися глазенками; тут был и не раз битый плетью забубенный пьяница, смелый Иван Чика; Иван Бурнов, Михаил Кожевников и дерзкий, нахальный Дмитрий Лысов, с рыжей бородкой, без ресниц и бровей.

Все эти люди знали, что Пугачев — самозванец. Иные из них, как Чика, слышали от него самого, другие знали друг от друга — близкий круг людей, связанных прежде интересами своего казачьего войска, а теперь скрепленных общей великой тайной.

По тому, что почти ни один из них не глядел в глаза, перешагивая порог, по тому, что не выполняли они заведен-

ного ими самими обычая — входить церемонно, и по докладу, и по их суровой молчаливости Пугачев понял, что предстоит не обычное совещание с военной коллегией, членами которой являлись пришедшие казаки.

— К тебе, государь-надежа! — сняв шапку, первым сказал Коновалов, и общим гулом вздохнули за ним остальные, словно невнятное эхо: «К тебе... надежа...»

— Депутацией целой!—недовольно встретил их Пугачев. — Садитесь, гостями будете, — попробовал пошутить он, но шутка не вышла, и он ее сам оборвал со злостью:—Зачем пожаловали, господа атаманы?

Уже раза два приходили к нему атаманы такой же толпой, а такое же позднее время, и оба раза он вел с ними споры и вынужден был уступать их давлению. В таком составе, в такую пору они приходили к нему для того, чтобы напомнить, что знают, кто он таков, и угрозой принудить все делать по их желанию и в их интересах...

На этот раз казаки так же, как и тогда, мялись, подталкивая друг друга.

— Скажи, Иван, — вслух шепнул старик Почиталин Бурнову.

— Ты постарше, тебе говорить, — отозвался вполголоса тот.

— Говори, Яков Васильич, — громко поддержал Бурнова Лысов. — Чего там бояться, люди свои!

— Мнетесь чего?—нетерпеливо и резко понукал Пугачев.

— Страшаты вас, ваше величество, то и мнутя, — пояснил Коновалов, шагнув вперед, и под ним со скрипом погнулась половица.

— А ты не страшишься, Василий?—спросил Пугачев.

— Я смелой, скажу за всех, — махнув рукой, ответил Коновалов. Он вдруг принял деланную позу и заговорил не своим голосом, словно самый склад заявления, его предмет и общность мнений товарищей заставляли отречься от самого себя ради защиты общего интереса. — Докладывает военная вашего величества коллегия, что пора на зимовку в Яицкий городок и по Яику становиться вниз до Гурьева и до самого моря. Судит коллегия, что Оренбурха не взять — силен, а зимовать тут, по рассуждению атаманов коллегии, голодно, да и войска с Питербурха нагрянут — укрыться было бы где!—Коновалов побагровел и, вытянув синий платок, вытер с лица пот. — Хлопуша в заводах побит — значит, пушек не будет, а без них, знаешь сам, Оренбурха не взять... — Коновалов огляделся по сторонам, встретил взгляд Кожевникова и, припомнив, добавил: — Да ииород-

ческий корпус башкирцев супруга ваша, анпиратрица, призвала наши станицы грабить. Башкирская кавалерия рыщет уже недалече. Сам знаешь — башкирцы каков народ в драке! С той стороны марширует на нас Декалонг, с той башкирцы, тут Корф в Оренбурхе — мы как куры в котел попадем!..

Коновалов замолк. Молчали и остальные...

— Испужались?—спросил Пугачев. Молодые глаза его блеснули насмешкой. — Корф страху задал? А вы бы Чике сказали не воровать — пропил казачество! Кабы не он, мы б и Корфа отбили, не впустили бы в Оренбурх.

— Теперь не воротишы!—отозвался Лысов.

— Ладно, — остановил его Пугачев, которому был всегда неприятен этот наглый, как жирный кот, атаман. — Яйца курицу не учат. Как время придет, велю на Яик собираться...

— Коновалов не все сказал, — прервал Пугачева Лысов, и в «голых» глазах его сверкнула упорная решимость бороться.

— Еще чего?!—грубо спросил Пугачев, взглянув на Коновалова.

— Еще, ваше величество... — запнувшись, заговорил Коновалов, — судит военная ваша коллегия... что... государю... мол... что непристойно, мол, государю казачонка за сына держать... От того народу сумленье...

Трушка, робко взглянув на отца, придвинулся ближе к нему.

— Чего-о?!—грозно привстав с места, спросил Пугачев, словно загораживая собой сына.

— Отпустите, ваше величество, Трофима Емельяновича к матери, — сказал до того молчавший старший Почиталин.

— Во-он до кого добрались?!—еле сдержавшись, произнес Пугачев.

К матери же, не к кому!—вмешался Лысов. — Видано ль дело — дитя на войне держать! Непароком и пуля сгубить его может, — добавил он с каким-то особым значением.

— Грозишь?—спросил Пугачев.

— Голова моя с плеч! Чем грозить?! Все в вашей воле ходим!—нахально сказал Лысов. — Да что тебе за корысть, государь-надежа, от казачонка?!

— Пустили бы, — поддержал Кожевников. — Сами бы его проводили, надежного человека пошлем.

Казачки наступали со всех сторон. Пугачев удивился. О большом деле, о снятии с Оренбурга осады, они не спорили, а о Трушке вдруг завели спор, словно то был большой военный вопрос... Пугачев поглядел на них. Они напоминали ему стаю волков, окружившую однажды его в пустой, безлюд-

ной степи... Их было одиннадцать штук, и он справился с ними, а этих меньше десятка... «Ужель не справлюсь?» — подумал он про себя.

— Чем в вашем стаде Трушку держать — и пустил бы, рад бы, — сказал Пугачев. — Да боюсь. Любовь я ему оказал, а вы злы: кого люблю, на того у вас зубы...

— Напраслину говоришь, государь-надежа! Кто тебе люб, того, мы все любим, — возразил Коновалов с поклоном.

— Сержанта Кармицкого вы полюбили, да с камнем и в воду! — прямо сказал Пугачев. — Я вам что-то смолчал. А Лизу, Лизу Харлову за что убили?

— Что комендантская дочка на ласку к дворянам тебя склоняла, — вступился Лысов.

Пугачев шагнул на него. Всегда растрепанный, вызывающий, Лысов был особенно дерзок сегодня.

— Врешь! Не за то! Любовь мою к ней видали!.. — выкрикнул Пугачев, брызжа слюной Лысову в лицо.

— Что ты, надежа! Да ты оженись. Гляди, как мы все государыню новую станем любить, — сладенько сказал старик Почиталин, льстиво и вкрадчиво кланяясь.

— Слышал и про то! — оборвал его Пугачев. — С царем породниться хотите. Невесту смóтрите из своих... Ан я женат! Не татарин — в двубрачье вступать! И Трушка вам от того противен, что про семью свою лучше с ним помню... Не уступлю!

— Воля царская! — заметил Кожевников.

— Во-оля, во-оля! — передразнил Пугачев. — Ванька Зарубин пьян пролежал и войско впустил в Оренбурх. Проспал... Повесить за то! Да ваш он, ваш, собака!.. Вот воля моя!.. — в исступлении рычал Пугачев.

Чика Зарубин, испуганный, побледнел. Он понимал лучше Пугачева, в чем дело: он знал, что коллегия пришла к Пугачеву с торгом, что дело было вовсе не в Трушке, а в том, чтобы противопоставить свою уступку уступке со стороны «царя» и порешить дело миром. Если Пугачев станет настаивать на оставлении Трушки — сдать ему эту позицию, выиграв стратегический ход и добившись его согласия на снятие с Оренбурга осады и отступление на Яик.

— Помилуй, надежа-царь, с кем не бывает, что пьян! — взмолился Чика Зарубин.

— Время для пьянства знай! — неумолимо сказал Пугачев. — За такое — вешать!

— Эдак нас всех повесишь! — неожиданно для Чики вступился Лысов. Он тоже не стал бы бороться против Пугачева за Чикю Зарубина, но Чика, как и Овчинников, спо-

рил с казаками об уходе на Яик... Надо было ему доказать, что казацкие интересы едины, что Чике ради спасения шкуры надо держаться вместе со всеми, да к тому же следовало одернуть и своевольного Пугачева, который почувствовал себя вправду царем.

— Ты, государь, казаков не трожь!—поддержал Кожевников.

— Ты казаками силен, помни!—сказал старик Почиталин.

Они все снова пошли в наступление, ощерились:

— Мы на горбах тебя носим, да ты же и чванишься!—выкрикнул первый Лысов, перестав притворяться и разыгрывать верноподданного.

— Чем ты был?! Ведь на Яик пришел — и рубахи не было в бане сменить, — подтвердил Кожевников.

— Голяк! — заговорили все разом, кроме Чики и младшего Почиталина, стоявших с опущенными головами.

— Голяк голяком! Тебе что терять? Всей скотины — блоха на аркане да вошь на цепи, а у нас, вишь, дворы, деньжонки...

— Был голяк, да себе хозяин, не крепостной, — дрогнувшим голосом сказал Пугачев. — А теперь вы меня...

— Да что тебе надо?!—нетерпеливо перебил его Лысов. — Сладко кушай да мягко спи, принимай земные поклоны да ручку жалуй для целованья.

Пугачев усмехнулся.

— А вы будете войском владеть?!—спросил он. — Пустая башка! Мыслишь, что для того я встал, чтобы жрать, да жиреть, да спать на пуху?! Пень ты гнилой! Я всему народу добра хочу, об народе пекусь, а вы для себя — все за пазуху, все за пазуху. Живодавы, воры!..

— Ну, ну, потише!.. Ты!.. Ваше величество!—резко остановил Лысов, отступая.

Для Лысова, как и для всех окружающих казаков, в этот час Пугачев перестал быть царем. Отношения обнажились... Это была борьба двух столкнувшихся волей — кто кого сломит...

Пугачев тоже понял, что уступи он сейчас — и его окончательно подчинят.

«Яицка сволочь! Где вам против донского орла!—подумал Пугачев. — У нас на Дону Степан Разин — почетное имя, а тут у них будто брань какая!.. Со Степаном не шли, а тут...»

— Чаєте, что сковали?! Сковали меня?!—с угрозой спросил Пугачев. — А чем сковали?—Он стоял прямо, уперев руку в бок, говорил спокойно. — Именем царским в неволю

взяли — словно уж откупили?! Да подняли не по себе, голубчики вы мои, килу наживаете! Народу — не вы одни — набралось: татары, чувашаи, бегла заводчина, помещицьи мужики, а вы к чему подбиваете?! Бросить их всех да бежать на Яик... Там уж я ваш?! Уж там буду точный невольник! От солнышка и от звезд хотите затмить!.. Якимка Давилин от вас, как пес, надо мной приставлен, к родному царю народ не пускает!.. — со злостью сказал Пугачев.

— Я пес?! Что ты, государь?!—вставил с упреком Давилин, все время хранивший молчание. Он был «дежурный», все время бывал с Пугачевым и, чем бы ни кончилась эта борьба, не хотел потерять доверия своего «государя».

— По шерсти клITCHка — Давилин!—продолжал Пугачев. — Давить, давить, задавить!.. До сына теперь добрались... Не отдам! Не отдам Трофима! Отрешусь от царского званья... Вот тут оно мне, на горбу, как гора лежит... Падаль, немец удушенный... Имя в могиле стухло, черви его сглодали, а я носи для вашей корысти кусок мертвеца в живом сердце?!

— Ваше величество, погоди, — примирительно вступил Коновалов, желая утихомирить вспышку.

— Про Степана Разина слышал, Василий?—повернулся к нему внезапно утихнувший Пугачев.

— Ну?!

— В царя Степан не игрался. Ломил медведем — в том сила была... Алтари топтал...

— Ну?!—поощрил Коновалов.

Пугачев словно забыл о ссоре и сказал просто, как бы давно решенное для себя:

К народу от вас уйду. Народ меня не Петром — Емельяном примет. Не царь — Емельян Пугачев, всей голутьбы атаман... Вот сейчас пойду крикну народу...

— А мы тебя свяжем!—степенно и полушутя сказал Коновалов. — Мы-то присягу Петру принимали, не Емельяну.

— Народ не даст. Народ вас самих разорвет!—снова повысив голос, выкрикнул Емельян.

— Потихи ори!—одернул его Лысов. — Кто разорвет нас, кто? Что за народ?—насмешливо спросил он. — Яицкие казаки — народ! Нами ты и силен, а не сволочью крепостной, не башкирцами, не киргизом... Нам ты надобен, а без нас ты каторжник, тень от вчерашнего дня. Тьфу!.. В рот — кляп, руки — за спину, увезем на Яик, да и шабаш! Уж карета вашего величества запряжена стоит...

Емельян стукнул по столу кулаком.

— Молчи, собака! Сами призвали меня, так слушать!

Он выхватил из-за пояса заряженный пистолет.

Лысов отступил. Круглые, как у совы, наглые глаза его хищно сузились и налились кровью.

— Яким!—крикнул он, обернувшись к Давилину — Вережку! Емельку вязать, Пугачева!

Трушка схватил со стены саблю, с лязгом вырвал ее из ножен и, весь дрожа от волнения, стал рядом с отцом...

Дикая, тупая злоба на взбунтовавшегося «царя» и его сынишку закипела в Лысове.

— А-а... змееныш!—процедил он сквозь зубы, рванув из-за пояса пистолет.

— Лысов, стой! — в испуге выкрикнул молодой Почиталин.

— Митька!—крикнул, кидаясь к нему же, Чика Зарубин, желая схватить его за руку, но он не успел: сам Пугачев шагнул и выстрелил в грудь Лысова...

Казак повалился, выронив свой пистолет.

Чика Зарубин с двумя пистолетами в руках заслонил собой Пугачева.

— Назад все, собаки! — крикнул он, поднимая стволы на атаманов коллегии.— Я что с правой, что с левой — без промаха бью. На колени!..

Еще в ушах у всех стоял звон от выстрела и лиц не было видно сквозь желтый пороховой дым, когда внезапно дверь распахнулась и в горницу ворвался писарь Максимка Горшков.

— Башкирцы валят! Башкирцы прорвались!—выкрикнул он.

И только тут все услышали шум, крики, топот многих копыт, ржание, раздавшиеся на улице. Увлеченные схваткой в доме, казаки не прислушивались до этого к уличному шуму.

Все в горнице оцепенели в ожидании, когда за спиной Максима явился Андрей Овчинников, с ним Салават, а за ними Кинзя на веревке ведущий войскового судью Творогова.

Атаманы военной коллегии переглянулись между собой и все разом поняли: Овчинников изменил им, привел к Пугачеву башкир. Они не сообразили еще, что означает связанный Творогов, но им стало ясно, что вся затея с уходом на Яик не удалась...

Яким Давилин первым нашелся и кинул тулуп на мертвое тело Митьки Лысова.

Пугачев отступил шаг назад и опустился в кресло.

— Кто таковы! Почему без доклада!—строго спросил Пугачев.

— Победа, ваше величество, без доклада влазит, — сказал Овчинников. — Генерал Кар конфузию потерпел от нас и ушел с батальи. А сей батыр две тысячи человек привел под руку твою.

— Как звать, молодец?—спросил Пугачев Салавата. — Иди-ка поближе...

Но тот обалдело глядел на царя, словно не понимал по-русски. Он стоял у порога, не в силах сойти с места от удивления. Он узнал в царе чернобородого знакомого купца, которого встретил на постоялом дворе Ереминой курицы.

— Слышь, государь зовет ближе, спрашивает, как звать, — подтолкнув Салавата, шепнул Овчинников.

— Башкирского войска начальник я, государь, Салават Юлай-углы, две тысячи человек я привел. Два дня нас к тебе не пускают...

— Башкирцев ко мне привел? Башкирцев?—переспросил Пугачев.

— Ты сам ведь звал, государь...

Пугачев грозно повел глазами на атаманов.

— Набрехали, собаки?! Пошто про башкирцев брехали?! Казаки потупились.

— А как же ты мог, богатыр, судью моего войскового связать?—строго спросил Пугачев, указав на связанного Творогова.

— Судья ведь изменку делал. Пушки домой таскал, на Яик бежал.

— Проходной бумаги не кажет, ваше величество, а пушки тащит — на Яик собрался, и с бабой... Народ повязал его, государь, — сказал воротный казак, пришедший вместе с башкирами.

— Стало, будем судью судить за измену, — заключил Пугачев.

Творогов упал на колени.

— Смилуйся, государь-надежа! С пьяных глаз я. И сам-то не помню, что было! Совсем одурел от винища. Очнулся — глядь связан!..

— Так, стало, ты пушки пьяным из Берды волок?—нахмурясь, спросил Пугачев.— Ведь как же так можно, Иваныч? Мы с тобой на войне. Я указ пишу, что за пьянство казнить, а ты, войсковой судья, пьяным-пьян, да пушки из крепости тащишь?!

— Смилуйся, государь-надежа! — плаксиво повторил Творогов и ударил земным поклоном под ноги Пугачеву.

— Сказываешь, Андрей Афанасьич, ты генерала Кара побил?—обратился вдруг Пугачев к Овчинникову, словно забыл, что в ногах у него валяется Творогов.

— Оконфузили мы генерала, — усмехнулся Овчинников. — Офицеров и гренадер в плен забрали, а сам генерал лататы! С Хлопушей вдвоем одолели его.

— А что ж вы его живьем не тащили сюда?

— Да, вишь, государь, картузов не хватило. А без пороху что за баталия!—ответил Овчинников.

— Ну, коль так, спасибо, полковник. Утешил меня. Стало, Хлопуша жив, не побит?—спросил Пугачев.

Хлопуша в заводы пошел — пушки лить, государь.

— И тут набрехали!—значительно произнес Пугачев, взглянув в сторону атаманов военной коллегии.

И снова потупились казаки.

Пугачев всех обвел живым и веселым взглядом.

— Для радости о разбитии Кара вставай-ка, Иваныч, милую. Да боле хмельного не брать до указа, — произнес он.

Давилин, встав на одно колено, привычно подставил Пугачеву руку в желтой перчатке.

Пугачев торжественно положил на нее свою тяжелую кисть. Творогов подполз на коленках и поцеловал руку Пугачева.

— Развяжите судью войскового, — велел Пугачев.

Он словно нашел вдруг предлог освободиться от всех.

— Тебя, Иван Чика, за верность и смелость прощаю я в том, что промахнулся ты с Корфом, — добавил Пугачев.

Чика поцеловал его руку.

— И вы... военный коллегии... брехуны, идите все... до утра... — заключил Емельян. — Салавату-батыру тайный наш ауденц дадим...

Казаки растерянно переглянулись. Коновалов подошел к руке Пугачева и тяжело склонился.

Овчинников и Почиталин один за другим поцеловали руку Пугачева.

— Пададь вон из избы!—скомандовал Пугачев, кивнув на прикрытый тулупом труп.

Горшков и Давилин подняли тело Лысова и понесли к выходу.

Пугачев устало приподнял потускневшие глаза, глубоко вдохнул воздух, словно хотел что-то крикнуть, и вдруг, со вздохом, без слов, тихо махнул рукой.

Салават остался один с Пугачевым.

Потрескивая, мигали длинные коптящие пламешки двух свечей. Пугачев сидел в кресле, тяжело дыша, потупив глаза в дорогую скатерть и положив на стол широкие лок-

ти. Желтый огонь тусклым блеском отсвечивал в золотой бумаге, которой были обклеены стены горницы.

Трушка стоял, прижавшись к стене, затаясь, стараясь не дышать. Двойственность отца его раскрылась перед ним со всей полнотой, и, сбитый с толку, напуганный только что происшедшим, он исподлобья рассматривал на стене за спиной отца две одинаковые тени его взлохмаченной головы. Две тени, словно одна — тень его головы царя, другая — голова казака Емельяна.

Салават глядел в лицо Пугачева, стараясь прочесть на нем, можно ли верить этому человеку, тайну которого он услышал случайно, подойдя с Овчинниковым под окно «дворца», но не посмев идти дальше, когда до них донесли возбужденные голоса из горницы... Можно ли верить этому человеку? И вся только что происшедшая сцена встала перед взором Салавата...

«Смелый он! — оценил Салават. — Ишь, сколько их было — и всех сломил...»

Сочувствие Салавата обратилось сразу на сторону того, кто был окружен целой сворой врагов и не сдался... Овчинников кинулся в избу, когда грянул выстрел, чтобы помешать расправе над самозванцем толпы заговорщиков. Салават шагнул следом за ним с замиранием сердца, но увидел, что Пугачев справился без посторонней помощи и оттого еще больше почувствовал к нему уважение.

Салават в удивлении глядел на помрачневшего и опустившегося «царя». Юноше Салавату была непонятна усталость после победы, упадок сил, безразличие, которые иногда одолевают зрелого и уже утомленного жизнью человека. В нем самом победа вызывала всегда лишь больший подъем сил, веру в себя, в свою правоту и укрепляла упорство... Для Салавата было непостижимо, чтобы такой герой, смелый, решительный человек, вдруг обессилел, когда уже все враги ему подчинились и целовали его руку, только что покарившую их вожака.

Трушка вышел из оцепенения. Только теперь ощутив, что опасности больше нет, он вдруг с лязгом вложил в ножны саблю и, приподнявшись на цыпочки, потянулся повесить ее на место. Емельян оглянулся на него и ласково усмехнулся.

— Дай-кось, Трушка, — он потянул руку за саблей. Мальчик подал саблю, и Пугачев сам привесил ее к его кушаку. — Носи, казак. Ты ее в трудный час заслужил своею рукой.

Трушка смутился и просиял. Емельян приветливо посмотрел на улыбающегося Салавата.

— Что ж стоишь-то? Садись, батыр,— сказал он, обращаясь к Салавату.

Но, вместо того чтобы сесть, Салават шагнул ближе к царю и страстно сказал:

— Казаки свое добро на возы сложили. Измену творят, государ!

— В Яицкий город хотят идти,— подтвердил Пугачев.

— Держать их надо,— сказал Салават.

— Как удержишь! Их много, а я один,— устало и просто возразил Пугачев.— Не всех пострелять,— слышь, воза заскрипели — идут... Их тыщи... Как их держать одному!..— с торькой усмешкой добавил «царь».

Салават решительным, быстрым движением придвинул скамью к креслу Пугачева и зашептал.

— Судар-государ, ты один?! — страстно спросил он.— Нынче я к тебе две тысячи человек привел... Айда, идем завтра вместе... Сто тысяч можно башкирцев поднять... Башкирский народ,— с гордостью подчеркнул Салават,— наш народ не бывает изменщик.

— Ваши пойдут? — спросил с сомнением Пугачев.— Верят они, что я государь точной?

Этот вопрос для него был самым важным. Он решал. Пугачев и сам понимал, что вспышка его против царского имени не имеет почвы. Доверие к «царю-избавителю», справедливому мученику и бродяге-царю, исходившему землю, изведавшему неправды, знавшему все несчастья народов, их чаяния и мечты, почет его имени был высок, вера в него была горяча. Прекрасный и поэтический образ его был согрет слезами, вздохами миллионов, и сказка о нем сложилась в сердцах самого народа... Что рядом с ним самозванец Емелька, беглый казак с Зимовойской донской станицы!

Пугачев хорошо помнил, как сам он вместе с другими твердил тайную сказку о бродяге-царе, разнося ее по земле от литовских окраин до самой Кубани, от Дона до Яика, разглашая ее по тюрьмам, уметам и сборищам голытьбы, шепча в староверских скитах и повторяя себе самому в утешение в самые горькие дни своей беспокойной жизни...

Емельян перешел черту и отдал себя во власть сказки...

Сами собой зароились вокруг него люди, как пчелы; его одели, окружили охраной, знамена везли впереди него; его встречали с хлебом и солью, ему целовали руку... Кто узнавал в нем прежнего казака-бродягу — и те молчали об этом. Он был тот самый царь, которого ждал народ!

Уж он-то знал все народные нужды! Гарун-аль-Рашид, никогда не видавший дворца, рожденный в казачьей землянке, изведавший ратную жизнь, походы, побег, плети,

тюрьму и поденщину, исходивший и изъездивший многие тысячи верст по родной стране, он знал, чего хочет казак, чего хочет чувашин, татарин, русский мужик, запряженный боярским ярмом, чего хочет солдат, купец и чего хотят горожане...

Но, стиснутый тесным кругом ящкого кулачья, желавшего из царя сделать только свое орудие, Емельян не мог развернуться во всю ширь. Когда он пытался делать по-своему, кое-кто из старых знакомцев ему намекал, что помнят его издавна. Старые знакомцы возле него встали стеной, которая отделила его от народа.

Они держали его в плену угрозой разоблачить его самозванство. Сегодня, когда дошло до открытой стычки, он бросил свое самозванство и сам растоптал его перед их глазами, чтобы стать независимым и свободным от них... Он видел — они испугались его разоблачения.

Но сам Пугачев все же понимал, что народ идет не к нему, а к тому, чье имя он принял. Он понимал, что признание в самозванстве отшатнет от него простые и преданные сердца многих тысяч людей, устремившихся на призыв гонимого и отверженного царя, чье имя вызывало в народе надежды на облегчение жизни.

Он знал, что к башкирам, как и в другие края, из Петербурга послано увещание, провозглашающее его обманщиком своего народа. Участник прусских походов, Пугачев знал башкир как отважный и дерзкий народ. Известие, что царица посылает их против него, встревожило Пугачева. Прибытие Салавата в его лагерь было победой, но все ли башкиры за ним?

— Верят, что я точной царь? — спросил он.

Салават торжественно встал со скамьи. Он поднял палец и произнес почтительно, с ударением на каждом слове:

— Ваше величество, Пётра Федорыч, тощный Пугач-царь!..

В первый миг Пугачев прояснел, но тут же осунулся снова, и борозда легла на его лоб.

— Эх, брат, не то! — сокрушенно качнув головой, пояснил он. — Пугач-то не царь. Пётра — царь!..

Салават со страстной досадой встряхнул его за плечо.

— Ай, царь! Нам твой царский паспорт не надо. Ты письма писал!.. — Салават вынул из шапки смятый и бережно расправленный манифест. — Чего я у Ереминой курицы говорил, ты все тут писал... Вот твой паспорт царский! — решительно заключил он.

— У Ереминой курицы?! — удивленно переспросил Пугачев.

Он не узнал Салавата. Сколько лиц и имен перед глазами его протекло в последнее время, что он потерял им счет, хотя отличался способностью запоминать людей.

— Хлопушу знаешь? Я с ним был... — напомнил Салават.

— Ты был тогда?! — воскликнул обрадованный Пугачев, и Салават показался ему ближе и больше заслуживающим доверия. — Вишь, так и писали в письме, как ты говорил. Чего народ хочет, того царь дает... Верно, батыр... как, бишь, звать-то тебя?..

— Салават...

— Ну вот, Салават... Хлопуша-то нынче не дома. Рад был бы... Любит тебя... Ты садись, садись, — дружелюбно хлопотал Пугачев, — сказывай, как там у вас, в башкирцах?..

— Нельзя, судар-государ, казаков пускать в Яицкий городок. Тебя народ ждет. Ваше величество народ звал? Куда теперь сам уйдешь? Нельзя народ бросать... — не отвечая на расспросы, горячо говорил Салават. — Казаки тебя обижают — айда в нашу землю. Последний малайка ружье берет, воевать будет... Старик воевать пойдет... Бабушка воевать будет...

Осмелевший Трушка подошел к Салавату. Любопытно потрогал лук за его плечом.

— Жян, — ласково пояснил ему Салават, — башкирский ружье такой, палкам стрелят... Судар-государ башкирцам другое ружье даст... Нельзя на Яик ходит! — заключил Салават, обратясь опять к Пугачеву. — Айда, едем держать казаков.

Он почувствовал сам, что говорит смело и хорошо. Понял, что теперь уже не в шутку, не по мальчишеской песне про зеленую шапку, а в самом деле становится батыром и вождем.

Пугачев молчал.

Он не мог ничего возразить. Он понимал, что не время бросать осаду, когда через несколько дней в Оренбургской крепости будет стеснение в провианте и голод. Но что мог он сделать?

В наступившем молчании с улицы слышались крики большой толпы. Мелькали факелы, шла возня...

— Слышишь, батыр! — сказал Пугачев. — Теперь не унять, не воротись... Поднялись все...

— Нельзя уходить, — твердо сказал Салават. — Какая тебе вера будет? Скажет народ: «Царица, царь — все равно плохо!..»

В сенях пугачевской избы послышался крик, возня, словно кого-то били.

Встревоженный, вскочил Пугачев с кресла, торопливо заряжая пистолет. Трушка глядел растерянно и робко.

Салават шагнул к двери, распахнул ее, выглянул в сени.

— Кто там?—громко окликнул он.

— Государя видеть хочу, не пущают! — отозвался голос.

— Семка!—радостно воскликнул, узнав его, Салават.

— Дежурный, впустить!—громко и повелительно приказал Пугачев, и Семка тотчас же бомбой влетел в дверь.

— Измена, ваше величество!—крикнул он, падая на колени. — Атаманы народ смущают, сами на Яик идут, а прочим по старым домам велят... Куда по домам, когда люди встали?! По домам не ласка ждет — петля да плаха, а кому бог помогает, тому плети да кнут!—бойко заговорил Семка. — Неужто, ваше величество...

— Помолчи, сорока, — остановил его Пугачев. — Яким!—властно позвал он, вдруг снова преобразившись. Усталости как не бывало. Он опять распрямил плечи, глаза его сверкнули волей и твердостью.

Давилин вошел в горницу, остановился у порога, не смея поднять глаз, по голосу Пугачева почуяв приближение грозы.

— Кто народу велит по домам идти?—строго спросил Пугачев. — Ведь я никому не велел до указа!

Яицкие главари так легко отступили и сдались под натиском Пугачева только по внешности. Они рассчитывали на то, что страх, посеянный ими в массе казачества, уже совершил свое дело, что, хочешь не хочешь, бегства на Яик теперь не сдержать никакой силой. Изъявив покорность «царю» и потеряв в столкновении с ним Дмитрия Лысова, они рассчитывали на то, что через три-четыре часа Пугачев им сдастся. Не оставаться же ему в покинутой Берде! Они посадят его в карету и увезут под своим надежным конвоем.

Им не нужна была Русь, освобожденная от помещичьего ярма. Что им в том, что крепостные пахари пухнут от голода, что им в том, что в заводах и шахтах жизнь хуже каторги!..

Забраться на Яик, предъявить Петербургу свои требования: отдать казачеству реку Яик с верховьев до устья, сохранить выборную по воле казачества старшину, отказать от присылки на Яик атаманов из Петербурга, освободить казаков от службы в регулярных войсках... За половину уступок со стороны царицы они головою выдали б самозванца, уверив «матушку императрицу» в том, что Емелька их обманул «воровством» по их неразумению и темноте...

Оставшись один после ухода атаманов военной коллегии, Емельян тоже понял, что весь его спор был бесполезен. По скрипу возов, по гулу на улицах в непривычный ночной час он понял, что яички главы все-таки победили его, хотя и ушли с видимым смирением и внешней покорностью...

Он смотрел бы на все сквозь пальцы, предоставив событиям совершаться и отдавшись на волю течения. Но настойчивые речи Салавата, а вслед за тем требовательный голос «тайного государева поручика» Семки всколыхнули в душе Емельяна новый порыв к борьбе.

— Народ уже потек, надежда. Ведь как его остановишь! — развел руками Давилин.

— Твоя голова в ответе. Сквозь коллегию в сей же час, — приказал Пугачев.

Под окнами раздалась громкие споры и крики.

— Узнай, что там, доложи, — вдогонку «дежурному» крикнул Пугачев.

— Я узнаю, — сказал Салават.

Он вышел на высокое «дворцовое» крыльцо.

Лавина народа текла по улице к «царскому» жилищу.

Перед крыльцом суетливо метались казаки.

Денис Шигаев, Коновалов, Овчинников торопливо вполголоса совещались с Давилиным.

— Скажи — башкирцы да тептяри бунтуют, грозятся на государя... — сказал Коновалов Давилину, не заметив Салавата.

Давилин стал ему что-то шептать.

Пара коней рысдой из-за угла вывезла пушку, поставила возле крыльца, пушкарь с дымящимся фитилем совещался с помощником. Из темноты молча пробежали стеной казаки, в соседнем дворе слышался топот коней... команда.

Салават понял все, что творится... Вбегающий на крыльцо Давилин грудь с грудью столкнулся с ним.

— Башкирцы бунтуют, — сказал он на ходу Салавату, не узнав его в темноте.

Салават вместе с ним вошел к Пугачеву.

— Государь, измена! Башкирцы бунтуют, грозят на ваше величество... — крикнул Давилин.

— Судар-государ, — прервал его Салават, — Коновалка велел из пушки в башкирцев палить! Коновалка измену делат! Пушкарь у царского крыльца пушку ладит... Айда, вместе идем, ты башкирским людям свое слово скажешь!

— Идем, — решительно обронил Пугачев, надевая шапку. — Трушко, ты останься дома. Сема, ты с ним, с Пугачонком...

— Государь, головы своей пожалел бы, нужна народу!— воскликнул Давилин с мольбой.

— Идем, Салават, — словно не слыша его, сказал Пугачев. — Дежурный, коня!

Спокойствие овладело им. Он умел говорить с толпой. Терявшийся до истерики перед кучкой людей, с которыми приходилось хитрить и искать лазеек, Пугачев был твердо уверен в себе, когда выходил к тысячным толпам народа. Для них он был желанный и жданный их государь, повелитель и вождь. Перед народом он не лукавил ни в чем, сердцем был с ним, и голос его был тверд и спокоен, когда говорил он с народом.

Салават восхищенно взглянул на высокую грудь царя, на уверенно поднятую голову в казачьей шапке, сдвинутой набекрень, на тяжелую, твердую поступь. Давилин накиннул ему на широкие плечи богатую, крытую темно-вишневым сукном шубу. Трофим подал саблю...

— Пушку убрать!—громко скомандовал Пугачев с крыльца. — Изменник ты, Коновалов, в кого хошь палить?!

И, обратясь к Давилину, резко напомнил:

— Сказано — дать коня!

Пушка, стуча колесами, мгновенно скрылась за поворотом.

Из темноты подвели под уздцы двух коней.

Пугачеву всегда подавали двух лошадей под седлом. Ширококостный и мускулистый, хотя и не отличавшийся полнотой, он быстро утомлял лошадей. На этот раз не предстояло дальней езды, и Пугачев кивнул Салавату.

— Садись.

— Царский ведь жеребец, — почтительно возразил Салават.

— Садись!—настойчиво произнес Пугачев.

Четверо казаков с оружием в руках окружили их, пятым вскочил на седло «дежурный» Давилин. У двоих казаков в руках закачались зажженные фонари. Отблеск огней сверкнул на лезвиях сабель, на стволах ружей, на бляшках сбруи.

В конце улицы стоял глухой гул: казаки оттесняли толпу в темноту ночи между двумя рядами домов и длинных заборов. Толпа волновалась. Пугачев услышал гортанные звуки невнятной и чужеродной речи.

— Ваши?—спросил он, склоняясь к Салавату.

— Наши.

Они подскакали вплотную к толпе. Здесь шла молчаливая давка. Казаки древками пик преградили улицу поперек. Толпа рвалась, но не могла сломить крепкой казачьей сте-

ны. Озлобление толпы накалялось задорными криками, долетавшими из далеких задних рядов. Вот-вот заварится жаркая свара...

— Кто не пускает народ к своему государю?!—выкрикнул Пугачев, подъехав к толпе.

— Бунтуют башкирцы, ваше величество, — четко отпортовал хорунжий. — На вашу персону грозятся...

— Врешь, собачий ты сын, не одни башкирцы — и заводские на вас, изменников. Ты царю не клепи!—откликнулись из толпы.

— Пики убрать!—приказал Пугачев.

— Яшагин¹ царь Пётра Федорыч!—выкрикнул Салават. — Яшагин!

— Яшагин!—подхватила толпа и хлынула в улицу, заливая ее и смешав ряды казаков, по приказу царя убравших свои пики.

Салават выхватил горящий фонарь из рук казака и поднял его, освещая лицо Пугачева.

— Жягетляр!—крикнул он и обратился к толпе по-башкирски. — Здесь перед вами великий царь, знающий все сердца, славный, милостивый и отважный. Я, Салават, начальник башкирских войск, говорю вам: слушать во всем царя. Он, как отец, хочет для всех народов мира и счастья.

— Яшагин цар Пётра!— крикнул рядом толстый Кинзя.

Толпа подхватила его клич.

— Многие лета царю Петру Федорычу!—раздался из толпы голос того, кто кричал о заводских рабочих.

— Ур-ра-а! — подхватили русские.

— Ур-ра-а!—закричали и казаки, и простой этот клич передался башкирам и тептярам и прокатился по всей толпе.

Пугачев снял шапку перед народом.

— С чем пришли, дети?—спросил он толпу.

— Наста киряк, балалар'м? — перевел Салават вопрос.

И тогда прорвалась разом из всех грудей тысячеустая, пестроголосая жалоба:

— Измену затеяли казаки.

— Пошто на Яик собираются? Нас покинуть!..

— Сами звали вставать, да пятки подмазали салом!

— Не гоже тебе так, Пётра Федорыч, наш ты царь, не боярский — пошто допускаешь измену от казаков?! — внятно сказал длиннобородый седой старик, вытолкнутый толпою вперед.

— Ты кто, батюшка?—спросил Пугачев.

¹ Яшагин! — Да живет! Да здравствует!

— Рудоплавщик, надежа-царь. Ходоком от завода прислан к тебе. В поклон пушку да десять ядер привез. Заводские мужики повелели тебе сказать, что животы за тебя положат. Иди, хочешь, к нам — не дадим в обиду. Пушки сольем, сабли скуем, пики... Ан ты от нас на казачью сторону хошь уходить! А нас на расправу бросить.

Пугачев осмотрел толпу.

Высокие остроконечные шапки, ушастые шлемы с меховыми назатыльниками, падающими на плечи, доспехи из лошадиных шкур, с гривами, развевающимися вдоль всей спины воина, гнутые луки за плечами, боевые топоры...

Молодой башкирин приблизился к Салавату и горячо говорил ему на своем языке.

Толпа башкир и татар одобрительно рокотала в поддержку его слов.

— Чего говорит?—спросил Пугачев Салавата.

— Сказыват — лучше ты, государь, вели казакам нас насмерть побить, чем бросить башкирский народ... Когда в Яицкий городок пойдешь — на дороге ляжем... топчи лошаадьми — нам хуже не будет... Нам как без тебя воевать? Вешать, казнить будут нас, деревни пожгут, детей убьют, женщин...

Пугачев махнул шапкой — и все утихло.

— Слушайте, дети!—громко сказал он. — Я, ваш государь, словом своим и именем божьим вам обещаю: никто не пойдет в Яицкий городок. Казаки, развязывай ваши возы! Тут будем стоять. Ладно ли, дети, указал?—обратился Пугачев к толпе башкир и татар.

— Ярар! Ладно!—ответил за всех Салават.

— Многие лета живи!—крикнул Давилин, делая вид, что казаки рады, как все, царскому повелению.

— Здравствуй, наш государь!—подхватил Овчинников.

И толпа рабочих людей и крестьян, десятитысячная толпа откликнулась кличем восторга и торжества. Народ победил-таки яицких вожаков...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Целую ночь просидел Салават с царем. В соседнем покое посапывал молодой Пугачонок. Давилин спал у порога, загорожив своим телом вход в «дворцовую» горницу. Единственная свеча оплывала с треском, и сало с нее стекало на скатерть.

Перед Пугачевым стояла старинная серебряная чаша, наполненная вином, но он не пил, увлеченный беседой о

вольном народе, который сегодня помог ему покорить казакów.

Царское слово, сказанное перед многочисленной толпой, не могло быть нарушено. Царь не мог стать обманщиком, — это было ясно и казачьим вожакам, которым оставалось молча досадовать, что народ раздавил их заговор.

Бродяжная жизнь Пугачева много кидала его по России, но никогда не приходилось ему добредать до башкирских кочевий, побывать на горных заводах Урала. Вот почему, отправляя к башкирам свой манифест, он держался слов Салавата, сказанных в доме Ереминой курицы, и потому же во всем, что касалось жизни заводов и заводских крепостных людей, положился он на Хлопушу.

В те дни, когда Салават прибыл в Берду, Хлопуша, переходя по заводам Урала, приводил их в покорность царю. Заводское население охотно его принимало.

Петр Третий в короткое царствование издал указ, который прельщал крепостных рабочих. Смысл его заключался в том, что заводчики не имеют права покупать крепостных крестьян, а должны «довольствоваться вольными наемными по паспортам за договоренную плату людьми». Этот указ, подсунутый дворянами, желавшими защититься от растущего засилья купцов, был подписан Петром без мысли о том, что от него получают сами рабочие. Но, как и другие законы и указы, этот указ заводчики не выполняли, и заводской работный народ много лет нетерпеливо ждал возвращения царя, который накажет хозяев заслушание.

В беседе с Салаватом Пугачев подробно расспрашивал о жизни и нуждах башкир, о земельных спорах с заводами, о захватах земель и лесов.

— Тебя, батыр, за твою заслугу — что первый войско ко мне привел — жалую я покуда полковником, а там время придет, побьем супостатов и по-иному поладим — тогда уж своим, башкирским домком заживете и чин тебе будет иной: князь, что ль, мурза али хан — как по-вашему лучше. Ну, нынче такого званья нельзя давать: на войне все в военных чинах, вот и ты военный — полковник, — повторил Пугачев.

— Латна, полковник будем, — скромно согласился Салават. Название военного чина ему не говорило ничего.

— Поедешь ты, Салават, в башкирские земли — и всех подымай, — указал Емельян. — Зови башкирцев ко мне на службу. Вы меня сговорили под Оренбургом остаться — стало, подмогу давайте: крепости брать и жечь, форпосты, редуты — все жечь, солдат подымать с собой. Коней для войны мне гоните. Конь войне опора. А еще — упаси тебя

боже русских людей обижать, церкви их грабить... Коли люди приклонны, волос чтоб не упал с их голов, а кто враг — поп, мулла, офицер, воевода, заводчик, помещик — казнить лютой казнью без страха. Я сам указал... Слышь?!

Салават молча кивнул.

— А добрых и верных обидишь — тебя повешу, не посмотрю, что полковник... Уразумел? Таков на войне закон...

Они сидели до петухов.

Наутро без спутников выехал Салават обратно в родные края поднимать башкир в помощь царю.

Салават получил от военной коллегии полковничий знак — золотого широкого позумента на шапку, мисюрку с булатным назатыльником и кольчужною сеткой, с царского плеча сам Емельян подарил ему в дорогу кольчугу, саблю с соколом, чеканенным золотом на рукояти, и пистолет. Лук и колчан, полный стрел, дополняли убранство. Кинзя, оставшийся при Пугачеве, прощаясь, дал Салавату тяжелый дубовый сукмар.

Салават скакал снова к родным селениям. Навстречу ему летела зима. Дороги запорашивало снегом, снегом залепляло лицо, слепило глаза, но на душе у Салавата было радостно. Он представлялся себе самому похожим на тех воинов, о которых народ рассказывал сказки и пел песни...

Дороги Урала были безлюдны. Вечерами за путником раздался протяжный звериный вой, мелькали злобные огоньки волчьих глаз. Тогда Салават нахлестывал пущу коня и спешил к какому-нибудь аулу, чтобы пристать на ночлег...

Дня через два подъехал он к Стерлитамакской пристани, где издали увидел сожженную канцелярию, виселицу с печальными останками казни, много покинутых жителями домов... Здесь могли спрашивать бумаги, могла быть и воинская застава, и Салават круто свернул вправо, через лед Ак-Идели объезжая пристанский городок.

Лес и горы обступили его. Поднялась непогода, снег залеплял глаза, заносил едва видимые горные тропы. Кони всхрапывали, скользили по заснеженным камням, спотыкались... Впору хоть возвращайся назад!.. Если ночь застанет в лесу среди гор, вдалеке от людского жилища, стаи волков нападут на одинокого всадника, и никто никогда не узнает о бесславной смерти молодого певца...

Вдруг в стороне от дороги услышал он возгласы и топот сотни коней. Салават выехал наперерез отряду. Молодой командир подъехал ему навстречу. Богатство сбруи Салавата, видимо, поразило его.

— Стой! Останови людей!

Сердце Салавата сильно забилося: если бы воины оказались верными царице, ему грозила бы гибель. Он был один.

— А ты кто таков? — воскликнул запальчиво юноша. — Юлбасар¹ несчастный... Мы не купцы, а воины. Как бы не растерять тебе подков, удирая!..

— Я тот, кому повелено встретить тебя, — ответил с важностью Салават. — Останови воинов. — Он старался держаться спокойнее и уверенней.

— Стой! — крикнул всадник отряду.

Башкиры остановились. Всадник подъехал к Салавату.

— Как тебя зовут? — спросил Салават.

— Сотник Акжягет, сын старшины Клыч-Мурзы Алакаева из Катайского рода. А ты кто таков?

— Я Салават, сын старшины Юлая Азналихова из рода шайтан-кудеев и царский полковник. Куда ты ведешь отряд? На Стерлитамакскую пристань? Царь указал не ездить туда, а ехать к нему против царицы. Вот бумага. — Салават вынул из-за пазухи пугачевский манифест. — Я прочту воинам. Вот, гляди, мое царское письмо.

Он протянул Акжягету написанную Кинзей грамоту Пугачева о пожаловании Салавату за верную службу чина полковника.

Акжягет внимательно читал лист. Потом приложил бумагу к сердцу и передал ее Салавату.

— Прости, туря². Я не ждал, чтобы полковник, как разбойник, ездил в одиночку в лесу. Жягетляр, — крикнул он воинам, — слушайте! Царский полковник прочтет вам письмо государя.

Салават подъехал к отряду и стал читать.

Горячие слова о звериной воле, о степях, лесах и водах взволновали и зажгли башкир. Кличем восторга встретили они письмо. Видя успех, просиявший радостью Салават передал Акжягету еще два листа, чтобы он читал встречным, и приказал ехать к Оренбургу, в Бердскую слободу, минуя Стерлитамак.

Он попрощался с отрядом и двинулся дальше.

Непогода крепчала, снег заносил дороги и тропы. Сгущалась ночная тьма, и в горах уже послышалось завывание волчицы, когда Салават увидел мелькнувшие огоньки. Что за селение, он не мог разобрать в темноте, но это было человеческое жилье, тепло и ночлег для себя и коней...

¹ Ю л б а с а р — разбойник.

² Т у р я — начальник.

Салават решительно повернул на огни.

Он постучался в окошко у крайней избы селения.

— Кто стучит?! — окликнул хриплый суровый голос.

— Прохожий! — сказал Салават давно позабытое слово, которое много раз говорил Хлопуша, просясь на ночлег.

— Прохо-ожий! — осветив его фонарем, протянул хозяин. — Каков же «прохожий» о двух конях! Прохожий, кто пеше ходит!

— Проезжий, что ли, сказать! — поправился Салават.

— Проезжий? Ну ладно, входи. А ведаешь, малый, что ныне прохожих-проезжих пускать по домам не велели?.. — сказал хозяин. — Да ладно, не стой, входи, — поощрил он гостя, когда заметил его колебание. — Мало кто там чего велел — не пропасть человеку в эту погоду!

Гостеприимный хозяин был табынский кузнец Иван Кузнецов. По обычаю городов и селений, поставив кузницу на краю, чтобы от огненного ремесла его не случилось людям пожара, он жил и сам на краю Табынского соляного городка.

— Ишь, снегу-то сколь! — приговаривал он, пока Салават вытряхивал шубу. — Постой, я коней под навес, а сам-то ты в избу иди, обогрейся.

— Аксютка! Бог гостя послал. Собирай вечерять, — окликнул хозяин, подтолкнув гостя в дом.

Салават вошел в теплую избу, освещенную фитильком, плававшим в воске. Молодая девушка встала ему навстречу.

— Здравствуй, хозяйка! — сказал Салават.

— Здравствуй, гость! Чай, прозяб, непогода какая! — приветливо отозвалась она. — Шубу скидывай, да к огоньку, погреться!

Поставив коней и задав им корму, хозяин вошел в избу. и только тут увидал, что гость его — воинский человек.

— Э-э, тебе, господин, явиться бы к коменданту, — сказал он. — Небось ты на Стерлинску пристань едешь?

Салават утвердительно кивнул.

— А слышал я — Стерлинску пристань сожгли непокорные люди да весь канцеляр погромили, — несмело сказал кузнец.

— И я ведь слышал, — подтвердил Салават.

— А куда же ты поедешь? — удивился кузнец.

— Поеду другой канцеляр искать... — неопределенно ответил Салават. — Ведь чуть не пропал! — постарался он отвести разговор от опасной темы. — Такая погода, беда! Дороги не видно, лошадь устал... Едва огонек увидал...

— Тут сотня башкирцев недавно проехала, к Стерлинской пристани тоже дорогу пытали,— вставила дочь кузнеца, ставя на стол еду.

— Сотник такой молодой, сын старшины Акжягет,— подхватил Салават,— жеребец его белый, сам в белой шубе...

— Его догоняешь, что ли? — спросил кузнец.

— Ага, догоняю, значит,— кивнул Салават.

— Садись-ка к горячей похлебке с мясом, посогрейся,— позвала молодая хозяйка.

Все взялись за ложки, ели в молчании.

— А все же тебе к коменданту бы надо явиться,— сказал вдруг кузнец.— Тут ночью, бывает, разъезды наедут, смотрят прохожих. Узнают, что сам по себе на ночлег поставил, в тюрьме загноят... Обогреешься — я провожу к коменданту.

Салават промолчал.

Кончив есть, кузнец встал от стола.

— Собирайся,— позвал он Салавата.

— Я деньги даю за постой,— возразил Салават.— Рано утром поеду. Зачем комендант беспокоить? Чай, спит!

— Не беда — и разбудим! А то у ворот городка, на заставе у солдат, заночуешь. Не бойся, у них там тепло! — успокоил кузнец.

— Ну ладно, хозяин. Ты дома сиди. Я сам к коменданту поеду. Сиди, сиди...— сказал Салават, но голос его чуть дрогнул.

Он решил обмануть кузнеца и выехать в снежное поле, несмотря на буран.

— Ведь вона как лепит! Ты так-то собьешься с пути. Я тебя с фонарем провожу,— настойчиво предлагал хозяин.

— Да, батюшка, я и сама! Ведь путь недалекий,— готовно сказала Оксана,— а я посижу у Машутки, оттоле меня проводят.

— Ну, сойди, что ли, ты,— согласился кузнец.

Девушка мигом оделась, взяла фонарь. Во дворе под навесом она отвязала коней Салавата, вышла за ворота.

— Ну, ты, девка, прощай! Не ходи провожать-то. Я сам,— сказал Салават и, живо взлетев на седло, круто поворотил коня в поле.

— Стой! Стой! Не туды! Скуломордый, куды ты поперся?! — отчаянно закричала Оксана, схватив под уздцы заводную лошадь.— Постой, я словечко скажу.

Салават задержался.

— Нельзя тебе, что ли, к коменданту? — тихо спросила она.

— Значит, нельзя,— так же вполголоса признался ей Салават.

— Куды же ты поедешь-то, глупый?.. Слезай с седла. Я батюшке ничего не скажу, заночуешь. Слезай, говорю! Салават подчинился.

— Иди за мной,— позвала хозяйка.

И они повели лошадей через двор в небольшую калитку, которой кузнец проходил прямо из дома в кузню.

— Коней мы привяжем тут, а сам ты на сеновале поспишь. Не простынешь, я чаю? — лукаво спросила она.

— Согреть приходи! — отозвался он дерзкою шуткой.

— Вот я те согрею! — Оксана внезапно толкнула его в сугроб.— Согрелся?! Тепло?! Горячо?! — приговаривала она, вмиг залепив его снежками и пустившись бежать через двор.

Салават побежал за ней, она скользнула за столб навеса. Салават не отстал, девушка обежала вокруг столба. Салават поскользнулся. Она засмеялась.

— Упадешь — держись за землю!

— Ничего, не падам! — смеясь, отозвался он, продолжая ее преследовать.

Девушка увлеклась. Она убегала от него, хоронилась за столбы, но не убегала в избу — ей нравилась игра.

Внезапно она опять залепила ему лицо снежком.

Он, присев на корточки, черпнул пригоршню снега. Она набежала, столкнула его в сугроб, но не устояла сама. Шуба ее распахнулась, теплом и запахом трав пахнуло на Салавата.

Чувство верности женщине было ему чуждо. По законам ислама можно иметь семь жен.

Эта была иная, чем башкирские девушки. Те были свои, в привычных нарядах, с привычным родным языком. Скромность, предписанная пророком, хотя не закрыла чадрами башкирских женщин, но заставляла их быть покорными, тихими, молчаливыми... Эта была, как огонь. И Салават зажегся...

Она запахнула шубу, вскочила, рванулась бежать.

Салават изловчился, схватил ее и понес.

— Пусти, скуломордый, пусти,— зашептала Оксана.— Пусти, медведь.

— Медведь не пускает ведь девку!.. — шепнул Салават.

Он поднялся с нею на сеновал. Дыхание его прерывалось, сердце билось, как будто в сражении.

Она отталкивала его, стараясь не шуметь, не зная сама, всерьез или в шутку, рвалась от него и тем еще больше дразнила.

— Пусти меня, батыр, пусти — закричу...

— Кричи! — громко сказал Салават, позабывшись.

Она закрыла ему ладонью рот.

— Тише, тятка услышит,— шепнула она с лукавством.

Он зажал ей рот поцелуем. Они забыли, что на дворе мороз.

Прошло уже много времени, когда испуганная чем-то лошадь кузнеца, шарахнувшись по конюшне, вывела, обоих из забытья.

— Пусти, пусти, батыр... Ой, горе мое! — забормотала девушка, отрезвев. — Как тебя звать — Абдулка? Пусти, Абдулка...

— Меня зовут Салават, я полковник царя Петра,— отвечал он.— Едем со мной.

— Куда я поеду?.. Ты меня завезешь да бросишь.

— Зачем бросать?! Айда со мной...

— А ты холостой, полковник?

— Зачем? Одна жена есть дома, в деревне.

— Есть?!

— Одна только...

Она зарыдала, дрожа всем телом.

— Чего ты?.. Едем со мной. Еще жена будешь!

— Уйди, погубитель! — возмущенно, в слезах, шептала она.

— Кто тебя губитил?.. Я не сказал — холостой.

— Уйди! — крикнула она. — Пусти меня... Тятка узнает — убьет! — Она соскользнула с сеновала и скрылась в снежной мути.

Салават очнулся уже на рассвете от громкого стука в ворота. Он затаился.

— Кто та-ам?! Кто та-ам?! — кричала Оксана.

Потом услышал он мужские голоса во дворе, о чем-то спорили, что-то кричали в избе.

Салават держал оружие наготове, ожидая, что вот придут и сюда, к месту его ночлега.

Он слышал, как кузнец вывел пару своих лошадей и запрягал их в сани. К отцу подошла Оксана.

— Куды ж тебя, тятя — спросила она.

— Вишь, куды-то с обозом, а может, в Уфу,— сказал он. — Да ты, Аксютка, не бойся. Избу запри, поживи у крестной, покуда вернусь.

— Неужто тебя на войну? — спросила она со слезами.

— Какой уж я воин! Отпустят... Небось все деревни кругом обобрали, то им и обоз большой нужен.

— Эй, хозяин, ты скоро? — крикнул мужской голос откуда-то от ворот.

— Как споро, так скоро! — ворчливо отозвался кузнец.

— Давай шевели-ись! — скомандовал тот же голос.

И Салават услышал, как кузнец понукал лошадей.

Это был провиантский отряд, наехавший из Уфы.

Возле самой Уфы уже начали появляться летучие отряды башкир, восставших помещичьих крестьян, беглых с заводов рабочих людей и беглых солдат. В Уфе что ни день ожидали появления больших полчищ мятежников, готовились к отражению приступов и долгой осаде.

В ожидании осады и выслали из города фурыеров с сильными отрядами солдат для реквизиции провианта по деревням и сельским базарам. Уфимское начальство рассчитывало сделать большие запасы в городе, на случай осады.

В эту ночь из Табынского городка собрали с подводами всех обывателей, велели запрячь всех обывательских лошадей, у кого было по две и по три коровы, тем оставили лишь по одной, остальных привязали к саням и погнали по Белой вверх — по направлению к Уфе.

— Вылазь, что ли, царский полковник! Воин отважный, вылазь! — услышал Салават злой и крикливый голос Оксаны.

— Ушли? — тихо спросил он.

— Ушли, выходи, — сказала она.

— И тятка ушел? — спросил он, спускаясь по лестнице.

— И тятка ушел, и коней увели и корову... А что же ты, царский полковник, не приказал им оставить? Где же твой приказ? Ишь, ружья-то сколь при тебе. Другой бы стыдился сидеть, когда народ обижают, а ты, зная, не знаешь стыда! Эх ты! Тебе только девичье счастье губить — то твоя царская служба!

— Ксанка, послушай, — сказал Салават.

— А что тебя слушать, — со злыми слезами перебила она. — Что мне слушать?! Хлеб, скотину позабирали, сани, коней и самих-то погнали невесть куда!.. Что же твой царь не вступился? Полковник?! А где же солдаты твои?

— Моя лошадь цел? — спросил Салават, который всегда неправильно говорил по-русски, когда бывал в раздражении или досаде.

— Твоя цел! — передразнила Оксана. — Лошадь твою сберегла и тебя самого сберегла, а вот батюшку своего сбегречи не сумела. Что там с ним подеют?..

— Ладно болтать! Где мой лошадь? — оборвал ее Салават.

— Ух, и-ирод! Все твой где, где тво-ой! Возьми, там стоят, где поставил, да чтобы духом твоим не смердело тут, нехристь проклятый!..

— Ксанка, Ксанка, зачем ругаешь?.. — взволнованно пробормотал Салават.

Он понимал ее злость и обиду, но утешать у него не было времени. Он отвязал одну из своих лошадей, сбереженных лишь потому, что они были поставлены сзади кузни и их не видали солдаты.

— Возьми другой лошадь себе! — крикнул он девушке и, не взглянув ей в лицо, вылетел за ворота.

По свежему снегу только в одну сторону вверх по Иде-ли¹, лежала дорога, по которой солдаты погнали обоз.

Салават пустился по ней же, поспешая к родным местам.

На пути лежало большое село Камышлы, где съезжался богатый базар. Невдалеке от него Салават встретил скачущих от базара людей. У них на санях были рыба, баранина, сено, и все возы, словно без клади, рысью мчались с базара.

— Что случилось? Куда вы? — спросил Салават у встречных.

— Солдаты там все забирают! — крикнули на ходу хозяева возов.

Салават лишь на миг задержался и вдруг подхлестнул коня и смело пустился к селу...

Все село Камышлы стонало. Кричали мужчины и женщины, лаяли и завывали собаки, ревел выгоняемый из дворов крупный и мелкий скот. Солдаты вязали возы с тушами мяса, отгоняли живой скот, оцепляли возы с сеном.

Владельцы отобранного провианта и фуража, плача в голос, молили офицера отдать деньги. Но он вместо денег строчил расписки, положив бумагу на спину услужливого солдатика...

Сидя верхом, Салават видел всю площадь и что творится на ней.

Это был конец «удачной» экспедиции провиантского отряда.

Груженные возы под конвоем солдат двинулись от базара.

Салават, несмотря на мороз, сбросил с себя шубу и в воинском доспехе предстал перед народом.

— Воры! Воры! Воры! — выкрикнул он. — Волки! Волки! Ловите волков! — закричал он еще громче — и вся площадь утихла. Все замолчали и с любопытством глядели на странного всадника в кольчуге, с саблей, с кинжалом, с сукмаром и боевым топором, с полным колчаном стрел и старин-

¹ Словом Идель как именем собственным — Река — башкиры называют Ак-Идель — реку Белую.

ным луком...— Ловите волков! — кричал Салават, как пастух, у которого волки напали на стадо.— Бейте волков! Злой волк — офицер — отнял у вас овец, отнял мясо, сено, коней. Догоним волков!

— Догоним! Лови! Бей! — крикнули голоса из толпы в ответ на призыв Салавата.

— Когда нет ружья, хороша и коса! — крикнул Салават.— Берите косы, лопаты, дубины — что есть. Вставайте! Продай нам свои топоры — обратился он к продавцу железа.

— Мне продай!

— Мне!

— Мне! —зашумела толпа, и все обступили продавца топоров.

Железные лопаты, несколько кос, вскинутых на плечи, блеснули в толпе.

Базар закипел.

Кругом распрягали лошадей, из саней выкручивали оглобли, превращая их в палицы, на длинные древки насаживали ножи.

И, охваченный вдохновением битвы, Салават неожиданно для себя самого запел:

Помните клич удалых стариков:
«Бейте волков, убивайте волков!»
Волка убьешь — добро сбережешь, —
Давний обычай в аулах таков.

Базар восстал, продавцы и покупатели сделались воинами.

Салават тронул коня, и за ним, колыхаясь волнами, как море, двинулась площадь, вливаясь в сельскую улицу, теснясь меж домами грозным потоком...

— Бейте волков, убивайте волков! — подхватили кругом.

Еще несколько времени на площади шла борьба: матери пытались удержать молодых сыновей, старухи хватались за стариков, но тщетно — война звала...

Провиантский офицер поздно услышал погоню.

— Вводи курки! —скомандовал он растерявшимся перед страшной лавиной солдатам.— Вводи! — громче выкрикнул он в лицо капралу, когда увидел, что солдаты бросают ружья.

— Куда там, ваше благородие...— пробормотал старый служака, бросая ружье и пускаясь с дороги в лес.

Офицер подхлестнул коня и помчался прочь...

Толпа башкир окружила десятки возов, покинутых охраной. Салават увидел среди обозников табынского кузнеца, махнул ему и бросился настигать офицера. За ним поскакали с десятков самых горячих парней из села.

Конь Салавата оставил их позади. Вот-вот настигнет он офицера... Тот обернулся и выхватил пистолет. Выстрел раздался в тот миг, когда Салават нырнул под брюхо коня. И вдруг после выстрела, вынырнув снова, ударом сукмара свалил Салават противника из седла...

Он возвратился к толпе с офицером, притороченным к стремени. На базарной площади Салават, окруженный толпой, удержал коня у мечети. Все толпились кругом, готовые повиноваться внезапно явившемуся спасителю, который казался воином, сошедшим с неба.

— Народ, я полковник царя Петра! — трюмко сказал Салават. — Царь прислал вам поклон. — Салават приложил руку к сердцу. — Царь указал вешать и бить волков. Царь приказал жить на воле, как вольные звери, как рыба в воде, как птицы в небе.

Многосотенная толпа окружила Салавата. Он поглядел на всех. Ни в ком не было страха. Воля к восстанию была во всех.

— Я поймал волка, — сказал Салават, — он вас грабил и обижал — сами расправьтесь с ним, как указал государь.

И Салават кинжалом обрезал веревки, которыми был приторочен к седлу офицер. Толпа ринулась на него...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Салават ехал от аула к аулу, везде останавливаясь, собирал сходы, везде читал манифесты и приказы. Сулил земли, воды, и соль, и полную волю, грозил непослушным смертью, и уже снова с ним шли сотни жягетов, горячих и отважных, как он сам, весть о нем летела от селения к селению. Бедняки встречали его с приветом и хлебом, богатые хоронились в подвалы, в стога и по несколько часов высиживали, не смея показаться на глаза.

Возле дома Юлая стояла толпа. Слышался умоляющий и убеждающий крик Юлая. Салават подъехал.

Оказалось — один из отрядов Салавата перегнал его, въехал в деревню, спросил юртового старшину, как делали это в других местах. Юлая не было дома. Башкиры стали ломиться в дом.

Мать Салавата вышла на крыльцо.

— Что вам? — спросила она.

— Где старшина? — крикнули ей из толпы.

— Старшина в Калмакове, у свата,— ответила старуха,— говорят, там его сын приехал.

— Деньги давай! — закричали из толпы.— Где деньги?

— Где деньги? У старика ведь деньги, конечно,— возразила испуганная жена Юлая.— Кто же бабе оставит деньги?

— Давай, давай! — настаивала толпа.— Твой старик должен все деньги отдать государю.

— Не знаю, где деньги. Бельме,— уверяла старуха.

— Врет старая! Вешать ее! Говори, где деньги! — крикнул молодой сотник, выхватив саблю.

В это время к дому с поспешностью прискакал на добром жеребце сам Юлай.

— Эй, стой! — крикнул он сотнику.— Ты на кого поднимаешь руку?! Знаешь, чья это баба?

— Должно быть, твоя,— насмешливо отозвался сотник.

— Моя-то моя, а я кто?

— Коли деньги дашь, то слуга государев, а не дашь — враг и ослушник.

— Деньги-то дам,— ответил старик, торопливо отвязывая кошель,— нате, считайте... Вот здесь шестьсот пятьдесят рублей... Деньги-то дам, а вот знаете ль вы, у кого отнимаете деньги, на чей дом так бесстыдно напали?!

— Ну, кто же ты? — вложив саблю в ножны и принимая кошель с деньгами, спросил все еще насмешливо сотник.

— Я — Юлай Азналихов, отец Салавата! — гордо сказал старик и выпрямился в седле. Увидав смущение некоторых башкир, он ободрился.— Да, отец удалого Салавата. Вот вам покажет сын, когда придет,—а он близко. Говорят, уже в Муратовке набирает людей.

— Пусть-ка вступится — и он не о двух головах! — выкрикнул оборванный старик, накидывая поверх лохмотьев лисью шубу одной из Юлаевских жен.

Толпа зашумела невнятной угрозой. Старик не успел возразить, когда на пригорке показался новый отряд всадников. Впереди всех ехал Салават.

— Вот и сын! — радостно воскликнул Юлай.

— Салам-aleyкум, — почтительно произнес Салават, подъезжая к отцу.

— Алейкум-салам,— ответил старик и торопливо, чтобы никто не передал происшествия по-своему, заговорил: — Это твои воины, Салават? Зачем они, как разбойники, нападают на дом твоего отца? Разве я враг? Я только и ждал, когда вы приедете... Мы здесь все ждали... Разве враги мы?... Они деньги отняли... Старуху мать твою хотели убить... Гляди — меха разграбили. Наряды у всех трех жен отняли.

При упоминании матери Салават нахмурился.

— Погоди, абзы¹, — остановил Юлая старик сотник. — Салават-туря, слушай. Мы не знали, что старшина твой отец, что его жена — мать тебе. Когда в любом ауле бай не отдает деньги и не отдает табун, мы его убиваем, дом его сжигаем, семью его истребляем. Сам думай: вот жена бая. Мы не знали, что она тебе мать, она говорит, что нет денег... Она говорит, что старшина к свату уехал. Мы как поверим? Все старшины, все бай «к свату ездят», когда слышат, что мы идем... Я не хотел убивать старуху, я только пугал.

— Не знали, что отец, не знали, что мать... Шулай, шулай, пугал только... — подтвердили все остальные слова сотника.

— Что там — старшина, он и есть старшина, что с ним говорить! — ворчали в толпе.

Пока сотник говорил, Салават думал: «Если отпустить отца, не взяв денег, не взяв лошадей, — и у других найдутся родные бай, которых станут они защищать... Нет, надо быть справедливым».

— Атай! — громко сказал Салават, когда все утихло, ожидая слов командира. — Ты — старшина, я — полковник. Когда идет война, вся сила в руках того, в чьих руках оружие. Я, полковник, говорю с тобой, старшиной: старшина Юлай Азналла-углы, государь требует с тебя денег для войсковой казны и пятьдесят лошадей.

Юлай изменился в лице.

Салават опустил было глаза, но поборол смущение, снова поднял взор и отчетливо продолжал:

— Еще государь повелел тебя привести к присяге ему, Петру Федоровичу, царю сарасайскому. Еще требует он, чтобы ты созвал джинн² и призывал свой юрт на войну в защиту его, государя. Если ты с нами — вот тебе письмо государя, государь зовет тебя на службу полковником.

Юлай, опустив глаза, слушал речь Салавата. Салават протянул ему, достав из-за пазухи, пакет.

— Шулай, шул-шулай, — повторял старшина, в размышлении кивая головой.

Когда Салават подъезжал, толпа невольно настроилась против него. Она видела в нем защитника богатого старшины. Когда Юлай заговорил, жалуюсь, злоба толпы усилилась, пронесся ропот, легкий, но явно выражающий недовольство. Если бы Салават заступился, его влияние было бы

¹ Абзы — дядя.

² Джинн — народное собрание.

подорвано. Когда Юлай заговорил, все замерли, ожидая, что он, строгий к другим, нередко жестокий в расправах, помилует своего отца. Салават вовремя поборол себя и сказал, что нужно. Уже не тихое, а громкое и почти восторженное: «Шулай! Ай, Салават! Шулай!» — раздалось из толпы.

— А вон Ильтемир, полковник, не брал ничего с брата, — говорили в толпе.

— Ильтемир и с кунаков не берет... Молодец. Салават!

— Вот батыр!.. Вот туря!..

Юлай уже с удовольствием слушал эти возгласы. Хитрый и умный сам, он был удивлен и восхищен умом Салавата: он понял, что этим самым сын его подчинил себе не одну сотню воинов.

Старик выпрямился и отвечал, не сходя с лошади и почтительно, но с достоинством принимая письмо:

— Салават Юлай-углы, полковник государя, в Шайтан-Кудейском юрте нет врагов тебе... Я дам не пятьдесят, а сто пятьдесят лошадей, и я дам не сотню воинов, а всех, кто может держать оружие. На родине славного батыра не должно быть трусов и отступников, пусть на головы их падет проклятье, если найдутся, жягет. А моей присягой пусть будут мои дела. Пусть аллах сразит меня, если отступлюсь. Имя его — свидетель моих обещаний.

Радостными криками встретили воины слова старшины.

— Войди в дом, полковник, — предложил Юлай, — а твои люди пусть режут баранов, сколько надо, и не касаются других домов, — я хочу сам угостить храбрых воинов.

— Хитрый старик! — крикнул кто-то из толпы, но возглас его затерялся в общем шуме и гвалте.

Салават вошел в дом.

Юлай созвал аульных старшин своего юрта. Многие не прибыли, а приехавшие аульные старшины обещали, что легко поднимут свои аулы; на аульном же сходе оказалось, что многие против участия в войне, а часть людей бежала во главе с Бухаиром в горы, как только приблизился Салават.

— Урусы грызутся, а нам зачем лезть? — говорили они.

— Под начало к мальчишке идти? Еще не хватало! — подтверждали другие на сходке в ауле.

Иные были обижены тем, что Салават передал только Юлаю письменное приглашение на службу, и завидовали.

— Сын за отца хлопочет, — говорили они, — Кто знает, что не сам Салават написал письмо от царя? Он в грамоте дошлый!..

— Юлай-то тоже против царицы, как будто не он старшина!

— Ничего, ката и в чалме узнают!..

Пугачев видел башкир в боях и уважал в них бесстрашных, горячих воинов. Узнав от Салавата, что его отец был на службе в Пруссии и получил награду, что в юности он был участником смелого бунта башкир, а теперь уже много лет состоит юртовым старшиной,— Пугачев оценил в нем бывалого воина, бунтаря-вольнолюбца и главу одного из знатнейших башкирских родов. Он решил, что этот бывалый и опытный человек будет полезен как предводитель башкир.

Салават тоже знал, что если удастся склонить к участию в восстании отца, то этим самым он сворохнет тяжелую глыбу нерешительности стариков, которые не захотят отстать от Юлая, а Салавату казалось, что раскачать аксакалов — старейшин — это значило раскачать весь народ.

В доме старшины готовили угощение для воинов. Зайдя на женскую половину, к матери и Амине, едва успев поздороваться с ними, но весь горя жаждою деятельности, он не задержался ни с матерью, ни с женой, которая в молчаливой и восторженной растерянности глядела на блестящего воина, каким теперь стал Салават. Оставив мать и жену хлопотать со стряпней, Салават вошел в дом отца. Тут оказались уже мулла, и Рысабай. Отец пригласил Салавата садиться.

Важно усевшись в кружок, старики молчали, и Салават из вежливости не нарушал молчания.

— Что же царица так скоро пустила тебя домой?—вдруг спросил Рысабай, одной рукой теребя бородку, обшлатом другой отчищая носок своего сапога. Он спросил это так, как будто ни единого слова не слышал о царе.

— Меня прислал царь. Я полковник царя, — оборвал Салават, не приняв игры.

— А зачем же, дозволь спросить, господин царский полковник, зачем же ваш царь послал тебя в наши края?—продолжал Рысабай.

— Я приехал собирать для царя войско, — твердо сказал Салават, глядя в лицо тестя.

— Войско для русских?! — вдруг, не скрывая негодования, взвизгнул старик Рысабай. — Ты думаешь, все продаются русским?! Скоро же ты перенял все их ухватки, русский полковник!

— Тут у нас был один молодой певец Салават, — в свою очередь заговорил мулла. — Он кричал, что скоро выйдет новый закон и никто не станет спрашивать с нас лошадей... А потом пришел русский полковник Салават и потребовал еще лошадей для царя, а мы уж давали...

— Давали... давали!—подтвердил Рысабай.

— Давали, давали!..—махнув рукой, согласился Юлай.

— Забыл ты, куда приехал, русский полковник! Твой отец умел драться с русскими!

— Государь прислал и отцу бумагу. Полковником тоже зовет на службу!—простодушно сказал Салават.

Рысабай и мулла переглянулись между собой и, не ответив, покашляли, а сам Юлай наклонился в сторону сына и тихо сказал:

— Сын, Салават, а зачем нам бакет от царя? Ты назад забери, нам не надо такого письма... Я старик ведь — какой уж я нынче полковник!.. Спина болит, ноги болят...

— Ты не прочел письмо государя?!—воскликнул Салават.

Юлай лишь повел плечами.

— Ты его у себя подержи, Салават. Лошадей я отдам сколько надо, а тут царский бакет ведь! У тебя ведь целее будет бумага. Потом как-нибудь на досуге ее почитаем.

Юлай протянул царский пакет назад сыну.

— Не хочешь раздоров среди родного народа, крови родной не хочешь, — тогда уходи, зять, — твердо сказал Рысабай. — Вон у тебя сколько воинов: и русские есть, и татары, и чувашаи... Ты их забирай, уводи. Так лучше ведь будет...

— Так лучше все-таки будет, — повторил Юлай.

— Лучше так, — отозвался мулла.

И Салават понял, что они не верят в победу царя. Он подумал, что старики заговорят по-другому, когда узнают, что войско царя побеждает. Хитрые и осторожные, они сами тогда поймут, что им с царем по дороге...

Не задерживаясь больше в родном ауле, Салават на рассвете собрал своих воинов и вышел в поход на север.

Салават пошел вниз по Аю, собирая в отряд людей...

У реки Биргаджа, что впадает в Ай, Салавата настиг Кинзя. Толстяк едва отпросился у Пугачева. Он говорил, что Салават пропадет без него, что он горяч головой и погубит себя, если его не держать в узде. Пугачев не сдался бы: Кинзя показал себя славным воином и грамотеем и был полезен ему на месте, но подоспевший с заводов Хлопуша, узнав, что Кинзя друг Салавата, понял его тоску и сочувственно попросил царя уважить просьбу башкирца.

Пугачев отпустил Кинзю.

Когда Кинзя услышал по пути рассказ башкир о царском полковнике, который, внезапно явясь на базар, поднял народ к восстанию, Кинзя сразу узнал в полковнике Салавата.

Рассказ о песне его разогнал окончательно все сомнения.

Кинзя сообщил Салавату, что под Уфой стоят уже полковники Пугач-падши Губанов и Чика Зарубин.

Кинзя передал Салавату царский указ подымать башкир по всем дорогам, и Салават помчался от аула к аулу, подымая знамя восстания.

Всюду, куда приходил, громко выкрикивал он слова манифеста, призывавшие на великую войну:

— «Пусть знают и верят — это высшее письмо дано от собственной руки и языка...»

— Шулай, шулай... Казак-падша писал... Сам писал... — гудели голоса, приглушенные в знак почтения перед Казак-падшой, как звали Пугачева в Башкирии.

— «Жалую вас землей, водой, рыбой, пашней, лесом, хлебом и солью... — читал Салават. — Кто не подчинится и будет противиться — боярин, генерал, майор, капитан и другие, — голову того рубите и имущество грабьте... Против таких стойте».

— Кись! Кись! Башларың балта блян кись!..¹ — кричали слушавшие.

— «Даю слово: кто раб помещика и попал в руки крестьянских тиранов — с сего дня свободен... Кто в тюрьме — тоже освобождается. Кто не подчинится — будет казнен».

Слова эти подхватывали десятки и сотни языков, слова эти разносили ветер, слова летели на стрелах, мчались на конях, кружились, подхваченные бураном, скользили на лыжах и грохотали в звуках выстрелов.

Десятки и сотни буйных отрядов родились в аулах, и отважные жягеты на борзых конях, натянув поводья, мчались, перекинув через плечи луки, колчаны, с кинжалами и саблями на поясах, с копьями у стремян.

Салават прошел вниз по Аю до самого устья. Всюду встречал он радостный прием, сотни жягетов присоединялись к нему.

Стоял декабрь. Последние быстрые речушки замерзали, окутанные инеем, как облаками. Мчались отряды во главе с десятниками и сотниками. Серебристым от инея мехом опущены были их шапки, серебристыми гривами щеголяли кони, поседели в морозной красе ресницы и черные брови на юных лицах.

— За волю!.. За степь!.. За соль!..

И за волю, за степь, за дешевую соль, за свинец, за порох, обещанные царским манифестом, подымались аулы, юрты и целые дороги.

¹ Бей! бей! Руби топорами башки!..

В первый раз было это, что башкиры вместе с русскими встали за волю, и сотни атамана Ивана Басова радостными криками встречали башкир-воинов, и царский полковник Салават Юлай-углы стремя к стремени ехал с царским атаманом, так же, как он, подымавшим народные полчища.

— За волю, за хлеб, за соль, за воду!

Вместе двигались они, призывая всех в царское войско:

— «От собственной руки и языка... Тех, кто меня признает, кто навстречу мне выйдет со службой, — не трогайте... Кто не подчиняется — мой приказ: вешать их и рубить».

Попы звонили в колокола, и народ присягал государю Петру Третьему. Кто не подчинялся — вешали и рубили тех, и черные тела их качались на деревьях.

Каму сковал ледяной панцирь, и за Камой, у Сарапуля, впервые встретили пугачевцы упрямый отпор. Целый день бились. Выстрелами отражали их с высокого берега верные царице сарапульцы, засевши в остатках деревянной крепости, не раз уже противившейся бунтовщикам. Два раза высылали к ним посланца с письмом Пугачева, и в первый раз они прогнали его криком:

— Скажи своим ворах, что сарапульские кожемяки верны государыне!

Во второй раз погиб казак от пули, посланной старшиной кожевников. Тогда ринулись все на приступ на Сарапульскую гору, но новыми выстрелами отвечали упорные горожане — им нечего было вставать за волю: город их, стоявший на перекрестке торговых дорог, вел торговлю и был богатым.

Возле Сарапуля пристала к повстанцам тысяча черемис. Много лет их здесь обращали в православную веру, заставляли молиться чужим, христианским богам, и теперь поднялись они:

— За волю, за реку, за соль, за старых богов, живущих на вольной воле, в лесу, а не в церкви.

В белых сермягах своих черемисы были не видны на синевато-белом снегу в сумерках, и когда отважились на вылазку сарапульцы, они прошли мимо черемисов. Салаватовы башкиры с кинжалами в зубах и поднятыми саблями ударили на горожан, и многие из них были побиты, и многие попали в плен к белохалатным черемисам.

Допросив пленных, их отправили под Уфу к графу Чернышову, как именовал себя Чика, командовавший войском, которое осаждало Уфу.

Слава Салавата летела по горам Урала, по долинам уральских рек. Слава Салавата звенела в его песнях, которые подхватывали сотни певцов и несли по сельским ба-

зарам, по деревенским избам. Песни звали народ на борьбу, и тысячи всадников скакали к Салавату. Одни из них приезжали во главе со старшинами и сотниками, другие — мелкими кучками, по десятку человек, иные — просто в одиночку.

Из-под Уфы от графа Чернышова пришло письмо о том, что на выручку осажденной крепости движется войско царицы. Чернышов просил помощи для отбития войск.

Салават собрал тысячу конников и двинулся во главе их к Уфе, чтобы встретиться с удалым полководцем.

«Граф Чернышов» выехал сам в сопровождении свиты навстречу полку, приведенному Салаватом.

Когда Салават увидел его — вспомнилась сцена во «дворце» государя, в тот миг, когда Салават, после выстрела Емельяна в Лысова, шагнул через порог. Лица всех атаманов из военной коллегии пугачевцев повернулись враждебно к Овчинникову и Салавату, только этот, которого звали тогда не «графом», а просто Ванькой Зарубиным, радостно улыбнулся Овчинникову — это был настоящий друг государя, друг Андрея Овчинникова, а Андрей — друг Хлопуши. Он был моложе и удалее всех из яицких атаманов, недаром его послал царь осаждать Уфу, несмотря на его молодость.

Чика — граф Чернышов — был опытный воин. В его полках был порядок и чин, и Салавату захотелось стать его другом.

Чика принял его почетно и доброжелательно, угощал его, показал, как держит осаду, как обстреливает из пушек Уфу, тот самый злосчастный город, в котором сидят жадные до коней и денег чиновники, обещавшие Юлаю помочь в его тяжбе с заводчиками, забравшие сотни коней, соболиных, бобровых и беличьих шкурок, бочки меду, стада баранов и не сделавшие ничего для отца...

От Чики узнал Салават, что Афанасий Иваныч Хлопуша на заводах Урала льет новые пушки для государя, готовит сабли и пики и всего дня четыре назад он прислал под Уфу четыре новые пушки с чугунными ядрами.

Салават не раз видал заводы, где выплавляли чугун, где ковали железо. Огромные полные жара печи, над которыми по ночам, как над пожарищем, поднималось зарево, казались ему похожими на злобных огнедышащих чудовищ, которые пожирают башкирские леса и приносят горе народу.

Салават по дороге в родную деревню из Берды проезжал мимо такого завода со своим отрядом башкир, но ему и в голову не пришло, что заводом можно овладеть, как го-

родом или крепостью. Огнедышащий завод казался загадочным, неприступным, могучим... Оказывается, Хлопуша не только им овладел, он смирил чудовище и заставил его нести добрую службу, полезную людям. Так волшебники в сказках смиряли злых духов, заставляя их делать добрые дела... Пушки, вылитые Хлопушею на заводе, стреляли в злобных чиновников, которые дрожали от страха, сидя в Уфе, осажденной Чикою.

Салават загорелся желанием овладеть заводом, но царский указ посылал его снова на север.

Всего лишь с десятком товарищей выехал Салават к своему войску. Но с ним была песня, и песня звала народ к бою. Снова в каждом селении приставали к нему мужчины. Молодые и старые, покидая свои дома, оставляя семьи, брались за оружие.

Салават сулил свободу и славу, звал за собою тех, кто любит родной Урал, кто ненавидит рабство, и каждая песня множила число его спутников.

Под Сарapulь он снова вернулся с тысячей воинов.

В деревнях и селах к нему приставали певцы, которые учились его призывающим к битвам песням, и Салават посылал их в леса и горы — звать народ на войну за волю...

В этой поездке почерпнул Салават немало доброго; глядя на порядки, заведенные Чикой, отдал он приказ по своим войскам:

«За воровство у покорных жителей — смерть. За убийство между собой — смерть. За отказ идти в войско — великий штраф».

Когда, вслед за этим приказом, пришли из одной деревни башкиры с жалобой, что у них вся молодежь ушла к графу Чернышову — на осаду Уфы, остались одни старики да женщины с детьми, а в это время напали Салаватовы воины и пограбили много домов, — Салават созвал все свое войско. Он выехал вперед в полном вооружении.

— Кто обижал деревню?—спросил он. — Выезжай.

Несколько мгновений стояла тишина, потом среди тихого ропота и подталкивания соседей выехало четверо всадников.

— Слышали вы приказ?—спросил Салават.

— Слышали!—вызывающе выкрикнул молодой бурлак. — Чего хочешь, чтобы мы бабами стали?

— А ты, жягет, стал хуже бабы, — перебил его Салават. — Нам нужны воины, а не разбойники. Мы воюем с солдатами, а не детишек бьем. Вешать его, — обратился Салават к воинам.

Но никто не шевельнулся.

— Я говорю: взять их и вешать! — повторил Салават. Ропот прошел по войску:

— Ишь, ловок ты русских вешать!

— Своих небось не повесишь!

— Неладно говоришь, полковник! — отчетливо выкрикнул атаман Басов, казачий отряд которого действовал совместно с Салаватом. — Надо круг спросить. Ты с графа уклад хочешь взять. У нас без суда не вешают. Пусть их круг судит...

— И верно, народ пусть судит... Ты что за хан такой! — выкрикнул мародер. — Правь круг, Басов!

Тогда Басов выехал вперед.

— Эй, атаманы! — крикнул он. — Храбрые атаманы! Вот четверо мошенников и воров... Они детей и старых обидели, как боярские командиры обижают... Вы на службу государю Петру Федоровичу пошли, а они на ваших детей напали и ваше добро грабили... У кого из вас дома хозяйки с робятами остались, атаманы-молодцы? Эти четверо воров ваши дома пограбят, всех детей ваших побьют и хозяек изблудят силой. Любы ли вам такие дела? Что делать с такими волками?

— Вешать их! — закричали теперь из толпы.

— Одних повесим, а других помилуем, коли деревни грабить будут, али всех повесим, кто деревни покорные обижать станет?

Четверо грабителей, побелевшие и растерянные, стояли перед толпой. Они не ожидали, что Басов поможет Салавату, думали, что казак за них выступится перед башкирами, и ошиблись...

— Всех, всех вешать! — кричали из толпы.

— Верно, атаманы, всех вешать. С нынешнего дня всех повесим таких, а из сих для страху лишь главного. Кто у вас за старшого был? — обратился Басов к грабителям.

— Что ты за судья?! — выкрикнул тот же бурлак.

— Не я сужу — круг судит, — ответил ему атаман.

— Говорите, кобели, а то всех повесим! — загудела толпа.

— Вот он, Петрушка, был, — показали трое остальных грабителей. — Он звал...

— Вешать Петрушку, вешать его!..

— Бей! — закричали из толпы.

Молодой бурлак, дерзко отвечавший Салавату, — Петрушка — подобрал поводья. Он решился спастись бегством.

Его сосед, один из четверых грабителей, схватил его коня под уздцы.

Петрушка выхватил нож и ударил по руке товарища. Тот выпустил поводья, но тут же схватил топор из-за пояса, и в одно мгновение грабитель с расколотой головой медленно сполз с седла.

— Вешать всех, — спросил Салават, — али пустить других?

— Вешать всех! — выкрикнул одинокий голос.

— Пустить, пустить остальных. Главный вор был Петрушка. Пустить остальных, — рассудила толпа.

— Быть так, — поддержал Салават. — А Петрушку, не глядя, что помер, весить на дерево и письмо написать: «Вор, царских людей грабил».

Через несколько минут труп грабителя уже был повешен на дерево, и записки на двух языках рассказывали народу, за что и кем он казнен.

В эти дни к Сарапулю прибыл с отрядом башкир, казаков и крестьян Канзафар Усаев, тот самый татарский писарь, который составил по указанию Пугачева первый манифест, обращенный к башкирам, и с ним же пришел со своим полком казацкий полковник Овчинников.

Канзафар привез Салавату письмо Пугачева. «Царь» хвалил его за верную службу, за набор многих конных и пеших людей и высказывал уверенность в том, что Салават еще больше прославит башкирский народ войною против больших крепостей.

Он рассказал о том, что со всех сторон надвигаются вражеские команды генералов и полковников царицы Екатерины. Государь повелел, и военная коллегия указала захватывать всюду крепости и города, не давая врагам занимать их и делать своею опорой против народа. Военная коллегия указала на всех дорогах поставить заслоны, поставить острожки, форпосты, по всем дорогам постоянно держать конные разъезды для вестей о приближении врага.

Опытные в боевых делах люди, не раз бывавшие на войне, Пугачев и его соратники объединяли народные силы. Для этого нужно было, может быть, в десять раз увеличить войско. Если до сих пор народное войско могло довольствоваться приходом тех, кто шел добровольно, — теперь становилось этого мало: надо было собрать великую армию. По лесным и горным селениям башкир, живших зимой не на кочевьях, а в оседлых аулах, можно было набрать довольно пригодных к воинской службе людей.

Посоветовавшись между собой, начальники ратных сил порешили, что здесь, в Башкирии, в царское войско лучше всего набирать народ славным в Башкирии именем Салавата.

Отныне не вдохновенная песня героя-певца должна была звать народ, а суровый приказ. Герой-певец превращался в начальника и вождя своего народа.

«По указу его величества государя императора Петра Федоровича, я, полковник Салават, сын Юлая, повелеваю тебе, сотнику Илятбаю Илимбаеву, чтобы для усердного стояния своею командой противу воров и противников государя и для сражения с врагами государя из каждого дома взять конных и пеших людей в государеву службу. Годных к службе не оставлять, отговорок не принимать, упорных поймать и прислать к нам при рапорте. В чем полковник Салават приложил руку».

«Я, полковник Салават, сын Юлая, повелеваю тебе, подполковнику Ахмету Типееву, для усердного стояния своею командой противу воров и противников государя...»

«Я, полковник Салават, сын Юлая, повелеваю тебе, юртовому старшине Седяшеву Юхнину, для усердного стояния...»

Десятки таких приказов, подписанных рукой Салавата, развозили гонцы по селениям вдоль Белой, по берегам рек Уфы, Ая, Таныпа, Юрузени, Сима, до самых Инзера и Зилима...

Первой крепостью, под которую по указу царя двинулись отряды Канзафара Усаева, Овчинникова и Салавата, была Красноуфимская крепость. Если бы ее захватили войска царицы, они могли бы отсюда действовать на большую округу. Красноуфимская крепость должна была стать опорой народа.

Во главе трехтысячного отряда Салават с Канзафаром Усаевым и Андреем Овчинниковым вышли из Сарапуля по направлению к Красноуфимску.

Они шли трое суток. Чтобы быть сильнее, не утомляли походом пеших, делали по небольшому переходу каждые сутки.

К концу третьего дня подошли к самому городу. В вечернем сумраке перед ними встали башни крепости. Они расставили заставы вокруг и притаились в соседних деревнях. Когда сумерки сменились ночью, темная лава человеческих и конских тел повалила на ветхие деревянные стены крепости. В крепости грянул и растерянно заметался набат.

С крепостного большерка, с палисада, грохнули пушки, с башен прогремели выстрелы, и тысячеголосый визг и свист огласили ночь.

Салават с отрядом башкир человек в двести прорвался в город с северной стороны, зайдя в обход. Неузнанные в ночи, как буря, как бешеная снежная вьюга, промчались башкиры по темным улицам и с визгом и криками ударили на большерк, в тыл артиллерии. Уже, смятые первым залпом пушек, бросились отступать от стен пугачевцы, и капитан скомандовал приказ о втором залпе, уже канонирские ученики подавали канонирам новое страшное утешение, когда по бревенчатым помостам башкирские кони взлетели на гребень большерка и капитан, командовавший артиллерией, упал с пульей Салавата в голове.

— Стой, канониры! — крикнул Салават. — Я полковник государя Петра Федоровича.

Канониры остановились.

— Не слушать его, ребята! Помни присягу государыне! — выкрикнул прапорщик и выстрелил из пистолета.

Пуля попала в кольчугу Салавата и не пробила ее. В то же мгновение молодой канонирский ученик пырнул прапорщика штыком в спину, и, только успев ахнуть, тот упал. Салават усмехнулся.

— Государь приказал пушкам палить по крепости, — сказал он.

Канониры стояли потупясь...

— У них там бабы, — шепнул Кинзя Салавату.

Салават досадливо отмахнулся.

— Слушай приказ государя! — повторил он повелительно, но, прежде чем канониры успели проявить покорность или непокорность, снизу взвыл торжествующий клич наступавших пугачевцев, застрекотала редкая ружейная пальба, и через большерк устремились в городок тучи башкир, тептярей, казаков и восставших крепостных из заводов. Все смешалось.

Гарнизон уже не противился...

Богатая добыча — четырнадцать пушек с ядрами и порохом — давала повстанцам возможность без труда захватить еще ряд мелких крепостей, тем более что при пушках же были захвачены люди, искусные в своем деле.

После падения Красноуфимска башкирские отряды двинулись по окрестностям от селения к селению, всюду зажигая восстание..

К Красноуфимску с разных сторон уже скакали гонцы от сотников, старшин и полковников, посланных для набора

войска и для разведывания о врагах. Они привозили вести о повсеместных восстаниях и победах народа: за Камой был занят повстанцами Ижевский завод, атаман Арапов взял город Самару на Волге, сам государь занимал одну за другою крепости, ближайšie к осажденному Оренбургу.

Всюду поднимались восстания: чуваши в Белебее подняли бунт, выгнали попов, сожгли церковь после того, как посланный Салавата прочитал им в базарный день на площади манифест Пугачева.

— Царь-патюшка досфолит свою веру дершать, нашим богам верить хотим!—кричали они в лицо своему попу и объявили себя язычниками.

Под Мензелинском татары, чуваши и башкиры во главе с татаринoм Сянфином подняли деревни и угрожали крепости. Даже попы кое-где поднялись. Поп из прикамского села Николо-Березовки, Игнашка Иванов, как прозвали его царицны начальники, стал атаманом и приводил Прикамье в верность Пугачеву.

Надо было двигаться дальше, по указу царя захватывать новые крепости, оставив Красноуфимск позади.

Салават призвал к себе назначенного атаманом крепости казака Иванова и есаула Матвея Чигвинцева.

— Силы довольно у вас, народ с вами, — сказал Салават им обоим. — Государь указал до самой смерти стоять, крепость держать, разъезды по всем сторонам высылать. Какая весть будет — сейчас ко мне посылать гонца.

— Не тревожься, полковник Юлаич, мы ведь народ-то бывалый. Не слыхать, чтобы знатные силы какие под эти места собирались, — сказал Иванов.

— Ну, смотри, чего плохо будет, вино пьешь, проспишь — на себя пеняй богу, смертью казню!.. А станешь народ обижать, подарки тащить, деньги брать от народа — и тоже повешу... Чтобы жалобы не было на тебя никакой! Государь ведь за правду идет, и мы будем за правду...

Перед выходом из Красноуфимска Салават, по казацким обычаям, призвал горожан на круг.

— Вот вам, народ, государевы верные слуги — атаман Иван Иванов да есаул Чигвинцев Матвей. Они для добра во всем промышляют. Ослушности им никакой ни в чем не чинить, а на того, кто их слушать не станет, великий штраф будет от государя, — сказал Салават, обращаясь к кругу. — А ежели они в чем народ обижают, то к нам отпишите. Государь никому не простит, кто народ обижает!

— А где нам тебя отыскать, господин полковник? — выкрикнул из толпы одинокий голос.

— Не соломинка в поле — как-нибудь сыщешь! — с усмешкой сказал Салават.

Араслан Бурангулов был храбрым сотником. Одним из первых на призыв Салавата взялся он за оружие в погоне за провиантским отрядом в селе Камышлы. С того дня Араслан сам набрал довольно народу, храбро бился при взятии Сарапуля и одним из первых ворвался в Красноуфимск. Несколько мелких редутов было захвачено им, не один гусарский разъезд был им побит и взят в плен.

Салават, уходя в поход, оставил его защищать Красноуфимскую крепость.

— Верно стой, Араслан-подполковник, — сказал ему Салават. — Ни в какую сторону сердце свое не пускай отклоняться. Если вору возьмут город, то с тылу на нас ударят. Стены, дороги, реку держать велю тебе именем государя. Окопы и засеки я твои осмотрел — все построено ладно. Держись, Араслан.

Канзафар Усаев вышел в направлении Екатеринбургской крепости, а Салават, расставшись с ним, отправился под Кунгур, под которым недели две уже стояли войска пугачевцев: командир башкир Батыркай, заводской атаман Петр Лохотин и казачий яицкий атаман Михайла Мальцев обложили Кунгурскую крепость со всех сторон.

Несколько приступов на крепостные стены уже было отбито.

Десять из четырнадцати пушек, взятых в Красноуфимске, шли с Салаватом на помощь войскам, осаждавшим Кунгур. За ними везли подводами порох, картечь и ядра.

С самим Салаватом ехало всего сотни три молодых всадников, но имя героя и пушки, которые вез он, должны были впятеро увеличить силы войск, осаждающих крепость.

Конный разъезд по пути прискакал к Салавату сказать, что вдоль по реке Уфе нагоняет их тысячный конный полк. Тотчас заняв вершину горы, Салават сам расставил на ней пушки, заслоняя дорогу к Кунгуру, и выслал разъезды, надеясь разбить с горы пушками любого врага.

К вечеру, возвратясь, разъезды сказали, что это идет на помощь войско царя, набранное по горным заводам и из крестьян-хлебопашцев. Салават решил дожидаться его.

Только утром другого дня показалось войско вдали на белизне снегов. Салават выехал навстречу начальнику.

Крепкий, рослый, широкоплечий атаман, ехавший впереди приближавшейся рати повстанцев, показался Салавату знакомым, но он не сразу признал в грозном военачальнике с широкой черной бородой, как сединой, покрывшейся инеем, перепоюсанном саблей, с ружьем за плечами и с

бригадирским знаком на лихо заломленной мохнатой казачьей папахе табынского кузнеца Ивана Степановича Кузнецова, с дочкой которого, черноглазой пылкой Оксаной, провел Салават любовную ночь...

Бригадир Кузнецов тоже не сразу узнал Салавата. Лишь повитавшись за руки и поглядев друг другу в глаза, оба они улыбнулись, как старые знакомцы.

— Здравов, господин Салават-полковник! — приветствовал табынский кузнец.

— Здравов, господин бригадир! Иван Степаныч, кажись...

— Верно вспомнил — Иван Степаныч! К тебе я, полковник, — сказал Кузнецов. — Государь указал мне тебе пособить. Ведь ныне я главный российских и азиатских войск предводитель.

Соединив отряды и не сходя с лошадей, они продолжали вместе поход под Кунгур, обмениваясь новостями и совещаясь о планах дальнейших действий.

Салавату не раз хотелось спросить Кузнецова об Оксане, но он не решался, а сам Кузнецов ни словом не помянул о дочери.

Была середина января. Стояли морозы...

Недалеко уже оставалось до Кунгура, когда в лесу разъезд, высланный Батыркаем, встретил отряд Кузнецова и Салавата.

— Не дело вам, атаманы, вести свое войско при белом дне. Ночи выждали бы в лесу, чтобы не знатко в Кунгуре было, что войско пришло. То бы мы, как зверя, в берлоге, их там обложили, — сказал Петр Лохотин, встретивший их около полудня.

Только ночью без шума вошли войны в ближние деревеньки под самый Кунгур и стали в них по дворам, потеснив команды, стоявшие раньше, и не разбивая своих таборов.

Ярким морозным утром Салават с Кузнецовым и Батыркаем пустились, под видом простых воинов, осматривать крепость со всех сторон.

В противоположность Красноуфимской крепости и ряду мелких острожков, сдавшихся после взятия Красноуфимска, эта крепость — Кунгурская — не была обветшалой и разоренной прежними восстаниями: новые башни, новый крепкий острог, недавно возведенные новые высокие бастионы — все делало ее более грозной и неприступной, чем окружающие острожки.

Осаждающие войска не стояли в непосредственной близости от кунгурских стен. Мороз загнал их по соседним деревенькам вблизи дорог, ведущих из города, и гарнизон

крепости то и дело производил вылазки. Когда Салават и Кузнецов были вблизи крепости, к ее стенам под военным конвоем как раз подходил обоз в полсотни возов, груженных хлебом и сеном: высланные из города фурыеры разжились продовольствием и фуражом и решили прорваться в город.

Наблюдая издали приближение обоза к крепости, Кузнецов и Салават с досадой подумали о том, что командиры осадных войск прозевали обоз, но Батыркай, бывший с ними, лишь рассмеялся, услышав такое предположение, и указал на лощину, где вдруг вдоль реки замелькали откуда-то взявшиеся башкирские лыжники с луками и колчанами за плечами. Каждый из них в отдельности был похож на обычного лесного охотника, но, собранные в отряд в три сотни человек, они стали военной силой.

Собирая по деревням людей в войско, Салават несколько раз встречался с тем, что бедняки пастухи не могли выйти на царскую службу, потому что у них не было лошадей. Это он сам, Салават, собрал их в отряды лыжников. Первому из этих отрядов он сам поставил начальником и предводителем горного пастуха Сары-Байсара, дав ему чин поручика.

Лыжники Сары-Байсара в полку Батыркай, посланного первым под Кунгур, стяжали почет и славу бесстрашных бойцов.

В белых сермяжных шубах, привычные укрываться в снегах от зоркого зверя, они незаметно подкрадывались к врагу, внезапно обрушивались дождем метких стрел и, обнажив медвежьи ножи, смело мчались в смертельную рукопашную схватку... В быстроте они состязались с конницей, а там, где снег был глубоким, опережали коней, мчась как ветер. Опытные дозорные и разведчики, быстроногие вестники, не знающие страха в рукопашном бою, они были незаменимы в зимнее время.

Лыжники давно уже выследили обоз, приближавшийся к крепости.

Перед самым городом лыжные дозоры обогнали обоз и предупредили о нем свой отряд, и вот по лощине вдоль Сылвы охотники выбежали на добычу.

Предводитель лыжников Сары-Байсар, заслонив рукой глаза, вглядывался в крепость, переводил узкие, раскосые глаза на обоз и снова на крепость, определяя расстояние и взвешивая собственные силы и время.

Обоз ехал в сопровождении драгунского взвода. Сары-Байсар колебался.

— Можно поспеть теперь, — как бы отвечая на его мысль, сказал за его спиной юркий, малорослый, похожий

на мальчика воин.— Наши лыжники не хуже аргамаков и уж, конечно, быстрее этих кляч.

— Ружья у них,— опасно заметил Сары-Байсар, почесывая скулу.

— Они из ружей будут мимо бить, а наши луки без обмана,— запальчиво возразил малыш.— Ты забыл, Сары-Байсар, мы привыкли бить зверя на бегу. Я ни разу еще не промахнулся ни по лосю, ни по козе, а в позапрошлом году мне случилось перегнать оленя, да так, что он, прыгнув, увяз в снегу от прыжка, а я перепрыгнул через него с обрыва и тут же его убил.

Воины, слушавшие разговор, захохотали.

— Вахабка всегда так: и бегаёт быстрее оленя, и летает выше орла, даром что ростом с лапоть.

— Чем разговаривать, мы бы уже захватили обоз,— неодобрительно обернулся ко всем маленький Вахаб.

— И захватим,— поддержали из толпы.

— Опоздали. Из крепости помощь выйдет,— возразил осторожный Сары-Байсар.

— Успеем, агай, уйдем! — подбодрили несколько голов.

— Ну, айда, коли так.

— Айда! — подхватили лыжники, и легкий ветерок, дувший им в спины, стал отставать.

Снег скрипел, лыжи свистели, люди ровно и часто дышали, выбрасывая палки. В обозе их заметили и, повернув задами вozy, прикрывшись сеном и мешками хлеба, приготовились к бою.

На выстрел из лука лыжники остановились и спустили стрелы. Люди тотчас попрятались за сено. Не видно было, попала ли хоть одна стрела.

В ответ им грянул ружейный залп.

— Алла! — крикнул Сары-Байсар, и снова заскрипели лыжи, и еще не успели драгуны приготовиться ко второму залпу, как лыжники были под возами сена.

Драгуны заняли еще полдюжину возов, превратив их в бастион, и, сверху прикрытые сами от стрел сеном, били по нападавшим. Лыжники под пулями бросились обрубить постромки.

Завязалась свалка с возчиками, обывателями городка: дрались просто кулаками, обрубленными оглоблями, топорами, и вдруг среди шума сражения, треска и грома выстрелов послышался крик драгун:

— Держись, братцы! Из крепости помощь!

Из крепости действительно вышел драгунский отряд на помощь обозу. Но вдруг с заднего воза поднялся столб

пламени с дымом. Как живой, покатился по снежному полю пламенный ком, мечась между возами и зажигая их. Столб пламени поднимался уже от пятого или шестого воза с краю и дальше. По ряду возов помчался огненный живой зверь, дико визжа и зажигая новые возы. Испуганные, опаленные кони рванулись к крепости, неся под ее новые стены свой пылающий груз. Драгуны, залегшие на возах, в ужасе прыгали из огня и рассыпались по полю. Лошади под драгунским отрядом, выехавшим из крепости, дыбились, испуганные и смятые бешеным огненным поездом. Они шарахались в стороны с дороги и вязли в снегу. На дороге пешими оставались хозяева обозных лошадей, человек сорок. Их лыжники захватили в плен и потянули обратно к реке. Тех, кто не хотел идти, убивали, иных связывали и волочили за собой по снегу, как салазки.

Маленького охотника Вахаба везли двое товарищей. Это он, вместо того, чтобы тянуть бесплодную перестрелку из лука, засел под задним возом и упорно высекал огонь, пока не зажег воз. Это он, как огненный зверь, метался от воза к возу, с охалками горящего сена. Несмотря на страшные ожоги, он одержал победу и лишил крепость продовольствия и фуража.

Одежда на чем была вся сожжена. Грудь обожжена, лицо в багровых волдырях, брови и ресницы исчезли, вместо них были красные пятна, окаймлявшие воспаленные узкие глазки; он стонал:

— Снегу!.. Пить!..

Ему дали снегу.

— Улям... Хазер улям...¹ — простонал он.— Положите меня здесь... Умру..

Но его не положили. Его несли дальше.

— Сары-Байсар,— позвал умирающий.

Сары-Байсар наклонился к нему.

— Я ведь правда тогда перегнал оленя...— прошептал умирающий юный герой.

— Знаю... вижу... — ответил Сары-Байсар и подумал: «Верно, ты уже не перегонишь сегодняшнего заката».

Пленники рассказали, что гарнизон в крепости сильный, пушки новые, солдат много и, кроме горнизона, все кожанники города вооружены и будут сражаться.

Ни Салават, ни Кузнецов не приуныли, услышав это. Они не поверили пленникам, подумали, что те обманывают, и даже хотели было повесить их всех за обман, однако

¹ Умираю. Сейчас умру.

рассудили, что лучше привлекут горожан, если обойдутся с пленниками добром.

Их накормили, отвели для них две избы и оставили под охраной, кроме двоих, которым вручили пугачевские манифесты и пустили в город.

Вместе с бывшими ранее под Кунгуром силами пугачевцев их собралось тут теперь четыре тысячи воинов.

Батыркой уже испытал сильные и слабые стороны крепости.

Объехав и осмотрев ее вместе, все начальники взялись готовить решительный приступ на кунгурские стены. Его готовили ночью.

В тишине подвезли и поставили пушки против крепостных батарей. Но только их расположили, как крепость грянула пушечным залпом и несколько бомб ударились возле самой артиллерийской площадки повстанцев. Пролетевшим ядром убило одного канонира.

В то же время слышались крики и стрельба с противоположной стороны — это начал приступ отряд Сары-Байсара.

Сары-Байсар мстил за умершего от ожогов маленького Вахаба.

— Пора,— сказал Салават, и фитили задымили, загрохотали удары пушек.

Пушки зарядили снова, когда часть отряда под командой Батыркая пошла на приступ. Почти одновременно выстрелы и крики слышались слева, где с пятью сотнями башкир были сотник Акжягет и Петр Лохотин.

— Зажигай! — крикнул Салават и тотчас вслед за новым залпом пушек вынул саблю и помчался впереди своего отряда.

И когда они уже спешивались, чтобы лезть на стены, в городе разгорелся пожар: одно из ядер, пущенных Салаватом, зажгло какую-то постройку в крепости, и яркое пламя плескало в небе, озаряя все кругом красным блеском. Этот-то свет и погубил приступ: крепостные канониры при нем вернее навели пушки, грянул короткий картечный залп, раненные лошади взвились на дыбы, закричали люди, кое-кто повернул назад. Из крепости вылетели драгуны. Салават увидел, что он остался один, повернул коня и поскакал за бегущими, чтобы удержать их от бегства.

Это были юнцы, в первый раз покинувшие родные деревни. Ранее они выезжали из родных аулов лишь на кочевья. Многие из них никогда не слышали порохового выстрела. Удары пушек, заряженных картечью, ядра, гром ружейной

пальбы привели в ужас коней и заставили дрогнуть сердца всадников.

Окрики Салавата остановили их. Пересилив свой ужас перед огненным боем, они удержали коней и кто с чем попало — с саблями, пиками, топорами, — остановясь перед напором драгун, снова вступили в бой. Но со стороны защитников крепости это был лишь хитрый маневр: завязавшийся бой преградил натопанную, ровную дорогу на подходе к крепости и отрезал первую волну шедших на приступ людей от подкреплений, которые, поспешая под крепостные стены, теперь тонули в сугробах.

Защитники крепости расправлялись с теми немногочисленными повстанцами, которые успели прорваться под ее стены. Они обливали их кипятком и растопленную смолой, обрасывали им на головы камни и били в упор из ружей, пока те не отступили и не начали отходить, обессиленные потерями.

Казачи атамана Михайлы Мальцева рванулись к крепости в обход дороги, по целине, завязли в сугробах, бросили в снег лошадей и пустились пешком, но и пешком было трудно одолевать снежную целину и наметенные сугробы. Казачи тонули по грудь и по пояс в снегу, и тут-то удар за ударом стали их бить картечные выстрелы с крепости...

После упорной схватки отряд Салавата стал теснить драгун к городу. Разгоряченные битвой юнцы с победными криками стремились за ними.

Как раз в это время должен был из засады подойти на помощь штурмующим Кузнецов. Салават оглянулся и увидел бурно мчавшихся конников, вот они подошли вплотную... и вдруг... залп за залпом ружейными выстрелами конница начала осыпать башкир. Защитники крепости, ободренные помощью, еще ожесточеннее сбрасывали камни на головы идущих на приступ пугачевцев. В тылу Салавата, вместо Кузнецова, оказался отряд драгун, которые перехитрили повстанцев, выехав через северные ворота города.

По дороге они захватили обоз Кузнецова, а часть их, завязав перестрелку с Кузнецовым из леса, отвлекла его главные силы.

Сары-Байсар, также отбитый от стен крепости, со своими лыжниками мчался на помощь Салавату.

Поредевший отряд Салавата бился из последних сил, сжатый с двух сторон городской вылазкой.

Сам Салават криком бодрил товарищей, попевая везде, где люди падали духом, где враг начинал осиливать. Вдруг Салават выронил саблю, пошатнулся и, бросив поводья, пополз с седла.

Толстый, грузный всадник, все время как тень следовавший за Салаватом, подхватил его и перекинул, уже бесчувственного, к себе на седло. Схватив его коня под уздцы, отбиваясь ударами топора от драгун, он помчался сквозь их цепь. Драгуны погнались за ним, окружили, но в это время подоспели лыжники Сары-Байсара. Они подкатывались под самые ноги драгунских коней, хватались за холки, за стремяна, за луки, короткими ножами сбивали с седла всадников, топтали повергнутого врага. Они защищали Кинзю с безжизненным Салаватом на седле, но не могли уже сдержать бегства башкир, лишенных своего командира. Еще один штурм был отбит.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Раненого Салавата бригадир Кузнецов, как старший чином, велел отвезти на родину для лечения.

В сопровождении сотни башкир везли его к родному аулу. За эти месяцы, что он провел, не сходя с седла, в битвах, Салават много передумал. Даже обычная спутница в прежнее время — песня — реже навещала его; она любила тишину и задумчивость, а где было взять теперь тишины, когда каждый шаг надо обдумывать, когда каждый миг надо ожидать выстрела не в лоб, так в спину?

Лежа в санях, на подушках, Салават думал теперь не о нападении или защите, не о сегодняшней неудаче. Он думал о всем большом деле, которое начал. Надо было неустанно раздувать пламя. Надо было всюду поспеть, подхватить каждую искру и разжечь ею горы и степи. Теперь, когда народ решился восстать, когда сотни русских, башкирских, татарских селений восстали, нельзя уже было терять времени, нельзя бездействовать, чтобы не ослаб жар, — и как раз в это время Салават выбыл из строя...

— Кинзя, сколько дней я лежу? — спросил Салават.

— Пятый день, агакай, — ответил Кинзя. — Лежи, лежи, не подымай головы...

— Чудак ты! Как же лежать?! Ты считай: если каждый день подымать по одной деревне, и то было бы пять деревень. Айе-ма?

— Верно, — нехотя пробурчал Кинзя.

— Ну, так вот, а я тут лежу.. А ты, как баба, возле меня ходишь, башкиры спят... и огонь войны так потухнет... Раздувай огонь!..

— Тише ты, Салават, — уговаривал его друг — Народ ведь и сам не отступится, что ты! Народ сам горит, а ты береги свои силы...

— Раздувай огонь! — не слушая, выкрикнул Салават и внезапно запел:

Люди, надуйте волосатые щеки,
Помогайте дуть холодному ветру.
Пусть пляшет по крышам боярским
Красный огонь, молодой огонь...
Пусть от натуги лопнет мясо,
Мясо и кожа ваших щек.
Зато жарче огонь войны
Будет жечь наших врагов..

— Тише, Салават-агай, тише! — умолял его толстяк.— Тебе снова будет хуже, ляг на подушку.

— Молчи! — огрызнулся на него Салават. — Еще ты, мешок, учить меня будешь?! Вот твоя подушка.— И одним движением ножа Салават распорол подушку, широко размахнул перину и выпустил пух.— Вот твоя подушка, вот твоя перина, вот твой покой!.. Седло мне!

Старый друг уговаривал Салавата, как ребенка, но тот кричал и требовал седло. Кинзя уступил. Салавату подвели оседланного жеребца. Когда он садился в седло, рот его перекосялся от боли.

— Вот видишь! — укоризненно сказал толстяк.

— Это ты видишь, а я не вижу. Оно и лучше, что не вижу, а то бы, верно, пожалел себя, как ты или как слезливая баба.

Кинзя промолчал. Салават ехал с ним рядом. Он побледнел от боли. Каждый толчок отдавался в ране.

Они въехали в деревню, и улица ее мгновенно опустела. Жители боялись, что проезжие воины будут грабить. Отряд остановился возле мечети. Салават не сходил с седла, не смотря на уговоры друзей.

Прошло много времени, прежде чем собрали народ. Аульный старшина вышел вперед.

— Что вы за люди? Чего хотите? — спросил он важно.

— Мы пришли звать всех жягетов на войну. Кто не с нами, тот изменник. Дом того будет предан огню, сам он должен погибнуть!.. Кто не с нами, тот не мужчина! Кто не с нами, тот не башкирин!.. Горит война! — отвечал Салават, с каждым громким словом бледнея и становясь слабей. Рана мучила его.— Я полковник царя. Царь зовет против бояр... Вот раненный в битве, я приехал звать вас...

И побелев от слабости, Салават, вместо того чтобы говорить дальше, запел:

Что обещал Пугач-царь?
Что обещал казак-царь?

Он обещал реки и степи,
Он башкирам обещал возвратить лес,
Он даст порох и свинец.
Он пожаловал вольную волю.
Вот что обещал могучий казак-царь.
Поднимайтесь все на войну!
Пусть льется кровь до последней капли.
Пусть откроются раны —
Их исцелит вольная воля.
Кто мужчина, тот не боится раны,
Тот не боится самого меча Азраила.

Салават покачнулся в седле, белый как снег. Сары-Байсар подхватил его, бесчувственного.

— На войну! — кричал в один голос народ.

Мулла, стоявший на крыльце своего дома как раз против мечети, громко сказал:

— Альхасл, жягеты! Вот человек, сказавший, что он не боится меча Азраила. Аллах тотчас поразил его. Смотрите, правоверные... Жягани, масалян. Он хотел идти против аллаха. Несчастный карак, дерзнувший против Азраила! Безумные, не идите за ним!

— Он ранен, — крикнул в ответ Кинзя. — Надутый верблюду, он ранен — ты понимаешь? — И старый друг, поддерживая Салавата в седле, освободил его ногу из стремена.

— Кем же, кроме аллаха, ранен он? — спросил, усмехнувшись мулла. — Вот чудо! Вот чудо перед вами! Альхасл, жягеты, невидимая стрела сразила разбойника и богохульца. Он умер, сказав несправедное слово! — Мулла неистовствовал от ликования.

— Он не умер, — громче крикнул, краснея от злости, толстяк. — Ты, старый болван, толстый «масалян», тупая свинья, слышишь ты, я вот тебя угощу свинцом, если не замолчишь! — Кинзя вынул из-за пояса Салавата пистолет и поднял его. Мулла скрылся в своем доме.

— Полковник ранен, — сказал Кинзя, обращаясь к народу. — Отведите ему дом. Это храбрый воин. Он взял пять крепостей, а теперь ранен, но, как настоящий воин, не хочет лежать и не сходит с седла.

Бесчувственного Салавата подхватили десятки рук, но он мгновенно очнулся.

— Пустите меня, я сам пойду, — сказал он. — Акжягет, пиши список, кто идет с нами.

Акжягет кивнул головой.

— Хорошо, агай, иди ляг... Я напишу список, а тебе нужен отдых.

Салавата внесли в избу и уложили на постель. Рана его, только что закрывшаяся, побагровела, вздулась и снова готова была открыться.

В соседней избе Акжягет писал список добровольцев. Взволнованные песней Салавата не меньше, чем в других местах словами воззваний и манифестов, юноши почти поголовно уходили с отрядом, и старики одобряли их.

Сто двадцать имен этого села были вписаны в список Акжягета.

Салават ослабел. Лежа в постели, таким голосом он говорил Кинзе:

— В наших войсках не хватает людей. Двести человек не должны быть без дела из-за одного Салавата. Пусть все идут под Кунгур. Государь указал взять Кунгурскую крепость. Нельзя его обмануть. Я один поеду до дому. Ты поведешь их.

— Хорошо, хорошо, Салават, я поведу их,— успокаивал его толстяк.— Спи, тебе надо подкрепиться.

Салават задремал.

Ночью, когда он, проснувшись, встал, он услышал за перегородкой шепот Кинзи:

— Этого бешеного медведя можно только перехитрить. Ты уведи его аргамака и сделай вид, что ушел. Стойте в соседней деревне, а когда мы поедem вперед, вы следуйте за нами: без своего коня он снова согласится лечь на перину и будет думать, что я один его провожаю.

— Может быть, хватит половины воинов, а другую половину послать под Кунгур? — неуверенно прошептал Акжягет.

— А кто же будет сопровождать начальника? Что же ты думаешь, Салават-тура не стоит того, чтобы его сохранить от опасности? — обрушился Кинзя на собеседника.— Ты как думаешь?! — допрашивал он запальчиво, повышая голос.

— Зачем так? Совсем я так не думал... Ладно, пусть будет, как ты сказал.

Они заснули. Салават написал записку:

«Бешеный медведь сам добредет в берлогу. Поезжайте все под Кунгур — таков мой приказ».

И в ночной тишине Салават выехал из деревни.

«Они будут догонять меня утром, значит, надо поехать другой дорогой. Пусть-ка поймают! — Салават засмеялся.— А то, вишь, почет какой. Будто я не могу без двух сотен нянек».

Довольный своей хитростью, омеаясь, он свернул по ближайшей тропинке вправо и подхлестнул коня. Вместо того

чтобы ехать по Юрузени, он пересек ее и поехал вдоль Каратау, переехал Сим, дальше хотел повернуть налево, мимо Усть-Катавского завода. Белизна снега резала до боли его глаза. Сильно заныла рана. Салават сунул руку к себе под одежду и в липкой мокротѣ нащупал жесткий предмет. «Пуля вышла!» — подумал он. В тот же миг желтые пятна пошли по снежной пустыне. Салават испугался, что вот он сейчас упадет и погибнет... Он крепко схватился за шею коня и потерял силы...

Когда он очнулся, под головой его снова была подушка, а сверху прикрыт он был тем же овчинным тулупом. Салават открыл глаза. Теперь он лежал на лубке между двумя лошадьми, подвешенный на лямках. Лица всадников, везших его, были от него скрыты поднятыми овчинными воротниками.

Салават глядел на яркие звезды в небе.

«Как они меня нашли? — подумал он. — Хитрый толстяк! Неужели он все время следил?»

Могучий всадник сидел на правой лошади. Салават был удивлен способом передвижения. Если бы ехали к дому, то можно было проехать и на саях, не было надобности везти верхом, — верно, пришлось поехать где-то стороной и притом проезжать через крутые, бездорожные горы.

«Странно, — думал он, — неужели приходится убегать от царицыных войск? Для чего они двинулись через горы?»

Салават хотел спросить Кинзю, но не хотелось нарушать ночной тишины. Он шевельнулся. От движения заболела рана. И, не в силах сдержаться, он застонал. Богатырь, обернувшись, склонился с седла. В блеклой мути рассвета Салават увидел чужое лицо... Это был не Кинзя. Салават овладел собой и сдержал готовый сорваться крик. Он даже закрыл глаза и притворился спящим, чтобы лучше обдумать свое положение. Он был в плену... Какая участь ждала его?! Знали ли эти люди, кого схватили? Кто они сами — сторонники Бухaira или солдаты царицы?

— Кто ты? — спросил Салават по-русски.

— Молчи, — сурово ответил грузный всадник.

— Куда ты меня везешь?

— На Авзян-завод. К генералу Афанасу Ивановичу Соколову.

Салават закрыл глаза. Он сознавал свое бессилие перед судьбой: генерал так генерал, — может быть, удастся обмануть генерала!

Лошади остановились.

— Вставай. Я тебе помогу, — обратился к Салавату тот, кого он сначала принял за Кинзю.

— Спасибо. Сам встану,— сухо и гордо сказал Салават.

Салават поднялся с подушки, сошел с луба и сам, стараясь ступать тверже, взошел на крыльцо.

Дверь пахнула навстречу теплым паром. В доме, несмотря на раннюю пору, горел огонь и люди сидели за столом.

Салават перешагнул порог.

— Здравствуйте,— сказал сопровождающий воин, войдя вместе с ним.

— Здравствуй, здравствуй. Милости просим,— ответил от стола неожиданно знакомый Салавату голос.

У стола, в кругу рабочей семьи, сидел высокий, широкоплечий бородач с серо-стальными пристальными глазами, рябым лицом, отмеченным красными пятнами каторжного клейма на лбу, с повязкой на носу.

— Хлопуша! — радостно закричал Салават с порога и пошатнулся от слабости. Такой «генерал» был не страшен.

— Салават! — так же радостно вскрикнул Хлопуша.— Что с тобой, парень? Что ты белый? Рожа-то как известка.

— Ранен я,— ответил Салават,— пуля вышел в дороге. Совсем затянулся было, а тут взял да вышел...

— Иди, иди, садись скорей,— захлопотал Хлопуша,— иди. Это ладно, что пуля вышла. Бабку позовем. Справит тебе она примочки, и жив будешь... Ашать¹ хочешь?

— Какой там ашать! — махнув рукой, сказал Салават и опустился на лавку, бледнея от слабости и радостного волнения.

— Водки! — крикнул Хлопуша, поняв его состояние.— Лучший дружок мой,— пояснил он засуетившимся хозяевам и сам притащил Салавату подушку.

Страшной смесью из водки с луком и чесноком ожгло все внутренности Салавата, но Хлопуша был убежден, что это самое целительное средство, и Салават покорился... Хлопуша не отходил от него до полудня, рассказывал о том, как он был схвачен и заключен в тюрьму, как оренбургские власти решили послать его к Пугачеву с «увещательными» письмами, как он, вместо того чтобы письма разбрасывать, все их представил своему государю и как теперь государь его, генерала Соколова, послал по Уралу: «Лети, сокол,— сказал государь,— да бей черных воронов».

— Вот и летаю, голубы! Здесь, на Авзяне, пушки лью,— рассказывал Хлопуша,— с рабочим народом в миру да в ладу. Царским ослушникам гостинцы готовлю... Рабочих

¹ А ш а т ь — есть.

людей пособрал, что лопатками да кирками владеют.. Теперь хоть крепости свои строй.. Дня через четыре в д-опять под Оренбурх, к государю... А ты где воюешь, г-...

— Сарапул взял, Красноуфимск покорил государю, мелкие крепости брал, которые сжег, в которых солдат цобил.. Под Кунгуром дрались!.. Четырнадцать пушек брали в Красноуфимске...— слабым голосом перечислял Салават.

— А где же тебе бока наломали?

— Под Кунгуром бока ломал... Теперь много дней прошло.. Новый полк собирать буду...

— Валяй, валяй, гляди, и генералом станешь не хуже меня,— подбадривал раненого Хлопуша.— Тут вот со мной из татар полковник, который тебя привез. Храбрый парень... Оружия мало, вот чего худо. Кабы всей амуниции вволю — мы бы давно на Москве уже были... Вот сейчас я двенадцатую пушку дожидая. Заводские-то мужики молодцы — с хлебом-солью приняли, всякую честь оказывают. Пушки без слов льют, кольчуги куют, говорят: «Для своего царя стараемся — свою волю добываем». А ты был у государя-то? Признал его?

— Как не признать.. Калякал с ним кое о чем... Письма брал...— Салават начал дремать от хмеля.

В это время в избу вошел казак.

— Афанас Иваныч, десятой пушки лафет готов, айда смотреть — зовет мастер,— позвал он Хлопушу.

Хлопуша вышел, а Салават заснул.

Встреча со старым другом Хлопушей обрадовала Салавата. Ведь перед его глазами он предстал теперь уже не молодым мальчишкой, не знающим жизни, а опытным воином с опасной раной, которой гордился Салават больше, чем чином полковника. Салавату было радостно показать Хлопуше, что вот его, Хлопуши, ночные разговоры у костров, дневные беседы в пути, в стенах и в лесах, бродяжничество по уметам, разбой по дорогам, песни и сказки — все не прошло даром.

В течение следующих трех дней Салават, подчиняясь Хлопуше, лежал, чтобы дать зажить ране. Ворожейка-лекарка, старуха Ипатишна, делала ему примочки, лечила настойками и наговорами, и кто знает, какое из этих лекарств больше помогало, вернее всего — молодая кровь.

Через три дня Хлопуша сказал ему, что выступает под Оренбург.

— Бог знает, уж свидимся ли? Прощай. Хорошо, что господь тебя послал еще раз на моем пути, — увидел я, что не дермо из тебя выросло, а человек. Счастливо. Поправляйся — да снова на недругов. Пуше всего помни, что за-

А чтобы нам владать надо, заводских искусников да вывези ков на свою сторону склонять — тогда половина дела судна сделана: в заводе тебе и пушку выльют, и кинжал и саблю сделают, и картечи готовят. И народ заводской дружной да смелей. Землероб за свою коровенку, за скудельное добришко трясется, а заводскому мужику — и хотел бы трястись, да не над чем. Вот он зато и смелее!

Хлопуша уехал. Салават остался в заводе еще сутки. На вторые сутки его взяла тоска. Он не выдержал и выехал в путь.

Вскоре после ранения Салавата осада с Кунгура была снята. Михайла Мальцев отошел со своими казаками под Красноуфимск, в пополнение к Матвею Чигвинцеву, оставленному Салаватом для обороны Красноуфимска.

Помня наказ Салавата всеми мерами удерживать Красноуфимск и его угрозу карать за оплошность смертною казнию, Матвей Чигвинцев исправно посылал донесения под Кунгур, а после отхода повстанческих войск от Кунгура сообщал под Екатеринбург, где начальствовал пугачевский полковник Белобородов.

Через дней десять после снятия осады из Кунгурской крепости вышел отряд солдат под командой майора Гагарина и направился к Красноуфимску.

Разъезды Чигвинцева тотчас примчали об этом весть своему командиру, и гонцы с донесениями полетели к Екатеринбургу, прося о помощи Белобородова. Однако, занятый захватом екатеринбургских заводов, местный уроженец и бывший капрал, а нынче пугачевский полковник Иван Наумович Белобородов не мог в то время покинуть заводы.

— А кто же там полковником ранее был? — спросил он гонца.

— Славный полковник был — Салават Юлаич, да раненый в дом на поправку отпущен. Без него-то и врозь все пошло. Его и башкирцы и русские слушались ровно. Хоть молодой, а удалый полковник, и разумом взял.

— Далече ль отсюда?

— Дни в два доскакать.

— Ну и с богом, скачи. Я ему тотчас бакет укажу приготовить. Чай, нынче оправился — пусть поспешает. А мне-то негоже заводы покинуть. Злодеев-воров повсюду кишит. Отъеду отсюда — и супротивники тотчас налезут в наши заводы.

Белобородов велел написать Салавату и выслал пакет с гонцом.

Силы бурлили ключом в поправлявшемся, крепнувшем Салавате. Еще никогда прежде не делал он таких громадных перегонов в один день. Никогда к ночи не освобождал ногу из стремени с таким сожалением.

Едучи от аула к аулу, на каждой остановке он собирал сходы, читал пугачевские указы и манифесты, сулил земли, воды, леса, даровую соль и полную волю, грозил непослушным смертью, усердным же обещал царские милости. И снова с ним шли уже сотни три горячих и отважных жягетов. Весть о Салавате летела от селения к селению впереди его. Бедняки встречали его приветом и хлебом-солью, богатые хоронились в подвалы, в стога и по нескольку часов высиживали, не смея показаться на глаза.

Аул Шиганаевку он миновал стороной, узнав, что в соседней волости появились злодеи, которые побивают верных государю людей. И вдруг к нему на дороге подъехал гонец от Белобородова.

Он протянул Салавату пакет.

Белобородов писал, что Красноуфимской крепости угрожает беда, что там башкирской и русской армии не более тысячи человек, и хотя с ними есть десять пушек, но пороху мало.

«Вам, господину полковнику Салавату, через сие рапорту и прошу: что имеется в команде вашей служащих, собрав всех самоскорейшим временем, с оными следовать в Красноуфимск, дабы нашу армию и артиллерию вовсе не потерять».

— Сотник Рясул! — позвал Салават одного из воинов, приставших к нему накануне.

Юный, как сам Салават, начальник молодецки подъехал к полковнику.

— Резво, как ветер, скакать. Веди всех под Красноуфимск. Я вас догоню по пути, — приказал Салават. — Явишься там к атаману Матвею Чипвинцеву или к Араслану Бурангулову.

Молодой сотник вспыхнул от гордой радости, что ему поручают такой отряд.

Оставив с собою всего лишь двоих товарищей, Салават повернул в родную деревню...

После отъезда Салавата на войну в Шиганаевку нагрянули пугачевские полковники Грязнов и Сулаев, набиравшие войска под Уфу по указу Чики Зарубина. Юлай уже слышал о том, что в одном из башкирских юртов за отказ от повиновения повешен Грязновым башкирский сотник

Когда Девлетов. Когда пугачевские вербовщики явились в аулах Шайтан-Кудейского юрта, Юлай не стал им противиться. Он объявил им о том, что Салават привез ему письмом государя, в котором сам государь его называл полковником.

— Что ж ты, полковник, тут даром сидишь, когда государю надобно войско? — сказал Грязнов. — Ну-ка, собирайся-ка в службу!

И с полутора сотнями всадников Юлай поневоле должен был выехать под Уфу...

Салават незамеченным въехал в родой аул, отправив двоих товарищей по соседним аулам — в Юнусов и в русскую заводскую деревню Муратовку, сговорившись о том, что утром они приедут с набранными людьми к нему в дом.

Амина растерялась, когда он приехал, потом кинулась раздевать его, но Салават остановил ее, расспрашивая, где Юлай, где Бухаир, кто остался в деревне.

Она отвечала, робея, путалась и невнятно бормотала.

Салават узнал от нее, что юртовым старшиной вместо Юлая остался отец Гульбазир, старик-грамотей Рустамбай.

— Я пойду к Рустамбаю, — сказал Салават.

— Ты хочешь взять женой Гульбазир? — спросила его Амина. Ее глаза были испуганными, а в голосе задрожали слезы.

— Мне не надо другой жены, — сказал Салават. — Ты ведь родишь мне сына? — спросил он, чтобы отвлечь ее от разговора о Гульбазире.

Но это было еще хуже. Амина потупилась.

— Нет его, Салават, — забормотала она. — Нет сына... Что делать мне?! Я несчастная!.. Бог не дает мне стать матерью... Это оттого, что я много тоскую. Солнце не греет меня. Облако не кропит дождем. Останься со мной. Твой цветок зачахнет с тоски, если ты снова уйдешь...

— Нельзя, Амина. Надо идти в поход. Я большой начальник, — старался он ей объяснить.

Но тоска по сыну, забытая давняя грусть о неродившемся Рамазане в нем загорелась снова. Он не знал, что — мысль о Гульбазире или бесплодие Амины — его взволновало больше, но родной дом вдруг показался ему душным, тесным, как клетка, и он захотел тотчас бежать из него... В поход, в поход!..

Ему даже трудно было принудить себя ночевать дома. Нарядная, словно в праздник, Амина ему показалась скуч-

ной. Рот ее, который открывался, как клюв, требуя ласки, перестал быть манящим.

Салават решил не задерживаться с вербовкой по всему юрту и выступить в поход только с теми, кто сразу придет к нему добровольно... «Бедный, смешной цветок в длинной шапке, зачем ты достался мне, не другому!» — размышлял Салават, глядя на Амину.

Он вышел из дому и направился к Рустамбаю.

— Здравствуй, русский полковник! — сказал Рустамбай, и Салават не понял, с насмешкою он произнес это приветствие или серьезно.— Садись, господин полковник. Что скажешь?

На кошке в уголке спал Мурат — шестнадцатилетний брат Гульбазир. Когда вошел Салават, он сел, протирая глаза, едва слышно в смущении пробормотал приветствие и устался с любопытством на гостя.

— Мне нужно набрать людей к государю в войско, — сказал Салават Рустамбаю.— Враги подступают к Красноуфимску. Там стоит тысяча моих воинов с десятью пушками, но этого мало. Надо еще воинов, не то и людей побьют и пушки отнимут. Идем собирать людей, старшина-агай.

Рустамбай покачал головой.

— Всех, кто владеет оружием, увели, Салават. Твой отец увел человек полтора, русские атаманы не раз наезжали, ты сам присылал людей набирать войско. Где ж нам взять людей? Вон ребятишки, — указал он на сына, — да старики ведь остались, а кто по лесам разбежался. Шурин твой Бухайрка много народу в горы увел... По правде сказать-то, ведь чей теперь старшина Рустамбай? Бабий я старшина, Салават. Одни женщины дома у нас, господин полковник.

Сын Рустамбая Мурат накинул на плечи шубу, натянул на голову малахай и вышел из дому.

— Пойдем по домам, Рустам-агай, будем смотреть людей, может, все же найдем, — предложил Салават.

— Ты мой гость, господин полковник! Сиди, расскажи про войну. Я мясо варить велю. Не годится мне, старшине, из дому так отпускать тебя, без угощения.

— Война не ждет, Рустамбай! Пятьсот человек башкир и пятьсот русских воинов могут погибнуть, пока Салават будет есть бишбармак. Пойдем по дворам, — настойчиво повторил Салават.

— Экий ведь ты несговорный, упрямый! — проворчал старик.

Кряхтя, кашляя, охая, жалуясь на боль в пояснице, собирался старый Рустамбай, напяливал шубу, искал мала-

хай, завалившийся куда-то за печку, потом с помощью старой жены разыскивал палку и рукавицы. Салават нетерпеливо ждал его у порога, взявшись за дверную скобу, как вдруг кто-то резко рванул дверь снаружи.

Вся занесенная снегом, тяжело дыша, стояла в дверях Гульбазир.

— Они схватят тебя, Салават! — сказала, как выдохнула, она. — Я была у сестры Кулуя Абтракова. Все три брата сошлись у него и с ними...

— Гульбазир! Девчонка! Что ты болтаешь! — перебил ее Рустамбай. — Тебе показалось...

— Нет! Я слыхала! Кулуй послал сына за Бахтияром Янышевым. Лучник Бурнаш побежал к тебе в дом предупредить; Амина сказала ему, что ты у отца... Дочь Кулуя...

— Идем, старшина! — позвал Салават. — А ты говорил, что в деревне одни только бабы! Надо скорей набрать воинов. Начнем с дома Кулуя Абтракова.

Рустамбай испуганно заморгал.

— Может, утром пойдем, Салават? Вон ведь видишь, какой буран — занесло совсем девку! — лепетал он. Услышав от Гульбазир, что ожидается стычка с «верными» баями, Рустамбай не хотел оказаться замешанным в это дело ни с той, ни с другой стороны. — Смотри, ведь какой буран, а! Домов-то не видно!.. — уговаривал он Салавата.

— Война не ждет хорошей погоды! — оборвал Салават старика. — Боишься? Не хочешь идти?!

— Да ты ведь подумай-ка сам, господин полковник: а ну как девка-то правду сболтнула! Тебя тут схватят, а мне чего будет за то?!. Ведь я старшина, значит, нынче.

— Их там много, жягет, — сказала Гульбазир, — тебе их не одолеть! Я правду сказала! Они говорят, что поймают тебя и сведут на завод, отдадут солдатам...

Девушка смотрела на него восторженным взглядом и хотя остерегала его, но в ее глазах он читал, что она не верит в его осторожность, в страх перед врагами. Всем существом она хотела, чтобы он ее не послушался, чтобы он все же пошел на врагов и победил их...

Салават усмехнулся.

— Что ж, Рустамбай-агай, мне идти одному? — спросил он старшину.

В это время дверь распахнулась, и в дом Рустамбая вбежала едва одетая, вся в снегу Амина.

— Салават! — закричала она со слезами. — Спрячься скорей! Они хотят напасть на тебя... Тебя убьют, Салават!..

— Успокойся, жена, — сурово сказал Салават. Он по-

чему-то не хотел назвать Амину ни ласточкой, ни цветком, как звал ее дома.— Ты готов, старшина? — спросил он.

— Права ведь жена твоя, Салават,— возразил старик.

Но тут во дворе Рустамбая послышалось конское ржание, кто-то отпрукнул коня у крыльца и вошел в сени.

Салават незаметно взялся за пистолет, лежавший за пазухой, притотовившись сопротивляться. Но в клубах морозного пара у дверей стоял только брат Гульбазир, Мурат. Он был обвешан оружием.

— Салават-агай, я собрал тебе воинов. Нас восемнадцать жягетов,— сказал он.— У всех у нас луки, сукмары, ножи, топоры и пики. Возьми нас к себе.

— Сколько же лет тебе, воин? — спросил его Салават. Мурат усмехнулся.

С сободем шапка зеленого цвета —
Вот Салавата-батыра примета.
Спросите: «Сколько же лет Салават?»
Батыру пятнадцати лет еще нету, —

пропел он.

Салават засмеялся. Смех его подхватил Рустамбай.

— И тебе нет пятнадцати? — спросил Салават юнца.

Мне шестнадцать. Только троим у нас по пятнадцати лет. А есть еще по семнадцать!

— И все на конях?

— На конях, — гордо ответил юноша.

— А ты говорил, агай, что в ауле нет годных к военной службе! — сказал Салават Рустамбаю. — Айда к Абтраковым!

— С детьми, господин полковник?! — выкрикнул старик.

— С храбрецами, Рустамбай-агай. Восемнадцать смелых жягетов — это целое войско! — возразил Салават, и в голосе его было торжество. Он знал настоящую цену пылости в отваге юношей...

В доме Кулуя Абтракова сошлось семеро «верных» баев. Они приготовили для поимки Салавата оружие, веревки и самых быстроногих коней, собираясь его схватить, как только ночью он окажется один у себя дома.

Это были умные, дальновидные и хитрые люди. Их не прельстили обещания казацкого «царя», как и подсылщики турецкого султана. Они понимали, что самая большая сила в руках царицы, ее губернаторов, чиновников и генералов. Они не верели в победу Пугачпадши и понимали, что турецкий султан силен в Турции, а не в России. Они не играли двойной игры, платили исправно властям все, что с них причиталось, не участвовали в мятежах,

промышляли пушниной и скотоводством, для охоты им разрешали иметь ружья, свинец и порох. Они водили дружбу с заводским приказчиком, торговали с русскими купцами, сами скупали товары в соседних юртах, купцы из Уфы им доверяли деньги на скупку. К ним на кочевки не раз приезжали чиновники и купцы пить кумыс. Один из купцов долго жил на кочевке Абтраковых, расспрашивал о башкирских обычаях, слушал песни и сказки, сам рисовал их костюмы, накупил халатов, башкирской посуды, войлоков, кзыл-паласов, женских украшений, даже купил целый войлочный кош и сказал, что будет в России у себя в имени выезжать на кочевку.

Абтраковы все говорили по-русски и даже были по-русски грамотны. Все они льстили себя надеждой, что после восстания им, как оставшимся «верными», будут пожалованы начальством особые льготы. Они то и дело тайно сносились с заводским начальством, с командирами солдат, расположенных в горных заводах, передавали им списки самых ярых бунтовщиков и мечтали о скором подавлении мятежа, который препятствовал их спокойной торговле. Салавата они считали главным виновником возмущения башкир и выговорили себе заранее хорошую цену за выдачу Салавата властям.

Салават с Рустамбаем вошел в дом Кулуя Абтракова.

— Салам-але! — приветствовал он. — Я набираю воинов в Красноуфимскую крепость. Всех, кто может держать оружие, зовет государь...

— Ай-бай-бай! — с насмешливым сокрушением протянул старший Абтраков. — Знать-то плохо твоему «государю», что ночью послал тебя кликать воинов!

— Говорят, его скоро повесят, твоего «государя». В Оренбурхе на площади виселицу поставили! — подхватил второй брат.

— Еще говорят, что ты сам с дороги в буране сбился: должно, шел к каким-то вора, а попал к честным людям! — засмеялся третий.

— Садись, посиди тут с нами. Допьем чай, тогда тебя свяжем! — нагло сказал Кулуй.

Все семеро мужчин, сидевших в избе, откровенно расхохотались. Они не ждали, что Салават придет сам в западню, и смеялись своей удаче, уверенные, что он приехал один и некому за него вступиться.

— Старшина-агай, скажи им, что ты знаешь указ государя, — обратился Салават к Рустамбаю.

— Как же, как же! Читал ведь указ. Казак-падша указал всех, кто может сидеть в седлах, всех, кто саблю

может держать, забирать в солдаты. В указе так сказано: кто противиться станет, тому, значит, смерть! — подтвердил Рустамбай.

С оружием, что ли, идти? — спросил Бахтияр Янышев с каким-то особым значением.

— Как же, как же! С оружием, значит! — подтвердил Рустамбай.

— Берись за оружие! — крикнул Кулуй.

И все похватали приготовленное заранее оружие. Но Салават в тот же миг толкнул дверь и выскочил во двор.

Давя друг друга в дверях, заговорщики с криками выскочили вслед за Салаватом, но непроницаемая завеса бурана уже повисла меж ними.

Вдогонку Салавату свистнули стрелы.

— Жягеты! Не выпускай из двора! Бей! Руби их! — послышался голос Салавата за снежную пеленой. — Сдавайтесь, изменники!

И хор молодых голосов повторил:

— Сдавайтесь, злодеи!

Заговорщики, успевшие выскочить из ворот, оказались со всех сторон окружены всадниками, которые прижимали их и загоняли во двор. Заговорщики, не ожидавшие натиска, отступили. Они шли всемером на одного Салавата, а тут им, во мраке и непогоде, представилось целое войско... Они оцетинились, как звери, загнанные в берлогу, пускали стрелы в невидимого врага, но юноши смело наседали на них. Бежать было некуда. Их, как баранов, загнали во двор. Они заперлись в доме Кулуя, превратив его в крепость, из узких окон которой били, как из бойниц, приближавшихся к ним юных друзей Салавата. Загремели выстрелы, вскрикнул раненый.

— Салават-агай, нас двадцать три! — в радостном возбуждении сказал Мурат, подведя Салавату лошадь.

— Спасибо, сотник Мурат, — ответил ему Салават.

Настала минута затишья.

— Эй вы, собаки, сдавайтесь на милость! — крикнул Салават, подъехав к самому дому.

В ответ ему грянул в упор ружейный выстрел из окна дома. Пуля ударилась в кольчугу на груди, но не пробила ее... Рядом заржала раненая лошадь. Мимо головы Салавата просвистела стрела.

— Сдавайтесь, проклятые! — повторил Салават. — В последний раз говорю — сдавайтесь на милость!

Снова ударил выстрел, и рядом с Салаватом застонал раненый воин.

Салават спрыгнул с седла.

— Заваливай двери в дом! — приказал он.

Заговорщики знали, что делали. Они послали гонца на Усть-Катавский завод, где стояла команда солдат. Они считали, что тут, в надежном укрытии, сумеют протянуть до утра, когда подойдут солдаты. Милости от Салавата они не ждали, но думали, что солдаты их выручат.

По приказу Салавата юноши спрыгнули с седел. Они заваливали двери в дом бочками, санями, бревнами, сломали плетень, сокружили ворота и все валили к дверям.

Узкие окна старинного дома были годны лишь для того, чтобы стать бойницами. Человеку в них было не влезть и не вылезти. Когда завалили дверь, заговорщики оказались в плену.

— Хворосту! Сена сюда! Огня! — приказал Салават.

Тогда из женской половины дома раздался плач детей и женщин, в страхе слушавших, что происходит.

— Женщин с детьми пустить, — приказал Салават.

Их выпустили. Женщины ведьмами бросились на своих врагов. Слышались истошные вопли, плач, покрывавшие и ругань заваленных в логове злодеев, и крики освирепевших воинов, среди которых были раненые и убитые.

Женщин насильно оттаскивали от дверей Кулуева дома, но они, отбиваясь, рвались развалить завал у дверей, царапались, выли, кусались...

— Огня изменникам! Жечь их! — кричали юные воины.

И пламя опоясало дом...

Улица осветилась. Быстро занялись стены Кулуева дома. Обреченные гибели злодеи завопили в отчаянии, моля о пощаде. Их жены вырвались из толпы и кинулись в пламя. Их схватили и, отбивавшихся, потащили назад. В это время двое людей показались на охваченной пламенем кровле, одежда на них горела. С воплем звериного ужаса бросились они с крыши в сугроб.

Салават наложил стрелу, и один из них упал, пораженный ее острием.

— Я поеду с вами! Я с вами! — крикнул второй, умоляюще простирая руки.

— Так воинов не набирают, — сказал Салават и спустил стрелу во второго...

Еще двое выскочили в тот же пролом в кровле, ринулись в снег. Один из них побежал... Еще один выскочил из огня на улицу.

— Ни один не должен уйти! — обратился к воинам Салават.

— Бей их, бей! — закричали в толпе, и десятки дубин, стрел, пуль и камней обрушились на спасавшихся из огня.

Уже не слышно было отдельных возгласов сожаления. «Смерть, смерть им!» — кричали юноши и бросились с оружием на выскакивающих из пламени.

Стена соседней избы задымилась.

— Воды! — крикнул Салават. — Их и так теперь возьмет шайтан. Воды сюда!

Соседнюю избу почти мгновенно залили, закидали снегом, не дав разгореться. Первая изба сгорела дотла.

Толпа вдруг оцепенела. Все молчали. Салават в общем молчании произнес спокойно и четко:

— Так будет всем государевым слушникам...

Салават не выставил никаких дозоров по дороге к Шиганаевке, и потому сердце его дрогнуло тревогой, когда при отсвете пожарища он увидел мчавшуюся по улице конницу.

Но это оказались свои: посланные для набора людей приехали из Юнусова и Муратовки. Они бы прибыли только утром, но зарево над Шиганаевкой встревожило их. Воины подумали, что это солдаты царицы зажгли аул Салавата, и примчались на помощь.

Салават выступил в поход еще до рассвета. В селениях Шайтан-Кудейского и Кущинского юртов он по пути набирал еще воинов, и вот четыреста всадников поспешили с ним к Красноуфимской крепости.

Всюду лежал глубокий снег, и приходилось ехать только натоптаннами дорогами, на которых невозможно было разминуться с гонцами, посланными с севера. В первый же день Салавату встретился посланец Чигвинцева. При нем не было никакого пакета. Лишь на словах он сказал, что произошло большое сражение и пугачевцы едва отбили врага от своих укреплений, причем атаман Петр Лохотин убит.

Салават гнал свой отряд, не давая отдыха ни людям, ни лошадям, только меняя заводных коней. В морозном воздухе над скачущим отрядом висело облако пара...

На второй день второй гонец подал Салавату пакет от есаула Матвея Чигвинцева. Есаул сообщал, что Красноуфимская крепость пала, атаман казацкой команды Михайла Мальцев попал в плен к злодеям, а сам он, Матвей, отошел за реку Уфу и движется с оставшимися людьми на соединение с Салаватом.

«И вам бы, господину полковнику Салавату Юлаевичу, гнева на нас не положить, поелику дрались с ворьем-супротивниками, как вы указали, как присяга и совесть велит, и многие пали в боях, и снег на полях стал красен от крови, однако же пороху, ядер, свинцу недостача, да против огненна боя с пиками, с саблями не устоять. Да у них, господин полковник, изволите видеть,— пехота, а ей по зимнему времени во сражениях действовать способней и легче...»

И вот в горах Кара-тау высланный Салаватом разъезд встретил разбитое войско, отошедшее от Красноуфимской крепости, а через час башкирская конница Салавата соединилась со смешанным, растянувшимся вдоль дороги отрядом Чигвинцева.

Чигвинцев вез с собой пять оставшихся пушек, без ядер и пороху. Пять пушек были потеряны и остались в плену у врага.

Расположившись в ближайшей деревне, Салават выслушал рассказ Матвея Чигвинцева о боях. По всем дорогам и тропкам выставил он дозоры, чтобы в крепости не узнали о том, что подходит свежее пугачевское войско.

Надо было ворваться в крепость без выстрела, одолеть ее одной лишь внезапностью натиска, потому что не было пороху. Потому и нельзя было дать ни коням, ни людям долгого отдыха, во время которого командиры противника успели бы разведать их силы и подготовиться к отражению атаки.

Сам Салават между тем разузнал, что под Красноуфимском противник не строил новых укреплений, лишь занял прежние, приготовленные Чигвинцевым и Лохотиным.

Войско Салавата тронулось к крепости с вечера и, не смущаясь мраком и снежной метелью, еще до рассвета бросилось на стены, оставив у себя за спиной передовые укрепления, построенные казаками. Салават рассчитывал, что отрезанные от крепости солдаты сами покинут редуты и убегут, но оказалось, что там-то, в окопах, и были сосредоточены Гагариным главные силы. Стены крепости были захвачены Салаватом, который тем самым вошел в окружение и осаду. Свое положение Салават понял с наступлением утра, когда с городских стен увидел по всем сторонам разъезды солдат и пушки, которые Гагарин ставил вокруг, направляя на крепость...

Салават почувствовал, что попадает в ловушку. Он выслал людей на вылазку, но их забивали обратно картечью из пушек.

Через день майор Гагарин прислал Салавату письмо:

«Видишь сам,— писал он,— что твоей воровской команде приходит погибель. Когда подойдут верные ее величеству государыне войска мне в подкрепление, то я всяческие увещания оставлю и вины твоей не приму. Сей же день и час обещаю тебе милость великой государыни императрицы. Сложи оружие и укажи башкирскому мятежному сброду разъехаться по своим домам — и будешь помилован, хотя заслужил ты великия казни».

По получении этого письма Салават в тот же час ударил на вылазку конными силами. Однако ночью шел снег, конница взяла в поле, и солдатская пехота майора Гагарина была застрявших в сугробах коней из пушек и ружей, а павших из седел всадников солдаты в рукопашном бою ловко прикалывали штыками.

Снова пришлось отступить в крепость. Однако тут не хватало сена, овса. Лошади еще не начинали тощать, но можно было легко представить себе, что через неделю начнется голод и конский падеж...

Еще двое суток Салават копил силы, дав отдых коням и людям, чтобы не утомлять их бесплодными ежедневными атаками да вместе с тем дать улежаться свежему снегу. Однако на третий день снова поднялся мартовский злой буран...

Ночью в Красноуфимскую крепость проник гонец с горькой вестью о том, что войско Чики под Уфою разбито отлично вооруженным полковником Михельсоном, сам Чика Зарубин захвачен в плен, что все под Уфой в смятении, пугачевское войско бежит в разные стороны. Вместе с тем гонец сообщил, что на другой же день после пленения Чики стерлитамакские башкиры съехались на джиин и принесли повинную Михельсону, который вошел в Уфу.

Все это значило, что под Уфой освободились большие силы противника и теперь они могут прийти на помощь Гагарину. Каждый час промедления мог грозить гибелью. И Салават той же ночью, несмотря на буран, ударился на прорыв. Битва была короткой. Он вырвался из кольца к горному перевалу... Лошади изнемогали, увязая в глубоких сугробах, они обливались потом, от них валил пар. Но Салават торопил свой отряд в суровые снежные горы, куда не посмеют пойти солдаты.

До летних путей, когда конница снова станет подвижной и быстрой, он уходил на юг, к родному аулу, к горным заводам, где можно было для всех изготовить оружие, пушки и ядра.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Юлай, один из немногих военачальников Чики, спасся во время разгрома пугачевских войск под Уфой. Он отступил за Кара-Идель и стоял в горах. В это-то время и пришел к нему Бухаир.

— Юлай-агай, у тебя триста воинов, у меня — пятьсот. У нас вместе не меньше двухсот ружей. Мы можем разрушить заводы, изгнать всех русских с нашей земли и вернуть наши земли. Не наше дело сражаться за русских царя и царицу. Объединим наши силы. Башкирский народ вознесет нашу славу...

— Как ведь сказать, Бухаир. Для славы-то стар уж я нынче! — ответил Юлай. — Я домой воротился бы, да людей жалко. Вон сколько их у меня — триста человек. Приведу — похватают их дома. Вдовы плакать начнут, ребятишки... А то бы домой пошел...

— Эх, старик! Чью землю заводчики взяли? Твою? — подстрекал Бухаир.

— Мою землю, писарь, мою ведь, конечно! — согласился Юлай.

— Обманули тебя на покупке?

— Ай-бай-бай, как еще обманули, собаки! Сам знаешь!

— А кого народ проклинает за этот обман?

— Ну-ну-ну!.. — раздраженно и гневно воскликнул Юлай, но тут же коротко спросил: — А неужто меня, Бухаирка?

— Ты продавал! Ты зазнался, старый закон забыл. Разве твоя земля? Земля-то всего народа, а ты продавал! Кто виноват народу? Юлай! Кто должен вину искупить?

— Юлай ведь, наверно, старый шайтан, — согласился старик. — Погоди, дай подумать. Куда так спешишь, окаянный?.. — вдруг взъелся он.

— Нагрянут войска, побьют твоих воинов, посажают на колья, порубят им головы, самому тебе голову срубят — мне всех вас не жалко, а жалко того, что я потеряю триста союзников, — просто сказал Бухаир.

Юлай отплюнулся.

— Уходи, Бухаирка! Тебе свой народ не жалко... Ступай от меня!..

— А тебе было жалко народ, когда ты заводам леса продавал? Ничего тебе не было жалко, Юлай! О себе ты думал! А мне что жалеть дураков, которые лезут в драку между царем и царицей? Нам бы свое добро выручать, а мы кровь башкирскую за что проливаем? Эх, Юлай-агай!..

Они просидели за спором в течение целого вечера, и Юлай согласился на уговоры писаря.

Вместе двинулись они к горным заводам.

Воспользоваться для себя раздорами между русскими, отнять назад свои земли, свои леса, разорить заводы, поставленные на их земле, — вот что стало их целью.

Появление их у завода было внезапным. Заводское начальство не успело дать знать расположенным по другим заводам войсковым командам, а рабочие, видя в царском полковнике Юлае отца Салавата, освободителя от крепостной неволи, сами были рады ему помочь и помогли восстанием изнутри завода.

Юлай и Бухаир торжествовали победу. Однако опытом многих лет башкиры были научены тому, что в русском чиновничьем государстве огромную роль играет бумага. Хитрый и злобный, позже казненный царем Петром Первым, корыстный чиновник Сергеев, чтобы отнять у башкир древние тарханные грамоты, насмерть замучивал пытками их владельцев. Это значило, что бумага жила и имела силу даже тогда, когда владелец ее погибал. И Юлаю казалось недостаточным занять заводы, разрушить и сжечь дотла заводские постройки, — нужно было еще уничтожить и те бумаги, на основании которых заводчик считал своей заводскую землю.

Поисками этой бумаги и занимались теперь Бухаир и Юлай со своими ближними, расположившись в конторе захваченного завода.

Верный сотник и соратник Бухаира молодой Айтуган, разбирая ворох бумаг, одну за другой показывал их Юлаю.

— Смотри, Юлай-агай, эта?

— Та много больше, а внизу вот такая большая печать, а вот в этом месте моя тамга. Ты ведь знаешь тамгу — Шайтан-Кудейского юрта...

По комнате были разбросаны толстые книги, какие-то сшивки, отдельные документы. По неопытности людей, никогда не имевших дела с таким изобилием бумаги, они сначала не отделяли просмотренные от несмотренного и лишь тогда спохватились, когда многие из бумаг стали явно им попадаться по второму разу.

— Так сам шайтан ничего не сыщет, давай все сначала, Юлай-агай! — предложил Бухаир.

— Полковник-агай, там заводские к тебе пришли, — сказал, войдя, десятник Юлая, бывший с ним с первого дня похода под Уфу. Он все еще называл Юлая полковником.

— Не до них тут... гони их к чертям! — отозвался Бухаир за Юлая.

— Нет, постой-ка, постой, зачем так! Зови, если надобно, значит, — вмешался Юлай.

В просторное помещение конторы, заваленное бумагами, гурьбой ввалились рабочие. С собою ввели они связанного пленника, которого тут же возле порога ткнули в пол носом и оставили так лежать.

Из группы рабочих вышли вперед двое, каждый из них нес блюдо. Первый, старик лет под семьдесят, рудоплавщик Сысой, торжественно поклонился Юлаю.

— Старшина Юлай Азналихыч, здравствуй, сударь, избавитель наш от хозяев лютых! Прислали нас к тебе заводские мужики, наказали хлеб-соль поднести. Прими, не побрезгуй.

— Что у нас — хлеба да соли нету? — презрительно спросил Бухаир.

— Ты, писарь, что видел на свете? Что понимаешь? — возразил Юлай. — Такой русский закон! Рахмат! Спасибо, старик! — обратился Юлай к рудоплавщику, принял хлеб-соль и возле себя поставил блюдо на стол. — Ты, что ли старик, зарубил офицера?

— За все их издевки, сударь Юлай Азналихыч, помстился я нынче, срубил злодея! — признался старый рабочий.

— Ладно вы нам помогли, спасибо, — сказал Юлай.

— Какой там шайтан помогал! — досадливо огрызнулся Бухаир. — Пушку изгадили. Были бы мы теперь с пушкой!

Упрек Бухаира был несправедливым: потеряв своих людей, рискуя жизнями, заклепали рабочие пушку, которая губительными смерчами картечных выстрелов отбивала все подступы к заводу.

Но старый рабочий не оскорбился грубым, злобным упреком.

— А вам бы их так-то ведь, сударь, не одолеть, — возразил Сысой. — В том и сила, что мы заклепали пушку. За то плотинный мастер наших двоих молодых ребятишек саблей посекал!..

Второй рабочий, до сих пор стоявший с блюдом за спиной старика Сысоя, шагнул вперед и поклонился Юлаю.

— Да, посламши нас, указали нам заводские мужики сказать тебе, сударь-старшина, что сабель да пик у нас на заводе сготовлено много и теми-де саблями-пиками мы тебе бьем челом.

Юлай принял блюдо с оружием.

Это не были повседневные изделия завода. Это было то, что рабочие делали в последнее время по заказу заводчика, и то, что теперь предлагали делать для пугачевцев, именно за пугачевцев приняв и Юлая с Бухаиром.

О том, что Юлай стоял в уфимской осаде, уже шли слухи среди населения завода.

— Спасибо, спасибо, — пробормотал Юлай, принимая блюдо.

— Подарки принес? — с насмешкой, резко спросил Бухаир. — Мы завод с бою взяли. Что нам подарки! Теперь ведь и так все тут наше... Все наше!!

— Не дорог подарок, а дорога любовь, сударь, как тебя величать-то!.. Сердитый ты больно, — заметил старый Сысой.

— Ты, писарь, русских людей не знаешь, — обратясь к Бухаиру, строго сказал и Юлай. — С русским народом добром, так он тебе верный друг во всем будет.

— Святое слово молвил ты, старшина! — обрадованно воскликнул старый рудоплавщик. — Вот мы в яме поймали у самой опушки... еще подарок тебе изготовили... Ну, подымайся, собака, иди на расправу, на суд! — толкнув ногой под бок связанного пленника, воскликнул старик.

Тот нескладно завозился, с трудом поднялся на ноги, и Юлай увидал одного из своих давнишних врагов, русского заводского приказчика.

— Добра здоровьца вам, господин старшина Юлай Азналихович, здрастье! — воскликнул приказчик с занскивающим поклоном.

Юлай насмешливо посмотрел на него.

— Кланяйся ниже теперь. Бог правду любит, собака приказчик! За все неправды ответ держать будешь!

— Накажи, сударь, наших душ погубителя! — поклонился Юлаю старый рудоплавщик. — Заводские мужики тебя умоляют, сударь, казни его. Для господ он во всем старался, а нас, как траву, топтал!..

— Накажи его, сударь! — воскликнули вслед за Сысоем и все остальные, пришедшие в контору заводские рабочие.

— Помилуй, сударь Юлай, мы, сам знаешь, невольны людишки! — воскликнул приказчик.

Юлай услышал страх в его голосе. Он увидал робость в самом взгляде, в движениях этого мерзкого человека, который всегда хотел казаться начальством выше юртового старшины. Раб и холуй заводчика, продажная душонка, он все обещал уладить за деньги, а когда вымапывал взятку, то делался неумолимым законником. И тут он еще не успел расстаться со своей неразлучной, пристегнутой к поясу плеткой, которой бывало хлестал башкирских охотников и пастухов, когда заставлял на проданной заводом земле...

— Хорошо ты служил купцу, — спокойно сказал Юлай. — Помнишь, в гости к нам ездил, водку возил... Говорят,

табаку сыпал в водку... хе-хе! Помнишь, ты землю у нас покупал, уговаривал пьяных-то, помнишь?

Ведь вольному воля: хочешь водку — то пей, а не хочешь — не пей! — обманутый внешним спокойствием Юлая, осмелел приказчик.

— Хе-хе! И то ведь, ты прав!.. Ох, ты хитрый! Умел ты народ обмануть!.. Умел, сабака! Двадцать лет мы потом всем народом плакали о нашей земле... Поддай сюда плетку, — вдруг твердо и повелительно заключил Юлай.

Приказчик подал ему плеть, весь сторбился, сжался, словно в тот же миг ожидая удара, и залепетал:

— Не помни зла, сударь! В том службишка наша!.. Куды без нее?..

— Молчи! — оборвал старшина.

Он держал в руках плеть, словно в первый раз ее видел. Он взвешивал на ладони вплетенные в ее хвосты свинцовые пульки...

— Ты ею башкирских людей бил, приказчик. Сколько людей ты ей искалечил?!

— И русских ведь не жалел на заводе, кобель проклятуший! — вмешался старый Сысой.

Но Юлай не взглянул в его сторону, будто не слышал, и продолжал, обращаясь к приказчику:

— За то этой плеткой тебя будут до смерти бить. Пока жив, будут бить... Как, значит, совсем уж помрешь — вот тогда перестанут!

Приказчик упал на колени.

— Соседушка! Старшина дорогой! Пощади! По темноте согрешал!.. — завопил он.

— Ты темный? — спросил Юлай в гневе. — Ты темный, сабака? Нет, ты грамотный, пес! Ты умел для купца бумагу составить, обмануть нас умел.

— И припрятать бумагу сумел, — подсказал Бухаир.

— Где бумага?! Где купчая крепость?! — в бешенстве закричал Юлай. Он подскочил к приказчику, схватил его за глотку и дрожащей рукой шарил на поясе нож.

— Ой, пусти, все скажу, — прохрипел приказчик. — Тут она, в управительской комнате, в тайнике. Дозволь принести... Принесу...

Юлай отпустил приказчика и послал вместе с ним за бумагой Бухaira.

Вот оно и пришло, возмездие! Вот милость аллаха! Неправедные дела русского купца все пошли прахом! С этой бумаги все зло началось, ею оно и окончится: сгорит купчая крепость, разрушатся в прах построенные на башкирской земле заводы, сторят заводские деревни, уйдут

чужеродные люди, и снова спокойным и мирным будет лежать Урал, тревожимый только клекотом горных орлов, бляением коз, ржанием коня, задумчивой песней курая да на заре протяжными молитвенными призывами муэдзина.

Юлай и сам не заметил, как по щекам и седой бороде его покатались слезы...

Бухаир и приказчик вошли обратно в конторское помещение.

— Вот она! — торжествуя воскликнул Бухари, показывая Юлаю знакомую, такую знакомую бумагу. Как мог бы он спутать ее с любой другой?! Она отпечаталась не только в памяти его зрения, — казалось, в самом сердце Юлая отгиснулись эти буквы, юртовая тамга и большая сургучная печать. Юлай смотрел на нее, и хоть был по-русски неграмотен — он мог бы в этой бумаге прочесть каждое слово...

— Вот тут и чертеж, смотри... — словно откуда-то издалека услыхал Юлай голос писаря, — а тут юртовую тамгу ты поставил...

Юлай взял бумагу в руки. Пальцы его дрожали от волнения. Даже если бы он был совсем хорошо грамотным, он ничего не мог бы сейчас прочесть, так прыгала перед глазами его эта бумага.

— Бесстыжая грамота! — прошептал он. — Сколько в ней крови и слез, сколько обид, притеснений, неправды, корысти... Пусть пламя пожрет ее и ветер развеет.

Юлай осмотрел еще раз бумагу, словно прощаясь с нею. С долгим тяжелым горем люди прощаются так же проникновенно и нерешительно, как с теплой привязанностью и счастьем.

Он бросил бумагу в огонь горящей печи, и все с любопытством сгрудились смотреть на огонь, словно она и гореть должна была как-то особенно...

Все молчали. Когда догорела бумага и пепел легко улетел в язычках и трескучих искрах горящих еловых лап, Юлай торжественно и решительно обернулся к Бухаиру.

— Объяви, Бухаир, народу, что мы нашу землю навеки завоевали назад и бумагу сожгли, и теперь разбрасаем завод по камню и плотину сломаем... — Юлай посмотрел в сторону группы заводских рабочих людей: — А вам вот какой мой приказ будет: завтра с утра все заводские мужики выходите ломать завод, чтобы не было и следа от него на моей земле!

— Пропадай он, проклятый ад, сатанинское пекло, сломаем! — воскликнул один из рабочих.

— А пошто так уж все и ломать? Ведь мы его камень по камню своими руками складали! — вмешался Сысой.

— Говорю — ломать, то значит ломать! Кто ведь нынче, сказать, хозяин?! — напал на него Юлай.

— Тьфу, да что ты шумишь? Ну, ломай! Ты хозяин, конечно...

— Завод ломать, плотину ломать, заводские деревни ломать! — повелительно перечислял Юлай.

— Постой! Как — деревни? — не выдержал снова Сысой.

— А нам-то куда же?!

— Как так деревни ломать?! — взволнованно заговорили рабочие.

— А на что вы мне? — уверенно усмехнулся Юлай. — Ты свою избу на моей земле ладил, меня спросил? Может, я тебя в гости звал?!

— Как жить человеку без крыши? Не скот! Смилуйся!

— Не смиляюсь! Все сожгу! — твердо отвечал Юлай. — А ты знаешь, старик, сколько у русских своей земли? — спросил он, обратясь вдруг к Сысою.

— Да кто ж ее мерил! — махнул рукою старик.

— Я мерил! — уверенно заявил Юлай. — Когда царица звала на войну, я всю русскую землю прошел до чужих краев. Ай, много у русских земли!.. На что вам теснить башкир?! Придете на новое место, на русскую землю, сказать...

— Нет, врешь, старшина! Не тот нынче закон! Ни ты, ни купец, ни приказчик нам не хозяева больше, бесстыжи твои глаза! — вдруг перебил Юлая невзрачный рабочий, который принес дней пять назад пугачевские манифесты в завод, помогал захвату завода башкирами и до сих пор молчал в беседе Сысой с Юлаем. — Не можешь ты никуда нас согнать!

— Мы с вами вместе начальников заводских побивали. Теперь нам куда же? На плаху идти проситься? — наступал смелее с ним вместе и старый Сысой.

— Заедино мы с вами вставали. Нельзя никуда нас прогнать. Ныне мы с вами вольны селиться, где схочем! — подхватили пришедшие с ними рабочие.

— Указ государев мы знаем!

— Читали!

Юлай вскочил. Короткая складчатая шея его налилась кровью, жилы вздулись на покрасневшем лбу. Ишь ведь, как распустились! Как будто он не хозяин своей земли, как будто не он только что сжег купчую крепость на эту землю! Что делать? Повесить их? Расстрелять их стрелами? И вдруг в голове Юлая блеснула великолепная мысль: поста-

вить над ними приказчика с плетью — того, кого привыкли они бояться и слушать.

— Эй ты, приказчик, старый знаком, собака, иди сюда! — позвал Юлай.

Удивленный каким-то еще непонятным ему оборотом дела, наблюдавший всю сцену приказчик нерешительно пошел к старшине.

— Повернись-ка задом, — приказал ему Юлай, и когда тот исполнил приказ, Юлай сам перерезал веревки на скрученных за спиною его руках. — За то, что ты купчую крепость добром мне отдал, жалую милость: начальником ставлю. Выгоняй мужиков на работу, ломать завод и деревни, а плохо работать станут — с тебя сниму шкуру!..

Юлай погрозил ему ножом, которым обрезал веревки.

— Спаси тебя бог, господин старшина! У меня уж работать будут! Я их проклятое семя... — приказчик при этих словах привычно взялся за пояс, где постоянно висела плеть. Юлай понимающе усмехнулся и протянул ему плетку.

Приказчик жадно схватился за плеть, но смелый посланец Пугачева резко метнулся меж ними и перехватил ее.

— Не моги! — крикнул он Юлаю.

— Бесстыжие очи, приказчика ставишь над нами?! — воскликнул Сысой.

— Указ государев слышал?! — закричали рабочие, подступая к Юлаю.

Бухаир мигнул сотнику Айтугану позвать людей и шагнул вперед.

— Постойте! Какой указ? Кто читал? — спросил он.

— На, читай! — и, выхватив из шапки замусоленную бумагу, пугачевский посланец протянул ее Бухаиру.

— Заводчиков и приказчиков вешать — там писано! — подсказали из толпы.

— Кто верных слуг государя обидит, того казнить! — подхватил другой голос.

— Не мешай! Сам читаю! — остановил Бухаир, рассматривая бумагу и выигрывая время.

— Шапку скинул бы, писарь! Грамоту ведь сам государь составлял! — не стерпел Сысой.

Бухаир через головы рабочих увидел входящего Айтугана с гурьбою вооруженных воинов.

— Вот слово твоего государя! Мы сами себе теперь государи! — воскликнул он и разорвал манифест.

— Братцы! Да что же то творится?! Ребята! — в негодовании воскликнул Сысой.

Рабочие сбились плотнее в кучку. Посланец Пугачева схватил с поднесенного заводчиками блюда саблю и бросился на Бухайра, но в тот же миг сзади его ухватили за руки, навалились на плечи. С десяток пик направились остриями на заводчан, оттесняя их в угол конторского помещения.

— Повесить этого парня, — приказал Бухайр.

— Старшина, не балуй! — с угрозой обратясь к Юлаю, сказал Сысой. — Народ разошелся за правду драться. Ты с нами так-то беды наживешь!.. Али крови великой хочешь?..

— Повесить его, Айтуган! — указал Бухайр на смелого пугачевца, которого двое башкир теперь успели связать.

— Постой, Бухайр, — остановил Юлай. — Кто тут все-таки главный, сказать-то, я или ты? Я не сказал ведь — повесить!..

В этот миг возле конторы завода послышались крики, кто-то стремглав ворвался в дверь и, задыхаясь, крикнул с порога:

— Войско!.. Конное войско!..

Все, смятенные этой вестью, остановились и на мгновение замерли.

Только что Юлай объявил, что навеки отвоевали назад свою землю, — и вдруг все пошло прахом... Отдать свой завод?! Отдать назад, не разрушив его, чтобы заводчики продолжали свое дело?! Нет, отстоять от врагов эти земли любой ценой!..

— По коням! — закричал Юлай. — К бою, башкиры!

Крик его подхватили сотники и десятники, этот клич отдался в заводском дворе, по поселку, и заводские рабочие люди, еще не знавшие о том, что произошло в конторе, бежали к оружию, чтобы вместе с башкирами отстаивать завод от надвигавшегося врага.

— Бухайр, смотри, чтобы все изготовились к бою, — сказал Юлай.

Воины вышли вслед за Бухайром. Приказчик подошел и хозяйским движением взял свою плеть, но тут на него навалились рабочие.

— Вяжи его, братцы! Чей там завод не случись, а злому волку во стаде не быть!

И его связали, поволокли из конторы. Юлай не вступился.

— Юлай-агай, там свои! Башкирское войско идет! — сообщил старшине прискакавший вестник.

Радостный гул возрастал по всему заводу. И сквозь общий гул голосов издали прозвучала песня. Юлай узнал этот голос. Его голос!.. Сын!.. Его песня!..

Сын Юлая Сулейман вбежал в контору.

— Атай! Салават пришел! Большущее войско привел!

И чтобы скрыть слезы радости, Юлай повернулся к востоку и закрыл лицо, словно бы для благодарственной молитвы за встречу с сыном. До слуха его уже доносились отдельные голоса, восклицания, крики оживления и радости... Гул голосов приближался к конторе... Вот-вот он вольется в ее стены, в уши, в грудь, в сердце Юлая...

И вот подъехал к конторе Салават в ратном доспехе, как воин Аллаха. Сабля его, как разящий меч Азраила, богатырский лук Ш'гали-Ш'кмана при нем, глаза его сияют, только крыльев не хватает его коню, но вместо крыльев его Туллара несет песня... Вон как ликует народ, встречая его, этого мальчика, сына Юлая...

Старшина Юлай, военачальник, отец, полковник государя, вдруг сам оробел перед этим юношей и почувствовал себя сгорбленным.

«Что я — боюсь его?!» — с возмущением остановил сам себя Юлай, и, придав лицу своему веселое и развязное выражение, он свободно шагнул навстречу Салавату, вошедшему в комнату.

— Дождались, атай! — жизнерадостно воскликнул Салават, протянув для объятия руки.

— Дождались, Салават!

— С победой, атай!

— С победой, с победой, сын мой!

Салават только тут увидал в толпе Бухaira.

— И ты с нами тут? — удивленно воскликнул он. — Дождались, Бухаир! С победой!

— Дождались! Правда пришла на наших врагов! С победой! — повторяли друг другу встретившиеся воины.

Они воевали в разных местах, каждый прошел свои битвы, испытал свои раны, и вот сошлись вместе. Между начальными людьми, как и между подчиненными, было много старых знакомцев, все узнавали друг друга, и всем было о чем рассказать, что послушать.

— Я ведь старый вояка, могу еще саблю держать, не забыл, как дерутся! — хвалился Юлай. — Рука у Юлая крепкая и голова ведь, сказать, не худая!

— Небось тебя государь наградит. Он только приказ послал брать заводы, а ты уж и сам захватил! Да какой завод! — поддержал отца Салават.

— А царю что за дело?! — вмешался Бухаир. — Мы свой завод взяли у русских. Юлай свою землю взял. Свои леса берем, степи, реки свои... Купчую крепость сожгли, чтобы никто не сказал, что наша земля — не наша.

— Господин полковник, казаки тут в деревеньке за лесом станут,— войдя в контору, доложил Салавату яицкий сотник.

— Пусть в деревеньке. Да тотчас разъезды послать по дорогам,— приказал Салават,— скажи атаману.

— Слушаюсь, господин полковник!

Сотник вышел.

— А что, Салават, у тебя много русских в войске? — осторожно спросил Юлай.

— У меня ведь всякие люди: чувашаи, мордовцы, татары, русские, мишари — кого только нет! — отвечал Салават с деланным безразличием.

В самом деле, он гордился тем, что к нему с охотою шли люди разных народностей, все его ровно признавали, верили ему, слушались его и хотели служить государю под началом славного удалого полковника Салавата.

— А тебе еще людей надо? — спросил Юлай.

— Война ненасытна, атай. Чем больше в войне людей, тем ближе победа!

— Я дам тебе еще тысячу русских, сын. Айда, ты забрей их в солдаты.

— А ты где возьмешь столько русских? — удивленно спросил Салават.

— Заводских мужиков. Ты видал, какие медведи здоровые? Вот будут солдаты царю!

В помещение внесли вареное мясо, горячую воду для омовения. Все вспомнили вдруг, что давно не ели, и развеселились при виде дымящихся вкусным, душистым паром широких табаков, под которые подстилали кошму.

— Ай-бай-бай! Вовсе помер от голода!..

— Ай, брюхо прилипло к спине! — шумно шутили вокруг бишбармака, пока Юлай, подсучив рукава, примеривался ножом к груде горячего мяса.

— Сколько барашков сварили?

— Нынче будет на брата по одному маловато!

— И по два барана съедим!..

— Один съел так, да лопнул!..

Под общий говор и смех в контору вошли опять Сысой и вся группа работных людей, которые были тут раньше.

— Вас кто звал?! — крикнул на них Бухаир.

— А мы зватого не дождались да сами на свадьбу — как бы не припоздать! — отозвался едва не повешенный Бухаиром пугачевский посланец и подмигнул Салавату: — Здорово, полковничек!

— Семка! Здорово, поручик! Здоров, не пропал! — радостно воскликнул Салават. — Иди, садись рядом!

Юлай с Бухаиром значительно и тревожно переглянулись.

— А вы, дураки, робели! — обернулся Семка к своим спутникам.

— Здравствуйте, казаки, садитесь покушать! — пригласил Салават заводчан.

— Спасибо на угощенье, и так сыты-пьяны, — отозвался Сысой. — Твой тятка да тот чернявый нас угощали, — кивнул он на Бухаира.

— Спасибо на добром слове!

— Мы тут постоим, господин полковник, — откликнулись его спутники.

— Да пошто, ребята, стоять! И вода-то стоячая тухнет! Сядем рядком, поговорим ладком. Мы с полковником Салаватом дружки с молодых ногтей! — подбодрил их Семка.

— Видал, Салават? Чем плохие солдаты будут?! Бери, если надо царю людей, — кивнул Юлай на рабочих.

— Хороши солдаты! — согласился и Салават. — Вижу сам — хороши. Да как же их взять? А кто на заводе работать будет?

Юлай засмеялся.

— Какой я заводчик!.. Тоже нашелся купец Мясников!.. Мне на заводе работать не надо. Айда, ты не бойся, ты всех их бери. Я завод все ровно ломать буду...

Старый Сысой присел с Салаватом рядом.

— Ты, полковник сударь, вот об чем рассуди, — сказал рудоплавщик. — Скажем, нас всех в солдаты — мы рады царю послужить за мужицкую долю, пойдем. Скажем, завод разломать — на то хозяйская да царская воля. Укажут — ломаем... А пошто же деревни жечь? Ведь у нас там жены, детишки. Куды им идти?

Салават удивленно взглянул на старого рудоплавщика.

— А куда вам идти?! Никто ваши деревни не тронет. Где жили, там и живите...

— Это как, Салават? — осторожно, с тревогой спросил Юлай. — Что же, русские жить будут, что ли, всегда на башкирской земле?

— Будут жить, атай, — сказал Салават. — Таков государев указ, чтобы сабли, пики, кольчуги ковать в заводах, пушки лить, ядра готовить...

— Вот тебе на! — весело и удало выкрикнул Семка. — А мы-то тут с тяткой твоим завод собрались разломать, а русских всех в шею гнать и деревни спалить!

Салават понимающе посмотрел на Семку.

— Неверно вы рассудили. Государь указал только царских изменщиков дома палить и семейки гнать с места, — сказал он.

— Какая же мне воля, когда я завод ломать не могу на своей земле, деревни пожечь не могу, ничего не могу?! — в недоумении воскликнул Юлай. — А царь брехал: воля, мол, воля!!

— Ишь, не любо тебе царское слово! — заметил Семка.

— Семка, слышь, иди объяви народу, что будет работать завод и деревни по-старому будут стоять, — сказал Салават. — Ступайте скажите, — обратился он к остальным.

— Спасибо на угощенье, сударь полковник! Спасибо на добром слове! — заговорили рабочие, кланяясь и выходя всей гурьбой.

Когда они вышли, Салават не сдержался.

— Позоришь меня при русских, атай! — вспыхнув, сказал он. — Как ты сказал про царский указ?!

— Твой царь дает только русским волю, — сказал Юлай.

— Царь для всех хочет правды, атай! — возразил Салават.

— Ай-бай-бай! Ты совсем ведь ребенок еще, Салават! — печально, с укором воскликнул Юлай. — Для всех не бывает ведь правды! Сам бог не сумел найти общую правду для волка и для овечки. Когда один счастлив, другому всегда беда. Царь хочет правды для русских!..

— У башкир нет отдельной от русских дороги, атай! Алдар и Кусюм, Сент, Батырша и Кара-сакал — все шли отдельной дорогой, и никогда еще не были мы так сильны, как сегодня, — уверенно сказал Салават. — Русский народ вместе с нами, атай, чувашаи, черемисы, киргизцы — все с нами, атай, — вот где сила! Вот общая правда! Три дня назад я послал пятьсот человек в подкрепление государю, а сейчас у меня снова тысяча человек: пятьсот на конях и сотен пять пеших...

— Ну, пеший какой уж воин! Пешком не война! — возразил Юлай.

— Пятьсот лошадей я думаю взять у тебя, атай, — сказал Салават и, заметив быстрый насмешливый взгляд Бухайра, брошенный на Юлая, добавил: — Половину возьмем у тебя, половину — у Бухайра, на том и поладим!

Салават увидел, как вспыхивающий шурин его изменился в лице, побелел, но сдержался.

Юлай был куда простодушней.

— Надо взять лошадей у тех, кто сам не идет на вой-

ну, — вот как, Салават! А мы с Бухаиром ведь сами воюем! — захныкал Юлай.

— Юлай-агай! — остановил его Бухаир. — Салават твой сын, а мой зять. Как он напишет царю, что мы, богатые люди, не даем лошадей? Ему стыдно писать!

— Ты еще тут, Бухаир! — огрызнулся Юлай. — Я когда сказал, что не дам?! Посылай людей сын, бери лошадей, разорь!..

Салават засмеялся.

— Совсем разорился, атай! Табунов не стало, овечек не стало — беда!.. Ай-бай-бай! Пропал мой атай! Мясо поели, а на чай не хватило богатства, чаю нынче сыну с дороги не дал!..

— Ох, прости, позабыл, Салават! Совсем позабыл! Меду сейчас велю принести, масла, сливок подать...

Сотник Кигинского юрта Рясул с двумя десятниками вошел в контору. Их прислала башкирская сотня Рясула. Башкир поразило распоряжение казацкого атамана, чтобы заводские рабочие разобрали себе хозяйских овец заводчика.

— А нам, Салават-агай, как же? — недоуменно спросил его сотник.

— А ты тут при чем? Кому вам?

— Да я ни при чем. Я про всех башкир говорю. Сказать вот, хоть я. Я пастух. Я с барашками рос. Когда был малайкой, меня чуть-чуть волки не съели. Потом меня выгнал бай в горы искать жеребенка. Я чуть не замерз, пастухи нашли меня, отогрели. Смотри, трех пальцев нет на руке — отморозил, а за жеребенка бай у моей матери тогда отнял мерина... Вот я говорю: русские у своего хозяина взяли овечек, а мы?..

— Нам тоже ведь нужно у своего! — подхватил пришедший с Рясулом десятник.

— А кто твой хозяин? — спросил Салават.

— Наш Сеитбай Кигинского юрта.

— Ай-бай, злой человек! — заметил Юлай. — Неправдой живет. Целый косяк лошадей у меня отбил. Пусть аллах ему наказание пошлет!

— Он как русский купец, как заводчик людей своих мучит! — подхватил и второй десятник, пришедший с Рясулом.

— Повесить его самого, а добро поделить! — воскликнул Рясул.

— Ну что ж, поезжайте всей сотней, делите его добро, а жягетов оттуда с собою на службу ведите, — согласился

с ним Салават. — Скажи, чтобы писарь всей сотне на трое суток письмо написал домой съездить.

— Накажет бог тебя, Сеитбай, за моих лошадей! — злорадно сказал Юлай.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Неугомонный Салават рыскал по деревенькам вокруг завода, осматривал самый завод, хотел все видеть, все знать, говорил со всеми. Словно огонь играл в его жилах.

Юлай сидел, удрученный, вдвоем с Бухаиром. Оба они были мрачны. Юлай старался вовлечь Бухаира в беседу, но тот молчал, и Юлай бормотал, обращаясь словно к себе самому:

— Ай, старшина Юлай, старшина Юлай! Сколько лет ждал ты счастья, расплаты за все обиды, и час пришел! Дорвался ты, Юлай! Поднял народ, налетел на завод, как буря, завод стал твоим, бумагу проклятую сжег своею рукою, землю, леса назад получил, русские стали в твоей власти... Увидал бог, что еще бы радости человеку прибавить надо: «Подставляй, говорит, мешок, старшина, еще радости всыплю!» Сын пришел: удалой, красивый, сам у царя в почете. Едва ему двадцать лет, а он целый полковник!.. Радуйся, старшина!.. Где только такой-то большой мешок отыскать, чтобы сразу столько счастья насыпать?.. Верно, гнилой был мешок, а радостей больно уж много — разорвался мешок, да все и просыпалось сразу!.. Давай, Бухаирка, праздник устроим: большой бишбармак наварим, гостей назовем, кумыса напьемся в последний раз, пока на войну не всех лошадей отобрали, а главное — меду, меду больше, чтобы горечи нашей с тобой победы не слышно было!..

Юлаю показалось, что Бухаир чуть подернул в усмешке усами. Он подождал ответа, но писарь снова сдержался и промолчал.

— Он хочет царю служить, — продолжал Юлай. — Первое дело, конечно, царь, а ведь как сказать — нешто отец-то теперь не отец уж? Когда он маленьким был, все хвалили меня: бай-бай, Юлай, какого сынишку слепил, — умный, красивый, первый жягет в седле, коран, как мулла, читает, силен и отца уважает тоже... Вот ты мне скажи, Бухаир: может, я его научал плохому? Кто же его научил? Может, война его научила?! Пришел, всех в свои руки забрал...

— Руки сильные, значит, у парня и кровь молодая! — не выдержал Бухаир. — Ты нынче стар стал, Юлай-агай.

На старость пеняй... Юность всегда считает, что старые выжили из ума, а себя почитает непогрешимой и мудрой.

— Это, ты говоришь, премудрость велит раздавать оружие русским, беречь их деревни, оставить на нашей земле заводы, у нас лошадей забирать?

— Опять ты своих лошадей не можешь забыть! Старость ищет богатства, а молодость — славы... Царь требует от него табунов и войска. Тебе ли серчать, старшина?! Ты сам ведь попался на эту приманку — полковником стал! Что же, тебе лучше царица, что ли?! — спросил Бухаир.

— У царицы ведь глотка, кажись, маленько поуже... Может, царь для рабов хорош, Бухаир? Он рабам дает волю. А нам что даст? Еще больше богатства, что ли?!

— Неладно, Юлай-агай, ты ведь царский полковник, а что говоришь! — возразил Бухаир.

— Полковник?! — вскипел Юлай. — А что мне теперь, из-за этого разориться?! Лошадей дашь — потребуют денег, а там и еще что-нибудь... У войны ненасытная глотка...

— Ты просто жадный старик! — оборвал его жалобы Бухаир. — Сегодня жалеешь коней, а завтра будешь жалеть баранов.

— Постой, постой, писарь... А я не слыхал — что, говорят про баранов? — насторожился Юлай.

— И я пока не слыхал. Я просто подумал, что трудно ведь будет тебе кормить заводских мужиков, — сказал Бухаир.

— Я их кормить буду, значит, по-твоему, что ли?! — возмутился Юлай.

— А кто же? Прежде кормил купец — хозяин завода. Теперь ты хозяин завода, тебе и кормить. А купеческие стада разделили меж русскими мужиками. Теперь ты своими барашками должен кормить заводских людей.

Юлай вскочил.

— Какой я хозяин?! На что мне завод?! Не надо завода! Велю разломать завод. Мало ли что мой мальчишка сказал!.. Я землю отвоевал для народа!.. — кричал возмущенный Юлай.

Бухаир много лет уже был писарем при Юлае и знал его слабости. Жадностью он растравил сердце, как огненным ядом, и знал, что обрел в отце тайного союзника против сына.

В соединенном отряде Юлая и Бухаира у писаря было довольно своих людей, которые привыкли ему подчинять-

ся. У них были друзья между баями соседних юртов. На них Бухаир хотел полагаться и впредь и держал с ними связи. Одним из таких друзей Бухаира был старый недруг Юлая Сеитбай из Кигинского юрта.

Когда Салават разрешил сотне кигинских башкир поехать делить гурты Сеитбая, Бухаир к нему тотчас же выслал гонца предупредить об опасности.

У Бухаира было беспокойно на душе, пока Салават находился вблизи. Писарь ждал, когда наконец уйдет этот неугомонный юноша. Есть же по соседству другие заводы — разве они не нужны царю? Почему не идет он туда со всем своим войском?

Но Салават, прежде чем выслать в соседний завод войско, направил туда Семку и двоих заводских рабочих с пугачевскими манифестами. Он ожидал известий от них, когда ночью примчался посланец от сотника Рысула.

Рысул сообщал, что в горах он напал на след одинокого всадника и выслал за ним погоню. Тот стал уходить, сорвался со скалы и разбился. На лыжах они спустились с горы, обыскали его и нашли письмо Бухаира к кигинскому баю.

В письме Бухаир признавался сам, что он растоптал манифест Пугачева, и обещал, что изменнику Салавату не сносить головы. В том же письме Бухаир писал своим пастухам наказ отогнать его табуны за горные перевалы, где они будут отрезаны весенней распутицей.

Бухаир был схвачен сейчас же.

Салават хотел посадить его в заводскую тюрьму, из которой накануне было выпущено десятка три изможденных хозяйских пленников, но Юлай взмолился:

— Он брат твоей Амины, Салават! Ты так себя позо-ришь. Бывает, если в своем роду наказать кого надо, то делают тихо — зачем на весь свет кричать? Я — старшина, он — мой писарь, и на меня, на весь юрт упадет позор... А тебе ведь он шурин... Сам понимаешь, Салават, Сеитбай мой недруг, он целый табун моих коней отогнал, окаянный. Рысабай мне тоже был недруг, и Бухаирка мне другом не был — сам знаешь, он против меня. А я тебе все-таки говорю: не сажай ты его в тюрьму на позор. Давай его тут в конторе в подвал посадим. Отсюда он, связанный, все равно не уйдет.

Салават согласился.

Оставив Юлая оберегать завоеванный им завод, Салават утром выступил на соседний, где уже орудовал Семка.

С Салаватом было пять сотен людей. Они окружили завод, расположенный не так, как крепости, не на горе, а в

глубокой котловине между горами. С гор было удобно напасть.

Салават разместил отряд по склону холма. Пятьдесят добровольцев поехали, с ним самим во главе, к поселку.

Салават ехал, держа в руке манифест Пугачева. Ему навстречу выехал заводской поп с крестом в руке. За попом двигалось человек шестьдесят мастеровых, а рядом с попом — плотинный мастер.

Увидав, что намерения вовсе не мирные, Салават поднял над головой манифест.

— Мы не воевать пришли... Царское письмо привезли. Царь Пётра Федорыч приказ давал заводскую контору кончать, приказчиков гнать с завода.

— Поворачивай, поворачивай! — крикнул плотинный мастер, выхватив саблю.

— С нами бог, братия, с нами бог! — закричал поп, подымая крест и пуская лошадь рысью навстречу Салавату и башкирам. — Господь против аллаяров!.. Не потерпим злобы их!..

Мастеровые с криками, подняв ружья, болты, топоры, молоты, ринулись за предводителем. Салават не успел отдать команды, как был окружен.

«Вот тебе и заводской народ!» — подумал Салават, вспомнив завет Хлопуши.

— Ге-э-эй! — пронзительно крикнул он.

Это было условным знаком. С соседних гор отовсюду ринулись башкиры.

Заводчане увидели, что им не справиться с нападающими, и повернули назад. Передовой отряд Салавата успел оправиться, бросился вслед отступающим, но те заперлись, в заводском дворе. Салават с отрядом подъехал к воротам.

— Отворяй! — крикнул он. — Государь указал!

— А ты кто же государю — сват, что ли, будешь? — ответил голос из-за забора.

— Я — полковник Салават Юлай-углы, Шайтан-Кудейского юрта.

— Ну, так и иди к шайтану, коли ты из шайтанского рода! — крикнули из-за забора, и залп заключил эти слова.

Салават отъехал от ворот, приблизился к башкирам.

— Веди, Салават, возьмем силой! — кричали воины.

Но Салават не повел их в бой, он вызвал десяток добровольцев и послал их в лес, держа заводские ворота и двор в осаде.

Салават, дожидаясь возвращения десятка, посланного в лес, сел на крыльцо избы, а коня пустил по двору. Вдруг

из избы до него донесся детский плач. Салават вошел в дом. В люльке, подвешенной к потолку, плакал проснувшийся ребенок. Салавата кольнула мысль о веродившемся Рамазане. Он стоял задумавшись. Амина с ребенком на руках, как живая, встала перед его глазами и показалась снова близкой и милой. С улицы грохнул выстрел. Ребенок, удивленно глядевший на Салавата, снова заплакал. Салават поглядел на его сморщенное гримасой личико и засмеялся.

— Рамазан! Рамазанкай! — позвал он и щелкнул пальцами. — Кишкерма, — сказал Салават. — Иди сюда. — и он поднял ребенка на руки.

Ребенок снова заплакал. Тогда в избе заскрипели доски подпола, поднялось творило, и показалась девичья голова.

— Ой, мама, — крикнула девушка, — аллаяр схватил Петьку.

Творило шумно захлопнулось. Ребенок закричал еще пуще. Салават, неловко держа его на руках, вынул из кармана монету и совал ему в руку, но мальчишка не успокаивался. С улицы донесся крик и топот лошадей. Салават положил ребенка и вышел, но уже на крыльце он услышал отчаянный плач.

«Побойтся ведь вылезти девка», — подумал он, возвратился, взял на руки изо всех сил ревущего Петьку, поднял творило и обеими руками опустил ребенка в подпол.

— Держи малайку, бесстыжая девка, ребенка забыла! Пуля ведь попадет.

Не видимые в темноте подпола руки приняли мальчика...

Приехавший отряд привез гигантскую сосну, самую большую из всех, что была в округе. Сучья с нее были счищены и толстый конец затесан.

— Теперь сюда. Все сюда! — крикнул Салават, и со всех крыш соскочили башкиры.

Страшное копьё ухватили двадцать четыре всадника, по двенадцати с каждой стороны. Всадники сидели стремя к стремени, лошади касались друг друга боками. Сзади них выстроились остальные.

— Айда! — крикнул Салават, и, как сорвавшаяся лавина, ринулись всадники вперед.

Таран ударил в ворота. Залп грянул в ответ, несколько всадников свалилось с лошадей, но железные створки ворот уже разошлись. Крепкий дубовый запор разломился. Бочки, которыми завалили вход осажденные, раскатились по двору. Упавшая сосна разбила ноги трем лошадям баш-

кир, везших их; они шарахнулись в стороны, упали и бились по земле, громко, не по-лошадиному, крича от боли.

В распахнувшиеся ворота, соскочив с лошадей, с гамом ворвались башкиры. Не больше десятка выстрелов тило их во дворе конторы, и все потонуло в схватке.

В какие-нибудь четверть часа все кончилось. Поп висел на воротах. Другой зачинщик сопротивления, плотный мастер, лежал, исколотый пиками. Около двух десятков плесных были захвачены живыми.

Расправившись с заводом, Салават двинулся к заводскому селу. Толпа рабочих увидала его. Вооруженные отнятыми у заводчан ружьями, башкиры выехали вперед.

— Кто согласен службу царскую править, айда к нам! — крикнул Салават.

— Все согласны! — ответили из толпы.

— Когда согласны — отворяй ворота! — скомандовал Салават, и весь отряд въехал в распахнувшиеся ворота.

— Стой! — скомандовал Салават и на башкирском языке обратился к отряду: — Здешние жители — наши друзья. Никого не обижать. Домов не грабить. Кто будет грабить, того казню. Слушай все! — сказал он по-русски, повернувшись к толпе рабочих. — Государь Пётра Федорыч прислал вам письмо. Государь велел сказать: «Кто нашу руку держит — больше ничей человек, сам свой хозяин». Всем вам государь-царь вольных казаков чин давал. Гуляй как хошь. Свою веру держи, бороду запускай на самое брюхо. Землю пахать хочешь — землю пахай. Сакарить хочешь — сакари. На свободную землю в Кунгур гуляй, там казак будешь... Держи, кто старший? Читай письма.

Салават вытащил из-за пазухи сумку и из нее вынул манифест Пугачева.

Высокий старик рабочий подошел к нему, плюнул в обе ладони, отер их о штанину и принял манифест. Долго заскорюзлыми пальцами развертывал он бумагу. Развернув манифест, он вдруг вспомнил, что при чтке таких бумаг обнажают головы.

Он торопливо снял шапку. Не совсем охотно его примеру последовали прочие.

— «Самый могущественный и великий император, самодержавец всероссийский, царь казанский, — читал он, — всем верным рабам и слугам нашим жалуем вольную волю, всех злодеев народных — бояр и купцов — и всех, кто вас, моих рабов, обижает, предаем в ваши руки».

Нестройный ропот, гул одобрения и легкие выкрики остановили чтение.

— «Смертью их казните, рубите и вешайте, — продолжал старик твердо и громко, — выбирайте себе десятников, старшин и атаманов и судей из тех людей, кои вам нужны, и пусть они по правде чинят управу...» По казачьим порядкам, значит — вставил от себя чтец. — «Всех вас жалую вольным казачеством, жалую всем серебром, хлебом и солью, бородой и крестом и всякими угождями, а кто промежду моих слуг рознь и раздоры сеет, тому тоже смерть, головы их рубите и именье грабьте.»

Еще не кончил чтец, как на колокольне загудел трезвон. В гвалте и шуме кончилось чтение манифеста. С криками пошла толпа к дому приказчика. Послышался дребезг оконных стекол и крики. Салават потребовал приказчика к себе. К нему привели маленького, бледного, трясущегося старикашку с большим животом. За ним несли окованный железом сундук с деньгами.

— Сколько денег? — спросил Салават.

— Восемь тысяч с половиной, да еще медью на тридцать три рубля, — трясясь, отвечал старичок.

Салават посадил считать деньги двоих башкир. Когда деньги были пересчитаны, сундук запечатали заводской печатью, которую Салават взял себе.

Заводчане волновались и шумели на площади, выбирая атаманов и сотников. Женщины судачили, стоя кучками в стороне от схода, и радуясь больше мужчин, говорили: «Мы теперь вольные казачки, не крепостные, не продажные».

К вечеру собрание закончилось, и к Салавату в избу пришел новый атаман — литейщик Голубев.

— Когда выступать, сударь полковник? Наши казаки готовы в любой час. Каков приказ государя?

— Пока ждать надо, ружье справлять.

— А кто теперь на Катавском заводе?

— Полковник Юлай, — отвечал Салават, умолчав, что Юлай его отец.

— Тоже, значит, из ваших, — разочарованно протянул атаман. — А что же, у государя русские-то есть ли начальники?

— Как нет? Есть! Вот Овчинников — атаман, Кузнецов — бригадир, Белобородов — фельдмаршал, Соколов — генерал.

— А пошто, не во гнев вам сказать, государь к нам алаяров послал? Ну, ваши молодцы, конечно, к нам без обиды, а все же не свой брат. Махомеданцы ведь вы, сказать по совести... Кабы русские — вы бы и на нижнем поселке без драки обошлись. Мы, конечно, до-

вольны, воля же. Офицера связали, целовальника кончили и знакома вашего на дерево повесили — приказчика. Вы, по совести сказать, и церкву не тронули, а все не то...

— Государь сказал: наши, ваши — все равно дети мои, — старался объяснить Салават, слыша в словах заводчан обратную сторону рассуждений Бухайра. — Который злодей на бедных людей, того вешать. Кто царского слова слушает, тот как брат!

— Ет-то верно... Правильно ет-то, — подтверждали во круг, но все же во всех их речах чувствовалось недоверие.

Несмотря на то, что несколько ночей Салават плохо спал, он и теперь не засыпал, хотя впервые за все время, с той поры, как оправился от раны, почувствовал усталость. Он лежал в теплой избе, слушал гул пьяных голосов на улице и перебирал в памяти час за часом. С выезда из родной деревни постепенно довспоминал он до ребенка, найденного в люльке в покинутой избе. Вспомнил и улыбнулся — это было то самое, что его беспокоило.

«Бедная ласточка в гнездышке там одна! Съезжу к ней, приласкаю!» — подумал он с чувством, которого не нашел, когда был дома, и, улыбаясь своим мыслям, заснул.

Он проснулся от крика на улице и страшного стука в дверь. Одной рукой сжав спрятанный под подушкой пистолет, а другой напяливая холодную кольчугу, Салават подошел к двери.

— Кто там? — крикнул он. — Что надо?

— Разъезд приехал, абзы, говорит, что солдаты идут от Белорецкого завода.

— Все на коней! — приказал Салават и поспешно стал одеваться.

Через несколько минут он со своим войском уже был готов защищать завод. Местные заводчане, вновь пожалованные казаки, ожидали этой первой для них битвы, как праздника. Их атаман объезжал ряды и кричал громче, чем надо:

— Держись, держись, братцы! Постоим за государя! Крепись! Смелей, земляки! Господа казаки, держись! Смотри не осрамись!

Новый разъезд примчался в завод с известием, что конный алай подходит и через несколько минут будет здесь.

Салават отдал приказ прятаться у домов, в самой густой тени. Сам он и десяток людей выехали к околице. Из темноты навстречу ехал большой, стройный отряд.

— Стой! Кто здесь? — крикнул Салават, смело выезжая вперед с пистолетом в руке.

— Государевы слуги, — ответил передовой. — А вы что за люди?

— Я — полковник государев, Салават Юлаев.

— Салават, здорово! — слышался из темноты другой голос, и вперед выехал маленький человек на белой лошади.

Он подъехал ближе. Салават узнал его — это был фельдмаршал Пугачева Белобородов. Старый капрал, бывавший не раз на войне, он так держал свою команду, что никто не усомнился бы при взгляде на него сказать: «Едут войска царицы». В отряде Белобородова царили дисциплина и стройность, вот почему и примчались к Салавату так сильно встревоженные всадники.

— Наумыч, здравствуй! — приветствовал фельдмаршала Салават. — Куда идешь?

— К тебе иду. Государь к тебе на помощь послал.

— Вот тебе и русский начальник, — сказал Салават, торжествующе обратясь к заводскому атаману.

Белобородовский отряд разместился здесь же, в заводе. Он не только был под командой русского, но и весь почти состоял из русских. Заводчане радовались:

— Теперь и поверить можно, что вы взаправду от государя. Когда пришли русские, тут уже без фальши!

Белобородов сообщил Салавату, что Пугачев отступил от Оренбурга, два дня находился в крепости Магнитной, а теперь движется на Белорецкий завод и, быть может, вскоре же будет здесь.

— А Хлопуша с пушками? — не утерпел, перебил рассказ Белобородова Салават.

— Вот тебе и с хлопушками! И хлопушки не помогли против генерала Декалонга. И сам Афанас теперь не при нас, еще ладно — и нас господь спас!

Салават не понял каламбура, но почувствовал недоброе.

— Где он?

— В Оренбурге, может, в холодной, а может, и под релей висит. Каждому животу свой конец бывает. Двум смертям не бывать, а одной как минуешь!..

С этими словами уже раздевшийся Белобородов широко перекрестился, лег в постель и сразу с присвистом захрапел.

Прошло несколько дней. С приходом повстанцев завод не прекратил работы. По примеру других заводов, приняв присягу на верность царю Петру Федоровичу, завод продолжал работу «на казну», изготавливая оружие для пугачевцев.

Со всем двадцатилетним пылом Салават хозяйничал на заводе. Облеченный чином полковника, освободивший завод от хозяев и от приспешников, провозгласивший свободу на вечные времена, он считал, что может во всех делах представлять собою царя, который его послал.

Сами заводчане признали за ним право миловать и казнить.

Когда к нему привели двоих стариков, отказавшихся присягнуть государю, Салават, вместо того чтобы велеть их повесить, к чему они сами и все остальные были готовы, неожиданно для себя самого заключил:

— Такие старые люди? Какая от них польза? Им отдыхать пора. Работать кончал — айда, полезай на печку, спать надо!..

Наивность и добродушие этого «приговора» понравились всем, и Салават понял, что милость, а не суровость есть самое сильное явление власти.

— А хлеб из заводских амбаров велишь им давать? — спросил заводской атаман.

— Ты атаман. Твой завод, твой и хлеб. А старику как без хлеба жить? Ему ашать надо... Стар, глуп — все равно, как без хлеба!..

Кругом весело засмеялись.

— И на хлеб воровской не корытуюсь! — огрызнулся старик. — Хлеб хозяйский. Ты его как даришь?

— Твой заработка за целую жизнь, — просто сказал Салават. — Не хошь — не надо. Айда, голодный на печку ложись!..

— Давай бумагу на хлеб, — сдался старик.

Наутро, когда Салават пришел в заводскую кузницу, он застал старика в споре с другим кузнецом, взявшим молот вместо него.

— Тебе горна раздувать в трехкопеечной кузне, а ты к заводскому молоту лезешь! — кричал старик.

— А тебе указ на печи лежать — ты и лежи! Мы на казну работаем, а ты можешь вред принести без присяги, — с серьезной миной спорил со стариком молодой, кудрявый, голубоглазый кузнец.

— На печке скушно, бабай? — с усмешкой спросил Салават.

— Зубы не скаль, воевода! — строго сказал старик. — Сабля — работа тонкая, — где ему справиться!

Но Салават на этот раз рассудил строго: старика, не желавшего присягать государю, в наказание послали назад в заводской поселок — «на печку».

Белобородов не вмешивался в «партикулярные» дела завода, возложив все целиком на Салавата.

Зато в другой области — в части военных дел — он завел здесь свои порядки. Старый вояка не мог терпеть в людях, которым в любую минуту может прийти нужда вступить в битву, полного неумения владеть оружием, незнания военных дел. Объявив себя комендантом завода, он потребовал от заводских «казаков» прохождения военной муштры.

И с удивительной неустанностью, без ропота и с сознанием долга, после горячей дневной работы в цехе отправлялись люди на площадь, чтобы учиться владеть пикой и саблей, или ездили на соседнюю вершину Ильмовых гор, чтобы упражняться в наводке пушек и артиллерийской стрельбе.

После ухода Салавата Юлай вздохнул. Он стал обдумывать, что же такое случилось за эти несколько суматошных суток. Так было все хорошо. Он чувствовал такой радостный праздник в душе, торжество, расплату за все обиды. Для полного удовлетворения не хватало только разрушить завод и пожечь заводские деревни...

И вот пришел Салават, и все повернулось. Сам он, Юлай, должен теперь караулить от недругов этот проклятый завод, думать о том, чтобы он работал, чтобы ему для работы хватало угля и железа... К тому же еще Салават оставил его одного, совсем одного. Бухаирка не был, конечно, другом Юлая, но все-таки это был союзник. С ним можно было поговорить, поспорить, а теперь он в подвале, половина людей его разбежались с завода в горы, из тех кто остался с Юлаем, еще половина смотрят, как волки, слова добром не скажешь ни с кем...

«А сколько еще Бухаирку в подвале держать, для чего держать? Судить его, что ли, будут?»

Юлай сам приподнял крышку подвала.

— Айда, Бухаир, подобру говорить с тобой будем. Что мы, враги? Давай я тебя развяжу, — сказал он.

— Давно уж пора, Юлай-агай, долго ты думал! — насмешливо отозвался Бухаир. — Ты всегда обо всем долго думаешь, старина, и во всем робеешь.

— Это как же сказать — чего я робею?

— Перед сыном робеешь, перед казацким царем оробел, перед царской бумагой... Как ты согласился меня посадить в подвал?! За что? Я тебя же спасал от беды и позора... Сентбай отогнал твой табун — в степях не но-

вое дело. Ты изловчишься — ты у него и коней и овец отобьешь!.. А чему Салават научает? Чтобы голый, голодный сброд, пастухи отнимали у бая добро, по рукам расхватали его табуны и стада?! Мальчишка глуп — на то он мальчишка, а ты из ума, что ли, выжил?! Подумай сам: пастухи Сеитбая разбирают весь его скот по рукам, на радостях режут барашков, мясо варят, до самого Шайтан-Кудейского юрта слава идет, как богато живут. Шайтан-Кудейская гольтыба — к ним в гости: «Бай-бай-бай! Вот как надо жить! Айда и мы своего Юлая повесим на воротах, табуны его и стада по аулам разделим, по дворам разберем!..» Когда сотня кигинских разбойников-пастухов поскакала грабить стада Сеитбая, я послал своего человека к нему с письмом, чтобы он голякам приготовил встречу. А свои и твои табуны я велел загнать, чтобы их сам шайтан не сыскал. За это ты держишь меня в подвале?!

— Не держу ведь, пустил ведь наверх, веревки ведь снял, — бормотал Юлай.

— Снимай с ног колоду. Или сына боишься?

— Чего, Бухайрка, болтаешь! Я сына боюсь!

— Тогда снимай с ног колоду. Снимай колоду... Боишься — сожгу завод?

— Салават сказал — царь спросит за целость завода с моей головы, — робко заметил Юлай.

— А я не сожгу твой завод — пусть стоит. Я сожгу тот завод под самым носом у Салаватки — вот тот я сожгу!.. Отпирай колодки.

И Юлай достал ключ, отпер колодки и почти до утра просидел, беседуя с Бухайром.

Перед самым утром Бухайр ушел в горы, а в течение следующей ночи не один десяток его воинов отбил от отряда Юлая и покинул завод.

Салават наехал к Юлаю лишь двое суток спустя после того, как Бухайр был на воле.

— Ты сделал измену, полковник Юлай! — воскликнул в сердцах Салават, узнав об освобождении Бухайра.

— Он брат твоей Амины, твой брат. И мне и тебе позорно держать его, как врага, на веревке. Он башкирин... Что тебе в его смерти? Пусть он уйдет и живет где-нибудь один.

— Он называется ханом башкир и разбойничает, атай. Он грабит русские села...

— Если ты, Салават, примешь сам имя хана, что будет в сравнении с тобой Бухайрка?! Он приползет к ногам твоим как змея, как червяк приползет! У тебя ведь слава! Он называется ханом среди трех сотен разбойников, — ус-

покаивал Салавата Юлай, думая, что сын ревнует к ханскому сану. — Хочешь, — мы разошлем вестников по всем племенам, по долинам всех рек и горным проходам, — говорил увлеченный Юлай. — Подними знамя хана, и тысячи воинов, которых не могут найти ни царица, ни царь, явятся под твои знамена!..

— Атай, я был малым малайкой, когда ты рассказывал про Кара-Сакала. Ты думал, что он герой, а говорил про игрушку в руках стариков. Он залил кровью страну, погубил людей, сам позорно бежал, сдался в плен, предал друзей, — кто ему скажет спасибо?.. Я не хочу быть Кара-Сакалом. Я сильнее его, потому что веду не только башкир: я веду русских и чувашей, мишарей, тептярей, черемисов, мордовцев, киргиз... Бухайрка хочет разрушить наш стан, разорвать народы, лишь бы назваться ханом. Я не Бухайрка, атай. Я натянул лук Ш'гали-Ш'кмана. Я выведу из неволи родной народ. Ты отпустил ядовитую змею, полковник Юлай. Ты говоришь, что она приползет к тебе, но она приползет лишь затем, чтобы тебя ужалить. Если я увижу отпущенную тобою змею — я убью ее, а сейчас разошлю по горам разъезды ловить злодея.

В ссоре разъехались Салават и Юлай. Салават возвратился обратно к своим войскам на завод.

С гор спустились люди, разбрасывавшие подметные листы. Узнав, что завод занят повстанцами, они потребовали, чтобы их отвели к начальнику, и сказали Салавату, что государь находится в Белорецком заводе и льет пушки. Белобородов послал на Белорецкий завод гонца с донесением, что пять тысяч войска ждут приказа государя. На Симском и Катавском заводах ждали ответа.

Прошло три дня. Стояли последние дни апреля, а земля уже густо покрылась зеленью. Говорили, что кочевники-башкиры уже вышли с зимовок. С Белорецкого завода ответа не было. Верно, гонца задержала еще продолжавшаяся распутица. Но в это же время прибыли Кинзя и Акжягет, приведя с собой каждый по тысяче человек. Они рассказывали, что встреченные ими полковники Аладин и Бахтияр тоже набрали по тысяче с лишним войска и двинулись к Бирску. Кинзя, привязанный к Салавату, любивший в нем с детства удаль, ловкость, пылкость и быстроту решений, которыми не обладал сам, любивший его смелый, задорный взгляд, стройность стана и твердую волю, сразу заметил, что его друг грустит. Он не выдержал долго: на третий вечер после приезда он стал расспрашивать Салавата. Салават уверял, что он ни

о чем не тоскует. Тогда Кинзя стал перебирать в мыслях возможные причины его грусти.

Зависть? Но кому мог завидовать Салават? Он все мог взять, что захотел бы...

Любовь? Но любая женщина полюбила бы Салавата, как казалось Кинзе.

Деньги? Но разве не было их?

Слава? Кинзя даже засмеялся: ему неоднократно пришлось слышать песни и сказки, которые рассказывали и героем которых был Салават.

Покой? Разве Салавату нужен покой? А может быть, так и есть, что избыток покоя заставил грустить Салавата?

Кинзя решил выспросить.

— Салават, ты хочешь скорее идти дальше, на Сатку или на Косотур?

— погоди, Кинзя, ждем приказа, — спокойно сказал Салават. Голос его говорил за то, что не бездействие заставляло его грустить.

Кинзя ударил себя по лбу. Он вдруг понял, что причина самая простая, что его друг, как сотни других, тоскует по дому и по жене.

— Ты хочешь домой, Салават? — спросил Кинзя.

— Отстань, мешок, не лезь! — крикнул Салават, и тогда Кинзя понял, что был прав.

— Ты глуп, Салават-агай. Разве у тебя стельная корова вместо аргамака, что ты не обернешься в один день?! Возьми еще коня в поводу и поезжай.

— А что скажет Белобородов? — угрюмо буркнул Салават.

— Что скажет? Да ты не говори, куда едешь. А то воспользуйся поездкой и собери еще людей, тогда никто не скажет плохого.

— Ладно, подумаяю, — сказал Салават, умышленно зевая, но сердце его забилося сильнее.

Зная характер Салавата, чтобы не раздражать его, Кинзя не ответил ни слова и сделал вид, что заснул.

— Кинзя! — через несколько минут окликнул его Салават.

— Что? — откликнулся Кинзя.

— А эти, что с тобой приехали...

— Поручик Аллагуват?

— Да, и другой, что пришел вчера с двумя сотнями.

— Айтуган?

— Ну да. Они что-то враждебны к русским... Айтуган ведь друг Бухaira.

— Не знаю.

— А ты последи, увидишь... Боюсь, что их подослал Бухаир. Сегодня они говорили между собой и вдруг замолчали, когда увидали меня, а вчера говорили с воинами и тоже умолкли при моем приближении.

— Ну так что? — удивленно спросил Кинзя.

— Я боюсь уезжать. Кто их знает, что они сделают тут!

— Все разузнаю завтра, — успокоил его Кинзя.

Под дубом сидели Айтуган, кривой Аллагуват и юноша Абдрахман, который под Бердою спас Салавата от выстрела Творогова. Они разговаривали громко, будучи уверены, что кругом никого нет.

— Вот бы до русской мечети добраться. Я видал — у них идолы богато одеты: в золото, в серебро, в камни, — говорил Абдрахман.

— Погоди, Салават подальше уйдет, — сказал Аллагуват, весело подмигивая ему.

— Салават продается урусам, — сказал Айтуган.

— Не продается, а дурак, баба. Одно слово — певец. Они испокон веков блаженненькие, лишней капли крови боятся да про луну поют. Как дело дойдет до того, чтобы гяуру кровь лишнюю выпустить, уши неверных обрезать, он станет монахом. «Как можно, мы должны с гяурами в мире жить, гяур тоже сабан таскал, табун растил. Гяур — подневольный человек!» — передразнил Аллагуват.

— А зачем он муллу Ульдана зарубил? Нет, я знаю — Пугач купил его, — возразил Айтуган. — Он Бухаира в подвал упрятал.

— Да нет, не купишь Салаватку — знаю я его, не продажный, а просто юродивый. Это ему блажь такая нашла, что не урус во всем виноват, а бай, — мулла, мол, тоже бай, и русский лавочник, и помещик, а который гяур бедно живет — он друг башкирам, — сказал кривой.

— Это Салават говорит? — спросил насмешливо Айтуган. — А сам-то он разве не бай? Юлай помрет — у него сколько будет добра!

— Он говорит, что который бай против царицы — не злой, а который против царя — опасный, потому что новый царь ему обещал, когда победит царицу, всем башкирам дать волю и военный набор сложить и подати снять, — досадливо объяснил Аллагуват.

— Ну да, жди! Нам царя тоже надо бы в топоры, — разгорячился молодой Абдрахман. — Бухаир говорит...

— Ну, ты, тсс!.. Петух... Тише! Для всего свое время. Ты так-то не распускай язык — не вожжи. Дай Салавату

подальше уйти. Его, верно, пошлет Пугач-падша на другие заводы — на Сатку, на Косотур. Горячий, как молодой кобель, убежит он отсюда подальше, а мы тем временем... — Аллагуват внезапно замолк.

— Ну, ну, я слушаю, в чем я помешал батырам?

— Салам-алейкум, — приветствовали все Салавата, который возник перед ними.

— Алейкум-салам, батырлар. Что вы вскочили с места? Я не разбойник — никого не убью, и не хан — мне не надо таких почестей.

— Ну, ханом-то ты не прочь стать, — пробурчал себе под нос Айтуган.

— Что же ты громче не скажешь, батыр? Говори громче, я ведь и тихо слышу, на то певец. У меня уши тройные; я: как луна в небе плещет, как трава растет, и то слышу. Может, и стану ханом. А ты кем хочешь быть?

Айтуган промолчал.

— Ты бы мог и издали подслушивать нас, если бы так слышал, — дерзко сказал Аллагуват.

— Я не подслушиваю никого, — возразил Салават, — для этого у деревьев есть уши! Я не слышал вашего разговора, а когда прикажу — мне и дуб расскажет. — Салават поднял глаза к ветвям дуба. — Князя, расскажи, что они говорили.

Наверху хрустнул сучок и упал среди говоривших, Кинзя повис на суку и, качнувшись, тяжело спрыгнул на землю.

— Якши-ма, батырлар! — весело крикнул он. — Когда пойдете резать урусам уши, возьмите меня с собой, а от русских идолов, когда разграбите их мечети, подарите мне только золотые хвостики и рога, больше мне не надо, я не жадный.

Салават строго поглядел на говоривших. Кривой и молодой опустили глаза. Айтуган вызывающе посмотрел на Салавата и усмехнулся. Салават покраснел. Жилы вздулись на его лбу.

Пойманнные заговорщики оказались вооружены пистолетами. Кинзя скрылся за деревьями. Айтуган выстрелил, но Салават вовремя отшатнулся в сторону.

— Стреляйте! — крикнул Айтуган своим собеседникам.

Салават, не отрываясь, в упор, смотрел на обоих. Оба опустили пистолеты.

— Подай сюда пистолет, малайка, — сказал Салават Абдрахману.

Тот встал и покорно отдал оружие. Бесстрашие Салавата его покорило.

— И ты, — приказал Салават кривому.

— Не дам, — возразил Аллагуват, но в то же время встал и, как бы против воли, протянул пистолет.

— Теперь ты мой, Айтуган-агай, — торжествующе сказал Салават.

Айтуган засмеялся.

— Верно, недаром говорят, что в твоих взглядах дьявол. Я думал, что ему покоряются только бабы. — Айтуган бросил свой пистолет.

— Ему покоряются все, — сказал Салават, — покоряются и пули и ослы, которые не слушают вождя.

— Требуешь покорности, когда казачий царь поставит тебя над нами ханом, — опять со смехом возразил Айтуган, — а сейчас хоть я и в твоей власти, ты можешь меня убить, благо я не урус, но подчиниться меня ты не заставишь. Я уведу свой отряд к Бухаиру.

— Ты верблюды! — гневно сказал Салават. — Я не убиваю тех, кто может быть полезным народу. И куда бы я ни ушел в погоне за войском царицы, ты не посмеешь грабить церкви и нападать на деревни наших кунаков, русских. Вешай заводчиков, бери заводы, убивай управляющих, а если против нас поднимешь рабочих и хлебопашцев, я тебя убью, Айтуган, своею рукой. Или хуже — на твоём лбу я вырежу: «Предатель Башкурдистана», и так я пущу тебя жить. Где твои воины? Убирайся сейчас же. Сзови их на шишку — я буду сам говорить с ними. Ты, мальчишка, иди тоже, а ты, — Салават погрозил Аллагувату, — я тебя знаю. Ты недаром бывал у Рустамбая. Если еще раз я услышу, что ты сеешь раздоры... — Салават мгновение помолчал. — Ну, пошли, живо.

Все трое молча пошли прочь. Салават сел под дубом. Через минуту послышался треск сучьев, топот коней.

— Вот здесь! — крикнул Кинзя, подъезжая к Салавату.

— Здравствуй, спаситель, — сказал Салават. — Веди назад своих воинов и в награду за скорую помощь можешь взять любой из этих пистолетов, — он указал на два пистолета, которые ни кривой, ни младший из собеседников Айтугана так и не посмели попросить назад.

Кинзя сконфуженно пробормотал:

— Со мной не было оружия, Салават-агай.

— Со мной тоже не было, — сказал Салават. — Зато теперь слишком уж много; возьми один себе и вперед без оружия не ходи — теперь они знают, что ты за меня... Ничего не случилось, — обратился он к всадникам, подъехавшим за Кинзей. — Ждать меня у кошей. Пусть никто из вас не отъезжает никуда.

Всадники повернули в лес.

— Как ты забрался на дуб? — спросил Салават Кинзю.

— Я увидел, куда они идут, побежал вперед и подумал: «Под этим дубом удобней всего сидеть». И залез. А когда они подошли, они так и сели здесь, как я ждал... А ты как узнал, что я здесь?

— Чудак! Только слепой примет красные штаны на дереве за цветок или бабочку, а когда я увидел красные штаны, то решил, что такого толстого зада не может быть больше ни у кого.

— Я сошью себе зеленые штаны, как твои, — сказал сконфуженно Кинзя.

— Я бы подарил тебе свои, — ответил Салават, — только не полезут тебе, Кинзя. Ну, да не плачь, найдем что-нибудь. А пока пойдем — Айтуган и Аллагуват собрали своих воинов на шишке. Я буду говорить с ними.

Салават говорил с собравшимися на шишке воинами Айтугана и Аллагувата.

— Кто сеет рознь и раздоры — предатель... Тот, говорю я, предатель. Урус-бедняк — наш друг. Если грабить его дом, он будет против нас, а теперь он с нами, потому мы сильнее. Каждый, кто грабит бедняка-уруса, нашего кунака, тот сеет рознь. Он — предатель и достоин казни. Кто нападает на русскую церковь, тот сеет рознь и тоже достоин казни.

Так говорил Салават, и воины молча слушали. Три тысячи воинов слушали его. Кончив говорить, Салават не успокоился. Он все рассказал Белобородову.

— Что же с ними делать, как ты смекаешь? — спросил Белобородов.

— Думал-гадал...

— Что же думал?

— Айтугана послать в Кигинский юрт, велю подымать тептярей и стоять там со всем войском. Там нет русских.

— Ладно, а что сделать с Аллагуватом?

— Аллагувата послать свезти государю деньги, а с ним человек двести. Остальные тут будут.

— А молодого? — спросил Белобородов уже облегченно.

— Молодого возьму себе в сотники. Ему ладно будет, что стал сотником, тихий будет: мои казаки меня слушают.

Белобородов рассмеялся веселым кашляющим смехом.

— Ох, и хитер, Салават! Был бы ты русаком — тебе бы цены не было.

— Ничего, мне не надо быть русским, — возразил обидчиво Салават. — Как-нибудь уж башкирцем ладно!

Шел май, но уже наступило лето. Густая трава подымалась по берегу глубокого Сюма, и табуны бродили вокруг лагеря. Вместо того чтобы ютиться в тесных избах заводчан, стесняя хозяев и самих себя, башкиры теперь вышли за поселок и жили, расставив кочевые коши. Эти вооруженные кочевья не были похожи на обычные мирные кочевки башкир. Слишком часто и близко один от другого стояли коши, слишком много стояло их в одном месте, не было женщин и детей. Целую ночь возле кочевков разъезжали сторожевые отряды, останавливая каждого проезжего: около половины коней не отпускалось от лагеря и держалось всегда под седлом.

В таком лагере жил Салават.

В первый же день пребывания на заводе Белобородов сказал Салавату, что защищаться от войск в самом заводе, лежащем меж гор, нельзя, и посоветовал подготовить позиции на соседних горах, а всюду в окрестностях разместить дозоры.

С этого дня, выезжая в окрестные горы, Салават стал смотреть на природу не так, как смотрел всю жизнь: он учился теперь ценить не только ее красоту. Он научился рассматривать гребень горы как крепость, речку — как ров перед крепостной стеной, лес — как удобное место военной засады, а долину — как поле для конной атаки...

В мыслях он строил планы будущих битв на этих местах, словно всю жизнь ему предстояло тут жить и сражаться.

Иногда, восхищенный сам одержанной в мечтаниях победой над вражеским войском, он хотел поделиться с кем-нибудь хитрой выдумкой. Тогда он брал с собой юношу Абдрахмана, который после отъезда Аллагувата и Айтугана остался при нем. Этот красивый горячий мальчик ему был приятен. С ним Салават забывал, что он уже государев полковник, и чувствовал только свои двадцать удалых лет. Они затевали в пути скачки, спорили в смелом прыжке со скалы на скалу, стреляли из луков в ястребов и ворон...

Но каждый раз посреди забав Салават брал себя в руки. Остановившись в какой-нибудь впадине между утесов, скрытой деревьями и кустами, Салават глубокомысленно замечал, приняв вид полководца:

— Здесь надо будет поставить кош. Отсюда видна долина Сюма. Смотри, если пойдут войска, дозорные сразу увидят и сообщат на завод.

И всем озабоченным видом своим Салават показывал

новому другу, что, несмотря на ребячество, он уже не мальчик, а муж. В другой раз глядел он с горы на дорогу.

— Если бы мне вести войско против завода, я бы повел его через ту лощину, — указывал он. — Возьми двадцать пять человек с топорами и прикажи там срубить сто деревьев. Свалите их поперек ущелья, чтобы никому не проехать.

Абдрахман был всегда во всем скор, и Салават в ближайшие дни встречал одинокие коши, разбросанные в потаенных местах, видел заваленные стволами, прежде удобные, проезды. И с каждым днем все больше верил в свою неприступную крепость и в собственный гений великого военачальника.

Салавату нравилось, когда в наивном жарком восторге Абдрахман открыл перед ним восхищение его мудростью. Опасаясь уменьшить его уважение, Салават ничего не сказал Абдрахману о том, что сам он подчиняется указаниям Белобородова.

Когда же Абдрахман, увлеченный примером Салавата, по своему почину предложил запрудить речку в узком ущелье, Салават покровительственно подумал о нем: «Вот и приручен птенец!..» Он был рад, что у него появился такой товарищ и друг, с которым он мог быть сам как мальчишка, не роняя себя в его глазах.

Тяжелый, неповоротливый и слишком серьезный Кинзя, несмотря на свою привязанность, не мог быть ему так близок, как этот, который глядел на него удивленным и очарованным взглядом горящих живых глаз и был готов исполнить любое его желание, прежде чем слово слетит с уст...

Салават полюбил Абдрахмана, как младшего брата, хотя и хитрил с ним...

Несмотря на свою юность, Салават уже понимал, что ничто другое не может связать так, как свяжет доверие. И не желание взять в плен и подчинить, а искреннее влечение и стремление к дружбе заставляли его дарить Абдрахмана своим доверием день ото дня все больше... Салават рос возле Хлопуши. Все те, с кем бывал он близок, были старше его самого. Не успев быть юным, он стал взрослым, не зная друзей из сверстников, он вошел в круг зрелых мужей. Чувство дружбы к мальчику Абдрахману было лишь данью минувшим без времени отроческим годам Салавата.

Но прошло только несколько дней — и «прирученный птенец» проявил себя снова диким.

В заводской деревеньке пропала рыжая с белым пятном телка. Случилось так, что, внезапно нагрянув на один

из передовых башкирских постов, Белобородов застал всех пятерых караульных спящими возле остатков пиршества. Рыжая с белым пятном шкура сушилась, беспечно растянутая на солнышке... Белобородов забрал у спящих оружие, захватил лошадей, снял даже самый кош. Никто из них не проснулся. Тогда, связав их самих, старый вояка привез их к Салавату вместе со шкурой телки... Салават был смущен. Он гордился своими дозорами и считал, что лентяи, разини и воры осрамили лично его. Особенно вспыхнул он стыдом, когда узнал, что на месте арестованных Белобородов оставил в горном дозоре своих казаков, набранных из заводских людей.

Суд был недолог: Салават приказал всех пятерых, привязав на площади, высечь плетьюми... Сам Салават не присутствовал при расправе. Он занимался проверкой запасов хлеба, когда ему донесли, что Абдрахман, угрожая оружием, прибежал на базарную площадь, оттолкнул казаков, исполнявших приговор, от столба, к которому были привязаны виновные, и, разрезав кинжалом веревки, велел им бежать по домам. Они скрылись...

Зная, что Абдрахман живет с Салаватом в одном коше, что он часто ездит вдвоем с Салаватом, считая его больше чем другом полковника, никто не посмел воспротивиться его самовольству.

Когда Салават его вызвал к себе, юноша смело явился.

— Нельзя выставлять башкир на позор русским! — воскликнул он. — Русский связал их и тем уже опозорил. А ты приказал их в угоду русскому бить. В моих жилах течет не вода, а башкирская кровь, потому я их отпустил...

— Я начальник, — сказал Салават, — как я указал, так должно быть. Никто не должен мешать исполнению моих приказов.

— Не я мешаю — сердце мое мешает, — возразил Абдрахман. — Если бунтует сердце, кто может велеть ему покориться?!

Смелость Абдрахмана подкупила Салавата, но он не подал и виду.

— Больше ты мне не друг! — резко сказал он.

И он ушел в эту ночь почевать в кош Кинзи, чтобы показать свой гнев Абдрахману.

— Говорят, ты влюблен в Абдрахмана, как в девушку, — шутя сказал Салавату Кинзя, который в последнее время был забыт своим другом.

— Праздным людям приходят в голову глупые мысли, — ответил напыщенно Салават. — Скоро просохнут до-

роги, начнутся битвы, и языкам будет некогда болтать пустые слова.

Салават ждал с нетерпением этого времени. Он понимал, что безделье губит воинов, развращает их мысли и убивает мужество.

С удовольствием глядел он на спадающие воды Сюма. Салават знал, что чем скорее спадет вода, тем скорее начнутся новые битвы и кончится бездеятельность.

Майский вечер был полон соловьиным трезвоном. Нежно трепетали в темных водах Сюма отражения звезд. Салават сидел на берегу и, хотя песня просилась на уста, не смел нарушить торжественного покоя темной речной тишины. Ему казалось, что трепетные голубые огни из воды вспорхнут и улетят при первом его движении, как улетит и серокрылый певец, приютившийся в ветвях прибрежного осокоря.

— Са-ла-ват! Где ты? — нарушил тишину пронзительный возглас.

Салават узнал голос Кинзи; но не ответил. Прошло несколько мгновений. Соловей не умолк и звезды по-прежнему светили, но очарование безлюдного покоя природы исчезло.

— Са-ла-ват! — слышался возглас еще ближе, и вслед за тем захрустели сучья под копытами лошади.

Салават с недовольством откликнулся.

— Скорее иди, Салават! Скорее! Прискакал с Уфимской дороги вестник. Говорят, что против нас вышел полковник, тот самый, который разбил войска под Уфой, — Михельсон-полковник...

Салават больше обрадовался, чем встревожился. От Пугачева не было распоряжений о выступлении. Он по-прежнему стоял в Белорецком заводе и лил пушки, запасаясь оружием. Он распорядился только Биктемиру охранять горные проходы, а Салавату, Юлаю и Белобородову — удержать за собой заводы. Но теперь, когда дошла весть, что идут войска, Салават чувствовал себя вправе и без приказа царя двинуться навстречу врагу. Постылое безделье кончилось!

— Скорей в завод! — крикнул Салават, вскакивая за седло к Кинзе. — Сколько войска идет? Где их видели? Может быть, не сюда идут?! — закидывал Салават вопросами спутника.

Они подъехали к лагерю. Салават вошел в свой кош, где уже набились любопытные. Усталый, измученный дорогой гонец сидел на подушке, жадно отхлебывая кумыс,

между каждыми двумя глотками роняя несколько слов ответ на десятки задаваемых окружающими вопросов.

— Сотники, объявить сбор! — крикнул Салават, входя.

Сотники расходились медленно. Они не смели слушаться, но в то же время всем хотелось слышать, что расскажет гонец.

— Где видали солдат? — спросил Салават.

— Вверх по Сюму, прошли Инзер и идут сюда, — ответил гонец. — Теперь уже, наверно, и Курт-елгу миновали...

— Каковы дороги?

— До Лемаз-елги жидкая, а по сю сторону вязкая грязь.

— На колеса пристаёт много?

— Пушки завязнут, — успокоил гонец. — Только ветер с запада дует, не принес бы дождя — по жидкой грязи поспеют дня в полтора. Кони у них хороши. Стерлитамакские да табынские башкиры помогли: как пришли в покорность, все время овес да жито им возят.

— Будь они прокляты, даджалы! — произнес Салават сквозь зубы.

Белобородов и Салават разделили войско на две части, чтобы выйти навстречу Михельсону и занять позиции на горах Аджигардак.

С севера, у прохода вдоль Сюма, должен был стать Салават со своим отрядом, на Ильмовых горах; над долиной реки Малуюз — резерв заводских рабочих, а на случай обходного марша Ивана Ивановича, как запросто называл Михельсона Белобородов, знавший его еще в чине поручика — белобородовские войска должны были занять южные части Аджигардака, взяв под обстрел проход между гор по долине реки Ук.

Возбужденный близостью боя, Салават горел нетерпением. Знавший окрест все горы, лоципы, речки, в которых купался еще ребенком и на которых не раз стояли коши его отца, Салават чертил на песке перед Белобородовым подобие карты.

— Тут место тесное. Сюда солдат подождем. Назад им дороги не дать, вперед дороги не дать. Тут всех и кончим! — указал Салават на ущелье вдоль безымянной речки.

— Он сюда не пойдет, — качнув седою головою, сказал Белобородов.

— Ему как знать, что тут тесное место? — возразил Салават.

— Иван Иваныч? Он хитрый. Он, брат, не хуже тебя напишет всю нашу местность. Он топографию знает, все

планы может читать. Его на один крючочек поддеть только можно...

— Какой, какой?!

— Бежать от него. Горяч! Ты от него — и он за тобой, ты от него — он за тобой. Ты в воду — он в воду... Он, молодой был, с гусарами грянул раз нагонять пруссаков да в крепость к ним прямо влетел с эскадронам. Они и ворота закрыли... Ну, думаем, тут и пропал...

— В плен попал? — спросил Салават.

— Не тут-то было. Таковую поднял пальбу в стенах. Глядим, над крепостью русский флаг через час, а там и ворота открыли — мое вам почтенье!.. Вот, брат, Иван Иваныч! С таким не бахвалься... — Белобородов говорил так, словно Михельсон был не враг, а его приятель.

— К нам в завод придет? — спросил Салават с опаской.

— В завод не пустим, — спокойно сказал Белобородов, — я не к тому, а, мол, ты не бахвалься!.. Нас вчетверо больше, и пушек у нас вдвое... А заманить захочешь — беги. Как кошка за мышью припустится, все позабудет... Ты малый толковый. Знай: неприятель — он не дурак, как его дураком почтешь — тут тебе и пропасть!..

Белобородову предстоял более дальний путь, и он выступил с вечера на свои позиции, оставив Салавата полным хозяином завода и преподав ему несколько деловых советов о способах перевозки пушек и об их установке в горах.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Салават закипел...

Ему казалось, что он должен поспеть всюду сам, что без него что-то забудут или не смогут сделать. Прискакав в башкирский табор вместе с Кинзей, он отправил разъезды за Сюм и в горы Аджигардак, приказав каждый час высылать по одному гонцу обратно в завод. Ему нравилась лихорадка, которой он заражал других. Он старался говорить коротко и отрывисто, решительно, быстро двигаться, как — он читал в старинной турецкой книге — двигался и говорил «Железный хромец»¹.

Больше всего ему нравилось назначать начальников и подчинять одного человека другому, в этом особенно ощущалась им сила власти.

¹ «Железный хромец», или Аксак-Тимер, — Тамерлан.

Он любовался, как, быстро вскочив по коням, исчезли в вечернем тумане разезды; стройность движения их, быстрота исполнения приказа вселяли в него радость.

— Кинзя, ложись спать, — сказал Салават, прыгнув в седло. — Аксак-Тимер говорил, что перед боем главное — крепкий сон.

Кинзя приложил руку к сердцу и с почтительным ко-низмом поклонился.

— Прости, туря, у меня еще есть летучий баран. Батыр Искандер сказал, что лучше всего перед боем поесть лету-чего барашка.

— Летучий баран? — Салават припомнил детскую охо-ту за орлами и весело засмеялся.

— Закусим? — спросил, подмигнув, Кинзя.

— Мне надо в завод, — возразил Салават. — Как там без меня.

— Ну, постой, я дам тебе только ляжку.

Кинзя разбросал костер и копнул золу вместе с землей. Жирный душистый пар вырвался из земли. Кинзя возился с ножом, кряхтел и сопел, обжигаясь, и наконец протянул сидевшему в седле Салавату дымящийся окорочек.

— Теперь поезжай хоть за гору Нарс, — шутливо ска-зал он.

— А все остальное сожрешь один? — шутя спросил Салават, уже набив рот жирным и нежным горячим мясом.

— Накормлю твоего Абдрахмана, — тихо ответил Кин-зя. — Ходит унылый... Пора бы его простить. Молод... Да он и прав: из-за паршивой телки позорить людей плетью! Я сам как-то раз упер у соседа овечку.

— Не на войне, — сказал Салават.

— А на войне то и вовсе! — возразил Кинзя. — На-кормлю молодца барашком, скажу, что велел ты...

— Хош! — крикнул ему Салават и, подхлестнув коня, поскакал к заводу. Он не хотел говорить про Абдрахмана, с которым не разговаривал уже несколько дней, желая его наказать за самовольство. Он видел уныние и одиночество юноши и хотел сломить его упорство, заставить его рас-каяться и подойти первым для примирения.

Табор утих. Догорали и тлели костры. Мягкий запах дымка стелился в вечерней прохладе, напоминая мирную жизнь на кочевках. Майские жуки то и дело пронзали вне-запным гудением теплые сумерки... Салават на скаку рвал крепкими зубами горячее мясо и радовался жизни и ощу-щению бодрости...

Впереди оставалась одна неполная ночь.

Салават поскакал осмотреть пушки, напомнил, чтобы за два часа до похода накормили крутозадых тяжелых артиллерийских коней овсом: он потрепал их по крупам и осмотрел их ноги: им предстоял трудный путь с пушками и ядрами по горам.

Проверив еще запасы пороха и картечи, однажды уже проверенные, Салават назначил охрану обоза и поскакал в завод. Ему хотелось еще какого-то дела.

Здесь, несмотря на ночную пору, кипела работа. Волнение, всегда приходящее в сердце бойца перед первой битвой, лишило заводских людей сна, наполнило их энергией.

Работа при красном отблеске горнов и свете факелов, в ночную пору, придавала заводу сумрачный и торжественный вид. Люди тоже были напряжены и суровы, но возбужденный, сияющий вид Салавата вызывал повсюду в ответ радостные улыбки. Многие из рабочих, оставив свои дела, весело перекинулись с ним приветствием.

Салават увидел у дверей кудрявого кузнеца. С ним рядом стояла женщина. Молодая жена хотела увидеть еще раз своего друга, прежде чем он, сменив молот на саблю, пойдет в бой. Придя на завод из поселка, она притащила с собой ребенка. Большеглазый, оглушенный и оробевший в грохоте кузни, ребенок держался за юбку матери...

— Твой малайка? — кивнув кузнецу, спросил Салават.

— Дочка, — поправил кузнец.

— Спать пора, — наклонившись к девочке, сказал Салават.

Она кокетливо скрылась за мать.

— Матур кыз, — сказал Салават. — Красивый девщонка будет... глаза... точный мамка...

Женщина вдруг смутилась.

— Пошли мы, Андрюша, — сказала она.

Муж торопливо обнял ее. Она закрестила его, и Салават отвернулся.

Несмотря на жару, стоящую в кузнице, за эти полночи было сделано много оружия.

Подумав о том, какому отряду нужнее всего вооружение, Салават спохватился, что упустил еще одно дело: в последние дни к отряду присоединилась молодежь, вышедшая на кочевья из аулов Дуванского юрта. Это были зеленые юноши, плохо вооруженные, но горевшие смелостью и жаждой сражений. Их было около сотни. Как раз им-то и было оружие нужнее всех...

Салават припомнил также и то, что у них еще нет начальника. Ему пришла счастливая мысль — поручить на-

частьство над ними такому же, как они, молодому и смелому Абдрахману.

Обходя завод, осматривая оружие, пробуя пальцем лезвия сабель, кинжалов и топоров, Салават увидал блестящие латы под молотком одного кузнеца. Ему оставалось еще десяток ударов, чтобы закончить работу.

— Кому? — спросил Салават.

— Кому надо, сударь, — ответил тот. — Хочешь — вам поднесу.

Салават взглянул на железный нагрудник.

— Узко будет вам! — с сожалением заметил кузнец, в свою очередь смеривший взглядом грудь Салавата.

— Мне не надо. Сотнику надо подарок давать, — сказал Салават.

Кузнец ловко доделывал панцирь.

За грохотом молотов, визгом сверл и яростным скрежетом подпилков не было слышно человеческих голосов, и даже ближайшему собеседнику приходилось кричать на ухо.

Увлечшись работой кузнеца и стоя спиной ко всей кузнице, Салават не видел, как в цех ввалилась толпа народу, и не слышал беспорядочных и взволнованных выкриков за спиной. Только тогда, когда смолк железный грохот вокруг и кузнец, делавший латы, бросив свой молоток, в удивлении устоял на середине кузницы, Салават оглянулся.

Толпа заполнила кузню. Впереди два старика, оставленных за отказ от присяги, несли на руках мертвое тело и опустили его на землю среди наковален. Салават кинулся первым вперед, ожидая увидеть убитым одного из разведчиков. Но убитой оказалась молодая женщина, только что, час назад, приходившая с дочкой к мужу в завод. Кровь запеклась у нее на лице и платье.

Кузнецы окружили ее молчаливым, тесным и мрачным кругом.

— Маша! — беспомощно, тихо сказал одинокий голос, и Салават узнал молодого кудрявого парня. Он стоял, не прикасаясь к трупу.

— Кто? — с усилием спросил молодой кузнец.

— Башкирцы, — громко ответил старик при общем молчании.

— Русских в сражении отослали, а сами народ убивать, — подтвердил второй.

— Какие башкирцы? — громко спросил Салават.

— Твой, проклятый, твой! — крикнула женщина в задних рядах. — Деревню хотели поджечь, добра пограбили, бабу убили!..

— Мы вам сабли да пики готовы, мы за вас воевать, а вы и на нас же! — подхватила другая женщина, наступая на Салавата.

— Иван Наумыч ушел — вы и русский народ губить!

— Сдадимся все Михельсону!

— Мы не враги государыне!

— Бить вас самих! — кричали со всех сторон заводчане, наступая на Салавата. Отдельных голосов уже не было слышно, все слилось в дикий рев.

Заполнив кузницу, толпа, как перелившаяся через край, теснилась и за ее дверьми. Салават растерялся.

— Какие башкирцы, какие? — еще раз громко, в отчаянии, повторил он.

Но его никто не слышал и не слушал... Словно звериный вой раздавался кругом... И вдруг сквозь расступившуюся толпу литейщик — начальник обоза, широкоплечий рыжий силач — втащил за шиворот молодого башкирца и швырнул его на землю, в ноги толпе.

— Вот он! — громко воскликнул литейщик.

Пленник вскочил на ноги. Это был Абдрахман... Он стоял, дерзко глядя на всю толпу. Глаза бесстрашно и злобно горели. Будь в руках у него оружие, он бросился бы на всех сразу.

— Абдрахман?! — в смятении произнес Салават. И через силу он громко и внятно спросил: — С кем был?

— С ханом, — твердо сказал Абдрахман, смело взглянув в лицо Салавата.

— Изменник!.. — шагнув вперед, сказал Салават, и голос его пресекался от гнева.

— Я не изменник хану, — ответил юноша. — Он послан богом, чтобы избавить башкир от русских... Я первый его наиб. — Абдрахман заключил дерзко: — Хан не станет кнутом бить башкир для забавы русских...

— Ты убил женщину? — перебил его Салават.

— Я, — так же смело и прямо признался Абдрахман.

Толпа заводчан замолкла, следя за допросом, в котором не понимала ни слова.

Салават молча выдернул из-за пояса пистолет.

— Тохта! Тор, тор, Салават! ¹ — вдруг закричал старик, протолкавшийся сквозь толпу. Это был лесной кузнец, отец Абдрахмана. Он хотел закрыть сына своим телом.

— Я спас тебе жизнь, — торопливо сказал Абдрахман, и голос его сорвался, но глаза глядели все так же без страха в лицо Салавата.

¹ Погоди! Стой, стой, Салават!

Старик не успел заслонить собой Абдрахмана от пули. — Абдрахман! — отчаянно закричал старик и упал на труп сына.

Чтобы скрыть лицо от людей, Салават отвернулся и отошел к одному из пылающих горнов.

Молча стояла над трупами заводская толпа. В тишине слышался только старческий крик отца Абдрахмана.

— Сын мой, сын! Абдрахман! — кричал он со старческим хрипом. — Бей, бей и меня, ты, грязный отступник! — Он разодрал одежду и обнажил темную грудь. — Режь ножом, бей, стреляй! — кричал он. Лежа в ногах убитого сына, он поднял вверх руку. — Будь проклят! — воскликнул он. — Будь ты хромым и слепым! Пусть сын твой будет горбатым и глухонемым!

Салават не слышал ничего. Он не слышал плача осиротелой девочки, ни проклятий старика, ни самой тишины за своей спиной...

Он сам не боялся смерти и потому всегда убивал спокойно. Он никогда не задумывался над убитым. Солдат, офицер, дворянский холоп, защищавший жизнь и жилище своего господина, — много их погибло от выстрелов и ударов юного батыра, и Салават, убивая, не вспоминал их лиц.

Но смерть Абдрахмана была необычна. Смерть от руки того, кому сам он спас жизнь. Казнь за чужую вину... Как мог этот мальчик принять на веру новую проповедь единения с русским народом? Привыкший с рождения ненавидеть русских, окруженный людьми, источавшими ненависть в каждом слове и взгляде, как мог он стать вдруг иным, чем Бухаир, Айтуган и Аллагуват? Сам Салават три года бродил по земле, скитался и жил среди русских, прежде чем стал вполне верить в дружбу Хлопуши и принял его правду. Салават стоял у жаркого горна, но тело его обдавал холод. Кругом шла война! Юноше трудно быть дома, когда старшие взялись за оружие. Он не выбирал — народ привел его под власть Пугачева, призвавшего их словами, сказанными Салаватом безвестному купцу. Эти слова башкирского воина и певца дошли до башкирских сердец, и народ им поверил... Бухаир подчинил и сломил Абдрахмана хитростью. Оставив с собой мальчишку, Салават думал его подчинить лаской и дружбой. Но дикая непокорность и вольнолюбие не могли примирить горячего юношу с воинскими порядками, царящими в стане пугачевцев. Чувство племенной чести и гордое, пылкое самолюбие не могли допустить позорного унижения сородичей. Он взбунтовался. Куда ему было идти? Пятеро воинов, освобожденных им от наказания, убежали в шайку поборников ис-

ламизма с игрушечным ханом, царившим над ними. Следом за ними бежал через несколько дней и сам Абдрахман...

«Он мог бы быть преданным, верным другом, любимым братом, этот горный орленок, этот красивый мальчик со смелым взглядом и вздернутой головой», — думал о нем Салават.

В ушах его глухо ухала кровь, словно мгновения, летя, взмахивали легкими крыльями.

«Время уходит! — мелькнуло в уме Салавата. — Еще немного — и враг перегонит нас, и страшная смерть Абдрахмана станет тогда бесплодной...»

Салават повернулся от горна внезапно, шагнул к наковальне, поднял кувалду и тяжело со всего размаху, ударил. Звон всколыхнул толпу. Взгляды всех устремились к Салавату.

Тяжелый, упругий рывок от удара стали о сталь встряхнул все тело Салавата и сразу собрал словно в узел все нужные мысли.

Салават вдохнул полной грудью воздух, и голос его прозвучал гулко и внятно.

— Русский народ! — негромко, но твердо сказал он, обращаясь ко всем. — У нас один царь, одна воля, одна кровь... Час время терять нельзя. Черная птица летит на наше гнездо.

Салават опустил голову, словно ища слов, и вдруг громко, беспрекословно добавил:

— Айда все, на коней садиться!

Заводские рабочие поняли, что было в душе Салавата. Быстро пошли во двор. Салават взглянул на ненужные новые латы, в которые думал одеть Абдрахмана, и вышел вслед за толпой.

Во дворе его встретил гонец из дозора. Он сообщил, что у реки Уйтеляк Михельсон остановился ночлегом.

Предрасветный холод, фыркание лошадей, неясные очертания вооруженной толпы, сдержанный разноголосый говор, скупые движения — все отвлекло Салавата от Абдрахмана. Он стал опять начальником войска и понял, что Абдрахман должен был умереть для восстановления единства башкир и русских.

Перед лицом опасности вспышка вражды рассеялась. Смерть Абдрахмана словно бы искупила его вину и вновь привлекла доверие русских к башкирам.

Они вышли с завода без криков, без шума и направились к башкирскому табору. Они сознавали, что надо спешить, и двигались быстро.

Уверенность возвратилась к Салавату, когда он увидел Кинзю во главе готового к бою войска. Башкиры сидели уже в седлах. Коши их были сложены. Стада и обозы с поклажей готовились тронуться за реку Сюм.

Кинзя подал знак башкирам, и весь огромный отряд широкой живой рекой потек вперед.

Военные учения Белобородова не прошли даром: все войско двигалось стройно, уверенно и спокойно. Позади на сильных, сытых заводских конях везли пушки. Салават любовался отрядом. Припустив коня, он обогнал весь отряд и, став во главе его, ловким движением выдернул саблю из ножен. Он снова верил в свою удачу и хотел передать эту веру своим воинам.

Высланные вперед разъезды то и дело присылали людей с вестями о том, что дорога свободна.

И вдруг брат Салавата Сулейман, ехавший рядом с Кинзей, заметил впереди группу всадников, поспешно скакавших навстречу. Это был дозорный отряд, которому удалось захватить разъезд Михельсона. Их вести были неожиданны и ошеломляющи: оказалось, что хитрый «Иван Иванович» провел пугачевцев: уверенный в том, что за ним следят, он сделал вид, что остановился на ночлег, велел разжигать костры и варить пищу, а через час, как только стемнело, покинув стоянку, он бешеным маршем бросил отряд вперед. За ночь прошел он целый дневной переход и поднимался теперь по склонам Аджигардака.

Пленные рассказали, что у него в отряде меньше тысячи гусар и всего только три пушки. И хотя отряд его по числу ничтожен в сравнении с пугачевцами, все же идти напролом было бы не умно.

Салават остановил свой отряд. Приходилось все переорганизовывать заново. Оставив мысль о занятии Аджигардака, надо было спешить на перевалы ближайших Ильмовых гор, господствовавших над переправами через реку. Наполненная бурным потоком холодной мути река могла стать хорошей защитой.

Со своим новым планом послал Салават гонца к Белобородову на реку Ук, призывая спешить на помощь и ударить во фланг Михельсону.

Кони, задыхаясь, храпели, когда поспешно тащили по горным тропам пушки и груз ядер. И вот наконец взгромоздились на перевал. Теперь пригодилась белобородовская военная муштра: именно здесь, с перевала, упражнялись в пальбе из пушек. Из-за дождливой, туманной мути сейчас не было видно ничего впереди, но пушки поставили так, как ставил их Белобородов, когда учились стре-

лять: это были как раз места, наиболее удобные для прохода войск.

«Хитрый, — подумал о Белобородове Салават, — знал, для чего здесь учит палить из пушек».

Небо было густо облеплено тучами. Рассвет наступал медленней, чем всегда.

Разведчики сообщили, что Михельсон не ждет и, перевалив Аджигардак, ломится дальше вперед.

Однако за серой сырой мглой ничего еще увидеть было нельзя.

— Пятеро охотников в разъезд! — громко вызвал Салават.

Никто не ответил.

— Сотников сюда! — позвал Салават. — Каждый выделит по одному человеку в опасное дело, — приказал он.

Кинзя подъехал к нему.

— Я поеду, — сказал он. — Куда надо?

Салават обрадованно взглянул на него.

— Ты лучший друг, Кинзя... Храбрый воин... Ты настоящий башкирин!

Кинзя просиял от радости, что заслужил похвалу друга.

— Что делать? — спросил он, радостно смущенный.

— За туманом мы не увидим солдат, — объяснил Салават, — но пушки уже наведены на переправу, им негде больше идти. Ни правее, ни левее они не пойдут. Поезжай вниз, скачи к переправе. Спрячься и жди. Когда с тобой поравняются солдаты — стреляй, — это будет знак. Если тебя не убьют солдаты и минует наша картечь, скачи вперед них и не стреляй до самого осокоря, что над белым камнем. Стреляй, когда туда подойдут солдаты, — туда тоже наведены наши пушки... или не стреляй, а кричи громче.

Сотники привели десятерых башкир. Салават объяснил им, что они должны делать: они должны были остаться у белого камня и ждать, пока подойдут солдаты. Если Кинзя останется жив — по его знаку, а если нет — просто, поравнявшись с солдатами, поднять визг и крик, что послужит сигналом стрелять по этому месту картечью.

— Значит, помирать едем? — спросил один из отъезжающих.

— А ты думал, что на войне веселье?! — насмешливо и холодно спросил Салават.

— Хош, — сказал Кинзя, трогая повод.

— Хош, — ответил Салават и вдруг только теперь понял, что лучшего и преданнейшего друга послал он на верную смерть. Понял, что не минует и часа, прежде чем он,

Салават, отдаст приказ бить картечью в то самое место, откуда грянет выстрел Кинзи.

Топот отъезжающих коней затих. Гора замерла.

— Канониры справа, готовься! — скомандовал Салават.

— Готово, — ответили в один голос канониры, и легкий ветерок защекотал нос дымом их фитилей.

Медлительный и до того рассвет еще замедлялся. Стояла долгая, нудная тишина, и вдруг одинокий выстрел снизу колыхнул горы гулом.

— Пали! — крикнул тогда Салават.

И тотчас грянули четыре пушечных выстрела, в страшном вихре звука унося визжащий свинец картечи.

— Заряжай! — крикнул Салават и спокойно прибавил: — Канониры слева, готовься!

— Готово! — ответили канониры.

Снизу, из долины, доносился нестройный гвалт и выстрелы. Салавату представился убитый своей же картечью Кинзя, и, кажется, в первый раз в жизни Салават почувствовал себя перед ним виноватым.

Еще звучали отдельные выстрелы пушек, когда из тумана послышался близкий воинственный визг и стрельба башкир. Салавату представился снова Кинзя, вместе с десятком всадников мчавшийся впереди михельсоновского отряда.

— Зажигай! — выкрикнул Салават, одновременно думая о том, что первый под свирепый визг картечи попадет именно Кинзя.

Грохнули и отдались перекатами по горам новые удары пушек, и когда в ушах чуть затих гул, снизу услышали все стрельбу и крики. Не одному Салавату, а всем кто был на горе, стало понятно, что происходит внизу.

Вот мчится отряд храбрецов, едва поспевая в гору, а сзади освирепевшие, понявшие хитрость солдаты Михельсона преследуют выстрелами эту горстку башкир. Крики и выстрелы слышатся ближе и ближе...

— На коней! — грянул Салават, выхватив саблю, в другой руке держа пистолет, и ринулся с горы навстречу врагу. Едва поспевая за ним, помчались башкиры.

Впереди, навстречу Салавату, мелькнули люди в рысских шапках.

Толстый Кинзя на коне вынырнул из тумана, и в то же время мимо просвистели первые солдатские пули.

— Жив? — радостно крикнул Салават Кинзе. — Айда вперед!

И Кинзя повернул за другом, выхватив из-за седла тяжеловесный и страшный сукмар.

Еще через мгновение Кинзя, Салават и мчавшиеся впереди других башкиры уже смешались с передовым отрядом гусар. Туман был густ. Темные крупы лошадей да головы всадников внезапно выныривали из тумана перед глазами противников. Пороховой дым не расходился в сыром воздухе, а еще больше сгущал серую туманную завесу. Выстрелы и крики гремели в тумане. Стоял сплошной гул, кричали раненые лошади, стонали люди. Казалось, что десятки солдат обрушивались на каждого повстанца.

Салават сделал ошибку. Первый раз в битве он послушался голоса чувства, в первый раз подумал о человеке, а не о деле. Потеряв только что одного друга, он пожалел потерять второго, слишком поторопился навстречу Кинзе и увлек за собой башкир, широким тонким полукольцом сорвавшихся с перевала горы. Салават не учел того, что в туманной долине, на большом расстоянии друг от друга, растеряются башкирские сотни. Михельсон, наоборот, подумал о тумане, но не о том, что в тумане легче нападать, — он вовремя подумал, что против невидимого врага надо защищаться плотной колонной. Солдаты его сомкнутыми, тесными рядами держались, сначала только отбиваясь от налетавших, как саранча, башкир, потом разорвали их, разделили на две части и наконец стали теснить разрозненных и растерявшихся перед дружным натиском воинов.

Михельсон подумал и о том, чтобы оставить запасную часть, а его помощник разделил эту часть надвое, и вот в тыл обоих рассеянных и усталых отрядов ударила свежая михельсоновская кавалерия.

Башкиры побежали назад через гору. Страшен и тяжел был обратный подъем на гору. Хитрый враг отстал, как бы отказавшись от преследования, но когда беглецы поднялись на середину горы, в тыл им ударила картечь, а за визгом картечи грянуло «ура», и с новыми силами ринулись преследователи на бегущих.

Белобородов опоздал на помощь...

Мимо Сюмского завода, путь к которому перерезали гусары Михельсона, ринулись убегавшие повстанцы. Многие погибли, переправляясь через глубокий Сюм к Шалыванской шишке.

Только ночь отдыхал Михельсон в заводе. Большинство заводчан ушло с Салаватом. Но Михельсон все-таки торжествовал: те, кто остался, пришли к нему с повинной и объявили, что они обманом были увлечены в бунт.

Салават бежал в деревню Юран.

В этих схватках с неугомонным, стремительным Михельсоном кипела, как в котле, вся округа горных заводов. Юлай, боясь остаться отрезанным от всех, тоже соединился с главными силами башкир и волей-неволей попал под начало к сыну.

В один из коротких часов отдыха между боевыми схватками Салават остался наедине с Юлаем.

— Ты слышал, что вышло на Сюзском заводе? — спросил Салават.

— Про Абдрахмана? Слышал ведь, конечно... Погорячился ты, сын. Абдрахман ведь малайка, что понимал?

— Его Бухаир направил, — сказал Салават.

— Ай-бай-бай! Может, врака какая! Мало ли что наболтают люди! — качнул головою Юлай.

— Сам Абдрахман признался. Не Абдрахман виноват, — Бухаирка и ты, отец, — вот виновники. Оба остались живы...

— А я-то тут, значит, при чем? Ведь я-то, сказать, Абдрахманку не видел уж знаешь сколько!

— Ты отпустил Бухаира, атай! — жестко заговорил Салават. — Ты наделал измену. Бухаирка сеет раздоры между башкир и русских. Русские были с нами. Всюду в заводах и в крепостях принимали башкир подобру. Бухаирка поднимет против нас русских. Вчера Михельсон собрал на заводах сто русских людей против нас. Он говорит, что за помощь против башкир царица простит им участие в мятеже.

В этом столкновении с сыном не помогли ни осторожность, ни хитрость, ни внешнее простодушие Юлая, которым всю жизнь оборонялся он.

Салават знал отца лучше других и все время ловил его на хитростях и увертках. И Юлай согласился от имени верных государю башкирских старшин составить письмо к башкирам и русским.

Салават сам сочинял это письмо к народам. Он сочинял его вдохновенно, как песню: «У нас в сердцах нет злобы против русских. У нас один государь и одни враги. И тот наш враг, кто между нами сеет раздоры, кто русских поднимает на башкир, а башкир на русских. С одним царем во главе, под одними знаменами нам вместе идти против общих злодеев: русских и башкирских воров, кто друг на друга народы хочет поднять, хватайте их и расправу над ними чините!..»

Юлаю Салават оставил первое место для подписи, сам подписал следом, за ними — Кинзя, Акжягет и Айтуган. И десятки всадников повезли это воззвание по горным до-

рогам и тропам к кочевьям башкир, к русским селам и деревням.

Ровно через сутки на рассвете ударил Михельсон на объединенный отряд. Не успевшие еще отдохнуть и оправиться, не ожидавшие так скоро нового нападения, пугачевцы сразу дрогнули. Видя это, с тем большей стремительностью ринул на них Михельсон губительные потоки картечи. Когда же Салават приказал повернуть пушки и под огнем сам поскакал отдать приказ снять их с передков, михельсоновская конница, как буря, налетела на него.

Очутившись среди гусар, только саблей отмахивался от них Салават, и не сам бежал, а взбесившийся конь, раненный пулей в круп, вынес его из битвы.

Башкиры бежали.

Рассеялся и отряд Белобородова. Пушки остались в руках Михельсона.

На другой день Михельсон, не давая отдыха бежавшим, снова напал на них, перейдя вброд глубокие воды коварной Юрузень-Идель; Салават и Белобородов снова отступили. Теперь они шли к Саткинскому заводу. Отдельные отбившиеся толпы повстанцев нагоняли их, выезжая из лесов и гор, и вдруг до беглецов долетел слух, что «сам государь», усилив войска в Магнитной крепости казаками, идет к ним в башкирские земли.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Российская дворянская империя очнулась от первоначальных иллюзий в отношении Пугачева: в Петербурге поняли, что Пугачев не разбойник, а вождь восставших народов, что разрозненными отрядами гарнизонных инвалидов не одолеть его сил, питавшихся повседневно из щедрого источника всенародного гнева и ненависти к тиранам-помещикам, к хищной чиновничьей своре и заводским живодерам.

Был, говорили, момент, когда Екатерина в припадке воинственной истерики натянула сама перед зеркалом преобразенский мундир и грозила кровавой расправой взбунтовавшейся черни, которая посягнула на святость дворянских прав...

Императрица требовала отпустить с турецкого фронта самого Суворова, чтобы послать его против Пугачева. Но Румянцев, опасаясь дурного отклика за границей, не отпустил Суворова, а Панин сумел уговорить царицу послать на Урал более опытных полководцев, чем она сама.

И вот Пугачев, уже прославленный как стратег, доказавший во многих битвах сочетание личной отваги с военным талантом, находчивостью и умением властвовать, оказался окруженным со всех сторон полководцами Екатерины...

Удары, нанесенные ему под Оренбургом, Уфой и в ряде уральских крепостей, заставили Пугачева отходить в заводские районы Башкирии, где силы его пополнялись заводским населением и солдатами гарнизонов. Главная опора пугачевских войск, их ядро — яицкое казачество — было в массе разбито у Оренбурга и под Уфой. Заводское пополнение приходилось срочно учить военному делу.

Но теснимый с юга Пугачев не был сломлен. Он верил в народ, в поддержку всего народа великой России, по дорогам которой он прошел и проехал тысячи верст. Народ не отдаст своего государя, своей воли — в этом он был убежден.

В крепости Магнитной Пугачев принял башкирских вотчинников и старшин, на землях которых были построены Белорецкий, Кагинский и Авзянский заводы. Старшины «били челом государю» о своих башкирских вотчинных землях, прося истребить заводы и вывести русских переселенцев.

— А русским куда ж уходить от своих домов?! — возразил Пугачев.

— За Кунгуром, судар-государ величество, много земля лежит. Пустой степ, пустой лес. Никто не сидит на земля, горностайка бегаёт, лисица, куница гуляют... Туда посылай русский люди, — уговаривал Мурзабай, один из богатых вотчинников.

— А верно ли, что там много вольной земли? — спросил Пугачев.

— Ай-бай-бай!.. Я туда ездил. Ай, сколько земли!.. Никто не живет, овечка не ходит, хлеб не растет — пустой земля спит! — подхватил Ахметбай.

Башкирские старшины пригнали Пугачеву не меньше трех тысяч коней, они обещали покорность башкирских селений, вечную верность башкир.

Толпы яицких казаков редели на глазах Пугачева. Новые люди окружали его что ни день. Заводские рабочие, приставшие к нему по заводам, были пеши, а посадить их в седла могли лишь башкирские богачи. К тому же и сами башкирские всадники, как пополнение войска, прельщали Пугачева, и он поддался соблазну: обещал богатеям вывод всех русских из их земли. Он думал этим добиться единства башкир, которое пошатнулось после поражения под

Уфой, а именно ведь башкиры составляли главную силу в тех местностях, по которым ему приходилось идти.

Когда был получен указ Пугачева о выводе русских за пределы Башкирии, Салават помрачнел. Он почувствовал себя изменником слову, данному русским...

Среди башкирских военачальников живо обсуждали эту бумагу. Противники Салавата посматривали на него с торжеством.

— Вот когда все башкиры встанут, сын, — говорил Юлай Салавату. — Ты справедливости знать не хотел, а Пугач-надша ее знает. Он сам велел сжечь деревни, а русских всех гнать в Кунгурский уезд на вольные земли. Царь велел!.. Посмотри, как теперь начнет расти наше войско!

Салават недоверчиво качал головой, но царский указ был указ. Его нужно было во всем исполнять.

Первой загорелась деревенька на руднике недалеко от Саткинского завода, где застал башкирские отряды указ Пугачева. Деревня была покинута жителями, бежавшими при приближении битвы и грохоте пушек. Когда ее жгли, никто не спасал от огня пожитков, никто не плакал о горевшем добре, но поджигавший деревеньку Аллагуват был радостен. Среди множества сожженных в боях русских и башкирских деревенок она сгорела бы неприметно, если бы Аллагуват и его единомышленники не кричали сами о том, что вслед за этой деревней пожгут и все остальные селения русских.

— Чтобы духом русским не пахло на нашей земле! — кривляясь, кричал Аллагуват.

— Что он кричит, полковник? — спросил заводской атаман Голубев у Салавата.

— Царская воля такая, значит, — сказал Салават, не умев и сам объяснить, что значит такой поворот в линии Пугачева. — Государь велит русским идти в кунгурские земли...

Салават, как и другие башкиры, не ощущал пугачевских поражений как приближения конца. Прimitивное представление о том, что война — это игра удачи и неудачи, царило в народе. Ни Салават, ни кто другой из его сподвижников, ни даже сам Пугачев не владели таким кругозором, который позволил бы видеть все широкое поле народной битвы, разлившейся по империи. Даже Пугачев не мог подняться к вершинам государственной мысли, которая позволила бы ему заключить, что дворянское государство уже двинуло против него настоящие военные силы и повсеместно готовится к отпору народным восстаниям. Пу-

гачеву, как и его соратникам, казалось, что попросту они продолжают войну, вместо одних крепостей занимая другие, продвигаясь вперед, а не назад на Яик, значит — не отступая, а наступая.

Вести о том, что пугачевское войско потерпело ряд неудач — под Татищевой, Оренбургом, Уфой, — совпадали с вестями о том, что царь взял крепость Магнитную, что он стоит в Белорецком заводе, что он захватил крепость Троицкую..

Государь приближается с войском, идет в башкирские земли... Ему нужно войско...

И Салават снова послал своих верных соратников по степным и горным кочевьям скликать к оружию воинов.

В течение целой недели шли неустанные битвы с гусарами Михельсона.

Они оба были равно горячи, поворотливы и стремительны — опытный Михельсон и юный, горящий отвагою Салават.

Они караулили один другого в засадах, обманывали ложною вылазкой, затевая шумную стычку, чтобы в это же время неожиданно обрушиться на врага с другой стороны.

Михельсон доносил в эти дни по начальству, что он нашел такое сопротивление, какого не ждал от башкирских толп.

В эти дни Салават снова почувствовал себя полководцем и силой. Перед лицом надвинувшейся опасности все разногласия смолкли среди башкирских военачальников, все без слов признавали первенство Салавата и подчинялись ему.

В течение этой недели упорных боев башкирам под команду Салавата пришлось проделать снова прежний путь, снова вернуться от Сатки на Симский завод.

— Сегодня сождем деревни, из-за которых шел спор еще в твоём детстве, — сказал довольный Юлай Салавату.

И Юлай оказался довольно умен для того, чтобы сделать это руками русских, которые были с ними.

В эти дни башкирам опять удалось соединиться с отрядом Белобородова. Именно Белобородов и взялся исполнить царский указ о заводских деревеньках.

— Государь повелевает вам, — выкрикивал Белобородов, — идти в Кунгурский уезд, в хлебные места, на вольные земли.

И заводчане, сбившись толпой над скарбишком, собранным на возы, не смея громко-роптать, роняли молчаливые, сдержанные слезы... Среди них у Салавата было не-

мало знакомцев, и Салават не глядел им в глаза. Он знал, что его считают обманщиком. Но что он мог сделать?

Заводской атаман Голубев с кучкою заводских казаков бодрил остальных заводчан.

— Воля, знать, братцы, царская такова, — говорил он. — Тут за заводчиком жили, а там за царем поживем! — Голубев понизил голос: — А буде чего с государем неладно стряется да бояре его перемогут — и разбежимся куда глаза глянут...

— Ладно тебе, бобылю, а кто с ребятишками, тем как?! — возражали ему.

Женщины причитали, глядя на черные головни, оставшиеся от срубов жилищ, со слезами глотая сизый горячий дым:

— Ни колышка, ни дворушка, ни голого землицы клочочка!.. Где голову приклонить? От ненастья негде укрыться, от грома-молнии схорониться!..

За женщинами кричали ребята.

Собаки подняли вой.

Испуганный скот мычал, косясь на огонь налитыми кровью глазами.

Тяжелые, низкие тучи багровели в отсветах пламени.

Словно заколдованная, стояла толпа у пожара. Башкиры Айтугана много раз принимались уговаривать и отгонять людей — все было напрасно: сила, подобная той, которая держит у смертной постели близкого и родного друга до последнего мига, последнего вздоха, когда уже нет сомнения в том, что кончено все, — такая же сила держала и заводчан у пожара. Только тогда, когда рухнул последний сруб, когда искры уже перестали взлетать вьюгою в темное небо, когда почернели угли и зарево стерлось с туч, когда в рассветном тумане уж не вздымался, а низко стелился последний дым, тогда заскрипели возы по далекой дороге к чужим местам...

Окруженные войском пугачевцев, симские заводчане покинули горькую подневольную родину, чтобы в слезах искать новой, более радостной жизни...

Горящий взор Пугачева, его проникновенные речи, теплая человеческая простота пленили Салавата. Царь повторил его заветные думы о воле, и думы эти ожили, будто в сказке. Царь словом своим освобождал рабов от неволи, отворял темницы, брал крепости, изгонял чиновников. Тысячи людей во имя воли и правды сходились к нему, под его знамена. Он звал народы сражаться не за себя — царя, не за честь свою, не за славу, а ради их собственного народного блага.

В песнях славить такого царя, отдать за него жизнь в сражении Салават был готов в любой час...

Весть о том, что царь скоро придет к их кочевьям и поселениям, вдохновила Салавата. Он готовил ему достойную встречу. Посланные Салаватом друзья вернулись со свежими отрядами, и в горах Кигинского юрта раскинулся огромный табор башкирской конницы. Салават ждал, когда государь призовет его к бою.

Конные разъезды оберегали табор со всех сторон на десяток верст. На вершине горы, прикрывавшей табор со стороны Саткинского завода, куда прорвался Михельсон, были установлены две пушки для охраны горных проходов. Оставшиеся четыре пушки и заставы были поставлены также у речных переправ.

За день до этого Белобородов, по приказу Пугачева, вышел на помощь к нему в Саткинский завод. Белобородов повел с собой заводские отряды рабочих с Симского и Кавтавских заводов. Уходя, Белобородов приказал Салавату ожидать от него вестей.

И вот примчался гонец с сообщением, что государь сам идет в стан Салавата.

— Все на коней! На коней! — приказал Салават.

— На коней! — закричали сотники и подполковники.

Табор вмиг ожил.

Привыкшие в течение последних дней и ночей к стычкам и битвам, воины мгновенно вскочили в седла. Боевая тревога горела у них в сердцах. По первому слову готовы были они ринуться в бой, когда Салават приказал им выстроиться в порядке со своими знаменами и значками и объявил, что прибудет сам государь...

— Ак-падша! Белый царь! — подхватили в толпе.

— Орел летит, орлята вылетают навстречу! — сказал Салават.

И вот из-за ближнего перевала показалась толпа, возраставшая с каждым мгновением. Красное знамя развевалось над первыми рядами.

Салават почувствовал, как сердце его забилося восторженно и тревожно. Вот он увидит его в третий раз в своей жизни, и государь прикажет ему идти на врагов, ударить на Михельсона и победить его... Да, Салават был уверен, что он победит...

Оставив вместо себя Кинзю, Салават с горсткой сотников помчался навстречу царю.

Пугачев в бархатном кафтане поверх красной рубахи

сидел в рыдване, запряженном четверкой. Впереди него ехали трое всадников с красным знаменем.

Потерпевший поражение от генерала Декалонга и от Михельсона, с третьей стороны угрожаемый Фрейманом, потерявший свою артиллерию и в последнем бою сам раненный пулей, Пугачев спешил вырваться из готового сомкнуться кольца вражеских войск.

Вместо тысяч людей, окружавших его в Бердской крепости, при нем было теперь всего сотен семь народу. Его приближенные, яицкие вожаки, вырванные из привычных, знакомых мест, вдруг все приутихли. Не многие из них знали даже названия рек, крепостей, городов, лежавших на новом, невольном взятом пути...

Привыкший надеяться больше всего на казаков, Пугачев и сам несколько растерялся. Его в первый раз начал одолевать страх поражения и гибели. Между яицкими вожаками он снова заметил шушуканье и тайные, полные какого-то особого значения взгляды. За сутки было несколько случаев открытого неповиновения, грабеж придорожной башкирской кочевки, чувствовался разброд... Тогда, чтобы влить свежие силы в упавших духом людей, Пугачев вдруг возвысил голос и объявил поход на Москву...

Помогло! Он овладел оставшимися людьми, их сердца и мыслями. Слово «Москва» вдохновило их...

Говоря о походе в Москву, Пугачев сказал, что в разных местах на пути к Москве, по его указу, их поджидают готовые к бою войска. Не прошло после этого трех-четырёх часов перехода, как Пугачеву навстречу вышел его фельдмаршал Белобородов. Отряд Белобородова был потрепан в боях, но старый служака крепко держал всех в руках и по-прежнему поддерживал дисциплину. Ему случалось служить в Петербурге и в Гатчине, он видывал церемонии встреч и со всею торжественностью рапортовал о своих войсках.

К сопровождающему Пугачева отряду прибавилось полторы тысячи воинов, но это было не главное, главное — то, что воочию оправдалось царское слово: государя ждали войска. Даже верхушка трезвых яицких интриганов была смущена утвердившейся уверенностью Пугачева. А он тотчас приблизил к себе Белобородова и окружил себя белобородовскими людьми, которые оттеснили от государя кучку яицких главарей.

Творогов, который за несколько часов до того заговаривал с Коноваловым и Яковом Почиталиным о сдаче на милость Декалонгу, удивленно крутил головой.

«Вот те на! За нашей спиной его величество вон каких дел натворил: на Москву собрался и войска по пути припас! Чуть было в грех не попали... Висеть бы нам всем...» — раздумывал предатель.

Страдая от раны, Пугачев не терял самообладания, не обнаруживал признаков боли.

С перевала Кигинской дороги Белобородов указал Пугачеву в долину:

— Тут башкирцы ждут, ваше величество.

И Пугачев ничего не успел о них расспросить, когда сияющий счастьем и юностью Салават со свитой из молодых удалцов подскакал, как ветер, ему навстречу.

— Ваше величество, государь, башкирское войско тебя дожидает, три тысячи человек! — бодро выкрикнул он, радостный тем, что приготовил достойную встречу царю.

И Пугачев, напустивший перед тем на себя важность, не сумел удержать простую, приветливую и радостную улыбку.

— Здорово, полковник мой храбрый! Здравствуй, друг Салават! Доброе войско припас!

Пугачевский рыдван остановился в долине, и по знаку Кинзи все три тысячи башкирских всадников тронулись с места и красиво и стройно поскакали, выхватив сабли, скинув с плеч луки, выставив к бою пики...

Пугачев здоровался с начальниками и с народом. Отдав приказание становиться на дневку, сам Пугачев, пока для него не разбили дорожный шатер, вошел в кош Салавата.

— Ладно дело повел, батыр Салават, колотил собаку Михельсона, — говорил Пугачев, укладываясь на подушки и морщась от боли. — Ранен ты был, говорят. Ничего, брат, я сам вот ранен картечиной... Уж такое наше дело: кто смел, тот и пулю съел. — Пугачев засмеялся своей поговорке. — Как здоровье? — спросил он Салавата.

— Ничего, поправился мала-мала. Башкирская шкура толстая, не то, что твоя царская шкура. Я как волк — полизал мала-мала, здоров стал.

— Врешь, батыр, мне Афанас Иваныч сказывал, как тебя к нему привезли. Не в себе ведь был...

— Афанас Иваныч опять в Оренбурх попал? — сокрушенно спросил Салават.

— Попал, братец, и уже, верно, не уйти ему теперь, познакомится с глаголицей.

— Чего? — не понял Салават.

— На релю вздернут его... — Пугачев замолчал.

Салават сокрушенно качнул головой.

— Кончал Хлопуша.

— Кончал, верно, кончал, — подтвердил Пугачев, — а все равно им всех моих генералов не извести. И графа Чернышова изловили, и Соколова Афанасия Ивановича, да и побили кое-кого, а все хватит людей — весь народ за нас. Нас уже и в Москве ожидают, прямая нам дорога теперь на Уфу, на Казань, на Нижний. К покрову в Белокаменной будем, — хвастливо говорил Пугачев. — Тебя за хорошую службу жалуем бригадиром. Да постой, погоди, поспеешь благодарить... Дело есть тебе: забирай под свою руку всех башкирцев и тептярей, Айтугана под свою руку бери, от Биктемира-полковника остатки татар забирай да иди на Уфимскую дорогу. Слышал, там что творится?

— Чего там?

— Князь Щербатов, главный командир у недругов наших, объявление пустил к башкирцам, чтобы отстали от имени нашего, а не то, чтобы казни ждали... Теперь под Уфой, под Оренбургом, под Стерлитамаком и Бирском возмущение идет среди верных наших башкир: на милость щербатовскую сдаются, испугались грозы от князьев.

— Изменщиков бить будем! — с жаром подхватил Салават.

— Погоди, бригадир, бить. Не бить надо, ты поезжай к ним да словом добрым думы их назад оберни... Не пристало мне, государю, обманутых врагами нашими людей так с маху губить, — остановил Пугачев порыв Салавата.

— Я коран знаю. Пророк говорил такое слово: «Когда тебя три раза обманул супостат, ухо свое пальцем заткни на его доброе слово — аллах так велит...»

— Ну, вот так и скажи им, чтобы уши затыкали. Коли сызнава их подынешь, не дашь им к злодеям пристать, генералом станешь.

— Латна, стараться будем.

— Да еще от нашего царского имени скажи, чтобы башкирцы надежны были: с ваших земель всех русских сведу. Вольно живите на всем просторе.

— Латна, судар-государ, письмо нам давай, — сказал Салават.

— Нынче письма напишут.

В это время за Пугачевым пришел «дежурный» Давилин, сообщил, что шатер расставлен, и, тяжело опираясь на руку казака, Пугачев удалился к себе.

Салават остался один. Смятение охватило его. Он услышал от самого Пугачева то, что с торжеством передавали ему Аллагуват и Айтуган, — сам Пугачев указал жечь заводы, селения и изгонять русских... Салават с боязнью

взглянул в свое сердце и встретился взглядом со смелым взором убитого Абдрахмана. Он был там как в крепости — в сердце певца, друга и убийцы, спасенного им же от смерти. И не было сил отвести от него взор, и вырвать его можно было лишь вместе с сердцем...

Он глядел с укоризной.

«Твой царь говорит — жечь русские села и изгонять русских, — кричал его взгляд. — Русский царь говорит, что так поступать справедливо, а ты... Ты пролил мою кровь, чтобы царь ее растоптал...»

Его укоры были невыносимы для Салавата, и из отчаянного безотчетного стремления освободиться от муки раскаяния и возвратиться к обычному легкому ощущению жизни мысль Салавата стала напряженно искать скрытую правду, руководящую самозванцем.

Отвлечшись с усилием от назойливого образа Абдрахмана, Салават представил себе вторично весь разговор с царем. Его движения, взгляд, весь его облик кричал о неблагополучии: со времени встречи в Берде на лбу Пугачева глубже легли морщины, блеск в его глазах стал тревожней; несмотря на хвастливый тон всех его речей, в нем была неуверенность. Это был словно другой человек.

Салават понял, что царь был ранен не только картечью: так же, как шуткой и смехом старался он скрыть боль и страдания от картечной раны, так за бахвальством в речах пытался укрыть одолевающие его сомнения в своих силах.

«Ай, плохо ему!.. — подумал, поняв, Салават. — А не хочет признаться, что так плохо. Хочет один нести на своих плечах. Широкие плечи, сильные плечи, таким бы плечам да крылья!.. Отчего слабнут его крылья? От измены... И кто же изменник? Башкиры?...»

Прилившая кровь обожгла уши и щеки Салавата. Он вспомнил, как в первой беседе с царем обещал ему верность башкир, говоря, что среди них не бывает изменников, хвалясь бесстрашием и бескорыстием своего народа.

Измена родила измену. От их измены царь изменил себе...

Салават, видевший, как изгоняли русских с Симского завода, не мог не понять, что попытка согнать с земли, разрушить и сжечь села и распалить вражду между русскими и башкирами угодит только их врагам.

Нет, не подкуп несбыточным и бесчестным посулом, вырванным у царя, когда ему было так плохо, — есть другой путь к сердцам отставших от бунта башкир: надо возвысить их души презрением к измене и трусости, опалить

их щеки стыдом за малодушие и увлечь за собой песней, напомнив им святые слова пророка.

Салават заглянул в свое сердце. Абдрахман опустил взор. Нет, он был там, он должен был там остаться, но больше он не корил ничем... Салават встал, вынул из шкапулки, захваченной в доме красноуфимского воеводы, курай, сел снова на подушку, поднес уже к губам курай, но снова опустил руку — он был взволнован так, что чужая музыка не могла его успокоить. Нужна была не песня без слов, а настоящая, своя, живая песня.

Он запел:

Так говорил пророк,
Слушайте, так говорил:
— Трижды обманувшего тебя
Не слушай врага.
В час, когда милость предложит,
Отвергни гордо...
Пусть меч его острием проникнет
К горлу, панцирем не закрытому.
Не слушай врага, дарующего милость,
Даже тогда не слушай,
Когда дар его равен жизни...

К вечеру Белобородов сказал Салавату, что приказ о выступлении не может быть отдан, пока не известно, с какой стороны стоят вражеские войска. Нужно было разведать врага, но не просто разведать, как делалось это высылкой разезда в десяток всадников. Враг был со всех сторон. Ограничиться перестрелкой разезда — это значило ничего не узнать. Нет, нужно было ввязаться в серьезный бой и в смертельной схватке заставить врага точно раскрыть, где находятся его главные силы. Надо было отправить в разведку человек пятьсот с опытным командиром.

И Салават решил сам выйти в эту разведку.

Он переправился через Ай и пустился на ближайшую переправу через Юрузень, держа путь к родному селению, как вдруг перед самым рассветом из горной лощины ринулись на него в атаку гусары. Всадники сшиблись в рубке.

Как барсы, бесстрашно рвались в бой башкиры. В огнестрельном бою у гусар был перевес над башкирами, но в рукопашной схватке отборный алай Салавата не уступал им. Рубка саблями, стремительные удары пик, наносимые насмерть с конского разбега, поражали гусар.

Молодой капитан Карташевский, командовавший авангардом Михельсона, был выслан за тем же, за чем Салават: его задачей было обнаружить сосредоточение глав-

ных сил Пугачева. И Салават старался изобразить, что он-то и есть эта самая «главная» сила.

Сломленные башкирами в рукопашной схватке, гусары начали отступать.

В их смятых и поредевших рядах раздалась ружейная пальба. Запоздало ударили барабаны и заиграла труба...

Салават понял, что выстрелы, как и весь этот шум, направлены не к обороне, а чтобы подать весть своим о том, что отряд погибает. Это был зов о помощи к самому Михельсону. Отступать, оставить врага недобитым? А вдруг обман? Вдруг поблизости и нет никого, кто может прийти к ним на помощь?.. И снова призвал Салават своих воинов к схватке. Не выпускать врага, не дать ему отойти, чтобы он не имел перевеса в огненном бое, — добить в рукопашном бою.

Под новым натиском Салавата гусары кинулись уходить по ложине. Башкиры пустились за ними в угон, как вдруг с высоты небольшого увала затрещали ружейные выстрелы. Наперерез Салавату бежала пехота — это на помощь погибавшему авангарду подоспел Михельсон.

Башкиры узнали его силуэт, во мгле рассвета обрисовавшийся на вершине холма.

Его имя пролетело среди башкир, и самое имя его уже заставило дрогнуть сердца...

Салават его тоже узнал. Отборные лучники, собранные Салаватом в особый отряд, остановились и выпустили полсотни стрел в направлении смелого всадника.

Все видали, как он не спеша повернул своего коня и, спокойно съехав с пригорка, скрылся в кустах...

Грохотнула пушка с той стороны, где все видели Михельсона.

Салават понимал, что опасность растет с каждым мгновением, и, не поворачивая назад, словно продолжая преследование уходящих гусар, он повел свой отряд в ложину, чтобы скрыться меж гор, уйти по долинам ручьев и речушек, сбить со следа врага... Главная задача была исполнена Салаватом: он знал теперь, где находится Михельсон и с какой стороны ожидать наступления на Киш.

Хозяева гор, знавшие с детства каждый ручей и тропу, башкиры сбили врага со своих следов. Михельсон потерял Салавата из виду на несколько долгих, важных для Пугачева часов...

В шатре Пугачева сошелся военный совет. Кроме военной коллегии, были тут Белобородов и Салават.

Уроженец Кунгурского уезда, знавший Урал, изъездивший дороги и тропы его как купец и как воин, Белоборо-

дов чертил на белой кошме углем, взятым из костра, карту Урала: крепости, реки, ущелья, заводы...

Атаманы военной коллегии, сам Пугачев, Салават и Белобородов смотрели на карту. Путь на Казань, а оттуда — на Нижний и на Москву мог идти через Уфу, но тут на пути стоял Михельсон, а за ним надвигался Фрейман. Этот путь мог также лежать вверх по Аю, на Красноуфимск и Осу, но с востока грозил генерал Декалонг, который ударил бы непременно во фланг. В Екатеринбурге и Кунгуре, кроме того, стояли большие команды, которые могли нанести оттуда смертельный удар.

И военный совет разработал блестящий план.

Белобородов движется с войском на Нязе-Петровский завод, прикрывая главные силы от нападения Декалонга с востока; при этом он разглашает повсюду, что с ним идет сам государь.

Салават выступает к Уфе, прикрывая царя от удара со стороны Михельсона, но тоже всем говорит, что царь идет с ним на Уфу.

Юлай останется на месте в горах, занимая ущелья, переправы рек и горные перевалы, тревожа врагов и делая вид, что главные силы сосредоточены где-то в горах, в районе заводов, где и засел Пугачев.

А в это время, хранимый со всех сторон, сам Пугачев без боя по Аю выходит за Красноуфимск и осаждаёт Осу, чтобы овладеть переправой через Каму.

Так строился план, но они не успели закончить обсуждение этого плана, когда Михельсон ударил на лагерь.

Здесь было довольно сил для сопротивления врагу. Впустив Михельсона в середину собравшихся войск, можно было бы тут задавить его просто массой. Но это могло означать что на выручку Михельсону подоспеют Фрейман и Декалонг, а главной своей задачей Пугачев считал поход на Москву.

И хотя пугачевские командиры не успели еще до конца обо всем сговориться, — вступив с Михельсоном в бой, Салават твердо помнил о том, что путь его должен лежать на Уфу.

Главный натиск гусар угодил как-то так, что их эскадрон ворвался в лесок, где стоял перед тем шатер Пугачева.

Салават увидел это вовремя и сам с двумя сотнями воинов ринулся царю на подмогу. Сабля его сломалась в бою от удара по ружейному стволу, и Салават выхватил из-за седла сукмар, под губительной тяжестью которого

падали с ног не только гусары, но даже кони валились с разбитыми черепами и сломанными хребтами...

Михельсон наседал, видимо, считая, что самое основное сейчас — отрезать дорогу к Уфе. Ночной бой с Салаватом он принял за попытку всей армии Пугачева прорваться на Уфу. Он расставил так свои силы, что преградил все пути на юг и на запад. Натиск его был стремителен и горяч. Под первыми ударами Михельсона башкиры слегка потеснились.

Когда Пугачев увидал, что Михельсон теснит его войско, — преодолевая страдания, причиняемые ему раной, он потребовал дать коня, чтобы сесть в седло и самому скакать в битву.

— Куда ты, надежа! Тебе уходить, а не голову подставлять. Ведь ранен ты, и рука у тебя не крепка! — взмолился Овчинников.

— Убей меня тут, а не дам я тебе коня, не пущу тебя в схватку, — вмешался Давилин. — Сколь душ загубили, а тут тебя даром отдать Михельсону...

Давилин осекся и замолчал. Всего лишь сутки назад яицкие главари снова сами думали о выдаче Пугачева властям, но тогда бы они этим предательством спасли свои головы, а сейчас получилось бы так, что сам Михельсон захватил его силой и предатели не могли ничего получить для себя от его гибели.

К спорящим подбежал Почиталин-отец.

— Скачи вверх по Аю живею, государь. Мы догоним! — выкрикнул он. — Якимка, что смотришь?! Садись на козлы, гони! Овчинников, плохи дела, помогай... Конь убит у меня, сатана!..

— Бери моего, а я тут, — отозвался Давилин, уже вскочив на козлы рыдвана, в котором сидел Пугачев.

— Пустите, разбойники, черти! Али я не казак?! Сами не справитесь и меня не пускаете, как мальчишку!.. — в гневе зыкнул на них Пугачев, пытаясь вылезти из рыдвана.

— Держи его! — приказал подскакавший к ним Коновалов и грубо толкнул Пугачева назад. — Сиди смирно! Рехнулся ты, царь, так и свяжем!..

Давилин хлестнул коней, они дружно рванули с места рыдван, но Пугачев схватил здоровой рукой за вожжи и осадил четверку.

В этот миг подскакал Салават, оттянувший отряд Михельсона, который ворвался в лесок.

— Государь, уезжай! Без тебя постоим... Береги свою голову, государь! — жарко сказал Салават.

И Пугачев сдался на уговоры. Махнул рукой и позволил себя увести.

Яицкие казаки и заводской люд пустились за ним, за ними потянулся обоз...

Продолжалась битва, но теперь она приняла другой оборот.

Белобородов, Юлай и Салават преградили путь Михельсону. Они закрепились на гребнях высот, и гусары никак не могли прорваться, отражаемые ружейной пальбой, сотнями стрел и ударами нескольких пушек

С той минуты, как Пугачев прощально махнул рукой, Салават считал, что самое главное — выиграть время, выстоять здесь на месте, пока государь успеет уйти подальше.

Салават был свидетелем спора яицких главарей с Пугачевым, его отвага и нетерпение во время боя еще больше внушили Салавату любовь и уважение к этому человеку. Пугачев не жалел себя, не спешил отступить; измученный раной, он рвался в битву, когда его уговаривали спастись. Нет, такой царь не изменит народу. Когда придет в Петербург, он вспомнит эти бои на Урале, вспомнит башкирских всадников и своего полковника Салавата.

Отходя, Пугачев покинул три пушки, и Салават поделил их, отправив одну Белобородову и одну Юлаю.

Объезжая свой стан, Салават услышал в кустах какой-то отчаянный стон. Он подумал, что это раненый, и направил туда своего коня.

Перед ним открылось печальное зрелище: одинокая женщина, в растрепанном платье, босая, с выбившимися из-под платка волосами, отчаянно тянула под уздцы запряженную в тележку лошадь.

Тучи слепней облепили обеих. Лошадь дергала головой, силилась переступить с ноги на ногу, но, шатаясь, хрипела и не могла сдвинуть повозку, груженную легким скарбишком. Салават увидел, что из-под хомута по груди и ноге лошади непрерывно сочится кровь...

— Эй, сестричка, лошадь твоя помират ведь. Куды ее тащишь?.. Отколь ты взялась? — окликнул женщину Салават.

— От казаков отбилась... Обоз-то ушел! Куды мне... — Она оглянулась и замолчала, в удивлении уставившись на Салавата. Он тоже узнал ее — дочь табынского кузнеца Оксану.

— Ксанка! Ты?.. Здравствуй, Ксанка!.. — Он спрыгнул с седла и шагнул к ней.

Она тоже рванулась к нему, но вдруг опомнилась и отшатнулась...

— Погубитель ты мой! Уйди, окаянный! Уйди!! — закричала она.

— Зачем «погубитель», Оксанка? — недоумевая, спросил Салават. И вдруг понял сам. Он увидел большой живот этой женщины. Ей скоро пора родить, а она тут одна в лесу со своим добришком на раненой лошади, а у нее его сын — сын Салавата... — Оксанка, сын будет! — воскликнул он радостно, забыв, что вокруг кипит бой, что враг может прорваться в любое мгновение, что он сам должен быть со своими воинами, а не в лесу разговаривать с женщиной. — Как ты одна?..

— Уйди говорю! Как одна, так одна! А тебе что за дело!..

— Оксанка, ты сына родишь. Мой сын! Ему как без тятки?..

— Как рожу, так вскормлю. Без тебя обойдусь! — со злыми слезами выдавила она через силу. — Лошадь найди мне другую — вот то для тебя забота!

Лошадь найти было не сложное дело. В лесу их бродило много. Салават по натертой холке узнал ходившую ранее в хомуте, изловил.

— Тебе за царем не поспеть, — сказал Салават, запрягая ей лошадь. — Куды ж ты поедешь?

— А куды же теперь? Батюшка бог весть ведь где... Может, к нему доберусь... А куды же мне деться? Куды война — туды я... Москву воевать, сыну отца на Москве поискать...

— Зачем на Москве искать! Вот ведь я! Поезжай домой, живи дома, приеду к тебе... Твой тятка тоже домой приедет, а так ведь война вон какая большая. Потеряешься — где искать будем?! — с искренней тоскою сказал Салават.

— Искать?! — недоверчиво переспросила она. — Аль ты станешь искать? На войне вон сколь баб-то да девок...

— Такой другой нету! — сказал Салават. — Одна ты такая...

— Какая — такая? — она улыбнулась сквозь горечь и слезы.

Улыбка вдруг осветила ее лицо. И вся она: и большой торчащий живот ее, и растрепанные волосы, и припухшие от слез веки — все показалось ему удивительно милым и близким.

— Полковник! Полковник! — крикнули в это время в лесу, и где-то недалеко затрещали выстрелы.

Салават опомнился.

— Тут меня жди! — сказал он Оксане, только успел махнуть ей рукой, вскочил на седло и умчался, оставив ее позади.

Это была одна из бесплодных попыток гусар небольшим отрядом прорваться в тыл пугачевцев. Наткнувшись на сильный отпор со стороны башкир, они отступали к речке, оставив убитым лишь одного из своих товарищей.

Когда полчаса спустя Салават возвратился туда, где встретил Оксану, он увидел там только павшую лошадь. Во множестве разных следов, оставленных по лесу в этот день, нельзя было понять, в какую же сторону все-таки решилась поехать дочь кузнеца.

Топкая лощина, которую не могли перейти михельсоновские гусары, послужила прикрытием Салавату. Оставшаяся единственная пушка палила без устали с возвышения, скрытого за кустами, и ей удалось сбить одну из михельсоновских пушек.

Спускались сумерки. Салават знал, что, пользуясь темнотой, Михельсон поведет переправу через болото. Он слышал уже, что в несколько топоров солдаты рубят невдалеке деревья, чтобы мостить топь. Столкнуться вплотную с гусарами он не хотел. Эта была бы верная гибель...

Удостоверясь, что позади никого не осталось, что Пугачев с остатками войск отошел, Салават выехал на вершину холма, где стояла пушка.

— Пороху нет, — сказал пушкарь, — больше палить нечем.

Салават с пригорка за лощиной увидел всадника, который отдавал приказания мостить топь...

«Иван Иваныч!» — мелькнуло в уме Салавата.

Снять Михельсона и тем устранить самого смелого и неустанного из врагов...

Но из ружья его не достать отсюда, а пушка как раз безнадежно умолкла.

Тогда Салават вспомнил лук Ш'гали-Ш'кмана. Он выдернул из колчана стрелу.

Зловещий свист пронзил воздух. Конь Михельсона взвился на дыбы и помчался, неся всадника...

Салават не видел и не мог понять, свалил ли он Михельсона.

Среди гусар воцарилось смятение.

— Отход! — скомандовал Салават.

И он стал отводить свой отряд, но по той дороге, по которой было намечено Пугачевым.

Несколько смелых солдат пустились за ним через топь, но кони их начали вязнуть, и они возвратились.

Салават скрылся в горах.

Это был решительный момент: после поражения под Саткой Пугачев вместо похода на Уфу ушел на север, к Красноуфимской крепости. Против Михельсона остался Юлай, успевший сжечь Усть-Катавский завод и твердышовскую деревню Орловку, построенную заводчиком на его, Юлаевой, земле.

Салават пустился как будто к Уфе, но он шел вдоль Юрузени крутыми горными тропами, и Михельсон не решился его преследовать, не зная количества отступающих войск и боясь ловушки в горах, где-нибудь в темном ущелье.

Салават по дороге свернул под Бирск, где стояли посланные для набора людей Аладин и Бахтияр.

С Салаватом ушло после битвы под Саткой всего чetyреста человек. У Аладина и Бахтияра — тоже по двести. С восемьюстами Салават приступил к Бирской крепости.

Кинзя с большим отрядом, человек в восемьсот, дождался недалеко от Бирска прибытия бригадира. Здесь же дожидались Аллагуват и Айтуган.

Отряд, пришедший с заводов, был вооружен лучше: кроме оружия, изготовленного на заводах, почти все имели латы из заводской жести, надетые поверх обычного платья. Не задумываясь об их крепости, но чувствуя на себе железо, башкиры стали храбрее, чем были. Слова Салавата о том, что он хочет атаковать крепость, ими были встречены с радостью. Они слышали о прежних успехах Салавата и теперь легко решились на новое боевое дело.

В ночной темноте по лугам и по полям ползли они без единого слова к стенам крепости. Луна была за облаками, и ночь скрывала их. Уже оставалось около сотни шагов, когда внезапный ветер растрепал кудель облаков и луна осветила огромное пятно отряда во ржи. Тотчас же в городе зазвонил набат, ударили пушки, и страшным визгом взвыла картежная вьюга, унеся больше десятка жизней. Пугачевцы побежали вперед, но едва успели пробежать половину пути, как новый бешеный ветер с порохом гулом принес новые снопы горячего губительного

свинца и от крепости отделились драгуны, пачками выстрелов грянувшие в лицо наступавшим.

Пришлось отступить.

Люди и кони отдыхали весь конец ночи. К утру возвратились посланные в крепость с подметными листами — манифестами: башкиры сообщали, что воевода не хочет сдать крепость.

В полдень выпавшиеся и отдохнувшие пугачевцы опять повели приступ. На этот раз впереди всех был Айтуган. Ему удалось уже завладеть одной из башен и частью стен. Уже прошел он через первый бастион, когда внезапно провалился мосток, перекинутый через ров, и его лошадь попала ногами в горячую смолу. Она выскочила, одуревшая от боли, но с десятков быстро мчавшихся за Айтуганом коней попали в ту же ловушку; они взвихрились, били задом, мчались назад и падали. Драгуны воспользовались смятением и сыпали залпами почти в упор. Столпившиеся горожане закидывали булыжниками коней. Кто-то крикнул: «Айтуган убит!» И в то же мгновение под Айтуганом свалилась лошадь, и он упал на землю. Отряд его пустился в бегство. Айтуган встал, оглянулся — к нему направлялись драгуны. Под градом выстрелов догнал он одного из своих воинов и вскочил сзади на круп лошади.

Так не удался второй приступ.

В третий опять повел Салават, тотчас, как только солнце склонилось к западу.

Огромные копны сена положили на телеги и за оглобли пятили их. Таким способом штурмующие под прикрытием возов двигались к крепостным стенам. От воза к возу переезжал Салават. Двадцать четыре таких воза двигались по полю. Три картечных залпа прогрохотали бесплодно, возы ударились в стены, и пламя вдруг охватило сено. Башкиры упали ниц на землю, а с пригорка, который был сзади них, по крепостным стенам, по гарнизону и жителям, выскочившим на стену тушить пламя, грянули картечью две пушки повстанцев. Со стен с отчаянным криком упало в огонь несколько человек гарнизонных драгун и горожан. Их крик заглушил второй выстрел, и снова несколько человек повалилось в пламя. Тогда башкиры вскочили на ноги и ринулись на горящие стены.

В ветре и огне они ворвались в город и здесь бушевали по улицам, мстя за упорство горожан. Это было недолго. Только небольшая кучка сопротивлялась, большинство же жителей быстро попрыгали по домам.

Здесь захватил Салават и пушки, и канониров.

Жители были довольны, что, разрушая их военный оплот — крепость, воины не тронули самого города, частных домов и церкви.

В церкви служили молебен. Многие из жителей вошли и молились «о здравии государя».

— Жалую вас бородой и крестом, хлебом и солью, водами и землями, и лесами, и рублями, и вольной волей, и всех вас жалую добром супостатов-помещиков и бояр; головы им рубите, вешайте, не щадя, будь то воевода или поп, капитан или полковник, если вам, слугам моим, противность окажут. Еще жалую...— громко читал на площади бородатый казак с глазами острыми, как стрелы.

Народ кричал «ура».

Михельсон так и не понял, по какой дороге ушел от него Пугачев. Разведка со всех сторон приносила ему разноречивые сведения о местопребывании самозванца. Прикинув в уме, Михельсон решил, что вернее всего ожидать прибытия пугачевских сил под Уфу. Когда они скончатся там, то возле Уфы и решил Михельсон дать им большое сражение и со своими командами поспешно двинулся под Уфу, чтобы опередить пугачевцев. Он подошел к Уфе и с радостью убедился в том, что повстанцев под крепостью еще нет. Совместно с гарнизоном Уфы Михельсон приготовился к отпору повстанцам. Они не шли. Он выслал разъезды по всем дорогам, но разведка нигде не нашла и признака крупных сил. Пугачевская армия словно растаяла.

Михельсон растерялся.

А в это время Белобородов, собрав людей с Низе-Петровского и Саткинских заводов, явился вдруг на реке Сылве, направляясь на соединение с Пугачевым к Осе. Из Кунгура вышла ему навстречу войсковая команда, но смелым ударом Белобородов загнал ее обратно в Кунгурскую крепость и подошел под Осу, где уже находился Пугачев.

Салават получил в Бирской крепости приказ Пугачева также идти под Осу.

Через день молодой бригадир нагонял Пугачева. Опытенный успехом, он ехал впереди пятитысячной толпы, вопреки приказам пограбившей жителей и жаждавшей новых битв и новой поживы.

За это время сам Пугачев захватил заводы Шермягинский и Усинский с медными рудниками. Рабочие присоединились к повстанцам. Русские и башкиры из окружающих сел тоже встречали Пугачева как избавителя от бар-

ских и чиновничьих поборов. Пугачев недаром избрал эту дорогу. Меньше всего его ждали здесь. Здесь совсем не было войск, и все население выходило к нему с хлебом-солью. Пугачев захватил Красногорскую крепость.

Единственной опорой правительства в этом краю оставалась крепость Оса.

Пугачев и Белобородов уже готовились к приступу, когда прибыл к ним на подмогу Салават с пятью пушками, пятью тысячами повстанцев.

— Быть тебе, бригадир, генералом, — сказал Пугачев, здороваясь с Салаватом. — Смотри, до Казани дойдешь — и станешь.

К вечеру Пугачев приказал пачать штурм Осы.

Крепость состояла из деревянного замка с башнями, окруженного стенами с навесами и бойницами. Несколько перебежчиков сообщили, что в гарнизоне крепости тысяча человек с лишним да двадцать пушек.

Пугачев повел наступление разом со всех сторон. Осажденные горожане первый натиск встретили картечью — это было в обычае. Рассеянные повстанцы ринулись дальше, оставив позади убитых и раненых. Из бойниц в стенах застрекотали выстрелы, безумолчные, назойливые и верные; несмотря на них, толпы пугачевцев докатились, как шквал, до стен. Сверху по навесам на них черным ливнем хлынула горячая смола. Она попадала на лица, на руки, на головы, текла по бородам, промасливая одежду, струилась по спинам, заливалась за кольчуги, жгла, палила, а когда обваренные падали, из бойниц верными, неспешными выстрелами их добивали на земле; когда они бежали, их догоняли редкие стремительные взвизги картечи.

Салават разъезжал под самой стеной. Пули гудели вокруг него, но, ударяясь в кольчугу, в ней застревали. На голове его под шапкой вместо тюбетейки был железный шлем, и пробившие шапку пули, ударяя в шлем его, обесиленные железом, тоже не приносили вреда.

Салават сам руководил битвой, собирал расстроенные отряды и вновь их направлял на стены крепости. Он сам доводил их до самых стен и вновь под ливнем смолы и под грохотом рушащихся сверху бревен спешил туда, где больше обессилевали воины. Крик его, пронзительный и воинственный, покрывал самый гул выстрелов и бодрил нападавших.

— Вперед! — кричал он, скача вместе с убежавшими. — Стой, стой! Куда? Становись!

Построив отряд, он торопился к другой расстроенной и отбитой кучке людей.

Выстрелы осажденных выхватывали в это время из первой толпы несколько человек, толпа шарахалась назад. Тогда Салават вновь скакал к ней, соединял две-три растерянные сотни и возобновлял приступ, Айтуган был тут же, и вдруг дрогнул его алай и побежал. Салават пытался преградить путь этим десяткам бегущих людей. Айтуган схватил за узду его жеребца и повлек за собой. Салават нагайкой хлестнул по лицу Айтугана. Айтуган выпустил поводья. Салават еще раз ударил его вдоль спины.

— Собирай свой алай! — громко приказал Салават, выхватывая из-за пояса пистолет.

Айтуган тоже схватился за пистолет, но сукмар Кинзи обрушился ему на спину, и Айтуган упал.

Салават бросился вдогонку отряду Айтугана, но в то же время почувствовал боль в ноге.

— «Ранен», — мелькнула мысль, однако он перегнал бегущих и стал удерживать их.

Было поздно. Измученные воины отступали со всех сторон. Салават махнул рукой и медленно под выстрелами поехал прочь.

Восначальники съехались вместе. Пугачев созвал их на совещание. Здесь были казаки и татары, башкиры и тептяри.

— Ранен ты, бригадир? — с сочувствием спросил Пугачев. — Это худо. Славно ты действовал, а ведь надо сизнова штурмовать.

— Ничего, гуляем еще, — бодрясь, ответил Салават. Он был уверен, что рана в ноге была получена им не от картечи врага, а от пули Аллагувата или одного из его друзей, но доказать это было никак нельзя, и он не сказал об этом Пугачеву.

— Государь, позволь словечко сказать, — обратился к Пугачеву Аллагуват.

— Говори, — разрешил тот.

Пугачев сидел верхом. Впервые после долгого перерыва он сел в седло.

Он откинулся назад, как бы развалиясь в кресле, давая разрешение говорить.

— Салават-бригадир пулковника Айтугана кончал... Чего за то ему будет?

— За что кончал? Как кончал? — с угрозой спросил Пугачев.

— За то, что сам улег и других увел, а когда я его держать хотел, он мою лошадь таскал под уздцы от крепос-

ти, — пояснил Салават, умолчав о том, что не он, а Кинзя свалил из седла Айтугана.

— Потом разберем, — заявил Пугачев. — сейчас надо про дело думать, а не пустяками заниматься. Он что, помер, ваш Айтуганка-то?

— Мала-мала жива, — сказал Аллагуват.

— Ну, пускай мала-мала живет да поджидает. Коли не помрет — там посмотрим: может, Салавата накажем, а может, и Айтугана-полковника вздернем на релю.

Пугачев приказал готовиться к новому штурму.

Выстрелы в крепости прекратились Осажденные, видимо, спохватились, что надо беречь порох.

Пугачевцы решили, по совету Белородова, применить тот способ, которым одолел Салават Бирскую крепость, — поджечь стены сеном. За сеном отправились в соседние деревни. С десяток первых возов прибыли в лагерь, когда в крепости зазвонили церковные колокола.

— Богу молятся, — заметил один из казаков.

— Супротив нашего не вымолят, — ответил другой. — Они только нашему, а у нас — и нашему, и татарскому, и черемисскому — всяким.

— Ужотко по-другому взмолятся, — поддержали из толпы заводских рабочих.

— Будет им печка, пузырями закипят, — подхватили заводчане, — только шлак поплывет.

Ворота крепости растворились.

— Вылазка! — крикнули пугачевцы.

Все всколыхнулись. Но это была не вылазка: жители, солдаты и офицеры вышли без оружия и выкинули белый флаг. Крепость пала.

Группа офицеров выехала вперед просить «государя» о милосердии. Пугачев, сидя на лошади, принял ключи от крепости и с сильным отрядом казаков въехал в ворота.

На площади принимали присягу солдаты и обыватели. Пугачев решил всех помиловать, но в то время, как народ приводили к присяге, из-под Бирска прискакал отряд Салаватовых башкир, выставленных для несения полевой охраны и разведки о войсках, — ими была перехвачена оренбургская почта. В числе других тут было известие о том, что неделю назад повешен в Оренбурге беглый колодник Афанасий Иванов Соколов, по прозвищу Хлопуша.

— Государь-царь, Хлопушу в Оренбурхе казнили, — горестно сказал Салават.

В эту минуту Пугачев разговаривал с осинским воеводой. Он вдруг нахмурился.

— Казнить и его, когда так, — указал Пугачев на воеводу. И не прошло минуты, как воевода повис на площадной «глаголице».

Из Осы Пугачев выслал своих атаманов в Закамье.

Широкий простор России лежал на его пути, и что ни день приезжали оттуда люди с вестями о том, что крестьянская Русь в нетерпении ждет своего государя.

Весть о том, что Михельсон от Уфы идет к Бирску, привезли башкирские дозоры. Салават отрядил часть своих воинов на Бирск для заслона дорог. Пугачев поспешил перейти Каму и выйти по направлению к Казани.

Салават оставался в Башкирии.

— Держи переправы. Не допускать Михельсона ударить в тыл государю, — сказал на прощание Салавату Белобородов.

— Главным начальником нашего войска будешь в башкирской земле, бригадир Салават, — сказал ему Пугачев. — Взял бы тебя с собой, да на кого нам башкирцев покинуть? Кто лучше тебя сбережет Урал?

— Иди, государь, Москву, Питербурх забирай. Я останусь. До самой смерти стоять за тебя буду. Башкирское войско с тобой поведет Кинзя. Кинзя — человек верный, измены не знает. Он мой самый лучший друг. Тебе его отдаю, государь. Не обидь его.

Но Кинзя уперся, когда получил приказ собираться в поход. Он, как медведь, навалился на Салавата:

— Значит, нашему войску идти на Москву, а дома бросить тут на поток и пожары?! Значит, тут все пусть прахом идет?! Пусть солдаты грабят наши деревни, сожгут дома, пусть убивают наших детей, насилуют женщин, сестер... Бригадир Салават хочет жить в Питербурхе с царем во дворце?!

— Постой, не кричи, — остановил Салават. — Бригадир Салават останется на Урале с башкирским народом. Башкирское войско ведет с государем господин полковник Кинзя.

— Я?!

— Да-да, ты, полковник! Ты поведешь с государем башкир. Ты вместо меня будешь всегда с государем. Храни его от беды и измены. Как только заметишь измену — не жди ничего, бей с плеча... Коновалки да старика Почиталина, да Творогова во всем опасайся. Возьмешь три тысячи воинов...

— А ты, Салават?! С кем же останешься ты? Один?

— Я — Салават. Я не могу быть один. Со мной всегда песня. Мое имя летит на крыльях народной славы. Оставь со мной сотню людей — она станет сотнею тысяч. Люди бегут из деревень и сел, куда приходят солдаты. Собрать этих людей — вот что остается... Если уйду я, кто сделает это?

— Я иду с царем, — со вздохом сказал Кинзя, подчиняясь приказу друга.

— Смотри, ему нужны верные люди. Казаки ненадежны. Ты видел в Берде — они друзья до первой измены... — сказал на прощание Салават.

И Кинзя ушел с Пугачевым на правобережье Камы. Аллагуват и Биктимир ушли с ним. Три сотни башкирских воинов остались при раненом Салавате и, уходя обратно в Башкирию, сожгли Осинскую крепость.

Салават выбрал пяток самых верных — трех башкир и двух черемисов. Оставшись один в глухой лесной чаще, где для него поставили кош, он послал гонца, чтобы привести сторожевой отряд с Уфимской дороги от Бирска, а сам стал разъезжать по деревням, собирая оставших от Пугачева.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Радостные вести текли из-за Камы.

Вырвавшись на закамский простор, Пугачев снова вздохнул во всю полноту груди. Здесь его ждали. Слухи о нем доходили сюда почти целый год. Сюда богомольные странники и нарочные посланцы доносили его письма, в которых он звал восстать против помещиков и хозяев. Иные бежали отсюда к нему и теперь возвращались с ним вместе...

Села, деревни, заводы — все шло к нему с покорными головами, неся рогатины, косы и топоры.

Усилившись артиллерией в крепостях и заводах, Пугачев позабыл о Михельсоне. Повелительный голос его снова окреп, казачья шапка со лба возвратилась опять на затылок, морщины сошли со лба, и прежний уверенный блеск вернулся глазам.

Он не шел, а летел на Казань, город, не знавший войны со времени Грозного.

Перед ним пала Казань, он перешел Волгу, занял Курмыш, Алатырь, Саранск, Пензу.

Чуждые для башкир имена не говорили ничего о направлении похода: Пенза, Петровск, Саратов... Значит, остались еще Москва, Питербурх...

Он шел прекрасно, словно «Железный хромец» или Искандер!.. Салавату представлялось стотысячное войско царя, шум знамен и сам царь с горящим взором на копе впереди своего войска, а с ним рядом друг Салавата полковник Кинзя...

К середине августа при Салавате уже было около пяти тысяч разноплеменной вольницы. Он являлся повсюду, где его не ожидали. Больше всего в тех местах, где жители приходили в покорность правительству. Там напа-

дал он на богачей, там убивал новых старшин, сотников, мулл и писарей и увлекал за собою простой народ.

Салават понимал, что тогда удержится, когда все будут вместе дружины, а если село за селом станет приходить в спокойствие, то погибнет восстание и ненужной окажется пролитая реками кровь.

В горах Урала встретился Салават с отцом.

— Изменил нам твой царь, Салават. Бросил одних башкир на расправу, а сам убежал ведь, значит! — сказал Юлай.

— Что говоришь, господин полковник! — одернул отца Салават. — Как так — царь изменил? Не в Шиганайке ему поселиться! Царь — ведь царь!.. Он в Москву — Питербух поехал! Его царское дело. А мне указал быть главным начальником всего башкирского войска.

— Ведь как сказать — главный начальник! Ведь главный начальник тот, кого слушают все. А нас-то уж скоро и слушать никто не будет! — возразил Юлай. — Старшины юртами народ в покорность царице приводят. Им ярлыки дают, чтоб отстали от нас, их дома огнем не горят, их богатства никто не грабит!.. Я сам тоже думаю, сын... — осторожно сказал Юлай и замолк.

— Что же ты замолчал, атай? — поощрил его Салават. — Ты думаешь об измене царю? Ты хочешь тоже людей привести в покорность? Иди! Ты воевал заводы, ты сжег деревни, ты воевал с Михельсоном. Иди — тебя за ребро повесят, а я буду кричать народу: «Смотрите, вот доля трусов! Вот позорная доля изменников! Кто не хочет такого конца, тот будет стоять с оружием за свободу!» Иди, покоряйся, атай!..

— Экий ведь, право, ты малый какой горячий! — покачал головою Юлай. — Ведь я не сказал, что пойду с изменой. Я говорю, что думаю, сын... А что думаю — я не сказал... Я думаю — что теперь делать, как быть? С Сибирской дороги девять старшин юртовых собирают людей. Вот смотри сам — письмо какое.

Юлай показал Салавату перехваченное письмо. Старшина Балтачев писал в Уфу, что он собирает команды для изъяснения верноподданнического повиновения, чтобы действовать ими совместно с воинскими против «воров». Он обещал их собрать в горах у деревни Ашá.

И Юлай помчался туда. В его отряде было довольно ружей. Он занял ущелье, через которое шли изменники, и обрушился на них внезапным ударом. Многие из тех, кого вели к изъяснению покорности, были убеждены, что восстание подавлено до конца. Старшины их уверяли, что



их покорность не будет изменой, потому что уже не осталось кому изменять. Нападение Юлая показало башкирам, что старшины их обманули, и более тысячи воинов после этого снова примкнули к повстанцам.

Карательные войска появлялись всюду, в горах и долинах.

В самой глуши лесов, в горах, Салават захватил Ельдяцкую крепость и отсюда высылал по селам и деревням повстанцев, и сам выезжал набирать людей в войско. Если случалось застигнуть внезапным ударом отдельный отряд солдат, его истребляли воины Салавата, но случалось и так, что им приходилось самим отступать от более сильного врага.

Уходя от одного из карательных отрядов, Салават с двумя сотнями воинов по крутым камням, без троп, цепляясь за хилый кустарник и ломкие ветви, карабкался в гору, где на вершине виднелась деревянная церковь. Преследователи были задержаны внизу небольшой кучкой стрелков, которые, ловко перебегая, изображали собой целую тысячу воинов. Занять деревню на высоте было спасением для Салавата и гибелью для преследовавших солдат.

На середине горы из кустов выскочили русоголовые голубоглазые мальчишки и, ловко карабкаясь, стали поспешно перегонять башкир.

— Малайка, скажи наверху, что мы царя Петра люди. Позади солдаты идут... Айда, зовите своих отцов нам помогать на солдат! — крикнул Салават крестьянским мальчишкам. Он привык, что по первому зову русские крепостные деревни приходят ему на помощь.

Ничего не ответив, мальчишки исчезли наверху.

Салават оглянулся. Внизу уже были ему видны и оставшиеся для прикрытия его люди, и наступающие, теснящие их солдаты. Снизу их тоже заметили. Салават увидел, как офицер указал на него другому офицеру. Внизу тотчас затихла стрельба.

Командиры догадались, что обмануты повстанцами, и бросились в рукопашную на прикрытия пугачевцев.

Было ясно, что через несколько минут они начнут штурмовать гору. Приходилось спешить с занятием высоты, чтобы стать хозяевами положения до начала боя.

Как вдруг несколько крупных камней полетели сверху над головами башкир. Сзади Салавата послышался крик. Прикинув к скале, он взглянул. Большой камень, катившийся сверху, сбил с обрыва двоих из его людей. Мимо него самого прокатилась огромная глыба.

— Эй, люди! Я царя Петра бригадир Салават! — выкрикнул он, чтобы рассеять недоразумение.

— Царь Петр помер... Чего морочишь! — крикнули сверху. И глыба за глыбой посыпались камни, сбивая людей вокруг Салавата.

Забыв о всяческой осторожности, Салават смело ринулся вверх. Камни летели вокруг него. Два или три из них ударили его по ногам, один попал в грудь. Он удержался и первым вырвался на гору. Сабля его сверкнула, голова бородача крестьянина покатилась вниз, а тело мешком упало к ногам Салавата... На голову Салавата обрушилась дубина. Если бы не шлем, череп его разлетелся бы вдребезги. Он пошатнулся. В глазах его потемнело, он ощупью выхватил из-за пояса пистолет и, ничего не видя, выстрелил по направлению врага.

Крики «алла» огласили воздух. Его отряд подоспел на вершину. Раздались выстрелы. Салават очнулся. Мутная пленка медленно спадала с глаз. Он увидел вокруг убитых русских крестьян. Башкиры уже сражались с отрядом солдат, карабкавшихся на приступ той же скалы...

Бой продолжался часа два.

После отступления солдат Салават пошел в село. Улицы его опустели. На площади не было никого, дома были разгромлены. Салават велел разыскать и привести к нему старосту, сам же расположился на площади возле церкви. Башкиры ринулись по домам... Через несколько минут в селе раздались крики, выстрелы, возгласы преследующих и стоны молящих о пощаде...

Двух раненых мужиков поставили перед Салаватом.

— Староста? — спросил Салават.

— Нет у нас старосты.

— Где он?

— Хан ваш зарезал. Из спины и из брюха ремни кроил, покуда не помер.

Салават понял все, что случилось.

— Давно был хан в вашей деревне?

— Пять ден.

Салават приказал немедленно созвать на площадь отряды и прекратить буйство в селе, а сам продолжал вопрос.

Он узнал, что на прошлой неделе Бухаир с толпою башкир налетел на село. Они жгли дома, резали на части крестьян, выкалывая глаза, разграбили церковь и, наконец, загнав в одну клеть женщин и малых детей, заживо их сожгли. Спасся лишь тот, кто успел убежать в лес. Остав-

шнися, увидя башкир, напали на них, опасаясь таких же зверств.

Тщетно хотел узнать Салават, куда ушел Бухаир, — никто из крестьян не знал.

— Сам сумею его поймать, приведу и повешу в вашем селе, — обещал он.

И Салават ушел из села, унося в сердце горечь и жажду настичь Бухаира и расправиться с ним. С этого дня он искал его всюду, считая худшим врагом...

Нередко бывало, что, оставив за начальника на стоянке кого-нибудь из сотников, Салават один уходил искать Бухаира; иногда он брал с собой несколько десятков новых воинов, но Бухаира не встретил ни разу. Слава о вездесущи Салавата гремела: сегодня он был под Бирском, завтра, несмотря на плохие дороги, под Уфой, то под Табынском, то снова в горах у Ельдяка.

И вот, похудевший, обросший откуда-то взявшейся бородой, более мужественный и сухой, чем всегда, к Салавату явился его друг.

— Кинзя! — обрадованно вскричал Салават, обнимая его. — Как ты нашел меня?

— Как тебя не найти!.. Все говорят о тебе и о твоём войске.

— Как царь? Почему ты с ним не пошел в Питербурх?

— Питербурх далеко. Там у царя много людей... Когда он пошел через Волгу, он сам нас послал назад. Сказал: «Тут у меня довольно людей, — все принимают, все любят, а ваши дома разорят злодеи, пока вы со мной. Иди, Кинзя, к Салавату...»

— Ты вернулся один?

— Со мной пятьсот человек. Они идут по лесам, без дорог, чтобы миновать заставы. Придут сегодня и завтра, — пообещал Кинзя.

— Белобородов и Аллагуват где? — расспрашивал Салават. Он хотел узнать разом обо всех.

— Иван Наумыч убит под Казанью, — грустно сказал Кинзя. — Братья твои Сулейман и Ракай убиты.

Салават закрыл руками лицо.

— Ты не знал? — тихо спросил Кинзя, испугавшись, что сразу обрушил так много несчастий на Салавата.

— Не жалею, что сказал, — успокоил его Салават. — Лучше сразу... Как они были убиты?

— В схватке с гусарами, — тихо сказал Кинзя.

Оба надолго замолкли.

— Салават, я не мог их спасти, — словно прося прощения, сказал Кинзя. — Я не жалел себя, но в это время

страх одолел воинов, все побежали, и надо было сдержать. Я возвратил свой отряд, но братья твои уже были мертвы...

— Прости, Қинзя, — тепло сказал Салават. — Если бы с ними убили тебя, мне было бы еще хуже... я был бы совсем один.

— Разве может быть Салават одинок? У него ведь есть песни! — с обидой напомнил Қинзя слова, сказанные Салаватом перед его отъездом.

— Женщины и песни не воюют, — возразил Салават. — Мужская дружба нужна человеку, чтобы не быть одиноким. Песня утешает, пока поешь, женщина — пока ласкаешь, а дружба всегда с тобою в груди...

— Бригадир, — вбежав в кош Салавата, поспешно сказал запыленный гонец, — на нас идет войско в четыреста конных.

— Где идут?

— Перешли Кара-Идель у реки Курзя. Проводник у них, сын Седяша, ведет горами...

— Аднагул, сын Седяша? — живо переспросил Салават.

— Он, — подтвердил вестник.

— По коням! К ущелью Тимер Нарат, — приказал Салават. — Аднагул знает, куда вести. Я сам ему указал. — И они помчались.

Они летели, как ветер, и не прошло трех часов — заняли гору. С рассветом другого дня многотысячные вороньи стаи взлетели уже над ущельем Железной сосны. Салават уходил победителем, увозя две пушки. Его воины получили пятьсот ружей.

Неуловимость Салаватовых воинов, их упорство и смелость вызвали необходимость двинуть против них свежие силы.

Из Уфимской крепости на Ельдяк вышел полковник Рылеев во главе хорошо вооруженной команды. Салават не ожидал его прихода к Ельдяцкой крепости. Собрав все силы, он вышел навстречу Рылееву, и в течение целого дня, с рассвета до наступления ночи, шло между ними, как доносил Рылеев, «прежестокое сражение».

Ночью Салават отошел со своими отрядами в горы под Юрузень. В сражении с Рылеевым он потерял много воинов. Силы повстанцев слабели, и негде было взять новых людей, потому что мужчин почти не осталось в селениях. Прорваться в другие места тоже не было сил — все кишело войсками. Но Салават не сдавался. Он скрывался с оставшимися воинами в горах, где стояло несколько войлочных кошей. Шли дожди, мокрые кошмы пахли кислятиной. Мало вестей доходило сюда, в горы. Редко прибы-

вали посланные Салаватом, приводя с собою не больше чем по десятку воинов.

И вот в дождливый и сумрачный день, когда Салават сидел один в коше с кураем и грустный напев, звеня, слетал из-под его пальцев, к кошу примчался гонец.

По тревожному стуку копыт Салават угадал, что что-то случилось, и, отбросив курай, вскочил с подушки.

Вестник в промокшей до последней нитки одежде вошел в кош, вынул из шапки пакет с большими печатями и подал его Салавату.

— От государя?! — воскликнул Салават.

Глаза его радостно сверкнули, сердце забилось счастьем.

Безвестность всегда порождает дурные слухи. В последние недели люди передавали вести о том, что государство войско разбито и сам он попал в плен к злодеям. Пакет от него означал, что все эти слухи ложны, что он победил, что он, как орел, парит над широкой Русской землей, может быть, уже в Петербурге или в Москве он сидит на троне и по всей России подданные приносят ему присягу, торжественно звонят на христианских церквах праздничные колокола, попы в золотых ризах поют молебны, и перед царским дворцом стоят виселицы, на которых рядами висят дворяне, купцы-заводчики и взяточники-чиновники...

Салават прикоснулся пакетом ко лбу и сердцу и в нетерпении сломал печати...

Письмо предусмотрительно было написано на двух языках — на русском и татарском:

«Башкирскому старшине Салавату Юлаеву».

Салават не подумал о том, почему царь его не назвал бригадиром, а лишь простым старшиной.

«С крайним прискорбием извещаю я, что ты до этого часа погружен в слепоту и злобу, увлеченный прельщениями всем известного злодея, изменника и самозванца Пугачева...»

Прочитав одним запалом эти слова, Салават только тут понял, что письмо к нему написано не государем, а кем-то другим. Обилие больших красных печатей с орлами подсказало ему, что пишет какой-то большой начальник из стана врагов, и Салават продолжал чтение уже настоженный, холодный, спокойный, силясь понять, чего от него хотят:

«...Пугачева, который ныне со всеми главными его общниками пойман и содержится в тяжелых железзах, го-

товьясь вскоре принять за все его злодеяния мучительную казнь...»

— Пойман... в тяжелых оковах... вскоре принять злую казнь... — повторял про себя Салават.

Значит, слухи не лгали, значит, пропал государь — отважный, вольнолюбивый, удалый воин... и будет казнен!..

Ясный, горящий, чуть насмешливый взор Пугачева, складная пылкая речь его, задушевный голос припомнились Салавату во всей ясности. Он ощутил всем существом своим тяжкое горе... Зачем не пошел он за Каму, зачем он покинул царя,— может быть, в этих последних битвах Пугач-падше не хватало смелого друга, готового за него отдать жизнь!..

Салават обвел взглядом кош, словно в первый раз увидал гонца, который привез этот злосчастный пакет.

— Дурные вести, туря-бригадир?.. — спросил вестник. — Лица на тебе не стало, ты так побелел...

— Сядь к костру, сбрось одежду, согрейся, — сказал ему Салават.

Он снова взялся за письмо.

«И для того, истинным сожалением побуждаемый, делаю я в последний раз сие увещание — покайся; познай вину свою покорностью и повинованием...»

Покаянье?.. Покорность?.. Эти слова Салавату писали не раз. Он рвал на клочки и топтал подошвой эти слова. Почему теперь должен он им внимать больше прежнего?..

«Я, будучи уполномочен всемилостивейшею ее величества доверенностью, уверяю тебя, что тотчас получишь прощение, но если ты укусишь его за сим, то никакой пощады уже не ожидай для себя...»

Салават не заметил и сам, как пальцы его судорожно комкают и мнут злополучную недочитанную бумагу, написанную начальником тайной экспедиции генералом Потемкиным.

— Обманщик! Обман! Они хотят оторвать башкирский народ от царя, хотят от меня добиться измены... Измены от Салавата!.. — в негодовании выкрикивал он.

Салават не верил больше этой бумаге. Ложь источает каждое слово ее... Если бы государь в самом деле попался в руки врагов, то они не стали бы уговаривать Салавата прийти с покорностью. Они бы бросили на него своих генералов, полковников и солдат...

— Посланный с этим бакетом ждет от тебя письма, — сказал вестник. — Он хотел отдать бумагу в твои руки, но мы задержали его, чтобы не знал, где находится стан. Что сказать ему?

— Скажи, что собаки лают, а ветер носит брехню, но Салават не преклонит слуха к собачьему лаю. Пусть он так ответит тому, кто его послал. Скажи, что я разорвал и втоптал в грязь эту грязную грамоту...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Наступила осень. Потянулись к югу стаи гусей и уток, и войны выходили на тягу. Каждый из них убивал по птице... Козлы дрались на высоких кручах за самок и падали, сраженные меткими стрелами воинов. Лиственные леса украшались багрянцем и золотом. Ночи стали темнее и холоднее, звезды тонули в небе, как в синем колодце, и по почам в чаще леса трубили волки.

Когда приходилось стоять высоко в горах, по утрам на кошмах и в бородах серебрился иней. Согревались кострами, жили в пещерах, в землянках, но не хотели сдаваться, ожидая, что царь возьмет Петербург и пришлет на выручку сильное войско, как обещал Салавату и позже — Кннзе.

Шел слух, что войска государя взяли Царицын. Царицын-город, конечно, стоит у самого Петербурга... Но никто не знал, что ближе — Царицын или Москва...

И вдруг разнеслась страшная весть о пленении царя казаками... Ее привез русский приятель Семка, появившийся неизвестно откуда.

— Схватили царя злодеи, — тихо, наедине с Салаватом, сказал он. — Пропал наш батюшка... Емельян ли, Пётра ли — бог его там суди... и родного тятюку не ведал, как звать, а этого пуще... Сироты мы теперь... Кто за нас, Салаватка, кто?!

Страшная эта весть, словно ветер, развеяла сразу сотни людей: в первую ночь, как она пролетела среди людей Салавата, отряд покинули двести воинов, бросив на месте ночлега сабли, пики и ружья... Но Салават не хотел поверить жестокой правде.

— Аллах не мог бы позволить пролиться такой большой крови напрасно... Не может быть! Они лгут! Они хотят нас сломить обманом... Каждый, кто побежит от меня, будет найден и тотчас повешен... — сказал Салават, собрав свой отряд.

Однако народ уже больше страшился расправы со стороны пришлых солдат, чем карающей руки Салавата. Отряд разбежался...

С разных сторон шли вести о том, что на башкир идет множество войска.

Тогда Салават стал еще свирепей в расправах с беглецами-изменниками...

— Погиб Казак-падша, — наконец поверив несчастью, говорил Салават Кинзе. — Урусы в покорность пришли... Как теперь будем держаться? Сейчас у нас еще десять юртов — это не малое пламя, из него можно раздуть пожар. Кинзя, надувай свои бабьи щеки! Дорогой мешок, дуй сильней, помогай ветру!

Но ветер утих и совсем не раздувал восстания. Оно слабело день ото дня. Рыскавшие всюду отряды правительственных войск забирали по деревням молодцов, брали под стражу, иных казнили на месте, расстреливая из ружей и вешая на деревьях. По Белой и Каме плыли виселицы, на них качались трупы повстанцев.

Несколько правительственных отрядов, переходя от деревни к деревне, уже в начале октября расположились вблизи заводов, где Салават должен был бы пройти к родным местам.

Командиры отрядов выслали разъезды, чтобы следить за движением башкир.

Все меньше становился, все быстрее рассеивался отряд Салавата. Наступила морозная зима, уже нельзя было жить в кошах, бродить по лесам.

Генерал Фрейман вошел в Башкирию «для водворения покорности». Его батальоны проходили по селам и деревням, вылавливая отдельные кучки отбившихся от Салавата и разбредавшихся по домам башкир.

Салават сознавал, что на зиму он должен оставить войну, что приходится смириться. Иначе было в прошлую зиму: тогда довольно было прийти в любую деревню, чтобы встретить добрый прием и радушную хлеб-соль. Теперь иначе: в редкой деревне за самые большие деньги давали съестное. Все были ограблены, обобраны проходившими войсками, большинство крестьян не сеяло хлеба, находясь в войсках Пугачева, большинство не косило травы.

Настал день, когда в отряде Салавата осталось меньше ста человек.

— Поезжайте к Юрузени, — сказал Салават, — я вернусь дней через пять.

— Я с тобой, Салават... — заикнулся было Кинзя, но осекся, заметив гневный взгляд друга.

Салават в тот же день уехал. Уже лед стал на реках, и Салават переезжал реку по хрупкому, ненадежному льду.

Он мчался к Табынску два дня. Поздно вечером подъехал к знакомому дому на окраине. Постучал у окна.

— Кто здесь? — спросил за окном избы женский голос.

— Я, Салават.

Женщина в испуге отшатнулась. Это была Оксана. До нее долетел ложный слух, что Салават убит. Она даже всплакнула несколько раз, и слезы принесли ей легкость такую, какой не было раньше: теперь уже никто, кроме судьбы, казалось, не был виновен в том, что родившийся мальчик растет без отца. Отца нет в живых!

И вдруг явился отец.

Оксана отперла, поняв, что если пришел — значит, не из могилы, но в тот же миг другой страх одолел ее: кругом рыщут солдаты, вламываясь во все дома, где были «бунтовщики». Оксанин отец не вернулся домой. Где он пропал? Может быть, убит под Казанью, не то под Царицыном, да, может, и не убит, а сидит где-нибудь в каземате. Где бы он ни был — все знали, что он ушел с Пугачевым, и, конечно, солдаты ворвутся и в дом кузнеца и в кузню...

— Откуда ты? Солдаты в селе! — с ужасом прошептала Оксана. — Изловят! Скорей уходи!..

— Малай у тебя или девка? — с порога спросил Салават.

— Мальчонка... Да не студи ты избу! Входи, коль пришел.

Салават вошел. В облаке пара, ворвавшегося вместе с ним, он увидел люльку и прямо шагнул к ней.

— Куды с морозу? — крикнула Оксана, отталкивая его.

Салават сел на лавку.

— Едем со мной — женой моей будешь... Хотел сватов послать, да такое время: еще сватов по дороге поймают... Едем так, без сватов...

— Что плетешь-то ты, нехристь! — оборвала Оксана.

— Не пойдешь? — спросил Салават, словно бы даже с угрозой.

— Знамо, нет!.. Кабы ты крещеный...

— Малайку тогда заберу.

— Ишь, умник!.. Ты сам роди! — огрызнулась она, закрывая всем телом ребенка.

— Ну, латна, до утра думай-гадай.

— Нечего ждать утра! Не пойду в мухаметки. А ты, чай, и утром все нехристом будешь!..

— Малайку ведь жалко, — просительно и уже неуверенно произнес Салават. — Ведь как без отца ему жить!

— Без отца не будет! — со злым задором возразила Оксана. — Я ему русского татку возьму!

— Его крестила?! — спросил Салават быстро и горячо.

— Нет еще, у нас поп убег, крестить некому. Погоди, вот вернется...

— Чтобы сын Салавата крещеный? — Салават в возмущении вскочил — и вдруг замолчал. Он услышал, что с улицы в сени входят какие-то люди. Салават отшатнулся за выступ широкой печи.

Оксана бросилась к двери, чтобы ее запереть, но ее распахнули снаружи, и в тот же миг Оксану схватили чьи-то крепкие, грубые руки.

— Стой, красавица, стой! — Через порог шагнул офицер с двумя казаками, один из которых держал Оксану за руки, вывернутые за спину.

Салават понял, что попался в облаву, и притаился за печью.

— Где отец? — спросил офицер.

— Почему я знаю? Схватили злодеи да увели, а куда девали — не знаю. Может, повесили, может, и из ружья застрелили...

— А молодца-башкирца ты принимала, он где? — продолжал офицер.

В эту минуту казак, верно, сильнее вывернул руку Оксаны.

— Ой,пусти! Не знаю, где... Был, да ушел... Не ходила же я за ним... Ты бы пришел — и тебя накормила бы... Почему я знаю, какой башкирец? Их весь год как собак тут шло!..

— А чья лошадь стоит во дворе? — грозно спросил офицер.

Салавату хотелось выскочить из-за печки, перебить незваных гостей и взять с собой Оксану. «Теперь уж ей некуда будет деться — пойдет!» — подумал Салават, но, не видя, как вооружены пришельцы, он не решался оставить свою засаду.

— Чья лошадь? — повторил казак, видимо, снова выкручивая руку Оксане.

— Ой, ой!.. Моя лошадь!.. Ой,пусти, моя!.. — вскрикнула женщина.

— Вот мы сейчас хозяина-то пошарим, — сказал офицер. — Ну-ка, Чарочкин, живо сюда понятых.

— Не успеет стрижена девка косы заплесть! — выкрикнул, выходя, казак.

— Дверь закройте, ироды, мальчишку мне заморозили! — простонала Оксана. — Ой, больно, ой!..

— Терпи — атаманом будешь, — ответил мучитель.

Салават понял, что действовать надо быстро. Холод, обдавший ноги, колеблющееся пламя светца — все показывало, что дверь отворена, сейчас их в избе только двое... Он выскочил из-за печки. Крик насильников колыхнул пла-

мя. Прежде чем кто-то из них успел выхватить оружие, Салават бросился на офицера и ударил его в грудь кинжалом. Тот свалился без крика. Казак схватился за пистолет, но Салават рассчитал все заранее: с железной печной заслонкой в руках он ринулся на казака. Тот выстрелил. Салават ударил его заслонкой по голове и, когда рухнул казак, еще раз ножом.

Оксана стояла, жадно глотая воздух, с каким-то детским испугом глядя на Салавата. Лицо ее было бледно, даже самые губы вдруг побелели как снег.

— Живо, бежим! — сказал Салават, сжав ей руки. — Бери малайку! — Но, не успев ответить, она еще раз схватила ртом воздух и молча упала, глухо ударившись головой об пол. У губ ее показалась кровь.

Салават запер дверь и метнулся к ней. Сорочка на груди ее пропиталась кровью. Он разорвал сорочку и понял: казачья пуля случайно пробила ей сердце.

Некогда было возиться с мертвой — ей уже было ничто не страшно. Остался сын. Несколько упущенных мгновений могли ему стоить жизни... Салават подскочил к люльке, схватил младенца, торопливо завернул его во что попало и стал, прислонясь к стене, у самой двери. В ту же минуту послышался разговор во дворе и шаги по ступеням. Дверь распахнулась, казак с понатыми вошел в избу. Салават выстрелил в затылок казака, всплеснувшего руками при виде убитых товарищей, и выскочил за дверь. В сенях он положил ребенка на пол и уперся плечом в дверь. Понятые дергали ее изнутри.

— Сиди тихо. Всех перебью! — угрожающе, приглушенным голосом произнес Салават.

Дергать перестали. Салават взял стоявшее в сенях коромысло, припер им дверь, поднял сына, скользнул во двор, быстро вскочил в седло и помчался по снежной освещенной луной улице, прижимая к груди плачущего младенца. Уже в конце улицы он услышал сзади крики. Он ударил коня нагайкой. Ребенок заплакал сильнее, и ветер свистнул в ушах.

— Молчи, Салават-углы. Батыром будешь, как вырастешь... Привыкай жить в седле, — бодрил Салават малютку, поспешая к переправе через реку.

Когда Салават решил, что не так уж легко его настичь, он убавил рысь и запел новую для него песню, с новым, небывалым напевом:

Маленький сын, сын батыра,
Внук месяца, теплый кусочек,

Потому с молодого лица его не сходило выражение победоносца.

Чтобы произвести впечатление на мятежников и потрясти их спокойствием и великолепием империи, комната, где принимали желающих изъявить покорность, была по убранству отлична от воеводских канцелярий того времени: столы были покрыты зеленым сукном с галунной обшивкой и кистями, по полу настланы ковры.

Офицеры сидели в мундирах, украшенных аксельбантами и орденами. При входе стояли навтыжку часовые у каждой двери. Рядом с канцелярией помещались две небольшие комнатки, в одной из которых сидел поп с евангелием и крестом, в другой — мулла с кораном для приведения бывших бунтовщиков к присяге. В обмен на присягу они получали «ярлыки» на мирное проживание дома.

Молодой, рослый, чернобородый башкирин вошел в канцелярию. Привычно склонившись, он скинул у входа уличную обувь и в комнатных мягких сапожках, сильно хромя, прошел по ковру к столу. Вынув из шапки бумагу, он поклонился и протянул ее офицеру.

— Чего? — спросил офицер.

— Я сама сговорил двеста человек бунта кончать. Котор человек кончал, тут писал. Теперь наша юрт бунтовщик нету. Двеста ярлык давай, — ответил башкирин.

— А ты сам кто же будешь?

— Юртовой писарь, ваш благородья.

Офицер придвинул к себе толстую книгу.

— Какого юрта? — спросил он.

— Шайтан-Кудей, — опустив глаза, ответил башкирин.

— Эге-э... — протянул офицер, быстро найдя нужные записи. — Постой, постой... — бормотал он, перелистнув страницу и водя пальцем по строчкам. — Постой, постой... да в вашем юрте самый главный вор Салават... — сказал офицер. — А кто у вас старшина?

— Отца Салавата, Юлай. Тоже вор. Весь юрт наш просит: новый давай старшина... — обратился с поклоном писарь.

— Кинзя тут еще... Еще хан какой-то... — бормотал офицер, просматривая страницу. — Вот так гнездо! — заключил он.

— Самый гнездо! — подтвердил писарь. — Айда, посылай наша юрт свой солдат. Тихо жить хочим.

— Voulez vous voir le pretendant au trône de Bachquigie? — обратился по-французски старший офицер к молодому.

— Eh bien? — подняв голову от своей ландкарты, откликнулся тот.

— Voila ¹, — кивнул старший на Бухаира.

Перед ним лежала страница, где были записаны имена и приметы бунтовщиков.

«Ростом велик, волосом черен, бородой — тоже. Глаза черны и злокозненны, брови срослись, силен, станом тонок, на левую ногу хром...» — читал при себя офицер.

— Садись, — обратился офицер к писарю и указал на стул.

— Рахмат. Как сидеть с такой господин-благородьям? Наша так латна... — Писарь склонился в слащавом поклоне.

— Садись, хан! — неожиданно резко сказал офицер.

Обалдевший, испуганный и убитый Бухаир опустился на стул.

— Старшиной хочешь быть? — в упор спросил офицер.

Бухаир поглядел на офицера. Он пришел сюда, чтобы перехитрить начальство, не ожидая, что здесь могут его узнать. Если бы скромно, покорно он не сложил оружия и оставил хотя бы один только нож, — он сумел бы пробиться... Но нет. Теперь он был признан. Бежать? Куда? У ближайших дверей схватят...

Офицер издевался:

— Хочешь быть старшиной? — вторично спросил он.

Преодолевая гордость и закипавшее возмущение, Бухаир решил разыграть простака.

— Молодой наша... Как старшиной! — притворно сказал он.

— Дурака не валяй, ваша светлость хан! — остановил его офицер. — Хочешь быть старшиной — улови Салавата. Он нынче в ваших краях. С ним ребенок от русской бабы, его сын.

Бухаир глядел с недоверием. Его узнали, знают, что он назывался ханом, — значит, знают и то, что он убивал русских и жег их селения, и все же его серьезно спрашивают, хочет ли он стать старшиной. А Салават?.. Значит, он страшнее для них?.. Уж, верно, ему не сказали бы быть старшиной!..

Медленно Бухаир опустил глаза.

— Команду с тобой отправлю. Найти и поймать, — заключил офицер.

¹ — Хотите видеть претендента на трон Башкирии?

— Ну?

— Вот он.

— Поймать! — твердо пообещал Бухаир.

Когда он возвращался домой, стыд и зависть терзали его. Но это был последний его стыд. Едкие остатки тоски по исчезнувшему чувству стыда и чести — вот что это было... А зависть — тоска по зависти; он не мог больше завидовать Салавату, но чувствовал унижение свое перед ним, и унижение рождало в душе его злобу. Ему мешало само сознание, что Салават еще жив. Только смерть Салавата могла успокоить его озлобление.

«Поймать и отдать его русским, которым он продался!» — в злобе шептал себе Бухаир. Он нарочно шептал эти слова, чтобы уверить себя самого. Он шептал потому, что хотел, но не мог так думать. В чувствах и мыслях своих он ощущал всю высоту Салавата, как и свое падение. Но шепот не помогал ему, и в тоске он ременной плетью жестоко порол коня.

От своей жены, не раз говорившей о том, как Амина мучается позором бесплодия, Бухаир знал о страданиях маленькой женщины, жившей почти что вдовой в течение нескольких лет. Может быть, иногда, в минуты тоски и одиночества, его сестра даже жалела о том, что позволила увезти себя пустому мальчишке-певцу... Поэты! О них говорил пророк: «Вот они, обуянные сатаной, как в безумии, бродят по долинам и вечно кричат о том, чего сами сделать не могут...»

А Салават? Разве он не таков же, этот отступник истинной веры? Чего он добился? Вместо того чтобы гнать и убивать русских, он шел с ними вместе и вел за собой народ, обманывая его трескучими словами, звонкими песнями...

Верно, Амине, своей жене, он так же, как и народу, наобещал ханскую участь, богатства, а что теперь даст?

Бухаир знал, что Амина рвалась к теплу, с какой-то животной страстью лаская чужих, соседских детей, как все ее существо измучено жаждою материнства... Если сказать ей о том, что Салават привез с собой сына, что это сын русской бабы... — раздумывал Бухаир.

Осенний ветер принес черные тучи, и по дороге на Бухаира хлынул внезапный ливень. Кругом не было деревень, но на его счастье недалеко от того места, где ливень застал его, стояла изба старика Ахая, промышлявшего медом.

Бухаир повернул к нему.

Старик жил, казалось, бессчетное множество лет, и никто из живых не помнил его молодым. Это был тот самый старик, к которому бегали все ребята за медом уж

много десятилетий. К нему бегали Салават, и сверстники Салавата, и сверстники Бухайра. Только — не сам Бухаир... Бухаир не любил меда и не любил пчел, которые с детства всегда норовили его ужалить. Если ему удавалось, Бухаир всегда и везде убивал пчелу. Заезжая на пасеку, Бухаир был доволен, что стоит поздняя осень и пчелы уже не выются вокруг.

Старик не сразу впустил Бухайра, заставив его стоять под дождем у избы. Правда, он долго еще бормотал о том, что надо стучать громче, что он от старости плохо слышит, что он мажет уши медом каждый раз на ночь, но мед почему-то не помогает... Бухаир заподозрил, однако, в его суетне что-то другое.

— Дождь застал меня, — объяснил свой приезд Бухаир, — и потом я привез тебе верный ярлык.

— Что за верный ярлык? — не понял старик.

— Ярлык на верность царице, что ты не бунтуешь больше, — с торжеством сказал Бухаир.

— Я? — удивился старик.

— Ты, ты... — нетерпеливо подтвердил писарь.

— Когда же я бунтовал?! Я стар и ни во что не лез...

— Кто же не бунтовал?! — воскликнул Бухаир. — Все бунтовали. Ты, старый, бери ярлык. Говорят, Салаватка близко. Солдаты придут искать его по всему юрту, а с ним и всех тех, у кого ярлыка нет, захватят. Бери, бери! — Бухаир разыскал в толстой пачке бумаг нужный ярлык для старика и протянул ему.

— На что мне ярлык?.. Какой от меня может бунт? — бормотал старик.

За занавеской, отделявшей половину избы старика, что-то упало и, гремя, покатилося по полу.

— Кто там? — настороженно спросил Бухаир.

Старик затопал ногами, зашикал.

— Мышка мед любит... — просто сказал он. — Гляди, дождь кончился. Ехать тебе скорей, пока без дождя доедешь, — заторопил Бухайра старик и в нетерпении сам распахнул перед ним дверь.

Бухаир поневоле шагнул через порог. Дождя действительно уже не было, но когда он вышел за дверь избы, он услышал за собой жалобный плач грудного ребенка.

«Хе-хе, бабай завел жену перед смертью!» — хотел пошутить Бухаир, и вдруг, словно молния, блеснувшая мысль остановила его. Он быстро захлопнул дверь за собой и сказал старику, сделав вполне равнодушный вид:

— Тихо живешь, один да один... Хорошо так жить!

Хитрого старика, однако, не обманули эти слова. Он усмехнулся и, придержав для писаря стремя, спокойно ему возразил:

— Время не то: сам говоришь — солдаты придут и ко мне...

— Ну, кто к тебе заберется? Так я сказал, нарочно. Кто знает твою избушку, кроме своих! — поспешил его успокоить Бухаир.

Он торопливо помчался в деревню. Он был уверен в том, что Салават с ребенком у старика — где ему быть еще! И какому ребенку еще кричать в стариковой избушке? Не взял же он в самом деле себе жену, не родил же он сына себе накануне могилы!..

К ночи после того же дня в деревню вошел небольшой отряд — три донских казака и пятеро солдат. Еще не настало утро, когда в избе пасечника было все перевернуто вверх дном. Ульи-колоды валялись по полу, подняты доски урныдыка, сорвана занавеска, отделявшая половину избы.

В одинокой лесной избе стало тесно. Один солдат стоял у входа в избу, другой караулил землянку, где на зиму прятал старик колоды. Шестеро ворвались в избу.

Маленький, беспомощный человечек лежал перед ними при свете лучины и фонарей.

Сержант тряс бабая за воротник.

— А малайка, малайка чей? Сам ты родил его, что ли? Чей?

— Сам не знай, — с наивностью отвечал избитый, замученный старик, — какой человек привез, бросил, сам на кобыл скакал. Куда такой молодой человек одеваешь? Наша коза есть. Его коза-молоко даем... Уй, лубит малайка коза-молоко.

Наивная хитрость, однако, не провела сержанта.

— Чего же ты чужого малайку принял? — допрашивал строгий сержант, не выпуская из рук ворот старика.

— Смотри сама, ваш благородья, смотри: наш башкирский малай, — убеждал старик, — глаза, носа, смотри... Русский был бы — русским давал. Нашего дома держим...

— Где Салават? — выкрикнул сержант, встряхнув старика.

— Кого? Салаватка? — словно вдруг удивившись, спросил старик. — Салаватка? Его вот таким малайком знал, — показал он едва от земли ладонью. — Чай, большой нынче стал?.. Нашего старшина сын, — пояснил он сержанту, — на царский служба гулят. Народ сказал — Салаватка полковник... Ай-ай!.. Не знай, где... — внезапно закончил старик.

Ударив еще раз по уху старика, сержант удалился с солдатами и казаками. Тогда старик поднял на руки теплый комочек...

— Спи, внучек, — сказал он. — Отец твой большой батыр. Отец твой велел мне тебя растить... Будешь батыром, внучек, расти, расти... Рубец от нагайки приму за тебя, малай, удар кулака приму за тебя, малай. Батыром выращу, посажу в седло, в руки лук дам и стрелы, тогда умру... Спи, пока коза молочка тебе даст. Скоро доить пойду...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Салават, уезжая из дому, не хотел, чтобы Амина покинула его дом и ушла жить к Юлаю или к Бухайру. Она послушно взяла к себе двух бедных женщин, мужья которых ушли с Салаватом, и жила, ожидая, что Салават снова так же внезапно, как в прошлый раз, придет ее навестить.

Бухайр, не так давно вернувшись домой, в последнее время не раз подсылал к Амине свою жену, чтобы уговорить Амину покинуть дом Салавата.

— Нехорошо тебе жить одной, — говорила Зейнаб Амине. — И солдаты обидеть могут, и Салават придет — что тебе скажет, когда узнает, что ты одна живешь?! Иди к нам в дом — будешь жить как сестра...

Не раз и сам Бухайр заходил к сестре — сказать ей, что так жить одной не в обычае.

— Опозоришь меня. Что скажу Салавату, когда придет?! Ведь он мне в глаза плюнет за то, что я не взял тебя в дом! Люди всякое могут ему наболтать! — хитрил он.

И тогда Амина призналась брату, что Салават не велел ей идти ни к отцу, ни к нему.

Кроме женщин, которые помогали Амине по хозяйству, к ней в дом постоянно ходила еще Гульбазир. В отсутствие Салавата Амина не питала к ней ревности. Гульбазир ей была самой близкой подругой, и Амина не могла в своем простодушии понять, что Гульбазир к ней приходит для того, чтобы слушать и говорить про Салавата. Зато Бухайр это понял, застав Гульбазир несколько раз у сестры в доме.

Умерший отец Бухайра, Рысабай, дружил с грамотеем-книжником Рустамбаем. Бухайр постоянно бывал в доме Рустама, тут учился он грамоте. Он знал Гульбазир еще молоденькой девочкой и, может быть, уж давно ее взял

бы в жены, если бы не была она такого насмешливого, колючего нрава.

После того как Бухаир узнал, что Гульбазир в ночную пору, в мороз и буран сама прибежала предупредить Салавата о покушении на него братьев Абтраковых, Бухаир загорелся желанием оторвать ее от Салавата, сломить, подчинить себе, взять ее в жены.

Это желание стало особенно сильным, когда Бухаир несколько раз застал Гульбазир у сестры, застал ее за разговором о Салавате. Отбить ее у Салавата стало его целью.

Писарь отправился в дом Рустамбая.

— Старшина-агай, вот я привез тебе мирный ярлык. Не бойся солдат, живи дома, — сказал Бухаир.

— Я ведь и так, Бухаир, живу дома. Чего мне бояться?

— Ну, ты ведь все-таки бунтовал.

— Как так я бунтовал?! — удивился Рустам. — Когда вы на войну пошли, я ведь дома жил старшиной! — возразил он.

— Ты дома и бунтовал: с Салаваткой ходил к Абтраковым в дом, хотел их казацкому царю на службу забрать. Потом Салават их в огне жег, а ты Салаватке на помощь младшего сына послал, молодых мальчишек собрать к нему в войско.

— Муратка ведь сам набирал жягетов! — сказал старик. — Я ему ничего не велел.

— Все говорят, что ты бунтовал, Рустамбай. Да вот я привез и Муратке ярлык, чтобы дома жил. Солдаты придут — ты им ярлыки покажи, тебя и не тронут. Молодой ведь Мурат — жалко, если его повесят...

— Ну, спасибо, давай, давай, — согласился старик. — Муратке давай свой ярлык. Ему вправду ведь надо...

Рустамбай и сам страшился прихода солдат. Он знал объявление о ярлыках, поехал бы сам за ними к начальству, да, с другой стороны, побаивался Салавата, о котором шел слух, что он убивает всех, кто принял повинные ярлыки и кто сложил оружие. А если ярлык сам пришел к нему в дом, то Салават ему тоже не сделает ничего...

Но Бухаир лишь показал ярлыки и не отдал их Рустамбаю в руки.

— У тебя дочка есть, Рустамбай, — продолжал Бухаир.

— Как же, есть, Гульбазир. Ты ведь уж много лет ее знаешь. Про девку какой разговор?

— Для нее возьми тоже ярлык.

— Как так ярлык для девки?! — удивился старик.

— Гульбазир ведь тоже замешана в бунте, — строго сказал Бухаир. — Все знают — она Салавату сказала, что Кулуй его хочет схватить. Значит, она виновата, что Салават убил этих людей...

Бухаир вынул третий ярлык и сложил его вместе с двумя, которые раньше держал в руке.

Старик засмеялся.

— Девке ярлык?! Какой девка мятежник?!

— Донесет кто-нибудь по начальству, и схватят ее пытать — вот тогда посмеешься! — пригрозил Бухаир старику. — Скажут — весь род бунтовский... Меня-то ведь снова писарем сделали. Я скажу — сам дал ярлыки Рустамбаю. Мне начальство поверит, — пояснил Бухаир.

— Ай, хитрый ты, писарь! — усмехнулся Рустам. — Обманул, значит, русских!.. Ну, давай ярлыки...

Но Бухаир не спешил отдавать спасительные бумаги.

— Я тебе ярлыки за калым посчитаю, — сказал он. — Дочку я сватать хочу у тебя.

— Гульбазир?! — удивился старик. — Норовиста лошадка. Тебе ее не взнудать, Бухаир. Такая бедовая девка... Ее, должно, Салават обещал взять женой. Ты лучше другую найди, Бухаир, — от души посоветовал он.

— Мне она не нужна, Рустамбай! — в раздражении возразил Бухаир. — Я хотел для тебя. Мне начальство верит. Скажу, что моя родня, — вас не тронут... А так ведь доброто не жди. Мучают много народу, пытаются, казнят... Салаватку ищут повсюду... Я сестре, Амине, велел тоже ко мне идти в дом — пусть живет у меня спокойно, скажу, что не хочет с мятежниками путаться, убежала из Салаваткина дома. Гульбазир с Аминой подружки. В моем доме ее не возьмут... Отдай ее мне...

— Не пойдет! — убежденно сказал старик.

— Неужто тебя и Муратку от казни спасти не захочет?! Значит, вам так и пропасть?! Неужто такую змею ты вскормил, старшина?! — воскликнул писарь. — Ай-бай-бай!.. Такую змею, пожалуй, опасно взять в жены!.. — вдруг повернул по-другому писарь. — Ты говоришь, она спуталась с Салаваткой?.. Ай-бай-бай, потаскушка какая!.. Я не знал, что такой позор на твоей седине, Рустамбай-агай!

— Как позор?! Кто сказал?! Что болтаешь, пустой человек! — застучав палкой об пол, закричал взбешенный старик. — Уходи от меня, пошел вон, собака! Я сам в канцеляр поеду за ярлыком!..

На крик Рустамбая из женской половины избы показались женщины — жены Рустама и Гульбазир.

— Пошел вон из дома, паршивый пес! — повторил Рустамбай. — Позоришь меня у меня же в доме?! Старика?! Старшину?! — он задышался.

— Ты пожалеешь, что так посмел говорить со мной, старый дурак! — выкрикнул Бухаир с угрозой.

И никто не успел понять, что творится, как Гульбазир схватила за ворот Бухаира и с неженской силой толкнула его в дверь, так что не ожидавший этого писарь вылетел в сени.

— Отец сказал — пошел вон из дома, собака! — гневно сказала вслед ему Гульбазир, еще не зная, о чем идет речь.

Бухаир повернулся к ней, горящий негодованием и стыдом. Бешенство исказило его черты, он сжал кулаки и подступил из сеней к порогу.

— Драться хочешь? Давай подеремся, пожалуй! — насмешливо и со злостью воскликнула Гульбазир. — Дай-ка палку, атай, — сказала она, обратясь к Рустамбаю, и взяла из его рук его старшинский посох...

— Шлюха! — выкрикнул Бухаир. — Ты спуталась с Салаватом, нечистая девка, а он над тобой смеется. Он крестился и взял Пугачиху в жены. Дочь Пугача увезла его навсегда...

Гульбазир, подняв посох, шагнула за ним в сени, Бухаир хлопнул дверью и выскочил вон.

Амине казалось, что уже все возвратились по домам, что война внезапно и непонятно как вдруг началась, так вдруг и утихла, подобно небесной грозе, необъяснимо насланной аллахом. Возвратились к домам с войны оба мужа живших в ее доме женщин. Все вернулись, а Салавата все нет... Теперь Амина взяла к себе в дом глухую старуху, да каждый день заходила к ней Гульбазир, с которой вместе они гадали о возвращении Салавата. Амина вспоминала песни, которые складывал Салават, пела их, и Гульбазир научилась по ним складывать песни. Среди них была песня про ягоду и жаворонка.

Сплет ягода под листиком в лесу,
Жаворонку бережет свою красу.
Жаворонок запевает на заре
И до ночи не опустится в лесу.
Попутру слеза на ягоде блестит:
— Ай, высоко жаворонок мой свистит,
Для него я сладким соком налита,
Что ж ко мне мой непоседа не летит?!

Амина постоянно мурлыкала эту песню, представляя себя ягодой, а Салавата жаворонком, когда вдруг ее по-

разила мысль, что песню о жаворонке сложила про Салавата Гульбазир. И, охваченная ревностью, Амина холодно встретила подругу.

— Бесстыдная ты! — сказала она. — Про кого ты сложила свою песню? Не к тебе, не к тебе прилетит жаворонок! Ко мне прилетит!.. Почему ты не хочешь идти за брата? Бухаир тебя возьмет в жены. А что ж из того, что хромой? Он писарь, он грамотный, умный, богатый!..

Гульбазир перестала ходить к Амине. Маленькая жена Салавата осталась с глухой, молчаливой старухой..

Еще спустя несколько дней возвратился в деревню и сын старухи, бывший, как все, на войне. Старуха ушла жить к сыну, и Амина осталась совсем уж одна.

Тогда к ней снова пришла Зейнаб, жена Бухаира.

Песенка, из-за которой поссорились Амина с Гульбазир, не сходила с уст Амины.

— Все поешь да тоскуешь? — сказала Зейнаб. — Всю жизнь не сидеть вдовой!

— Как вдовой?! Что ты слышала? Что? Кто сказал?! — вскинулась Амина, схватив ее за руки.

— Кто мне сказал? Никто ничего не сказал. Говорю, что все знают.

— Что? Что знают?! — в отчаянии допытывалась Амина у невестки.

Зейнаб отняла у нее свои руки.

— Да кто чего знает? Никто ничего не знает! — успокоительно сказала она.

— Ты сказала, что знают! — настаивала Амина.

— Все знают, что я. Я знаю, что все, да все ничего не знают... А что от тебя-то скрывать, и тебе пора знать, что все знают, — хитро заключила она.

— Врешь ты, врешь! Никто ничего не знает, и ты ничего... Пришла мое сердце терзать!..

— Я знаю, что ты уж два года сидишь без мужа, штопаешь старый бешмет Салавата да песни поешь. А кому он нужен, старый бешмет? Шла бы к нам в дом. У брата вон сколько в доме работы, а я всюду одна поспевай! Юлая схватили на днях. Того и гляди — всю родню заберут солдаты. Все равно тебе никогда Салавата не видеть. Пошла бы к нам в дом, и наветов бы не было никаких: никто не сказал бы, что мы Салавату родня, — а так и живешь день и ночь под страхом.

— Тебе что за страх? Муж твой дома!

— Нынче дома, а завтра скажут, что Салаваткин свояк, да схватят его в тюрьму, ноздри вырвут да уши обрежут — того и жду!..

— Салават воротится с войском. Солдаты все разбегутся. Царь Салавата любит! — воскликнула Амина.

— Дура ты, дура! — смиренно, с сожалением в голосе возразила Зейнаб. — Ваш царь был не царь, а простой обманщик. Связали его и к царице теперь повезли. Царя твоего самого-то повесят, и Салаватка того не минует. Всем, кто был за царя, тем головы срубят, а вдовья-то доля, ты знаешь, какая?!

— Не зря говорят, что невестка золовке змея! — с жаром сказала Амина. — Не с голоду, а со злости жалит! Никогда я к вам в дом не пойду, а пойду к отцу.

— К Юлаю в дом ворвались солдаты, все перерыли, пограбили сколько!.. — сказала Зейнаб. — Ты живешь — головой под подушку зарылась, не слышишь, не видишь того, что вокруг. Затем я к тебе и пришла. Юлаевы жены с ребятами сами попрятались по соседям. Солдаты в лесах всюду рыщут, в горах... К тебе в дом придут, тебя схватят. Бросай все, иди к брату в дом. Он примет тебя. Салавату ты все равно не нужна. У него теперь русская баба и сын.

— Как так — сын? Какой сын?! Откуда?! — жарче прежнего воскликнула Амина.

Зейнаб поняла, что стрела угодила Амине в самое сердце.

Мысль о соперничестве с женщиной всегда привычна женщине-мусульманке. К унижениям многоженства ее приучили века, но соперничать с чужим сыном ей, бездетной и, как ей казалось, бесплодной, — это было и ново и страшно.

— Сын русской бабы, дочери самого Пугачева, — подтвердила Зейнаб.

И тут же, не зная сама, откуда брала эту ложь, она начала плести враки:

— Салават увез от нее мальчишку. Он думал его привезти домой, но Пугачиха его догнала. Она не выпустит Салавата. Она зовет его снова идти за русских, опять бунтовать. По русским законам бывает только одна жена. Сегодня она увезет его к русским. Если бы ты не была бесплодна...

— Ты врешь! Врешь! Выдумка все. Нет никакой жены, никакого сына... — перебила невестку Амина. И чем более страстны были ее уверения, тем больше сама она верила в правоту Зейнаб. Ей уже рисовались и русская жена, и ребенок ее, голубоглазый и белокурый, какие не раз проходили деревней, какие жили на заводах... — Ты врешь! — заключила она со всем жаром и в то же мгновение поверила до конца.

— О своих делах узнавай всегда у соседки,— с насмешкой заключила Зейнаб. — Я вру, что Салават женился на дочери Пугача, вру, что сын родился, что сын у бабая на пасеке, я вру, что по русским законам бывает только одна жена, что Пугачиху ищут солдаты, что завтра она увезет Салавата с собой в чужие края...

Амина бежала на пасеку, к старику, словно зажженной неугасимым огнем. Ей казалось, что сами следы ее ног дымилась. Если бы было в ту пору темно, ее глаза светились бы, как волчьи, зеленым огнем.

— Русская баба? Какая русская баба? Нет русской жены, — уверял Амину побитый старик, не впуская, однако, ее в избе.

— Все знают, все говорят, — настаивала Амина. — Чей сын у тебя в избе?

Старик потупясь молчал.

— Ну, что же — малайки нет? Нет малайки в избе у тебя?! — настойчиво наступала она.

— Есть, — со вздохом признался старик.

— Чей сын? Салавата сын? — допрашивала Амина.

Старик опять промолчал, но молчание его было хуже ответа. Для Амины молчание это означало, что есть сын, что есть русская баба, дочь самого Пугача, что она увезет с собой Салавата и окрестит его, если еще не успела крестить до сих пор... И она взмолилась, глаза ее увлажнились и голос дрожал.

— Бабай, скажи мне, где Салават! Я ведь жена ему. Я — жена, не она, не русская шлюха... Разве ты сам не веришь в единого бога, что отдаешь Салавата в руки неверных?.. Она заставит его креститься... Скажи мне, девушка...

— Ты пойдешь к нему — за тобою враги пойдут, найдут Салавата, убьют, — возразил старик.

— Я не пойду, скажи, — страстно молила Амина. — Скажи, не пойду, хочу только знать... только знать... мне нужно, как воздух...

— Нельзя, кыз... кыз...¹

— Не скажешь? Проклятый старик, не скажешь? — холодно и бесстрастно спросила она и вдруг из молящей смиренницы превратилась в разъяренную рысь. — Тогда я сама пойду искать всюду, пойду по лесам, в пещеры, в ущелья, всюду стану кричать, стану звать: «Салават! Салават! Салават!» Пусть за мной ходят солдаты, пусть найдут его с русской поганкой, пусть их обоих удавят, посадят

¹ Кыз — девочка, девушка.

на кол... Пусть сына их бросят свиньям, я готова сама задушить эту пакость... Пусти — задушу! — рванулась она в избу.

Старик преградил ей путь.

— Кишкерма, к'зым...¹

— Задушу!! — закричала она. — Побегу кричать: «Салават! Здесь Салават!» Побегу к солдатам, скажу оцепить леса, чтоб заяц не пробежал, чтобы мышь не могла проскокить...

— Не шуми! Тише, тише! — взмолился старик. — Всюду уши. В лесу тоже могут быть уши...

— Пусть уши! Пусть слышат! — кричала она, перебив его. — Я буду кричать: «Тут, тут Салават со своей Пугачихой!..»

Голос Амины сорвался. Она захлебнулась собственным криком. Со стеснением в груди, обессиленная, поникла, села на землю, заплакала по-ребячьи.

— Бабай, не мучай, скажи мне... Я буду молчать, буду знать и молчать, как рыба, и не пойду к нему, только ты не скрывай от меня, от жены, где мой Салават... Нельзя от меня скрывать... Сердце кричит, не я... Скажи мне...

Старик закашлялся и отвернулся.

— Каменным надо быть, чтобы тебя не услышать, — признался он. — Мое сердце не камень, я стар, потому и слаб, но мне нельзя уступить. Не за себя — за Салавата страшусь... — говорил старик.

Амина слушала молча, поникнув к земле, как сломанный стебель. Речь старика казалась ей бесконечной, мучительно длинной. Она поняла, что уже не добьется его согласия, и молчала. Только горло ее сдавило и пальцы срывали и комкали осеннюю бурую траву...

— Я скажу ему сам о твоих слезах. Нет никакой русской бабы, кыз... И Салаватово сердце не камень, он любит тебя, он придет к тебе сам...

— Сам?! Ко мне?! — закричала она, с благодарностью обхватив ногу пасечника и припав щекою к его сапогу.

— Кишкерма. Не кричи, девчонка!.. Придет твой муж... Я уже стар. Не мне растить его сына. Его матери нет в живых, ее убили солдаты. Ты будешь единственной матерью Салаватова сына, возьмешь его. Он сам принесет к тебе... Молчи, к'зым... — остановил старик, заметив, что она хочет что-то сказать, — сиди дома, ночью не зажигай огня. Он придет.

¹ Тише, моя девочка...

Она шла обратно в деревню счастливая. Тихо улыбалась она самой себе. Только углы ее губ едва тронуло счастье, веки были опущены, но если бы вскинула она вверх ресницы, теплая радость лучами брызнула бы из ее глаз и озарила все...

Амина ждала Салавата, как жениха... Она побежала к соседям, чтобы сосед пришел к ней резать барашка, сделала тесто для бишбармака, раскатывала быстро и гладко трясущимися от волнения руками... Терла сыр для шурпы, месила крутое тесто, бросала в кипящее сало с медом, готовя чекчак.

Соседки заглядывали в ее окно. Вдруг понадобилось каждой из них что-то взаймы. Одной — соли, другой — муки, третьей — большой тухтак, четвертой — корыто...

Самой Амине понадобилось занять чаю. Она зашла в один, в другой, в третий дом... Чаю не было ни у кого.

— У муллы или у писаря есть — попроси, — посоветовали соседки. — Твой брат всегда пьет чай. У него стоит русский начальник — наверно, есть чай.

Амина решила лучше остаться без чая, чем зайти к Бухаиру. Но Зейнаб поймала ее на улице.

— Ищешь чаю, а не зайдешь ко мне, — сказала она. — Идем, я тебе дам чаю. Дождалась? — шепотом значительно спросила она Амину.

— Кого? Что ты!.. Кого? — сделал вид, что не понимает, в испуге воскликнула Амина.

Зейнаб ничего не ответила и хитро, понимающе засмеялась.

— Просто соскучилась, чаю давно не пила. Знаешь сама — все дома сижу, все дома, — залепетала Амина, испугавшись, что сама себя выдала.

На огне в избе Бухаира кипела вода. Чай был заварен.

— Садись, — предложила жена Бухаира, — куда спешишь?

Чтобы не выдать себя, Амина села пить чай. Как откачаться, когда сказала, что хочет чаю... Зейнаб догадается!.. Жена Бухаира была щедра. Она наливала одну за другой полные чашки.

— Пей, пей, сестра, — угощала она, подставляя сливки и подвигая мед и чекчак.

— Битты, джатар... Исьме¹, — отнекивалась Амина, но жена Бухаира была все ласковей с каждой минутой.

Вырвавшись наконец, Амина вернулась домой с драго-

¹ Хватит, не пью больше.

ценной щепоткой зеленого душистого чая. Все было готово к встрече желанного гостя...

Но вдруг ей стало тревожно. В избе скреблась мышь или крыса, все время казалось, что кто-то глядит за ней, кто-то ходит вокруг избы, кто-то дышит с ней рядом... В сомнении она даже переложила подушки, ковры и паласы, чтобы увериться в том, что никто не забрался в избу, пока ее не было дома.

Смешно! Кому было забраться?!

Она насурьмила брови. Румянить щеки? Она поглядела в зеркало. Щеки пылали огнем — сама кипучая кровь на-румянила их. Глаза сияли, как звезды... Амина еще никогда не видала себя такой красивой, как в этот вечер. Она надела старинное монисто. В нем были персидские тамуны, индийские рупии, турецкие и арабские серебряные и золотые деньги. Они поблескивали и тихонько звенели при каждом дыхании. Серьги из любимой Салаватом бирюзы, какие носит всегда Гульбазир, украсили ее маленькие уши... Она подразнила себя языком...

Старик сказал — ожидать без огня. Нет, это немислимо! Как угасить огонь и укрыть от любимого всю свою красоту?! Разве может быть русская, дочь Пугача, так красива?!

Занавесить окна!

Два плотных паласа она повесила, чтобы никто не увидел из окон света.

Бишбармак клокотал на очаге, наполняя избу душистым и вкусным паром.

Салавата все не было.

Уже наступила глубокая ночь. Амина не раз выглядывала на улицу. В окнах соседей повсюду меркли огни лучины. Нагонец погас и последний свет в окне Бухайра...

Салават не пришел. Старик обманул ее...

Она схватила полный кувшин воды и плеснула в очаг — дрова зашипели, и свет погас в очаге, она погасила трескучий сальный светец, сорвала с груди алмизию... Золотые кружочки старинных монет покатались со звоном по всем углам.

Старик обманул... Русская увезла Салавата, и она больше уж никогда его не увидит. Амина упала на ур'дык и заплакала молча, без вдоха, без крика. Она лежала, и слезы лились и лились на подушку...

Вдруг, без шороха, без звука чых-либо шагов, без стука, дверь словно сама собой распахнулась. Она вскочила. Мертвая тьма стояла в избе.

— Салават! — вскричала она, в темноте бросаясь к нему на грудь.

Он обнял ее. Она повисла на-шее.

— Ты мой, Салават.. Салават!.. Салават... Ты не уйдешь от меня? Зачем железная грудь? Убери... — Она помогла в темноте снять кольчугу. Сама отложила в сторону пистолет. Сняла с него саблю, лаская его. Он, поддаваясь ласке, позволил убрать оружие. — Окна закрыты, — шепнула она. — Я зажгу только маленький огонек. Я хочу видеть твое лицо...

— Ласточка, белогрудка моя, радость моя, — шептал он, лаская ее...

Они зажгли огонек. Крошечный огонек, который позволял только видеть отблеск их глаз...

— Что же ты так долго не шел? Она не пускала тебя?

— Старик мне сказал... Откуда взяла ты басню про Пугачиху!

— От Бухайра... Он...

Вдруг с грохотом разлетелись доски урн'дыка. Восемь человек казаков и солдат, толкаясь и тискаясь, вскочили в избу. Салават бросился к двери, но в двери с ружьем появился еще солдат.

Амина только теперь поняла, зачем жена Бухайра держала ее так долго в гостях...

Она закрыла собой Салавата, но с криком: «Изменница!» — он ударил ее кинжалом. Амина упала и осталась лежать неподвижной. Салават бросился в схватку. Вылезшие из-под урн'дыка враги, как щенята вокруг медведя, повисли на нем, однако, ухватив одного под мышки, Салават ударил наотмашь его же ногами, свалил сразу троих, размахнулся и бросил его в открытую дверь, где стоял солдат. Грянул выстрел, вскрикнул неволью раненный солдатом казак, и сам солдат упал в сени. Четверо оставшихся наступали на Салавата с саблями. Тогда Салават схватил в одну руку седло, лежавшее с краю урн'дыка, в другую — перину, перину бросил на саблю одного казака, седлом швырнул в голову другого, и тот без стога свалился, а Салават выскочил вон. Двое казаков помчались за ним. Салават кинулся к берегу, и бурливая ночная река открыла ему свои воды. Сзади, словно издалека, услышал он выстрел... Никто не решился пуститься за ним в ледяную воду.

Беглец выбрался на противоположный берег и залег в кустах. Там он лежал, дрожа, пока все не утихло в деревне. С рассветом он подошел к чужой деревне и постучался у крайней избы.

Заспанный голос окликнул:

— Кто там?

— Я батыр Салават Юлаев-углы.

— Что тебе? — испуганно спросил хозяин.

— Я бежал от врагов раздетым, дай мне во что одеться, дай лук со стрелами и коня.

Хозяин открыл дверь.

— Входи скорее, одевайся, вот мое платье. Бери коня тут налево. Вот узда, вот лук и стрелы, седло, — торопился хозяин. — Теперь свяжи меня и заткни мне рот: я скажу, что ты ограбил меня.

Салават засмеялся.

— Не смейся. У меня десять ртов и ни одного помощника. Как стану я бунтовать?

Салават связал хозяина полотенцем и в рот ему заткнул тюбетейку.

— Рахмат. Пусть хранит аллах все десять ртов и скорее пошлет тебе одиннадцатый. Хош!

Салават вышел. В табуне он поймал жеребца. Жеребец взвился на дыбы.

— Тор, сукры! ¹ — крикнул ему Салават. — Будешь товарищем батыру... Мне не надо твоих кобыл — даже на лучшую женщину нельзя положиться.

Приарканив к дереву, Салават с трудом оседлал коня. Айгир не хотел стать невольником, много потребовалось труда взнудать его, но когда железо, пенясь, захрустело в его зубах, Салават засмеялся.

— Ну теперь-то мы будем друзьями.

Он вскочил в седло и натянул поводья. Айгир взлетел в воздух и хотел упасть на спину, но Салават ударил его рукоятью лука меж глаз.

— Поборемся, — проговорил он и пустил жеребца скакать без дороги.

Едва рассвело, над водой еще ползал туман, когда запененный конь остановился на берегу.

По ту сторону реки лежала деревня, там был дом Салавата.

И он запел:

Кто родился в месяц Рамазан,
Тот будет большим батыром, —
Так говорят старики.
Аллах дает ему силу.
Кто родился в месяц Рамазан,
Будет одинок всегда,

¹ Стой, проклятый!

И его любимая жена
Предаст его в руки врагов.
Чтобы был он верен войне,
Аллах посылает ему неверную любовь,
А батыр всегда в ответ на измену
Изменнице посылает верную смерть.

Салават молча смотрел на деревню, на дом, где лежала убитая им Амина. Он въехал в реку и на виду всей деревни напоил коня. Повернув обратно в лес, он помчался рысью. Проехав так, пока жеребец устал и покрылся пеной, он опустил повод и снова запел:

Самая горячая любовь
Всегда приносит измену.
Больше всех девушек, желающих меня,
Я любил ту, которую предал смерти...

Салават прискакал к старику на пасеку. Избитый солдатами пасечник, казалось, постарел еще больше, но глаза его радостно сияли. Он только что покормил мальчишку козьим парным молоком и разговаривал с ним, словно тот мог что-то понять:

— Глядишь, Салават-углы, смотришь на старого деда?! Атай придет скоро. Новую мамку даст. Погоди, придет. Что моргаешь? Молчишь? А когда не нужно было — кричал, на отца накликал беду, на старого деда беду... Эй ты, воробейка! Чего засопел? Сыт, значит, спать захотел?.. Ну, спи, коли так...

Напасите, пчелки, меду,
Меду полную колоду,
Я вам дыму напушу,
Внука медом угощу...

— Поешь, бабай? — окликнул его Салават.

Мысль об изменнице Амине терзала его, но при виде сына он все-таки улыбнулся.

— Тише, спит! — остерег старик.

И оба они, старый и молодой, молча стояли над спящим младенцем, сдерживая дыхание, словно самый слабый вздох мог нарушить безмятежность его сна.

— Твоя жена примет его, Салават? — чуть слышным шепотом спросил старый пасечник.

— Она хотела меня предать в руки врагов. Я убил ее, — сказал Салават, и в голосе его послышалась скорбь.

Старик только тут увидел мрачную тень на его лице.

— Велик аллах! Изменник всегда получает возмездие. Не сокрушайся о ней. Твоею рукой покарал ее бог. Куда же ты денешь сына?

— Я отвезу его к другу Клыч-Нуру, к урман-кудейцам, — сказал Салават.

Старик промышлял на горностаев и соболей. Из соболей и горностаевых шкурок он сам сшил теплое одеяло и завернул в него мальчика. Салават пустился с ним в путь...

— Воспитай его башкирином, — сказал Салават Клыч-Нуру. — Пусть будет батыром не хуже отца.

— Моя жена кормит сына грудью. Хватит у нее молока на двух братьев, — сказал Клыч-Нур, — а все то, что нужно, чтобы сын твой вырос батыром, ты вложил в него сам... А ты куда же? — спросил Клыч-Нур.

— Мне не стало здесь места. Надену лыжи — да в степи. Летом приду назад и кликну к народу клич...

— Опять на войну? Народ устал от войны, — возразил Клыч-Нур. — Разве мало мы пролили крови?!

— Кровь, пролитая бесплодно, заливает меня. Я захлебнусь в ней, и после смерти душа моя будет вечно захлебываться в крови, если я не завоюю свободы для всех. Наш народ будет вольным, — уверенно сказал Салават. — Я вернусь и снова всех призову к оружию...

Простившись с другом и с маленьким сыном, Салават возвращался в родные края. Здесь ждали его в камнях пятьдесят жягетов. Кто знает, кем и когда были сложены в круг громадные камни, которых не сдвинула бы с места и сотня людей. В незапамятные времена сама природа построила эту крепость. Салаватовы воины вырыли здесь землянки и отсюда выезжали в набеги на солдатские команды. Здесь было у них довольно пороху и свинца, здесь было у них вдоволь мяса, муки и сыру. Можно было бы тут зимовать, но выпавший снег мог выдать врагам следы воинов. Салават совсем не вернулся бы к своим удалцам, он ушел бы в степь через земли бурзян и катайцев, но он не хотел оставить в тревоге Кинзю.

Снег лежал всюду белою пеленой. Каждого всадника было издали видно до поздних сумерек, и Салават возвращался медленно, таясь от солдатских разъездов и от случайных встречных, которые могли предать его в руки врагов. Теперь, когда не стало царя и война утихла, когда солдаты, врываясь в деревни, хватали и виноватых и невиновных, — мало ли было слабых людей, которые выдачей Салавата захотели бы заслужить прощение себе и избавление от наказания своим ближним.

«Верные» бай, купцы, которые и раньше не хотели войны, давно бы выдали всех пугачевцев. Они боялись лишь Салавата, потому что он карал за предательство смертью.

Но что покарает их, если будет схвачен по их указанию сам Салават?!

Кинзя радостно встретил возвратившегося друга.

— Я боялся, что ты попал на команду. Всюду вокруг солдаты! — сказал Кинзя. — Пора менять место. Я знаю в горах пещеру, мы там сможем держаться всю зиму. Давай уходить, пока сюда не пришли солдаты.

Салават в это время смотрел меж камней.

— Поздно идти в горы, Кинзя, — ответил он. — Бухаир-ка проведет. Он купит свободу ценой нашей жизни.

Острый взор Салавата узнал Бухаира в едва заметном вдали всаднике.

— Убьем его, — предложил Кинзя.

— Прежде нужно узнать, с чем он едет, — возразил Салават.

Всадник приблизился к крепости Салавата.

— Гей! — крикнул издалека Бухаир. — Кто там, люди! Слушайте доброе слово!

— Я здесь. Что тебе надо? — откликнулся Салават, выйдя к нему из-за камня.

— Тебя-то и нужно. Офицер-поручик велел сказать, чтобы ты пришел сам, подобру. А если ты сам побоишься, то жягетам твоим приказал связать тебя и выдать начальству. Не то он вас всех перебьет и нашу деревню сожжет. Меня старики прислали к тебе. Говорят, что ты храбрый жягет, не захочешь губить деревню и сам к офицеру придешь.

— Старики из ума, что ли, выжили? — спросил Салават. — В какой это сказке батыры сами ходили в руки врагов? Пусть твой офицер меня прежде поймает.

— Я так и сказал старикам, что тебе своя шкура дороже деревни. Они не поверили мне! Я сам не хотел к тебе ехать, — откликнулся Бухаир. — Все равно не уйдешь — повсюду вокруг солдаты!

— Ты за смертью приехал! — крикнул Кинзя. Он вскинул ружье и выстрелил в Бухаира.

Бухаир хлестнул свою лошадь и бросился прочь. Лошадь его завязла в глубоком снегу. Бухаир соскочил с нее и пустился бегом. Кинзя еще раз зарядил ружье, приложился и выстрелил снова.

Весь отряд Салавата выскочил из камней. Вслед Бухаиру летели стрелы и пули. Лошадь его теперь упала раненая в сугроб и била ногами, вздымая снежную пыль, но писарь, то на четвереньках, то просто катясь под уклон с боку на бок, то снова вскочив и пускаясь бегом, каким-

— Дай овса... Я сейчас схожу в лес за деньгами на лыжах, к вечеру вернусь, а ночью поедem в разные стороны. Пока покорми коней.

Салават в темноте стал искать ружье.

Когда меткие стрелы сразят самку и неокрепшего теленка, от охотничьей своры в глубь снегов, в глубь лесов уходит сохатый. Остановится с сердцем, готовым к битве, услышав хруст сучьев, — нет, то не люди, это вороны передрались и обрушили сверху сухой морозный хворост или рысь промчалась по деревьям, играя с самцом.

Так уходил в леса Салават. Лыжи ходко скользили. Он был разбит и бежал в изгнание. В тишине леса за шорохом лыж ему послышался хруст сучьев... Человек или зверь?.. Прервав свой бег, он удержал дыхание... Сучья затрещали громче... Послышалась досадливая русская брань, фыркнул конь...

«Врешь, верхом не догонишь!» — усмехнулся Салават, и лыжи его быстрее заскользили.

Преследующие не видали Салавата. Салават не видал их. В молчаливой и оттого еще более страшной тревоге велась погоня.

«Только бы добраться до спуска, — думал Салават, — там я полечу, как птица. Шалишь, солдат, там тебе не догнать Салавата: конь увязнет в снегу, а лыжи все так же гладко будут скользить».

Молча перебирая палками, мчал Салават, но сзади уже слышен был храп коня, и вдруг невдалеке от спуска треск сучьев послышался с другой стороны, как бы навстречу. Салават остановился. Гладкие следы лыж выдавали его. Будь лето, скрывался бы Салават в зелени, на дереве или просто в кустарнике, а теперь не спасут ни зеленые штаны, ни ловкость. Он решил прикинуться охотником. Старое ружьишко при нем, а пистолеты запрятал он под платье, чтобы не выдали, и снова помчался.

— Эй, куда спешишь? Знаком, стой... Слышь, приятель!

Салават остановился.

— Меня, что ли?

Солдат подъехал к нему вплотную. Вороная кобыла жарко дышала Салавату прямо в лицо.

— Постой-ка... Седельников! — крикнул казак. — Айда, поспешай сюда! Тут он...

— Ага! — откликнулся голос с другой стороны.

«Только двое, — подумал Салават. — Ну, посмотрим еще, кто возьмет».

Он быстро сунул руку за пазуху, куда перед тем положил пистолеты.

— Ты куда спешишь? — обратился к нему казак.

— Мала-мала сакарить гулял, — сказал Салават, притворно коверкая русскую речь.

— Врешь, — покачал головой солдат. — На кого же ты охотничаешь?

— На кого придется, ведь как знать? Кого аллах посылат. Разный маленький зверь, питищка...

— Врешь, — снова убежденно сказал солдат. — Ты и на следы не смотрел, тут тебе и мелкий и крупный зверь попадал, а ты все мимо да мимо!

— Какой зверь — скажи скорей? — прикинулся заинтересованным Салават.

— А ты не брешь, не тот зверь тебе нужен... Седельников!

— Стой, кони завязли, — откликнулся голос.

— А ребята где?

— В обход идут...

«Бежать!» — мелькнуло в голове Салавата.

Он нащупал рукоятку пистолета за пазухой. Но в это время из-за кустарников раздался крик нескольких голосов:

— Э-гей!..

— Айда сюда! Тут мы... — отозвался солдат. — Стой смирно! — приказал он Салавату. — Стой!

Салават махнул рукой.

— Стою, чего тебе!

Он сказал спокойно, но в жесте было столько отчаяния, что солдат сочувственно пробормотал:

— Не бойсь, авось обойдется...

Треск сучьев приближался. На виду из-за деревьев показалось еще с десятков солдат.

Салават стоял, опустив голову. Из-за пазухи он вынул вместо пистолета кусок хлеба и, стараясь казаться равнодушным, стал лениво его жевать.

Солдаты в овраге медлили. Салават обдумывал план.

Выйдя на Юрузень, оставив Кинзю кормить жеребца, он обманул всех — и Кинзю, и Айтугана. Они все ждали его возвращения, но Салават заранее подумал, что по снегу будет трудно проехать верхом, тем более что ехать пришлось бы в сторону от дороги, потому что по всем дорогам рыскали солдаты Фреймана. Он решил бежать на лыжах. Салават досадовал, что приходилось бежать обходной дорогой и терять драгоценное время.

И вот все кончено.

«Не выпускают, свяжут, нет, не уйти!..» — вспыхнуло в мыслях. Сердце сжалось и загудело. Салават взмахнул палками, торопясь попасть к спуску, где конным за ним не угнаться.

— Стой, знаком!.. Стой, дьявол, стой! — слышались сзади крики солдат. — Братцы, живее!

Ветер тонко свистнул в ушах Салавата. Салават оглянулся. Лошадь переднего солдата увязла по брюхо в снегу. Салават снова взмахнул палками. Слева от него появилось еще с десяток всадников, преградивших путь. Ударили выстрелы, и сучки посыпались, сбитые пулями с деревьев.

Салават вскинул ружье и выстрелил в сторону солдат, поспешно второй раз зарядил ружье, и снова грянул его выстрел. Один солдат и лошадь упали ранеными. Салават хотел перезарядить ружье, но какой-то солдат бесстрашно бросился на него. Тогда Салават выхватил пистолет и твердой рукой, уверенно пустил еще пулю в грудь преследователя. Он схватил второй пистолет и выстрелил еще раз. Лес огласился треском перестрелки. Солдаты прятались за стволы деревьев. Салават успел зарядить ружье и выстрелил, зарядил пистолеты и выпустил еще по выстрелу. Он тоже старался прятаться за стволы сосен, поспешно отступая. Солдаты пытались настигнуть его, подъезжая и перебегая от ствола к стволу между каждыми его двумя выстрелами. На стороне Салавата было то преимущество, что он скользил на лыжах, тогда как солдаты, перебегая пешком и переезжая на лошадях, вязли в снегу.

Так, отступая все ближе к спасительному спуску с горы, Салават отстреливался около получаса. Ловкий и меткий в стрельбе из лука, он не был таким метким стрелком из ружья и пистолетов. Правда, деревья уберегали его от солдатских выстрелов, но у него кончились запасы пороха и свинца. Салават забил последний заряд и выпустил его в череп солдату, рискнувшему подойти ближе всех.

Пистолеты были пусты. В пороховнице не осталось ни крошки.

Он огляделся. Его преследователей, солдат, было еще человек двадцать.

Салават взял ружье за ствол, поднял, как палицу, над головой и изо всей силы ударил прикладом по стволу сосны. Ружье сломалось.

— Поймай теперь! — крикнул Салават, пускаясь бежать на лыжах.

В то же мгновение он упал от удара по голове: один из солдат метнул ему в голову фляжку с водой.

Подоспевшие товарищи удачника били Салавата по голове и спине сапогами.

Он потерял сознание.

Салават очнулся в избе, переполненной пародом. Здесь был начальник отряда поручик Лесковский и несколько человек солдат.

— Очнулся, — сказал Лесковский. — Эка вы, ребята, неаккуратно как. Он, должно, важный вор и живым представлен быть долженствует...

— И так уж, ваше благородие, надо бы с ним легче, да нельзя: он ведь, как бешеная тигра, кидался — восемь человек поранено да трое смертью побито. Нам бы его тут и кончить, да еще и в живых его же, злодея, оставили.

— Кабы этого вора на воле оставить, он бы народу и более погубил, может, толпу набрав таких же воров.

— Я, чай, таких и не бывает. Нешто это человек, я ме-каю, — несмело выговорил маленький солдатик. — Сатана!

— Сатана — так бы его крестом одолеть можно, либо «да воскреснет бог», а ежели флягой — какой он сатана? — презрительно отозвался другой.

— Хватит трепать языками, ребята. Писарь пришел! — прервал разговоры Лесковский.

— Пошли, ваше благородие, за ним.

— И ладно, ступайте все. Возле дома караулы поставить. Надо строго беречь, коли вправду он Салаватка — награда всем будет.

Солдаты вышли. Лесковский и Салават остались вдвоем.

— Как тебя звать? — спросил Лесковский.

Салават молчал. Он лежал, связанный, на лавке. В голове, разбитой солдатскими сапогами, с каждым ударом сердца отзывалась боль, как бы от новых ударов. Мысли мешались. Он все еще не мог осознать, что пришел конец его жизни, что петля уже накинута на шею, что он в руках человека, которому он должен отвечать.

Когда это дошло до сознания его, Салават еще упорней замкнулся молчанием.

— Как зовут, говорю, скуломордый? — повторил поручик.

Салават ничего не ответил, закрыв глаза.

«Черт его знает, может, ему язык отшибли», — подумал офицер и молча стал прохаживаться по избе.

В сенях застучали сапоги. В избу поспешно вошел Бухаир.

— Салават, арума! — громко и радостно приветствовал он.

Салават не двинул ни мускулом, не открыл глаз.

— Зови людей. Бурнашку зови, — обратился Бухаир к офицеру.

— Давай Бурнашку, приказал офицер солдату.

— Бурнашка, гляди злодея, — сказал офицер, обратясь к вошедшему.

Приведенный солдатами башкирин равнодушно взглянул в лицо Салавата.

— Ты бунтовал? Бунтовал?! — наступал на него офицер.

— У меня ярлык ведь! Кончал бунтовать — ярлык дали, велели жить дома, сказали — никто не обидит, а твои солдаты схватили меня... Я ведь дома живу...

— Салаватку знаешь? — перебил офицер.

— Кого, кого? — словно не поняв офицера, переспросил пленник.

— Кто твой атаман был в разбойниках? Главный вор — Салават? — допрашивал офицер, досадуя на непонятливость пленника.

— Ага-ага, Салават был начальник, — признался тот.

— Смотри лучше, гляди. Признаешь?!

— Кого признаешь, господин благородье? — спросил башкирин, изображая недоумение.

— Что дурака валяешь?! Кнута захотел? Повешу, собака! Гляди — признаешь башкирца? — добивался поручик, указывая на Салавата. — Признаешь? Знаешь этого человека?

— Это как, значит, знаю? Нам как знать? Мало какой есть башкирец на свете... Всех ведь не знаешь, конечно...

— Это вор Салават? Правду, смотри, говори, а не то велю тотчас повесить! — угрожал офицер.

— За что нас весить?! Ты Салавата спрашал? Салавата знаю, а его никогда не видал...

— Врет он, врет! Знает он Салаватку. С ним вместе, злодей, бунтовал! — закричал Бухаир.

Офицер подступил к Бухаиру.

— Ты кого, сукин сын, указал ловить?! Кого уследил?! Пятьсот рублей захотел получить, вор, бродяга!? Старшиной хочешь быть!? Награду тебе за обман?! Я тебя награжу!..

Бухаир оробел.

— Господин благородье! Башкирец брешет! Он думает, грех Салаватку назвать. Там русский у тебя. Позови его — он признает! — посоветовал Бухаир.

— Эй, Седельников! — позвал офицер. — Приведи-ка того мужичонку, а этого под замок. А ты, — обернулся он к Бухайру, — смотри, я три шкуры с тебя слуплю, коль узнаю, что не Салавата поймали...

— Погоди сердчать, ваше благородье. Мой зять Салаватка, а мне ведь как зятя не звать! — успокоил поручика Бухайр.

Солдат толкнул в избу связанного и избитого Семку. Тот вмиг окинул горенку взглядом и сразу все понял.

— Ты, вор, бунтовал? — спросил офицер.

— Спаси бог! На заводе работал. Пошто бога гневить, бунтовать! Жили сытно. Хоть хлебушка досыта не было, зато воды в реке много. Хочешь, допьяну пей! А плетей да палок и боле того — ну, прямо, скажи, как в раю!..

— Во-он ты что за птица! — грозно нахмурился офицер. — В петлю просишься сам?!

— Я, барин, птица бугай, ты меня не пугай! — отозвался Семка.

— Пугать не стану, а дурь повыбью! — сказал поручик.

— У нас, барин, смолоду выбили дурь. Один ум остался, а ума из нашего брата ничем не выбить, от самой колыбельки вколачивать стали! — огрызнулся бесстрашный Семка.

Поручик еще не видал такого смелого арестанта. Его наглое балагурство озадачило офицера.

— Послушай-ка подобру, скоморох. Ты слышал, что Пугач ваш попался.

— Был слух, — сказал Семка, — кричал на крыше петух, три дня орал, на четвертый протух. Пугача, говорят, схватили, а государь Пётра Федорыч снова спасен!

— Молча-ать! — закричал поручик. Он подскочил и ударил Семку в лицо кулаком. — Я тебе покажу государя!.. Знал Салаватку, пес? Отвечай!

Семка стоял, не имея возможности вытереть кровь, которая капала из разбитого носа.

— Так бы сразу спросал подобру меня, сударь, — сказал он. — Господина бригадира государева Салавата Юлаича? Кто же его, сударь, не знает?!

— Так, стало быть, знал? Говорил с ним?! — добивался поручик.

— Он и с тобой говорить не стал бы, не то что с нами! Богатый ведь господин. Сказывали — кафтан на нем бархат. Шапка бобровая с позументом, борода до пупа, черна с сединой, — разошелся пленник.

— Постой, — перебил офицер. — Что ты брешешь?! Отколь борода с сединой? Ты сам его видел?

— Хоть сам не видал, да народ говорил, — сказал со всем простодушием Семка.

— Пошел вон отсюда! — с досадой зыкнул поручик.

Семка мигнул солдату.

— Слышал, что барин велел?! Сымай-ка с меня веревки.

— Дать ему двадцать плетей за храбрость да в колодки руки и ноги сковать! — приказал поручик.

— Покорнейше благодарю, дай те бог сдохнуть скорее! — не сдавшись, сказал на прощание Семка, когда солдат стал прикладом толкать его вон из избы.

Офицер приказал ввести следующего из тех, кто сидел в соседней избе под караулом, но в это время в избу вошел сгорбленный старый лесной кузнец Ахтамьян, отец убитого Салаватом юноши Абдрахмана.

— Куда, старик? — остановил его у входа солдат.

— Писарь велел. Говорил, что начальник зовет, — сказал Ахтамьян.

— Я звал старика, ваш благородье. Я звал! — радостно подтвердил Бухаир. Не ожидая разрешения поручика, он сам обратился к кузнецу: — Ахтамьян-бабай, если бы ты Салавата встретил, что бы ты сделал?

— Аллах дал бы силу слабой руке старика. Аллах указал бы, что делать, — ответил кузнец. — Я Салавата всегда ношу в сердце! Друга не видишь — можно о нем не думать, а враг неотмщенный всегда с тобой. Кровь Абдрахмана скулит у меня в ушах день и ночь...

— Господин благородье поручик, вот тот старик, у которого Салават убил сына, — сказал Бухаир с торжеством.

— Сына убил? — спросил офицер старика.

— Один сын был, — ответил старик. — Красивый был мальчик, правду любил, смелый был: с одним ножом ходил на медведя... Коран читал в четырнадцать лет...

Услышав голос проклявшего его кузнеца, Салават в первый раз поднял веки. Глаза их встретились.

— Вот тебе Салаватка, бабай. Признаешь? — спросил офицер.

— Бельмей, — ответил старик.

— Отвечай что надо. Узнал Салавата? — спросил Бухаир.

— Аллах поможет ответить что надо, — сказал Ахтамьян. И, глядя на него, Салават увидал в лице старика напряжение всего существа. Старик побелел, шагнул ближе, пристально уставился на лицо Салавата, потом опустил глаза и молчал.

— Бу Салават-ма? — нетерпеливо повторил Бухаир.

Ахтамьян глотнул воздуха, словно он задышался, и громко, неожиданно молодо, твердо сказал:

— Не знаю этого человека. Это не Салават.

— Ума ты лишился?! О смерти сына забыл?! Сына предал ты, старый кабан, и на могилу его нагадил! Аллах тебя не простит! — закричал Бухаир.

— Аллах видит все. Ты обманщик. Здесь нет Салавата! — еще тверже сказал старик.

Бухаир схватил его за ворот и в злобе начал трясти.

— Признавай! Признавай! Признавай Салаватку!.. — иступленно твердил Бухаир.

— Убрать старика! — скомандовал офицер. Он сам, распаленный гневом, схватил писаря, встряхнул его и стал колотить головой об стену. — Ты как?! Пятьсот рублей тебе?! Деньги не малы пятьсот рублей! Пятьсот рублей — деньги! Я за пятьсот рублей сам!.. Старшиной хочешь быть?! Старшиной?! Старшиной, пес поганый?!

— Господин офицер... Господин офицер, благородье! Вели старика пытать... Все врут, воры... Я правду сказал... — бормотал Бухаир.

— Ты мне нарочно другого подсунул! По ложному следу солдат повел, идол! Ты хотел Салаватке дать время подальше бежать?! — кричал поручик.

— Вели бить плетью старика, уши резать! — твердил Бухаир.

— Самому тебе уши срежу! Признавайся сейчас, зачем меня обманул! Палача сюда, живо! — распорядился поручик.

Бухаир упал на колени.

— Господин благородье, послушай. Всю правду скажу. Я солдат посылал к нему в дом. Он думал — жена пустила солдат. Он кинжалом ударил мою сестру... Она в моем доме лежит. Вели сюда принести ее. Пусть она скажет сама... Как увидит его, так заплачет и скажет...

— Жива! Амина! Жива?! Я ее не убил?! — в радостном возбуждении вскричал Салават, вскочив со скамьи.

Бухаир отпрянул от Салавата.

Писарь и офицер оба остолбенело, непонимающе поглядели друг другу в глаза, и вдруг Бухаир разразился злобным и торжествующим смехом и вытянул палец, указывая в лицо Салавата и пятясь к дверям.

— Сам выдал себя, Салаватка! Сам сказал! Сам сказал! — вопил Бухаир в радостном иступлении.

Солдат в это время ввел связанного Мурата, брата Гульбазир. Мальчик глядел бесстрашно и гордо.

Офицер, не поняв произнесенных по-башкирски слов Салавата, еще не вполне убедился в том, что Бухаир оказался прав. Он хотел достоверного подтверждения и накинулся на Мурата.

— Признаешь Салавата, мальчишка?! — спросил он.

Мурат презрительно вздернул голову и отвернулся.

В то же время вошел вызванный офицером палач.

— Звали, ваше благородье? — спросил он.

— Возьми мальчишку пытать, — приказал поручик.

Салават ожидал, что станут пытать его самого, что станут пытать Бухаира. При этом нашел бы он радость и в самых муках. Но он не мог им позволить пытать от важного юношу, брата красивой и любящей Гульбазир.

— Стой, поручик! Не надо пытать. Я сам скажу тебе. Ты ищешь царского бригадира. Я бригадир Салават, — твердо сказал он.

Офицер повернулся к солдатам, словно в боязни, что признание может рассеяться, что все окажется сном.

— Колодки! — выкрикнул он визгливым и тонким голосом.

Солдат распахнул дверь и выскочил в сени. Там слышался громкий голос, какие-то препирательства.

— Что там, Седельников? — громко спросил поручик.

— Мать Салаватки рвется. Пустите-де, слышала — сына ее изволили.

— Впусти, — приказал офицер, в жажде нового, последнего подтверждения.

Высокая женщина, по обычаю прикрывая лицо платком, вошла в избу. Салават взглянул на нее. Слишком тонок и прям был ее стан — это была не мать. Салават замер. Крик удивления застыл у него в горле... Женщина шагнула не к Салавату, а к Бухаиру. Писарь попятился от нее, трусливо прижался к стене, и никто не успел понять, что случилось, когда Бухаир с глухим стоном сел на пол, свалился на бок и захрипел.

— Зарезала! — выкрикнул первым палач.

Все были изумлены, и никто не схватил Гульбазир, которая не скрывала больше лица за платком.

— Хош! Салават! — выкрикнула она и бросилась вон.

— Хош! — крикнул ей Салават.

Офицер ринулся за ней, но связанный Мурат бросился под ноги офицеру и сбил его с ног.

— Бабу держи! — закричал поручик.

На улице слышались крики погони...

...Когда на Салавата уже надевали колодки, вошел солдат.

— В пролубь мырнула, ваше благородье, — сказал он.
— Аллах экбер! ¹ — твердо произнес Салават.
— Аллах экбер! — повторил Мурат трясущимися губами.

Покончив с ногами, солдат вложил в колодки Салаватовы руки.

— Старшиной быть хотел, пятьсот рублей получить хотел... Р-раз — и нет человека! — философски произнес поручик, глядя на неубранный труп Бухaira.

— Тебе лучше, ваш благородье поручик, — с насмешкой сказал Салават. — Ты сам получишь пятьсот рублей: ты поймал Салавата.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Салавату было всего двадцать лет, а он прожил целую жизнь. И вот большая жизнь его, высокая, как полет орла оборвалась...

Скорченный, с руками и ногами, закованными в колодки, лежал он в санях на сене. Его везли с перевала на перевал по снежным дорогам. По сторонам, впереди и сзади скакали десятки вооруженных всадников, и офицер красовался как победитель. Снег вился вьюгой и заметал дороги, а Салавата все везли и везли... На ночных стоянках, сняв ручные колодки, в его затекшие руки совали солдатскую деревянную ложку, солдатский сухарь и миску с едой. Он ел, ничего не слыша, не видя...

В деревнях, через которые везли Салавата, никто не знал, что везут прославленного батыра. В рот ему был забит деревянный чурбак и весь низ лица накрепко замотан платком... Кто бы так узнал его, да еще и с надвинутой на глаза шапкой.

В Уфе его не допрашивали. Здесь только приходили посмотреть на него, как на диковинку, как на пойманного редкого зверя, подходили опасливо, словно даже в колодках и с кляпом во рту он был страшен этой толпе любопытных врагов.

И снова дорога...

По пути на Казань ему встречались длинные вереницы людей, закованных в цепи. Их не везли на конях, а гнали пешком. Зимний ветер со снегом пронизывал их одежку. Они шли, сгорбившись от холода и от солдатских ударов прикладами в спины...

¹ Велик аллах!

Царица, чиновники, генералы, дворяне расправлялись с народом за разоренные города и заводы, за разгромленные крепости, за поджоги поместий, за пережитый дворянами и вельможами страх, за позорное бегство их генералов от гнева народа, за кровь погибших в этой войне палачей и их ближних, за дерзкие битвы, за жажду свободы и человеческой жизни...

Салават всюду видел искаженную злобой звериную морду дворянской расправы. Кровь на лохмотьях закованных арестантов, пожары опустошенных селений, кнуты и помосты на площадях, возле тех самых церквей, в которых пелись молебны за избавление от мятежа... На перекрестках дорог виселицы, на которых качались обледенелые и расклеванные вороньем трупы казненных.

Вырванные ноздри, отрезанные уши и клеймованные каленым железом лбы и щеки гонимых по дорогам колодников...

Если бы не были скованы руки и ноги, он бы бросился один на любые великие полчища, пусть его растоптали бы, растерзали в клочья, но он не стерпел бы позора и унижения... Если бы не был забит его рот, он кричал бы слова проклятий так, что мертвые встали бы из гробов и заново взялись за оружие...

В Казани Салавата поставили перед генералом-поручиком Потемкиным, который писал ему последнее увещание о покорности.

— Письмо мое получил? — спросил генерал.

— Получил, — глухо сказал Салават.

— Вот видишь, сам себя погубил. Я тебе обещал, что будешь помилован, вор. Такой молодой, а теперь тебе казни ждать, смерти... Понял?

Салават отвернулся, молчал.

— Кто тебя удержал от покорности и послушания государыне? Кто не велел явиться ко мне с повинной?

— Сердце мое, моя честь. Я бригадир государя, а не изменник, — гордо сказал Салават.

— Твой «государь» был вор и разбойник, обманщик и самозванец. Ему отрубили руки и ноги, потом башку... Понял, вор?!

Салават опять отвернулся и промолчал.

В Казани показывали Салавату десятки людей. Среди них было много знакомых лиц. Иные из них называли его по имени. Другие твердили, что никогда не видали его, не знают, не помнят. Сам Салават не признал никого из этих людей. Казалось, он знает и помнит всего одно слово: «Бельмей»...

И вот пошла снова дорога... Только на третий день Салават догадался, что его везут не назад, не в Уфу, а куда-то вперед, еще дальше Казани, может быть, в Петербург, в Москву, куда так рвался сердцем Казак-падша. Он сказал тогда Салавату: «Приедешь ко мне в Петербург...» Вот и едет за ним Салават, по его дороге, может быть, на тот же кровавый помост, на котором срубили голову государю... На царскую плаху...

И Салават ощутил великую гордость оттого, что враги в своей злобе равняют его с государем, которого он так любил и который был ему ближе родного отца...

Вот мелькнуло среди разговора конвойных слово «Москва».

Как говорил о Москве царь Пугач! Он говорил, что тут сердце его народа, что тут его правда и слава.

Сколько тут русских мечетей! Высокие каменные минареты, большие дома, дворцы, колымаги, кареты, пестрые толпы людей, тройки со звонкими бубенцами...

И никому тут нет дела до безвестного арестанта, которого везут на санях по улицам. Может быть, люди его принимают за простого грабителя и убийцу, никто не думает, что он в двадцать лет был уже бригадиром, вел войско, брал крепости, что его, Салавата, враги прозвали Грозою Урала...

Как перед тем в Казани, как еще раньше в Уфе, так и здесь его поместили в каменный сырой каземат с железной решеткой в высоком окне.

Как перед тем в Казани, в секретной комиссии генерала Потемкина, так и здесь, в Тайной экспедиции Сената, у обер-секретаря господина Шешковского, перед которым трепетала Россия, называя его «запленных дел обер-мастером», Салавата представили на допрос...

Двое гренадеров под рост Салавату ввели его в комнату, где за столом заседали надменные чиновники. На главном месте сидел маленький старичок со звездой на шее, который с брезгливостью осмотрел колодника с головы до ног.

Салават гордо вздернул голову. В его молодых глазах зажегся огонь... Смерть так смерть — все равно ничего другого не будет. Плюнуть врагам в лицо, крикнуть им правду о том, что они палачи народа, излить всю ненависть к ним...

Они совещались между собою вполголоса, как будто здесь не было Салавата. Верно, составляли хитрые планы, как подстроить ему ловушку...

«Как бы не так! — вдруг решил Салават. — Довольно быть мальчиком. Здесь идет битва за жизнь Салавата, а в битве бывает нужна не только отвага — и хитрость! Крикнуть им в рожу вызов — это значит выдать себя головой, а мы еще будем бороться!..»

Хотя Салават и мог говорить по-русски, но Шешковский и его чиновники, допрашивая многих башкир, привыкли к тому, что с ними нужно говорить через переводчика. Так же обратились и к Салавату. И он не выдал себя. За время, пока переводчик, подбирая башкирские фразы, передавал вопросы чиновников, Салават обдумывал свой ответ.

— Как ты пристал к самозванцу Пугачеву? — спросил сам Шешковский. — Чем он тебя прельстил?

Хотелось сказать, что он прельстил правдой, доброй любовью ко всем народам, но Салават, смилив свою гордость, сказал, что Овчинников взял его в плен, когда он шел с сотней башкир к генералу Кару по указу начальства.

— Башкирам как было противиться с луками против пушки, одной только сотнею против тысячи казаков?.. — заключил Салават.

— А когда самозванец тебя отпустил домой, почему ты от них не отстал? Государыня в сентябре всем покорным мятежникам милость свою даровала. Ты знал ли о том?

«Я сам своею рукой истреблял изменников, я сжигал их дома и добро, угонял их скот!» — рвались слова из сердца. Так трудно было себя покорить и сейчас, чтобы не крикнуть врагам этих слов... Глупое слово — «покорность»... Но Салават покорил себя снова.

— Ярлыки давали? Я знаю. Много было таких: ярлык у начальства возьмет — и опять бунтовать... Нет, я так не делал. Я обещал государю служить и служил...

— Самозванцу! — резко воскликнул один из чиновников.

— Государю! — твердо сказал Салават. — Откуда нам знать, что он был самозванец!..

— Указ вам читали, что он самозванец и вор, а не царь? — раздраженно сказал Шешковский.

— Читали указ, — отвечал Салават. — Там было сказано, что он беглый каторжник, казак Пугачев, что у него вырваны ноздри, обрезаны уши, клейма на лбу и щеках. Я сам видал — нос цел, уши целы, лоб, щеки гладкие. Это совсем другой человек.

— Значит, ты волей ему служил? — спросил чиновник.

— Ведь как сказать — волей?! — ответил Салават. —

Мы, башкирские люди, войны не хотели. Казаки хотели войны, а когда государь велит воевать — что тут делать!.. Я домой хотел убежать, казаки поймали меня, стреляли — вот рана... — Салават стал расстегивать платье.

— Так что ж, казаки тебя обижали? — с насмешкой спросил Шешковский.

— Совсем обижали! Ай, как обижали! Я ведь чуть на войне не пропал!.. — вздохнул Салават.

— А народ ты грабил? — спросили его.

— Как так грабил народ?! — возмущенно, ото всей души, отвечал Салават. — Кабы я грабил народ, государь указал бы меня повесить...

— Вор, вор, вор!.. — закричал Шешковский, брызжа слюной, и вскочил с места.

Салават замолчал, не понимая причины его крика.

— Вор, самозванец — не государь!.. — пояснил молодой чиновник. — Разбойник-казак, самозванец!

Хитрые искорки промелькнули в глазах Салавата.

— Я так и хотел сказать: кабы я грабил народ, кабы я воровал, обижал бы людей, разбойник и самозванец меня приказал бы повесить. Вор не велел народ обижать. За грабеж и обиды народу злодей-вор всех вешал, — сказал Салават. — Я только ходил на войну, стрелял. На войне ведь как не стрелять! Кто стрелять не хотел, того самого убивали...

— А твой отец, старшина Юлай, волей с тобой пошел к вору? — спросил Шешковский.

— Нет, совсем нет, атай в другом месте ходил воевать.

— Его, что же, тоже Пугач взял силой?

— Я как знаю! Атай старик ведь, а я малайка совсем...

Старик мне не скажет...

Старичок шепнул что-то офицеру, сидевшему рядом. Тот дернул шнурок звонка.

Вошел солдат.

— Привести Юлая Азиалихова!

Ввели Юлая. Он был так же закован в цепи и одет в арестантский халат, как и сын. Они встретились взглядами.

— Как твое имя? — через переводчика обратился Шешковский к Юлаю. — Это твой сын?

— Он говорит: «Не знаю, похож будто, да как знать — давно не видал», — отвечал переводчик со слов Юлая.

Обер-палач усмехнулся.

— У тебя молодые глаза. Может, признаешь отца? — обратился он к Салавату.

— Как не знать — отец ведь!

— Расскажи старику, что сын его признает, — приказал Шешковский переводчику.

Юлай принял сообщение безмолвно.

Ему только и надо было знать, не выдает ли себя Салават за другое лицо.

— Верно, что сын твой сжег Симский завод? — спросил Шешковский.

Юлай гордо выпрямился; при этом его цепи звякнули.

— Я сам сжег завод, — сказал он, — я сжег, и аллах на моей стороне. Русский купец отнял у меня землю, он обманул меня. Я сжег завод, я сжег деревни, поставленные на моей земле. Я сжег неверную бумагу — купчую крепость, которой меня обманули.

— Другие заводы ты сжег? — последовал вопрос.

— Усть-Катав завод я сжег, — заявил все так же твердо Юлай. — Катав-завод я сжег. На моей земле были заводы. Царь сказал, что больше неправды не будет, и я сжег заводы.

— Спроси, знает ли он, что Пугач не царь был, а вор?

Юлай выслушал переводчика.

— Вот сказал: «Неправды не будет...» Разве так вор говорит? Вот сказал: «Всякого вора, кто землю взял, кто человека обидел, — смертью казнить»... Разве вор так говорит? Если он вор был, значит, хорошо царем представился. Справедливый вор лучше, чем вороватый царь!

— Ну, ну... Молчать! — крикнул Шешковский на переводчика, словно он был виноват в сказанном Юлаем.

— Что же, старшина Шайтан-Кудейского юрта Юлай Азналихов, забыл присягу, данную ее величеству государыне Екатерине Алексеевне? — спросил Шешковский, барабана по столу пальцами. — Может, от старости позабыл?

— Присяга государю Петру Федоровичу раньше была, — отвечал Юлай. — Я бы не нарушил присяги, если бы не поверил, что царь он... Сначала не шел — меня смертью казнить хотели...

— А в твоей деревне Шиганаевке при тебе Салават верных людей сжег живьем?

— Ничего не знаю, — отвечал старик, — не видел, как Салават жег людей... Не было так... — уверенно заявил он.

— А с тобой Салават был на заводах, когда ты их жег?

— Нет, не был, — ответил Юлай. — Мои заводы я сам сжег.

— Увести! — приказал Шешковский.

Пытки были, как «позорное и бесчеловечное дело», запрещены «просвещенной» и «всемилостивой» императрицей

Екатериной, и потому стены пыточных камер и двойные двери не пропускали стонов терзаемых палачами людей.

Но если бы стены и двери не были столь непроницаемы, все равно никто не услышал бы стоны, вырвавшегося из груди Салавата.

Он молчал, когда его жгли огнем, когда руки и ноги завинчивали в тиски, когда под окровавленные ногти ему загоняли иглы, он молчал под плетями и на дыбе...

Так же, как и в Казани, он не назвал имен, не признал в лицо самых близких людей, а сколько их было поставлено здесь перед ним, как и он, измученных и истерзанных палачами!..

Очнувшись в своем каземате, на куче сырой соломы, Салават ждал казни. Но шли дни и ночи, а казни все не было...

И вот его снова «взнуздали» деревянными удилами, снова забили в колодки и бросили на телегу...

Салават угадал по солнцу, что его везут обратно в Казань, а быть может, и на Урал...

Наступила весна, когда его повезли на телеге. Все зеленело. Дорога лежала между лесов, между хлебных полей и свежих лугов. Ночлеги были короткие, и после недолгого сна стража будила его, чтобы трогаться дальше. Нанесенные палачами раны быстрее заживали в пути. Рубцы от плетей и ожогов перестали гноиться, и Салават, забывая о боли, с ощущением горькой, тоскливой радости жизни вдыхал влажную свежесть утренних зорь и слушал утреннее соловьиное пение...

Салават знал, что сзади него на другой телеге везут измученного пытками Юлая. Видно, враги им судили общую долю. Перекинуться словом с отцом было бы утешением. Но их разделяла стража, которая не разрешала им говорить.

Когда пошли за Волгой крутые увалы уральских подножий и в степи меж ярких зеленых трав, усеянных цветами, Салават зорким взглядом заметил один-единственный войлочный кош, а возле него различил небольшой табун лошадей, сердце его защемило такой отчаянной болью, что ему показалось, будто смерть подступила к нему... Но это была не смерть — это внезапная острая мысль обожгла его сердце, это было рождение новой надежды...

Башкирское кочевье родило в юной душе надежду на волю, на новую жизнь... Здесь, среди этих степей, жило довольно молодых и старых соплеменников, кто отдал бы жизнь за свободу его, Салавата. Они придут. Только бы

крикнуть им: «Люди! Башкиры! Спасайте! Я ваш батыр!
Я ваш сын, Салават!..»

И ему представились тысячи всадников, мчавшихся по степи, взметая песок, разрывая сплетенные стебли высоких трав, — вот летят они, соколы... Стрелы свистят над конвоем, сопровождающим Салавата, боевой клич пугает вражеских лошадей, тысячи сабель, пики и косы в руках друзей... И вот уже Салават на коне, впереди этих тысяч всадников. Никто их не ждет, никто не держит от них караулов, пикетов, они, как молния, как гроза и буря, пройдут по Уралу...

Рот Салавата по-прежнему был завязан, тяжелые дубовые колодки тесно охватывали искалеченные палачами руки и ноги, но в груди и в ушах его звенела песня. Такой песни еще до сих пор не рождало его сердце. Эта песня приветствовала родной Урал, она звала к битвам и прославляла народ:

Ай, гора Урал, мой Урал!
Ты народ мой родил, Урал!
Ты мне сердце вложил, Урал!
Ты мне силу дай, ай, Урал!
От тебя мои табуны,
Соты медом цветов полны,
И сладка твоих рек вода,
И богата твоя руда...
Если песню в горах споешь —
Десять песен споет Урал.
Если в битве твой сын падет —
Сотню храбрых родит Урал...
Я умру за тебя, Урал,
Ай, Урал, ай, Урал, Урал!..

Песня звенела в ушах Салавата, она не хотела умолкнуть, клокотала, как воды Инзера между камней и скал, она звенела, как ржанье тысячного табуна, перехватывала дыхание, как ветер на вершине горы...

Холмистые увалы становились все выше и круче. Зоркий глаз уже видел на небосклоне волнистую линию гор...

Иногда аулы подступали вплотную к самой дороге, табуны бродили в степи так близко, что видно было, как кони пышными, густыми хвостами обмахиваются от мух и слепней. Кочевки в десяток кошей встречались все чаще, и возле них люди доили кобыл. Как-то раз долетело оттуда даже тонкое, нежное ржанье нетерпеливого жеребенка...

Ай, гора Урал, мой Урал!
Ты народ мой родил, Урал!
В сердце песню вложил, Урал!
Ты мне славу дал, мой Урал!..

Надежда не оставляла теперь юного батыра. Слух о том, что его привезли на Урал, пройдет между народом. Его узнают, увидят, услышат...

Если смерть не постигла его в Казани и в Москве, если судьба привела его снова в родную землю, то, значит, аллах судил ему вырваться из плена... Нет, он еще сядет в седло, он возьмет в руки саблю, он почувствует снова, как в славной горячей скачке ветер свистнет в ушах и песок, взметенный копытами, обожжет его щеки...

Вот она, Ак-Идель, родная, полноводная, быстрая Ак-Идель. Вот белые известковые скалы, на которых, как гнезда ласточек, лепятся десятки домов...

Уфа...

Как мало пути отсюда осталось до родных кочевий... Если бы вырваться — долетел бы в одну ночь...

Пчелы звенели. Аромат медвяных цветов пьянил Салавата. Он чувствовал, как возвращались к нему утраченные силы.

Теперь это были уже не мечты. Салават обдумывал хитрый план, как дать знать о себе народу, как послать весть о том, что Салавата назад привезли в родную башкирскую землю... Салават был уверен в том, что вести о нем долетят и сами до башкирских кочевий, люди сами придут и будут добиваться увидеть его, они будут сами придумывать хитрые планы освобождения, но, может быть, этого долго пришлось бы ждать. Надо и самому постараться передать весть на волю... Ведь среди людей, которых показывали Салавату, не было многих из близких и смелых воинов, из смелых друзей, — может быть, они на свободе.

Разве не было у него теперь еще больше друзей? Старик Ахтамьян, отец убитого Абдрахмана, даже и этот проклявший Салавата старик не захотел стать предателем, даже он почувствовал сердцем правду...

А Кинзя, должно быть, успел скрыться, сбежал от врагов. Уж он не отступится! Нет более верного золотого сердца, чем у Кинзи, — вот подлинный сын Урала!.. Может быть, Семка тоже ушел от врагов — ведь он, как Хлопуша, десять раз бегал из всякой неволи.

Хлопнула за стеной тяжелая, окованная железом дверь, и Салават оказался опять в каземате, в котором сидел уже раньше, — в подвале под зданием магистрата.

Окна каземата выходили на улицу. Узник часто выглядывал в окно, защищенное решеткой. Его держали под особо строгим караулом. По поводу прибытия столь важ-

ных арестантов смотритель, прапорщик Колокольцев, даже подал рапорт в провинциальную канцелярию о починке пришедших в ветхость тюремных замков, бывших в употреблении уже несколько десятков лет.

Часовые то и дело заглядывали в каземат — один снаружи, другой изнутри.

В тишине и одиночестве тюрьмы Салавату служила бы утешением песня, но петь было запрещено. Когда Салават это впервые узнал, он был удивлен, не понимая, чему может вредить безобидная песня.

Он зашел в сумерках, думал и пел. Одинокая дума не могла обойтись без песни.

Только один плен знал батыр — плен
сердца,
Узнал батыр другой плен — плен камня.
Каменные стены тесны
Для широких крыльев орла...
Железная сетка прежде
Защищала грудь Салавата.
Из кольчуги вытряхивал он
После битвы полную тюбетейку пуль;
Теперь железная сетка в окне —
Самый страшный враг Салавата.

— Эй, ты, тише! — крикнул часовой. — Не приказано петь!.. Смотри, старый черт услышит, — прибавил он вполголоса. — Ты пой, да потихоньку, песня — она, брат, первая утеха в беде.

Салават замолчал. Несколько минут в тишине заката были слышны только шаги часового, потом солдат остановился против окна.

— Батыр, а батыр?.. Ты пой легонько... Не сердчай, слышь?.. Наше ведь дело такое... служба!..

— Я твоей службе нешто мешаю? — спросил Салават.

— Экой ты, брат, и в обиду уж!.. Да ведь мне самому отрадно, коль ты поешь: эдакая дума находит... А если смотритель услышит, меня, брат, розгами будут драть.

— Ярар... Латна!.. — крикнул Салават таким тоном, который сразу прервал беседу.

Тюрьма стала мертвой и беззвучной. Часовой, огорченный молчанием Салавата, не уходил, а стоял молча, прислонившись к толстой каменной стене. На другой день тот же часовой — Ефим Чудинов — говорил со своим приятелем, солдатом Уфимского гарнизона:

— Тоже ведь бригадир!.. Чин-то знатный... Кабы не сгинул Емельян, быть бы ему теперь над башкирцами ханом...

— Тс-с!.. Тише ты, окаянный... В колодки хочешь?! — оборвал Чудинова собеседник.

— А кто услышит? — протянул Чудинов. — Да коли услышит — что сделаешь?! Весь народ говорит, что за правое дело...

— Ну, ты не каркай! — снова испуганно остановил товарищ.

— Я не ворон, чтобы каркать, — не каркаю. А не лежит мое сердце над Салаваткой строгость оказывать, а служба велит... А он гордый... Как ему слово скажешь — враз побелеет и замолчит, будто камень ему на рот навалили...

Салават заметил, что Чудинов к нему относится хорошо и хочет загладить свою «вину», но не хотел раньше времени заводить с ним беседу, однако в часы его дежурства стал потихоньку напевать, а Чудинов, молча принимая это как знак примирения, слушал песни.

Размышляя о том, почему арестантам не разрешают петь, Салават вдруг понял, что песня могла бы ему сослужить драгоценную службу: она могла рассказать народу о том, что сын его Салават возвращен на Урал, что он здесь томится в тюрьме. Песнь Салавата могла подать вести друзьям и призвать их на помощь.

Песня всегда жила с Салаватом, она помогала ему поднимать народ на войну, она добывала народу победу и славу, она должна была теперь донести до народа его голос и дать ему волю...

Салават в несколько дней приучил караульного солдата к своим песням, они становились все смелее и громче, иногда они слышались даже в дневные часы. По счастью, их не слышал смотритель тюрьмы, а старый солдат Чудинов иногда их даже не замечал.

Слушателем Салаватовых песен был не один Чудинов. В магистрате пользовался казенной квартирой переводчик провинциальной канцелярии Третьяков; у него была дочь восемнадцати лет — Наташа. Она-то и слушала песни пленника, сидя двумя этажами выше его в своей комнатушке.

Уроженка этого края, внучка крещеной башкирки, не раз ездившая на кумыс с отцом, она понимала башкирскую речь и в песнях Салавата заслушивалась не одним только напевом. Салават стал казаться ей самым красивым и самым желанным в мире, и не раз она даже всплакнула, когда Салават пел о своей доле. Она знала Чудинова, и старый солдат, карауливший магистратских арестантов, знал ее. В одно из его дежурств она спустилась вниз.

— Ефим Федорович, — позвала она.

Чудинов вздрогнул и огляделся во все стороны.

— Уйди, барышня. Нельзя говорить на часах. После скажешь...

— Ефим Федорович, миленький, нет никого, старик в городе, — просила Наташа.

— Ну, что тебе надо, сказывай.

— Покажи мне башкирца.

— Какого башкирца? Что ты, башкирцев не видишь?

— Нет, что поет.

— Ш-ш-ш!.. Тише ты... Кто поет у нас?! Арестантам нельзя петь...

— Ладно, ладно, я чую, да ты ведь знаешь, о ком говорю. Покажи...

— Нельзя, барышня, лучше уйди.

— Ну, ты сам говори с ним, а я мимо пройду — увижу.

— Нельзя, Наталья Федоровна.

— Ну, да так уж прошу я...

Чудинов все-таки согласился, и она поглядела на Салавата. После этого, пока отец ее Федор Третьяков ездил по делам по провинции, сама Наташа в каждую смену Чудинова подходила к нему. Сначала через солдата она передавала Салавату просьбу петь ту или другую песню, но певец не мог исполнить ее желания — он забывал свои импровизированные напевы, они проходили мимо вместе с настроением. Тогда Наташа прислала ему через того же Чудинова чернила, перо и бумагу. Салават записал и послал ей одну из песен. Благодаря Наташе он разговорился наконец и с Чудиновым и через него узнал, что отец Наташи, Третьяков, отбирает у башкир и у других жителей показания о нем, Салавате, для чего уже вторую неделю разъезжает по Уфимской провинции.

Беседуя как-то лунной майской ночью с Ефимом Чудиновым, Салават узнал от него, что на этом же самом месте стоял Ефим, карауля другого колодника — отважного полководца Чикю Зарубина, которого, возвратив из Москвы, тут в Уфе и повесили...

Рассказ о казни удалого пугачевского атамана смутил Салавата. «Неужто все же повесят?!» — ударила мысль.

На площади перед зданием магистрата, под густыми, готовыми вот-вот зацвести тенистыми липами, в присутственные дни собиралось немало народу, который часами тут ждал решения разных дел. Одни добирались сюда хлопотать о своих близких, схваченных после восстания и увезенных в город, другие приезжали с жалобами на обиду и утеснения, те привозили свои товары в Уфу и в магистрате скрепляли сделки с уфимскими купцами. Здесь же на площади стояли телеги, груженные разным добром, ко-

торое, едуци в город по делу, всегда не преминет с собой захватить каждый сельский житель, и уфимские горожане толпами приходили сюда поспросить у приезжих сельских товаров — барашков, шерсти, лебяжьих, лисьих и беличьих шкурок, веревок, долбленой посуды, сюда приходили любители кумыса покупать целебный напиток — вся площадь у магистрата кишела шумной толпою народа и превращалась в базар. Иногда приказный или солдат, выскочив из магистрата, начинал с бранью и криками разгонять покупателей и продавцов, говоря, что от их галдежа невозможно вести магистратские дела, но все кончалось лишь тем, что карманы приказного солдата наполнялись горсткою меди и серебра, шум на площади на недолгое время несколько утихал, чтобы снова по-прежнему разгореться, как только возобновится прерванная торговля.

По одежде приезжих башкир, по племенным различиям в их одеянье опытный глаз мог сразу отметить, откуда приехал торговец или магистральный проситель.

Осторожно выглядывая в окно своего каземата, Салават уже давно замечал приезжих из тех юртов, где случилось ему набирать своих воинов. Там все знали его, Салаваты, песни.

И песня его осмелела...

Ай, родная река, Юрузень!
Камни лежат по твоим берегам, Юрузень,
В тихих заводях камыши растут, Юрузень,
Рыбы плещут в твоей воде, Юрузень,
Звезды ты отражаешь в воде, Юрузень.
Быстра ты, река, шустра...

Чудинов стоял, слегка опершись на свое ружье. Слышал ли он напев Салавата? Может быть, задумался о чем-то своем, вспоминал бесчисленные годы своей службы... Но народ на площади уже слышал песню, два-три человека подвинулись ближе к зданию магистрата, чтобы послушать ее.

Пусть ноздри мне вырвут враги,
Пусть язык и уши отрежут враги.
Пусть за любовь к красоте твоей, Юрузень,
Выколют очи мои стрелою враги.
Искалеченные уши услышат плеск твоих
вод, Юрузень,
Язык мой не сможет славить тебя,
Но мертвые очи запомнят красу твою,
Юрузень...

Голос Салавата окреп. Песня подхватила его и несла на крыльях. Он забыл о своей хитрости, забыл о том, что

ему, арестанту, колоднику, следует петь с опасением. Вдохновение охватило его. Он не видал своего каземата. Перед глазами его была Юрузень во всей своей красоте, сам он сидел в седле, возле него развевалось его знамя, и тысячи воинов с горящими отвагой глазами слушали его песню...

Не отдадим врагам красоты твоей,
Юрузень,
Пока воды твои не покраснеют от нашей
крови,
Пока с водою твоей, Юрузень,
Не станем пить кровь наших детей.

Никто уже больше на площади не торговался, никто ни о чем не спорил, никто не делился со встречным знакомцем своей заботой. Все замерло. Могучая сила певца покорила всех. Горячий ветер войны летел над толпой в звуках песни. Сердца раскрылись навстречу ей, и Салават видел мысленным взором весь свой народ и читал в его сердце...

На войну! Седлайте своих жеребцов,
жягеты,
И брюхатых кобыл не жалейте — после
ожеребятся!
Девушки, продавайте мониста,
Вместо них нужны кольчуги на груди
жягетов.
Все на последнюю войну,
На кровавую войну,
На войну!..

И только тогда, когда Салават уже замолчал, смотритель тюрьмы подоспел к окну, возле которого стоял с ружьем старый солдат Чудинов.

— Ты оглох, Ефимка?! Оглох?! — закричал смотритель. — Не знаешь закона?! Кто петь велел арестантам?!

Чудинов опомнился и застучал прикладом в решетку окна. Он что-то крикнул колоднику, наклонясь к окошку, и люди на площади только тогда догадались, откуда летела эта страстная песня. Многие узнали певца.

— Салават! — прошелестело в устах людей...

Прошло два-три дня, и толпа народа перед магистратом выросла вчетверо. Иные из толпы дерзко приближались почти к самым окнам арестантских казематов и старались в них заглянуть, но песня больше уж не звучала, и часовой больше уже не стоял перед заветным для народа окном. Салавата леревели в другой каземат, окошко которого выходило на задний двор магистрата, где лежали дрова и зловонные кучи гниющего мусора и где стоял теперь ка-

раульный солдат, сам побитый розгами за попустительство колоднику.

Дня через два Салавата и Юлая повезли в провинциальную канцелярию, где в присутствии воеводы прочли им приговор Тайной экспедиции Сената, по которому каждый из них сначала должен был быть подвергнут казни кнутом в тех местах, где они сражались и выжигали деревни, заводы и крепости, а затем, клейменные каленым железом, с вырванными ноздрями, они должны были отправиться в вечную каторгу, куда-то в далекую крепость Рогервик.

В эти дни возвратился в Уфу и переводчик Третьяков. Он привез двести показаний из разных волостей и аулов против Салавата. На основании этих показаний Тайная экспедиция определила бить Салавата кнутом в семи местах по двадцати пяти ударов.

Этот жестокий приговор обрекал Салавата на смерть.

По двадцать пять ударов кнутом палача в семи местах — это было сто семьдесят пять ударов кнута. Кто может вынести эти удары? После старинных восстаний башкир многих наказывали кнутами, и во многих башкирских родах сохранились предания о гибели дедов под кнутом палача. Некоторые палачи стяжали себе известность тем, что десятого их удара кнутом не мог пережить никто... Но приговор предусматривал бить Салавата кнутом в деревне Юлаевой, где он пожег и побил братьев Абтраковых, в Симском заводе, в деревне Лок, где в сражении с гусарами Михельсона показал Салават отвагу и стойкость, в Красноуфимске, Кунгуре, в Осе и недалеко от Ельдяцкой крепости, где происходило сражение с полковником Рылевым. Чтобы выполнить этот приговор, палачи должны были бить его так, чтобы доставить живым и в последнее место назначенной казни... А, впрочем, кто спросит с них, с палачей, если он умрет под кнутом прежде полного исполнения приговора?! Зато он увидит Урал, еще раз увидит горы, увидит родную свою Юрузень, вдохнет запах горного ветра, услышит клекот орлов, ржание табунов и блеяние стад... Близкие люди будут вокруг него, и слезы башкирских женщин облегчат его муки. Он будет мужествен, вынесет все, собрав волю. Он не покажет врагам слабости, и те, кто увидят его страдания, расскажут о нем своим детям и внукам, а певцы сложат песни о Салавате, и долго будут жить эти песни, будут жить, пока будет жить сам башкирский народ... Может быть, чья-нибудь близкая дружеская рука принесет ему чашку кумыса, и молитва правоверных за душу его прозвучит при его смерти!..

Последняя ночь в магистратском каземате в этих мыслях прошла для Салавата бессонной.

При ясном рассвете вывели его на магистратский двор, посадили на телегу в ножной колодке, с руками, закованными в тяжелые цепи. Конный конвой живым кольцом окружил телегу, и его повезли...

Был яркий июньский день, цвели липы, травы дышали медом. После сырости каземата палящее солнце только ласкало. По сторонам дороги пестрели цветы. Навстречу Салавату тянулись в Уфу на базар вереницы крестьянских телег, шли пешие с корзинками яиц и ранних ягод.

Конвой Салавата кричал на встречаемых, и встречные в страхе поспешно сторонились с дороги, освобождая путь для солдат. За облаком пыли, которую поднимали солдатские лошади, Салават не мог разглядеть в подробностях лиц. Он только смутно угадывал очертания людей в знакомых башкирских одеждах...

Дорожная раскаленная солнцем пыль! Даже она была отрадой. Запах пыли напоминал Салавату те времена, когда тысячи воинов мчались за ним, послушные его зову.

Народ не знал и не ждал, что его, прославленного и любимого всеми батыра, судьба ведет снова в родные края. Если бы знал народ!..

Но солдаты остановились кормить лошадей в стороне от селений и от кочевий, на берегу реки, где не было никого из башкир.

И тут Салават увидел палача, подпоясанного толстым сыромятным кнутом. Солдаты брезговали есть с палачом. Он сидел с двумя помощниками в стороне от всех, у отдельного костра.

Переводчик Третьяков подошел к Салавату.

— Ничего, ничего, не забьют! — сказал он. — А может, все к лучшему будет, как знать!..

Третьяков протянул Салавату миску с едой, подал ему ложку и кус хлеба.

«Как знать... Может, к лучшему...» — продолжало звучать в ушах Салавата его бодрящее слово.

...Салават лежал в каземате под магистратом. Он лежал на животе, потому что на спину не мог лечь — она была сплошным куском рваного мяса и кожи.

Двадцать пять ударов кнута упало на широкую могучую спину батыра. Сыромятная кожа кнута рвала и терзала тело. Удары сотрясали все существо... Но переводчик сказал Салавату, что палач его бил «с бережением». Обреченный должен был вынести все сто семьдесят пять ударов...

Теперь его положили отлеживаться в тюрьме, чтобы через несколько дней снова поставить на муку. Его хорошо кормили. Каждый день приносили жирное мясо, давали кумыс. Третьяков принес какую-то мазь для заживления ран, и она облегчила страдания Салавата.

— Отец твой покрепче тебя, — сказал Третьяков Салавату, — сорок пять кнутов получил, а бодрится... Богу молится все — знать, бог ему помогает.

Как только выходил Третьяков, так Салавата охватывало забытие. Какие-то шумные сны, с битвами, со множеством воинов, роились в его воображении, то детские игры, то скачки... И всюду Урал...

Да, он вдохнул его ветер — ветер Урала, он увидел еще раз родную деревню, услышал родную речь...

В первый раз его били в Юлаевой деревне. Люди разъехались на кочевки. Солдаты хотели согнать башкир к его казни «для поученья», но не могли разыскать кочевков в лесах и степях. Они похватали проезжих людей по дорогам, пригнали русских людей из Муратовки. Все стояли мрачною молчаливой кучкой. Салават видел их лица; в них было сочувствие к нему и вражда к палачам...

Салават не издал ни стога, стоял под кнутом, стиснув зубы, пока багряный туман не хлынул откуда-то в голову, и он потерял сознание...

И вот рубцы на спине его начали подживать. Смотритель тюрьмы пришел сам в каземат и повел Салавата с собою наверх.

Румяный, усатый немец, казенный лекарь, заботливо осмотрел Салавату израненную кнутом палача спину, еще раз велел ее смазать мазью, брезгливо сквозь трубку послушал сердце и с довольной улыбкой сказал: «Молодец!»

А наутро та же телега снова везла Салавата из города на Урал для продолжения лютой казни, для новых мучений.

И, несмотря на жестокую боль в спине, которую увеличила тряска телеги, юный узник был снова счастлив вырваться из каземата.

Вдыхая запахи леса, глядя на скалы, на голубое небо, по которому мчались гонимые ветром причудливые облака, слушая шум древесных вершин, пение птиц, Салават минутами забывал о том, что его ожидает новая казнь, более мучительная, чем прежде, потому что на этот раз кнут палача будет терзать уже наболевшее и едва начавшее заживляться тело...

Должно быть, будет опять женский плач и сдержанные проклятия мужчин. Салават увидит искривленные состраданием лица сородичей, страх в глазах некоторых из них...

Но красота Урала снова брала Салавата в плен, чаровала и вводила от этих мыслей.

В этот раз везли его на Симский завод.

Работных людей согнали на заводский двор со всех деревенок, окрестных башкир тоже согнали к «поучительному» зрелищу казни.

Ровно год назад Салавата встречали здесь кличем радости. Толпы башкир и русских славили его имя.

И вот он теперь стоял среди толпы, привязанный к столбу в ожидании казни. Он решил молчать, охваченный мыслью о том, чтобы не проявить ни страха, ни слабости перед врагами и перед народом.

Толпа людей, собранных здесь, стояла в молчании. Отдельные, даже негромко сказанные фразы, отдельные слова легко доносились до слуха приговоренного.

— За всех за нас, за народ казнь примаает, — говорила немолодая женщина. — Хоть башкирец, а правду любил, не обидел напрасно людей.

— Твою, видно, избу не сжег, то тебя не обидел, а у нас деревню пожег, от заводов хотел отогнать! — возражали ей из толпы.

— Пропадай они пропадом к черту, заводы! Да что в них за сладость? Мúка и мúка!.. — заспорили вокруг.

— Кто послушался да ушел, те небось где-нибудь далеко за хребтом и на воле в Сибири...

— И Сибирь — сторона, и в Сибири народ! — подхватил другой голос.

Палач и его помощники равнодушно стояли возле своей жертвы. Они привыкли к тому, что народ выражает сочувствие людям, попавшим в беду, и не вмешивались. Да и какое им было дело до мнений, до чувств, до мыслей народа! Своим позорным ремеслом они были освобождены сами от тяжелой каторги. За мучения, приносимые людям, они получали еду и вино. Отвращение к ним людей им было привычно и даже понятно. Ведь, прежде чем стать палачами, сами они испытывали подобное чувство.

— Небось, полковник, не за богатством ты шел — за народ! И народ тебя любит! — негромко по-русски произнес мужской голос вблизи Салавата.

— Начальство, начальство!.. — пролетел меж народом шепот.

Подошли офицер, важный чиновник из Оренбурга, экзекутор из Уфимской канцелярии и переводчик.

Экзекутор читал, а Третьяков переводил слово за словом для присутствующих башкир приговор, вынесенный Салавату.

«Чтобы был, в страх прочим зловорцам, наказан, как злодей, во всех городах и башкирских селениях, где от него самые злейшие варварства происходили», — гласил приговор.

Помощники палача обнажили Салаватову спину, и народ изумленно ахнул.

— Да где же тут бить? — Тут и так все побито!

— Зверье, а не люди! — слышались смелые, возмущенные восклицания.

— Сатанинские слуги! На том свете будут самих вас так-то!

— Мол-ча-ать! — грозно крикнул оренбургский чиновник. — Языкатых самих тут поставлю!

Палач взял из рук помощника свое страшное орудие и привычным ловким движением откинул назад волочащийся хвост кнута.

Толпа расступилась шире, и над ней пролетел полувздых-полустон...

Сыромятная кожа кнута, как ножом, резанула между багровых рубцов на спине Салавата и высекла брызги крови.

— Раз... два... три... — в общем безмолвии вслух считал экзекутор при каждом из мерных редких ударов.

Несколько человек в толпе заводских рабочих, сняв шапки, перекрестились. И вдруг неожиданно громко и дерзко раздался голос:

— Так его, так!.. Еще крепче!..

— Мало его, собака такуй!.. — подхватил второй голос с четвертым ударом.

— Постарайся, палач! Слышь — свои же башкирцы просят! — сказал оренбургский чиновник.

— Старайся, старайся, палач, мала-мала! — с этими словами тучный седой башкирин, расталкивая толпу, приблизился к месту казни.

Салават не поверил себе, услышав до боли знакомый и близкий голос. Он стоял спиною и не видал говоривших, но как мог не узнать он голоса Кинзи, хотя бы кнут палача опустил еще двадцать раз!..

— Конщать его надо! — подхватил третий голос так же задорно и злобно, и молодой крикливый башкирин, вплотную прорвавшись к страдальцу, плюнул ему в лицо.

— Отойди! — рявкнул ему солдат, замахнувшись прикладом ружья.

— Салаватка мой дом зорил, брата стрелил, а мне плюнуть нельзя!.. — закричал тот, не отступив под угрозой удара.

— Салаватка — вор! Что нащальство его жалеет!.. — выкрикнул еще один голос, и рослый, широкоплечий, богато одетый башкирский купец рванулся к несчастному через солдатскую цепь.

— Восемь!.. — произнес экзекутор вслед за ударом кнута.

Но вокруг шла сумятица, давка, круг народа стеснился настолько, что палачу не хватало места для размаха кнутом.

Заводские рабочие пытались оттеснить откуда-то взятых здоровенных башкир, наседавших со всех сторон из толпы, но они с неистово искаженными злобою лицами рвались к Салавату...

— Вот нехристи, черти, и так человека терзают, а вы на него же! — крикнул кто-то из заводчан.

— Небось раньше вместе шли, были дружками!..

— Кто дружка его?! Кто дружка?! — напирая на всех, надрывался пузатый старик.

— Своя рука его резать буду! — подхватил, прорываясь в кольцо солдат, молодой задира.

Офицер всем телом рванулся вперед, желая предупредить самосуд над преступником, но оренбургский чиновник сдержал его осторожным пожатием за локоть. Ему показалось, что расправа самих башкир над Салаватом будет принята благоприятно в «высших кругах» Петербурга.

В сумятице было не разобрать уже ничего, что творится. Толпа совсем смяла солдат. Топоры и ножи блестели на солнце в руках башкир...

— Концай его! Бей!..

Один из помощников палача заслонил Салавата и тут же упал под ударом кинжала. Солдат, направивший штык на толпу озверелых сородичей Салавата, свалился с пробитою топором головой. В схватку ввязались рабочие.

— Братцы-ы! Спаса-ай! Спасай Салаватку! Бей изменников сукиных, братцы!..

— Бей! Бе-ей!..

Чиновник попятился задом и бросился прочь от свирепой толпы. Офицер, дрожащей рукой держа пистолет, в этой свалке не мог найти подходящую цель, не зная, в кого стрелять... Наконец он выстрелил в воздух, но было уже поздно: звук выстрела не мог отрезвить никого. Крики толпы его почти заглушили...

В схватке падали люди — солдаты, башкиры, заводские рабочие люди... Раздались ружейные выстрелы, но и они не умерили пыла дерущихся.

Знатный толстый старик подскочил к Салавату с ножом, взмахнул раз и два... Салават вдруг сполз со столба...

Рослый, широкоплечий малый из заводчан подскочил к старику сзади и, размахнувшись, хватил его изо всех сил откуда-то взявшимся ломом в спину. Старик упал с переломленной спиной...

— Хош... Улям... Салават!.. — простонал он у ног Салавата.

— Не умирай, Кинзя! Кинзя, друг! Брат Кинзя! — закричал Салават, позабыв о своих страданиях от кнута.

В руках заводчан явились колья, лопаты и топоры.

— Бей изменников! — взревел здоровенный кузнец, проламывая голову одного из башкир кувалдой.

— Июды искарриотские!

— Псы окаянные!.. — вторили кузнецу заводчане.

Солдаты, выбившись из толпы, стали бить нападавших штыками, нескольких человек застрелили в упор.

Только тогда, когда солдаты оттеснили оставшихся башкир, все начали понимать, что случилось: веревки, которыми Салават был привязан к столбу, оказались разрезаны в двух местах, а сам Салават не получил никаких повреждений.

В схватке было убито с десятков башкир, пятеро солдат из конвоя поранено, насмерть убит один из помощников палача и двое рабочих.

Симские заводчане в тучном убитом старике признали старого знакомого Кинзю с наклеенной бородой... Оставшиеся в живых башкиры успели скрыться, вскочив на коней, но солдаты их не преследовали: офицер не решился делить свои силы. Событие испугало его.

Рабочих не отпустили с места прерванной казни. Им велели помочь отнести к стороне убитых и раненых. Палач привязал Салавата к столбу новой веревкой.

И экзекутор холодно и добросовестно отсчитал не доданные с начала казни шестнадцать ударов кнута...

После неудачной попытки освобождения, когда погиб в схватке Кинзя, Салават долго не мог оправиться. Его мучили не рубцы от кнута на спине, — незаживающие рубцы огнем горели в душе Салавата.

Погиб Кинзя — все пропало! Где найдется еще такой отважный жягет, который полезет с ножом на штыки и пули!.. Если бы заводской народ понял... Если бы Кинзя

доверился русским, шепнул им о том, что задумал, одним солдатам не уберечь бы тогда Салавата...

Бедный Кинзя с налепленной седой бородой!..

Пять раз вывозили еще Салавата для новых мучений, теперь Красноуфимск, Кунгур и Оса прошли мимо... Ельдяцкая крепость — самое последнее место казни. С тоскою и ужасом ожидал Салават, что в Ельдяцкой крепости ему вырвут ноздри и заклеят каленым железом лицо, превратив его в подобие старого друга Хлопуши...

Рваные ноздри и клейма лишали его последней надежды на волю. Как скроется меченый каторжник?! Всюду найдут...

Потеряв сознание на двадцатом ударе, Салават не помнил того, как был возвращен в Уфу.

После каждого из этих пяти раз кнутобития он снова переживал все то, что случилось на Симском заводе. Все как бы заново проходило перед ним в каком-то движущемся зеркале. Толпа заводчан, первые удары кнута — и вдруг за спиной близкий, родной голос Кинзи. Дальше жаркая схватка, значение которой с первого мига понял лишь он один, Салават... Веревки, срезанные Кинзю, упали с его рук и с груди, Салават сполз по столбу, осев от слабости вниз, с замиранием сердца он ждал — вот подхватят его друзья, понесут на коня... Как вдруг рядом с ним послышался стон умирающего Кинзи... В бреду Салават каждый раз кричал все одни и те же слова: «Не умирай, Кинзя! Кинзя, друг! Брат! Кинзя!..» — и снова и снова повторялась одна и та же страшная бредовая греза: гибель друга и брата... Эту смерть Салават успел пережить уже сотни раз, и горечь утраты не становилась от этого меньше. Не было и не могло быть другого такого друга...

Очнувшись в последний раз в каземате Уфимского магистрата, Салават в темноте нашарил возле себя кувшин с холодной водой и приник к нему пересохшим, запекшимся ртом.

Память о последнем месте казни медленно возвращалась к нему, медленно доходило до сознания, что эти нечеловеческие муки окончились, и, когда пройдут еще две недели, его уже больше не повезут под кнуты на новое место.

Мысль была еще вялой и сонной. У измученного страданиями юноши не было никаких желаний, все чувства притуплены. Сознание, что его били кнутом в последний раз, не вызвало ни облегчения, ни радости. Если бы оказалось, что он ошибся, что предстоит еще раз или даже два, три раза стоять у столба под кнутом, это не вызвало бы в Салавате страха перед новыми мучениями, не заста-

вило бы сейчас забиться быстрее ленивое, едва бьющееся сердце...

Он хотел бы сейчас лишь согреться. Холод каменного темного подземелья мучил его больше, чем ощущение боли в изъязвленной и изрубцованной спине...

Вялая, едва живая мысль то гасла, то едва брезжила вновь... Салават вдруг вспомнил, что после кнута в Ельдяке ему должны были вырезать ноздри и каленым железом поставить клейма на лоб и щеки... В равнодушной безнадежности, охватившей его, он не думал уже о том, что рваные ноздри и клейма обезобразили его облик, мысль о том, что теперь, с клеймами и вырванными ноздрями, нельзя никуда скрыться, мелькнула уже, как привычная, не взбудоражив его сознания. Он вспомнил, что теперь предстоит путь на каторгу — далекий путь в какую-то крепость с чуждым, не запомнившимся названием. Хлопуша рассказывал Салавату о том, что такое каторга. Он представил себе и рудники, и соляные копи, и каменоломни...

Все это сейчас его не страшило...

Салават страдал больше всего от холода. Он подумал о том, что должны принести горячую воду, горячую пищу, а может быть, как бывало не раз, Наташа пришлет тихонько с солдатом горячего молока... Вот сейчас хорошо бы и водки...

Салават внезапно чихнул. Боль сотрясла искалеченное рубцами тело и вызвала слабый стон из груди Салавата. Он привычным движением очистил нос и вдруг ощутил, что нос его цел. Ноздри не вырваны... Пальцы его задрожали. Не веря себе, он ощупывал собственное лицо, лоб, мял и щипал себя за нос и за щеки, чтобы проверить, есть ли раны. Он не нашел их, и от сознания, что он еще не клейменный, его охватила внезапная дрожь лихорадки...

Он вдруг услышал, что за окном каземата шумит осенний ветер с дождем, почувствовал влажность соломенной подстилки, на которой лежал, вспомнил знакомые лица согнанных к месту последней казни башкир и русских, чей-то бодрящий голос, который несколько раз повторял в толпе: «Пока живы друзья, они не забудут друга».

— Они не забудут друга, — произнес Салават и услышал свой голос, как будто чужой, произнесший эти слова. — Не забудут! — вдруг почему-то уверенно, твердо повторил он еще раз, и сердце его забилося быстрее, грудь защемило радостною тоской. Он почувствовал голод и жажду жизни...

В окошке каземата забрезжил свет, по коридорам подвала зазвучали шаги солдат, зазвенели цепи колодников,

послышался утренний шорох метлы, хлопанье тяжелых дверей, окрики...

Наташа в самом деле прислала ему горячего молока. Салават с жадностью выпил его, чувствуя, как тепло разлилось по всему телу.

Он позабыл о боли, терзающей спину, он не слышал нудных, томительных шумов магистратского арестантского подземелья и заснул спокойным, бодрящим сном, свободным от бреда и сновидений, вливающим силы в сердце...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Стоял сентябрь с шумным ночным буйством листопада. Осенний ветер с дождями тревожил арестанта. Надежда на жизнь и свободу крепла в нем с каждым днем, и оттого силы его восстанавливались быстрее.

Когда в первый раз после нескольких дней Салават осилил подняться с соломы и дотянулся выглянуть в окно, он был удивлен, что перед ним не двор магистрата, а, как вначале, широкая магистратская площадь, полная всяким проезжим людом. В это время глянуло сентябрьское яркое солнце из туч, и Салават распахнул окошко... Перед ним стоял часовой, тот самый, старый-старый солдат Ефим Чудинов, который его караулил так много дней. И, глядя на солнце, на площадь, на знакомое доброе лицо старого солдата, на пожелтелые листья, кружившиеся по ветру, он услышал наверху знакомый тоненький голосок, который напевал над его окном им же сложенную и посланную через Чудинова песню, и вдруг Салават ощутил на своем лице какое-то непривычное выражение, — он почувствовал, что лицо его стало каким-то иным, не таким, как все это время, он даже коснулся в недоумении пальцами уголков своего рта и понял сам, что за долгие месяцы он в первый раз улыбался.

Салават жадно глядел на площадь перед зданием магистрата. Понурые лошаденки русских, запряженные в телеги, из которых торчала золотая солома, на высоких колесах короткие тележки башкир, добрые верховые лошадки с подушками, прилаженными на седла, глухой многоголосьй говор пестрой толпы, даже бездомные собачонки, сновавшие между телег в ожидании пинка или случайной подачки, — все возбуждало его, все радовало глаз проявлением жизни.

И вдруг любопытный, живой взор юноши заметил одинокого неподвижного человека, который стоял на одном

месте, под широкою, нынче полуопавшею липой против самого окна Салавата. Он не отличался ничем от десятков людей, бывших на площади, только упорная неподвижность и взор его, устремленный на железную решетку окна, заставили Салавата пристально взглянуть в его лицо. И Салават узнал его — это был Нур-Камиль из отряда Кинзи. Немолодой, тучный, широкоплечий, в лисьей шапке, стоял он так близко и вместе с тем так далеко, что сказанное слово не могло долететь до его слуха.

Салавату припомнился голос, который сказал в Ельдяке эти слова о друзьях, не забывающих друга, и понял, что это сказал тогда Нур-Камиль.

За вынутым кирпичом в углу каземата оставались чернила, перо и бумага. Салават мог бы писать день и ночь им, верным друзьям, но он написал всего несколько самых сухих и коротких слов, написал и осторожно окликнул Чудинова. Солдат удивленно взглянул на него, остерегая его в то же время движением седых бровей.

— Смотри, там под липкой стоит в лисьей шапке башкирец, мой дядя. Я совсем обносился, лохмотья одни, — сказал Салават. — В каземате ведь холодно... Я брошу письмо, а ты дяде отдай. Он мне привезет одежды, харчишка, деньжонок... Тебя не забуду...

Такие услуги со стороны солдат в отношении арестантов были не новость, не редкость. К тюремному жалованью было не грех прибавить полтину на табачок и на водку.

Солдат ничего не ответил, он даже отвел глаза в сторону. Салават швырнул ему под ноги туго свернутую записку, и Чудинов будто совсем невзначай наступил на нее сапогом.

Сменившись с поста, Чудинов стал шарить в толпе башкирина в лисьей шапке, но тот куда-то пропал. Старый солдат хотел уже идти домой, как вдруг на крыльце магистрата увидел башкирскую лисью шапку и радостно кинулся к ней...

На другой день Чудинова арестовали. Башкирец в лисьей шапке, которому он отдал письмо, оказался не Нур-Камилем. Это был посланный генерала Фреймана, который привез пакет воеводе. Он же отдал воеводе и письмо Салавата, в котором было написано не об «одежде», а о присылке пилы.

В каземат ворвались солдаты. Они не нашли ни чернил, ни пера, ни бумаги, но Салавата избили.

— Грамотный, сукин ты сын! Письма писать затеял?! Пилу тебе надо, собака!.. — тыча носками сапог Салавату в бока и в лицо, ударяя его каблуками, кричал на него

тюремный смотритель. — Грамотный, дьявол! Солдата ты мне погубил! Дурака за тебя кнутом теперь до смерти задерут. Тебе все равно уже на каторгу, а русского дурака ты за что погубил?.. Отвечай мне, поганец, кто дал чернила с бумагой? Кто дал? Отколе ты взял?! — допрашивал Колокольцев.

Избитого Салавата снова перевели в каземат, выходивший во двор окнами. Но страсть к свободе настолько вошла в его душу и сердце, в плоть и кровь, что Салават не смирялся... Он бунтовал день и ночь и не мог поверить в жестокость своей судьбы. Ночью, под шум дождя, вскакивал Салават со своей подстилки; ему казалось, что желание свободы прибавило ему сил, он хватался за решетки в окне, дергал их и старался как-нибудь расшатать. Гнойные струпья, бывшие на спине его, лопались от натуги, но Салават не чувствовал никакой боли. Иногда казалось ему, что кирпичи стены поддались под его напором, ликующий крик готов был вырваться из его горла... Но часовой, заметив его, снаружи стучал в окно, и Салават валился без сил на солому, томлением и тоской провожая бессонный, мучительно медленный осенний рассвет...

«Может быть, Нур-Камиль не попался с этим письмом? — иногда мелькала надежда у Салавата. — Может быть, ходит он возле тюрьмы, ожидая удобного часа?!»

И вдруг Третьяков, принеся Салавату две пары новых портянок и две пары лаптей, хмуро сказал:

— В дорогу собираться!

И тихо, совсем беззвучно, по-башкирски добавил:

— Дорога хорошая будет... Нур-Камиль говорит...

Третьяков ушел, хлопнув дверью, а Салават так и сидел, не выпуская из рук новых лаптей и портянок.

«Воля! Свобода!..» — пело все его существо, словно удача побега была решена.

Однако наутро ждал Салавата новый удар. Смотритель тюрьмы сказал Третьякову, что Салавата и Юлая, прежде отправки их в каторгу, пришло распоряжение представить в провинциальную канцелярию, к воеводе.

Третьяков, растерянный, вбежал к себе в комнату, опрокинул стоявший на окошке цветочный горшок, плюхнулся на большой сундук и схватился за голову.

— Тятенька, что стряслось?! — испуганно подбежала Наташа.

— Пропал! Показнят, а не то покалечат, пропал! — растерянно шептал Третьяков.

— За что показнят? Что стряслось?! — не понимая его, добивалась дочка.

Она знала, что отец ее едет в дальнюю поездку, конвоировать в каторгу Салавата с его отцом. Она даже подозревала что-то такое, о чем боялась и говорить, — подозревала какую-то сделку отца с башкирами, сделку, которая принесет Салавату добро, и за это Наташа любила отца еще больше. Она готовила для него в дорогу белье, починила шубу, выбила валенки, сговорилась взять в дом свою крестную мать на время отъезда отца. Он был все время весел и возбужден и вдруг прибежал в таком отчаянии...

— Неклейменные оба они! — шепотом пояснил переводчик дочери.

— Ну, так что же, что неклеяемые? — удивленно спросила она.

— Дура ты, вот что! Ведь мне за них денежки плачены — деньги!.. Поняла? Толстый черт этот хвастал: я, мол, их увезу, и никто не прознает... Я, дурак-то, и уши развесил... А что теперь делать?!

Переводчик схватился за волосы.

— Да что приключилось-то, тятенька? Убежал Салават? — добивалась Наташа, вместо платка прикладывая к глазам концы своих длинных кос.

— Чего же я убивался бы? Из магистрата бежал — не моя вина. Я ему не блюстителю!.. В том и беда, что сидит неклеяемый, а его в канцелярию требуют... Я палачу за него платил... Кабы Мартынка не был замешан — полбеды. А он под плетью меня выдаст...

— Да, батюшка, как же теперь? — сильнее заплакала Наташа. — Значит, теперь уже его заклеят бесприменно? И ноздри обрежут?

— Вот ведь дура!.. Не то беда, что его заклеят. Меня, понимаешь, и меня заклеят, коли Суслов скажет. И будет отец у тебя со рваной ноздрей!

— А вы скажите, что клейма, мол, заросли и щипцы для ноздрей испортились. Поверят они, — подсказала Наташа.

— Кто поверит? Ведь сроду таких-то делов не бывало!..

Переводчик выбежал вон.

...Салават не знал о вызове к воеводе. Он сидел на соломе, думая о вчерашних словах Третьякова, когда дверь в каземат отперлась.

— Салават, — торопливо зашептал просунувший голову переводчик, — если спросят, скажи, что клеймили тебя, да клеймо заросло... и нос, мол, рвали, да что-то у палача изломалось... Скажи, мол, долго болел нос, да после зарос...

Салават не успел понять, что значило это предупреждение, как опять загремел замок.

Старик Колокольцев стоял в дверях, за спиной его — двое солдат.

— Айда, выходи в присутствие, — позвал смотритель.

Салават, громыхнув цепями, встал. Солдаты стали по сторонам его, провели по коридору и вывели на лестницу. Ослепительное осеннее солнце ударило ему прямо в лицо. Салават зажмурился. Придерживая цепи, он шел по улице вдоль здания магистрата. Салават подумал, что, может быть, именно в этот миг нападут друзья на конвой. Но путь до парадных дверей магистрата был короток. Никто не напал... Салавата ввели снова в здание и посадили в пустую полутемную комнатку. Через минуту загремели оковы, и двое солдат ввели Юлая. Отец и сын поздоровались издали, не подходя друг к другу.

— Верно, в дорогу сегодня? — сказал Юлай.

— Лапти, портянки дали, — отозвался Салават, но солдат оборвал его.

Салават опустил глаза и злобно тряхнул цепями.

Они ждали в полном молчании около часа. Наконец дверь в зал присутствия распахнулась. Воевода, секретарь, экзекутор, еще двое чиновников сидели тут за столом.

— Идите сюда, — произнес экзекутор, и оба узника, гремя цепями, подошли к столу.

Сидевшие за столом жадно вглядывались в их лица. Молчание нарушил воевода — он глядел попеременно то в какую-то бумагу, то на лица арестантов, наконец значительно выговорил:

— Доноситель прав — никаких знаков...

— Никаких знаков-с!..

— Совершенная правда-с!..

— Истинно-с, истинно-с! Никаких! — хором забормотали чиновники.

— Убрать, — кивнул воевода конвоирам, и, подталкивая прикладами, солдаты вывели арестантов назад в камеру. Дверь затворилась.

Салават и Юлай слышали, как за дверью, в чем-то оправдываясь, жалобно бормотал перепуганный коллежский регистратор Третьяков, как громко гудел бас воеводы и воробьиным чириканьем доносились поддакивания чиновничьей стаи.

Дверь опять распахнулась. На этот раз в комнате, кроме прежних чиновников, оказались Третьяков и палач Мартынка Суслов, бывший кнутом Салавата. Оба они были расстроены, губы Третьякова тряслись. Возле палача стоя-

ла жаровня. Салавату вдруг стало страшно. Только теперь понял он, что все решено бесповоротно, что больше уже нет и не будет дороги назад.

— Угольков мне горячих! — сказал палач.

— Сею минуточкой... Наташенька печку топит... — пугливо забормотал Третьяков, выбегая из комнаты.

Далеко, где-то за коридором, послышалось хлопанье двери, что-то упало и разбилось.

Донесся громкий девичий плач, издали похожий на визг побитой собаки. Еще через минуту вошел назад переводчик, семена на цыпочках и всем видом показывая торопливость. Он нес ведро горячих углей...

Палач возился у жаровни, раздувая угли своею шапкой. Все продолжали молчать. Наконец палач повернулся к воеводе.

— Готово-с, сударь! — угодливо сказал он.

— Юлай Азналихов! — выкрикнул экзекутор.

Юлай шагнул ближе.

— Держать! — скомандовал экзекутор.

Солдаты схватили Юлая и повалили его на скамью. Старик поддался им без всякого сопротивления. Салават с тяжело бьющимся сердцем оцепенело наблюдал, как под скамьей Юлая связали веревкой руки и прикрутили к скамье закованные кандалами ноги.

Палач, выхватив из жаровни добела раскаленное железное клеймо, наклонился к Юлаю. У Салавата потемнело в глазах. Он услышал стон отца и, не помня себя, рванулся на палача, на солдат, на чиновничью свору...

— Держать арестанта! Держать! — раздался пронзительный, перепуганный крик.

Солдаты бросились на него вчетвером, но один из них рухнул на пол с головой, пробитой кандалами, двое других отлетели в стороны... Перед Салаватом было окно, не защищенное железной решеткой. Стекла задребезжали, и рама вылетела наружу... Внизу кишела базарная площадь толпой народа. Салават рванулся туда, но тяжелый удар прикладом по голове опрокинул его на пол...

Салават очнулся прикрученным за руки и за ноги к длинной скамье в той же комнате. Палач раздувал шапкой угли в жаровне. Вот он повернулся, держа в руках раскаленное добела клеймо.

С проклятием, раздирающим грудь, в ужасе Салават напрягся всем телом, силясь порвать веревки, и вдруг ощутил на лбу неумолимое, навек неизгладимое прикосновение огня...

Scan Kreyder - 28.02.2019 - STERLITAMAK